

Н О В Ы Й
М И Р

4



1965

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI

№ 4

Апрель, 1965 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>К 95-летию со дня рождения В. И. Ленина</i>	
ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ — Памятные встречи	3
Б. АЛЬБЕРТ-ПЛОЩАНСКАЯ — Странички воспоминаний	19
<hr/>	
ДЮЛА ИЙЕШ — Из лирики. Перевел с венгерского Юрпй Левитанский	25
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Окончание	29
И. ГРЕКОВА — Летом в городе, рассказ	84
ВИКТОР НЕКРАСОВ — Месяц во Франции	102
ИВАН ДРАЧ — Баллада о ведре. Перевел с украинского Ю. Даниэль	164
ГАЛИНА ГАМПЕР — Старуха, стихотворение	165
ДЖОН ЧИВЕР — Ангел на мосту, рассказ. Перевела с английского Т. Литвинова	167
<hr/>	
ПУБЛИЦИСТИКА	
Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Кубань — Вологодчина	175
Отец и сын (Документы из жизни семьи Маковских)	200
<hr/>	
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ЛАКШИН — Писатель, читатель, критик. Статья первая	222
<hr/>	
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ПИСЬМА А. В. ЛУНАЧАРСКОГО. Публикация и примечания И. Смирнова	241

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	256
С. Львов. Верность традиции и верность себе.— А. Турков. Когда поэзия возвращается...— Ф. Светов. Детали и суть.— З. Паперный. Читательский марафон.— Л. Поляк. Книга художника.	
<i>Политика и наука</i>	269
А. Давидович, С. Покровский. От глубокой древности до наших дней.— Л. Иванов. Необъективные обобщения.— В. Твардовская. Факсимильное издание «Колокола».— И. Зыков. Сохранить и умножить богатства природы.	
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

К 95-летию со дня рождения В. И. Ленина

ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ

★

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Автору этих строк посчастливилось по характеру своей деятельности встречаться с Владимиром Ильичем Лениным и Надеждой Константиновной Крупской, а также работать в непосредственной близости с Надеждой Константиновной, бывать неоднократно у них дома — в кремлевской квартире и в Горках.

Публикуемые ниже главы из книги воспоминаний относятся к 1920—1921 годам.

ПШЕННЫЙ ПИРОГ, ИЛИ ПО ФОРМЕ ПРАВИЛЬНО, А ПО СУЩЕСТВУ...

Начало 1920 года. Настроение хорошее, приподнятое. На фронтах — перелом и победа.

С Инессой Федоровной Арманд мы едем в Горки, куда нас пригласила Надежда Константиновна Крупская. Она сказала: «Мы пробудем там с Владимиром Ильичем часть субботы и все воскресенье. Приезжайте. Устроим заседание редакции. Обсудим вопрос о характере журнала «Коммунистка». Там никто не помешает нам. Поговорим обо всем подробно».

И вот нас везет высокий квадратный черный автомобиль, имеющий вид старомодного ландо. По обеим сторонам московских улиц тянутся непрерывными шпалерами снежные сугробы. Из-за них домов почти не видно. Лишь торчат выведенные в форточки окон задымленные трубы «буржук» — железных печурок, которыми отапливались в ту пору дома. Снег не вывозили. Дворники сгребали его в кучи, и сугробы росли и росли.

Снег все сыплет и сыплет... Перед нами от неба до земли свисает огромный белый занавес.

У нас бодрое настроение. Самое тяжелое отлегло от сердца. Враг отогнан. Мы вспоминаем с Инессой недавний разговор.

Осенью 1919 года, прибыв с фронта на денек в командировку, я успела навестить Инессу Федоровну. Застала ее больной дома, на Манежной улице. В ответ на расспросы о фронте я вынуждена была рисовать ей печальную картину временных поражений. Вспоминая все это теперь, мы с облегчением повторяем: «Наконец-то победа, победа... на всех фронтах».

Разумеется, Антанта не успокоится. Но это впереди. А пока передышка. Пусть пока только передышка.

Однако Ленин — великий стратег, мастер крутых поворотов — уже перевернул страницу и рисует перед страной захватывающую картину ее завтрашнего дня, грандиозного хозяйственного строительства, электрификации. И массы ему верят.

Однако эту грандиозную работу, считал Ленин, можно осуществить только при условии привлечения огромных масс женщин. Не может быть социалистического переворота, говорил он, если громадная часть трудящихся женщин не примет в нем активного участия.

В пути я рассказываю Инессе, как огорчилась вначале, когда, прибив после фронта в ЦК «распределяться», была назначена Еленой Дмитриевной Стасовой (тогда секретарем ЦК) в Отдел по работе среди женщин. У нас с фронтовыми товарищами был такой уговор: как только отвоюем — работать снова вместе в тех местах, где воевали с белогвардейцами, где еще дымились пепелища пожаров. Там будем восстанавливать советскую власть, поднимать из руин города, возрождать хозяйство. Уже формировались составы ревкомов. А я угодила в «женотделки». Главное, совсем не знаю работу среди женщин. Но Стасова — как кремень. Своим твердым, решительным голосом она велела предъявить военный аттестат, и на нем уже легла ее резолюция, начертанная красными чернилами, — она хранится по сей день у меня.

— Вот вы и Надежда Константиновна, — говорю, — еще на заре рабочего движения вели эту работу, а я же ничегошеньки не смыслю в ней.

Инесса в ответ:

— Не боги горшки обжигали — научитесь! Увидите, как эта работа нужна и важна. Она вас захватит.

И действительно, работа среди женщин оказалась необыкновенно увлекательной. И какое счастье было работать с такими людьми, как Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, К. Н. Самойлова, А. М. Коллонтай, Клара Цеткин, к которой я ездила в Германию! Какая это была прекрасная школа коммунизма! А Е. Д. Стасова, с которой пришлось работать бок о бок, оказалась строгим, взыскательным, требовательным и в то же время замечательным наставником, настоящим старшим товарищем для нас, тогда молодых романтиков и не очень дисциплинированных. Но тогда, по дороге в Горки, я продолжала выкладывать Инессе свою обиду на Елену Дмитриевну Стасову.

— Нет, Инесса Федоровна, я тогда в ЦК чуть не заплакала от обиды. Скажу вам откровенно, от слез меня удержала только моя «фронтвая форма». Я твердила себе: «Военному человеку слезы не к лицу».

Инесса смотрит на меня, едва сдерживая улыбку, — на мне бекеша, папаха, валенки и походная сумка, — и просит рассказать подробней о фронтовых делах. Я рассказываю.

Одна за другой встают перед глазами картины недавних боев, отдельные эпизоды. Как мы отчаянно отбивались и вышли из мамонтовского окружения, в котором оказались после оставления Козлова. Как грязные, всклокоченные, босые, почерневшие от пережитого, добрались мы наконец до штаба Южного фронта, где о нас, как о погибших, В. И. Соловьев (член Реввоенсовета фронта) и другие строчили уже некрологи, и как мы потом сами читали их. Некоторые из спасшихся вместе со мной от мамонтовцев, например, Перельсон (замнач политотдела фронта), погибли вскоре на польском фронте, и эти некрологи пригодились...

Постепенно оживляясь, я рассказываю о том, как произошел перелом, как мы стали одерживать победу за победой, отвоевывая отнятые у нас города, и наконец прижали врага к морю.

Инесса улыбается уголками рта и слушает внимательно. Она умела слушать — этому она научилась у Ленина. И это меня воодушевляет. Очень мне хочется именно ей, Инессе, рассказать во всех подробностях историю наших победных боев.

Но вот шофер круто поворачивает. Мы уже миновали заставу. Пока-

зались деревянные домики. В окнах светятся маленькие огоньки, точно на рождественской елке. И вдруг впереди яркий свет — вдали показался большой освещенный дом.

Мы въехали в великолепный, запущенный снегом зимний парк. Огромные дубы и клены в три обхвата — наверное, ровесники матушки Москвы — стоят в зимнем убранстве. Высоченные ели протягивают свои пушистые лапы. Нас несколько удивило, что так ярко освещен весь дом. Точно ждут гостей. Было известно, что Владимир Ильич не любил «огромное зало» (как выражалась Олимпиада Никаноровна, чаще просто Никаноровна, помогавшая семье Ульяновых по хозяйству) с массивной бронзой, претенциозной мебелью и золочеными рамами портретов двух семей: клана фабрикантов Морозовых и семейства московского градоначальника Рейнбота, который получил имение Горки в приданое, женившись на вдове Саввы Морозова.

Нас встретили внизу Надежда Константиновна и Владимир Ильич. Мы были несколько озадачены необычной торжественностью. Владимир Ильич, видя наше смущение, сказал нам, стирая руки, с заговорщицкой хитринкой в глазах:

— А сегодня у нас день особенный — день рождения Надежды Константиновны.

Инесса Федоровна, несколько обескураженная и смущенная, сказала:

— А я-то как опростоволосилась. Совсем из головы вышло. Из-за работы и повседневной суеты обо всем на свете позабудешь. Я ехала на заседание... Ну какое же заседание в такой день? — сокрушалась она. — И как же это я забыла!

А Надежда Константиновна ей в ответ:

— Ну, вот еще придумали! Кто же в такое горячее время обращает на это внимание? Это ведь не жизнь в Шуше или в тихой Швейцарии.

Между прочим, как я узнала впоследствии, приехала в тот вечер сюда и Мария Ильинична, отлучившись из «Правды», несмотря на спешную работу, чтобы по-семейному отметить это торжество. Мария Ильинична, или «хозяйюшка», как ее называли в кругу родных, была хранительницей семейных традиций и очень возмущилась, узнав, что Надежда Константиновна в такой вечер назначила заседание. Она, так и не показавшись нам, сразу же уехала обратно в Москву.

Когда мы уселись, Владимир Ильич сказал, лукаво улыбаясь:

— Мы с Маняшей даже сюрприз устроили по такому случаю.

Надежда Константиновна вопросительно посмотрела на Владимира Ильича своими добрыми, большими, несколько навывкате глазами, да и мы были очень заинтригованы.

Едва он успел произнести эти слова, как перед нами выросла Никаноровна, обеими руками торжественно державшая на большом блюде круглый румяный пирог, который она внушительно и энергично поставила на стол.

— Какая прелесть! Настоящий, всамделишный, румяный пирог — это действительно сюрприз! — воскликнула Инесса.

— И роскошь по нынешним временам, — добавила несколько смущенная Надежда Константиновна. — А главное, все делалось в глубокой тайне от меня. Вот заговорщики-то! Это действительно сюрприз! — сказала она, теперь уже улыбаясь и, видимо, тронутая вниманием Владимира Ильича. — Ну что ж, пирог так пирог. Давайте-ка резать его и есть, — закончила она.

И тут же приступила к делу. Чай уже был подан. Она сначала ножом слегка провела по пирогу, намечая равные куски, и хотела его клинообразно разрезать. Да не тут-то было! Едва она воткнула нож,

как пирог стал рассыпаться на отдельные кругленькие желтенькие крупиночки, которые стали выпрыгивать из плоского блюда на скатерть. Она тыкала ножом, как тот аист, который стучал длинным клювом по тарелке с тонко размазанной кашей, но не могла набрать ни одного куска пирога — он распадался. Смущенная Надежда Константиновна, у которой рука вместе с ножом вопросительно повисла в воздухе, сказала:

— Очевидно, за годы революции я разучилась резать пирог, попробуй ты, Володя.

При этих словах перед нами неожиданно снова выросла Никаноровна. Оказывается, она все время тревожно следила за этой процедурой и сейчас смущенно пояснила:

— Ни вы, Надежда Константиновна, и ни Владимир Ильич, и никто другой не сможет разрезать этот пирог, потому что он неправильный. Не по правилам сделан! Но моей вины тут нет. А виноват во всем, теперь скажу откровенно, Владимир Ильич.

— Вот те на! — вырвалось у Крупской.

И теперь, уже почти всхлипывая, Никаноровна продолжала:

— Приходит ко мне вчера Владимир Ильич и говорит: «У Надежды Константиновны будет день рождения, хорошо бы как-нибудь отметить, ну, что ли, пирог испечь, но держать это надо в строгой тайне от нее, а в последнюю минуту, когда она ничего не будет подозревать, подадим к чаю». Я говорю: «Будьте спокойны — секрет удержу. И как хорошо все получается — нам как раз прислали с Украины муки и яичек, словно знали, когда прислать». А он говорит: «Насчет муки и прочего я уже отдал распоряжение, чтобы все это без остатка отдать в детский дом». Я всплеснула руками и говорю: «А из чего пирог-то испечь? Ведь нужна мука!» А Владимир Ильич говорит: «Ну, сделайте из какого-нибудь другого материала». А я спрашиваю: «Из какого же такого другого материала делают пирог? Известно — только из муки». А он: «Вы, Никаноровна, такой мастер, придумайте из чего другого». Думала я думала, ничего не придумала, кроме как попробовать сделать из пшена — единственный «материал», что у нас есть. Ну, известно, без яичек никакой пирог не склеится. Вот я и решила: по такому случаю надо пару яичек из этой посылки прихватить. И надо же такому случиться. Только я эти яички вынула, чтоб припрятать, так на беду зашел за чаем «сам» и накрыл меня на этом. «Вы что же приказ выполняете формально — часть отдать, а часть оставить?! Хотите меня перехитрить — не выйдет!» — говорит Владимир Ильич. Я застыдилась, хоть и не для себя прячу. Пирог-то хоть из пшена или какого другого «материала», но уж без яйца — никуда. И вот какой срам получился — не пирог, а бог весть что, а ведь такой торжественный случай.

Никаноровна говорит, а Владимир Ильич молчит, как провинившийся мальчик. Надежда Константиновна утешает Никаноровну:

— Ну, не стоит расстраиваться из-за такого пустяка. Пирог как пирог: и корочка сверху румяная, как у настоящего, — дайте-ка нам ложки, и мы съедем его на славу!

Надежда Константиновна набрала ложкой «пирога», положила нам на тарелки, и мы стали есть рассыпчатую сухую пшеничную кашу. А Инесса, хитро улыбнувшись, говорит:

— Да, Надежда Константиновна права: по форме это настоящий пирог, у нас полная иллюзия его. Ну, а что по существу — неважно... Главное, чтобы по форме было все правильно... — И посмотрела многозначительно на Владимира Ильича.

Тут Ленин схватился за голову и говорит:

— Вот именно только по форме... А я борюсь нещадно с бюрокра-

тами, у которых по форме все обстоит правильно, а по существу... А теперь сам попал в компанию бюрократов. Вот какой пример я подаю другим!

И захохотал своим громким, заразительным смехом.

МУФТА

В конце 1920 года созвали мы Всероссийское совещание завженот-делами. Приехали большей частью заведующие губернскими отделами по работе среди женщин. Заняли мы для этого почти все здание Третьего дома Советов. Эта конференция куда как отличалась от конференций или съездов беспартийных работниц и крестьянок. Сюда прибыли женщины с «государственным кругозором», обогащенные опытом, толковые, хозяйственные, говорливые... С ними надо было обсудить новые задачи, вставшие перед страной, перед партией. Их надо было проинструктировать: как перевести все на понятный, конкретный язык, указать место и роль женских масс в осуществлении намеченного плана работ.

Главным и основным препятствием наряду с другими на пути привлечения женщин к строительству новой жизни была их неграмотность, темнота. Теперь это звучит совершенно непонятно и кажется почти анекдотическим, что из десятков миллионов неграмотных, числившихся в 1920 году, подавляющее большинство составляли женщины; да и те из них, которые слыли «грамотеями», знали азбуку по часослову: аз, буквы, веда, глагол и тому подобное — и не в состоянии были связать стройную фразу. Для ликвидации неграмотности было тогда создано тридцать тысяч пунктов ликбеза. Роль этих ликбезов, организованных Главполитпросветом, во главе которого стояла Н. К. Крупская, была огромна. Надежда Константиновна лично уделяла этому важному делу самое пристальное внимание. Мы здесь, в центре, и женотделы на местах работали с ликбезами дружно, в тесном контакте. Но и ликбезы в своей работе столкнулись с большими трудностями, и не потому, что пожилым женщинам трудно учить азбуку. Напротив, тяга женщин к знанию была очень велика. Но трудно было им, особенно деревенским многосемейным матерям, отлучаться от малолетних ребят и бежать на занятия ликбеза. Да многих и мужья не пускали. Нередко приходили они на занятия с синяками, которыми награждали их мужья, считавшие, что ученье не бабье дело — «курица не птица, а баба не человек», у нее, мол, «волос долог, да ум короток»...

Надежда Константиновна обещала выступить на этой конференции. Александра Михайловна Коллонтай — она возглавляла отдел после смерти Инессы Арманд — предложила мне поехать за ней.

И вот я в кремлевской квартире Ульяновых. Крупская, точная, как всегда, уже готова к поездке. Быстро надевает шляпу и пальто. Миновав часового, спускаемся по лестнице. Но едва я открываю внизу дверь, чтобы пропустить ее вперед, как вдруг сверху слышится оклик:

— Надя, муфту забыла!

Надежда Константиновна шепчет:

— Идем скорее! — и увлекает меня на улицу.

Но я все же задерживаюсь — ведь это как будто был голос Владимира Ильича, — поднимаю немного по лестнице, гляжу — действительно на верхней площадке стоит он, а в протянутой руке держит муфту. До меня доносятся слова часового:

— Товарищ Ленин, дайте мне муфту, я побегу и догоню их, не бежать же вам.

— А винтовка? — спрашивает Ленин.

— Вы подержите ее, я вмиг сбегаю, — отвечает часовой.

— Как же вы мне отдаете вашу винтовку? — говорит Ленин.

— А кому же — именно вам. Вам не то что винтовку, а жизнь свою отдам.

— Винтовку никому нельзя доверить, даже мне, — сказал Ленин. И заговорил о присяге и о том, что жизнь можно отдать только за советскую власть, за народ, но не за него.

Я окликнула его и быстро взбежала наверх, к нему навстречу. Выхватила муфту и стремглав скатилась вниз.

Надежда Константиновна, сидевшая уже в машине, с выражением нетерпения и недовольства на лице спросила:

— А что вы так долго? — И, заметив муфту, добавила: — Ах, все-таки он всучил ее вам.

Я недоуменно спрашиваю ее:

— Ну как можно, ведь он беспокоится, что вам будет холодно.

Она говорит:

— А куда мне с этой муфтой? У меня в руках туго набитый портфель и прочее, а тут вдруг муфта. Точно военный при шпаге и с зонтиком... Да, но вы ведь не знаете — муфта имеет свою историю!

И она рассказала эту историю.

Надежда Константиновна и Владимир Ильич собирались ехать на митинг. Оделись, стали выходить, как вдруг Владимир Ильич спросил: «Надя, а перчатки ты забыла надеть?»

— Это перчатки, которые он мне достал, а их у меня уже нет, — объяснила Надежда Константиновна. — Но чтобы отвести этот разговор, сую руки в карманы, делая вид, что их достаю, — и бегом к двери. А он что-то уже заподозрил, преграждает мне дорогу: «На дворе мороз. Нельзя без перчаток, руки отморозишь. Где перчатки?»

Продолжая свой рассказ, Надежда Константиновна сказала, что ответила уклончиво, и Владимир Ильич догадался: перчаток нет. Он спросил: «Потеряла, забыла или просто отдала кому?»

— Ну, пришлось сознаться: приезжала по поводу ликбезов одна пожилая учительница. Пришла ко мне в кабинет за советом. Гляжу, вся она синяя, замерзла, пальтишко худое, перчатки совсем рваные. Уговорила хоть мои перчатки взять.

Тут Владимир Ильич обратился к стоявшей рядом Марии Ильиничне и попросил достать для Надежды Константиновны муфту: «Муфту уж никому не навяжет».

— Еще бы! Кто это в наше время согласится с муфтой ходить, точно барыня, вынутая из нафталина? И надо же такое для меня придумать. И что же? Добыли-таки муфту, и муфту на шнурке, как мы ходили когда-то, когда учились в гимназии. Так то в гимназии, а теперь, воображаете, среди педагогов я вдруг с муфтой на шнурке вокруг шеи — просто на смех! Вот так решил Володя преподавать урок — и кому, спрашивается? — мне, педагогу!

Я молчала и думала: «Какой же дух внимания, взаимной заботы, товарищеской помощи, дружбы и любви царит в этой семье, начиная с великого и кончая самым малым!»

ИНЕССА — ДРУГ УЛЬЯНОВЫХ

Я знала Инессу Арманд с начала революции семнадцатого года. Всем — и своей прекрасной внешностью, и своей одухотворенностью, и сосредоточенностью, серьезностью — Инесса очень импонировала нам, тогда еще совсем молодым. Особенно привлекала наше внимание ее необыкновенная, яркая жизнь. Но всегда несколько замкнутая и слишком скромная, она не любила рассказывать о своем прошлом.

В ту пору еще не были написаны воспоминания Крупской, еще не были напечатаны письма Ленина к Арманд. Только узкий круг партийцев знал ее по подпольной работе в России и в эмиграции. Многие о ней я узнала от Надежды Константиновны Крупской, которую я расспрашивала еще при жизни Инессы, а еще больше рассказала мне она после ее кончины. Тогда же Надежда Константиновна предложила мне написать воспоминания об Арманд.

— Инесса сама ковала свою судьбу,— сказала Надежда Константиновна.— В партии нашей в прошлом было не много женщин. И не все из тех, которые пришли, оставались в ней до конца.

Не юношеский порыв, не дань моде толкнули Инессу на такой путь, как это бывало с другими женщинами-интеллигентками в периоды «Sturm und Drang», которые затем отходили от борьбы после отлива революционных событий. Инесса Федоровна пришла в партию уже зрелым человеком. Дочь парижских артистов — полуангличанка-полуфранцуженка, в детстве привезенная в Россию, она горячо полюбила нашу страну. Выйдя восемнадцати лет замуж за сына фабриканта Александра Арманд, Инесса занимала видное место в тогдашнем обществе, была окружена богатством, роскошью. У Инессы было уже пятеро детей, когда после мучительных раздумий она покинула богатый дом, порвала со своей средой и пришла к нам. Россия стала ее второй родиной, а пролетариат — близким по своему революционному духу и предназначению.

Раз перейдя Рубикон, она сожгла за собой все корабли. Она не знала ни снисхождения, ни жалости к тому классу, к которому принадлежала прежде, и этот класс платил ей тем же. Ее арестовывали, ссылали... А она в ответ на это говорила:

Мы слышим звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

Она очень любила повторять эти стихи.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна сблизилась впервые с Инессой в Париже в 1910 году и подружились с ней на всю жизнь.

Надежда Константиновна рассказывала мне, как Инесса сразу расположила ее к себе своим тактом, культурой, целеустремленностью и волевым характером. Она сильно отличалась от обычного типа «неприкаянного» русского эмигранта. Она, по словам Крупской, внесла в жизнь их тесного кружка какую-то живительную струю, неумную энергию и жизнерадостность.

— Все светилось кругом, когда приходила Инесса,— говорила Надежда Константиновна.

И еще две великие человеческие радости внесла Инесса в дом Ульяновых — музыку и материнство. Они особенно ценили это всегда и всюду.

Инесса была прекрасным музыкантом. Своей вдохновенной игрой она скрашивала печальные дни Владимира Ильича на чужбине. И Надежда Константиновна и Владимир Ильич очень любили детей, а особенно детей Инессы Федоровны.

Инесса тогда только что окончила гуманитарный факультет Сорбонны, и по праву ее можно было назвать образованнейшей марксисткой. Широта ее знаний, исключительная многосторонность просто поражали. Она в совершенстве владела несколькими иностранными языками.

— И не было ничего удивительного в том,— говорила Надежда Константиновна,— что именно Инессе Владимир Ильич поручил вести занятия по политической экономии в партийной школе в Лонжюмо, где тогда велась теоретическая подготовка рабочих-большевиков. Да и вообще она была самой деятельной его помощницей в организации этой школы...

От рабочих И. Д. Чугурина и Б. А. Бреслава, бывших учеников Инессы, мне приходилось неоднократно слышать, как много знаний они от нее получили. Бреслав говорил:

— У меня ведь не было никакого образования, я в прошлом работал сапожником. Это был мой единственный университет. С запасом знаний, полученных в этой школе, я побеждал в Октябре и затем строил советскую власть.

Оба они вспоминали, как Инесса скрашивала их жизнь там. Как поучительны были длинные беседы, которые она вела с ними в ее маленькой квартирке, где для них всегда был готов «и стол и дом».

Надежда Константиновна рассказывала, с каким рвением выполняла Инесса любое поручение Владимира Ильича, как бы оно трудно ни было. Ни минуты не колеблясь, едет она в 1912 году из тихой, уютной эмиграции под чужим паспортом в лютую царскую Россию восстанавливать разгромленную в Питере партийную организацию. И хотя вскоре она была схвачена полицией, но дело было сделано. С риском для жизни вела она подпольную работу во время войны во Франции среди войск. И так всегда...

— Когда Ленин в начале империалистической войны бросил свой знаменитый лозунг «Война — войне», с ним были единицы, — вспоминала Надежда Константиновна. — И среди них была Инесса.

С этого момента она становится ближайшей помощницей Владимира Ильича. Это был очень важный момент в истории нашей партии. Большевизм выходил на международную арену. Роль Инессы в этом была очень значительной. Она участвует во всех международных конгрессах. Ее голос звучит на международной конференции женщин и конференции молодежи в 1915 году в Берне. Именно Инессе Ленин поручил выступить с докладом от ЦК на Международном бюро II Интернационала и отстаять большевизм...

В недавно опубликованных письмах Ленина к Арманд можно прочитать об этом выступлении: «Я в высшей степени рад за тебя и благодарен, что ты меня освободила от моих обязанностей в Брюсселе... Я тебе очень и очень благодарен за твою работу, столь неприятную и столь искусную»... «Ты лучше провела дело, чем это мог бы сделать я. Помимо языка, я бы в з о р в а л с я, наверное. Не стерпел бы комедианства и обзвал бы их подлецами. А им только того и надо было — на это они и провоцировали. У вас же и у тебя вышло спокойно и твердо». «...Чрезвычайно тебе благодарен...» «Я посылаю тебе тысячу благодарностей!! Задача твоя была трудной и... Гюисманс сделал все против тебя и нашей делегации, но ты отпарировала его выходки самым удачным образом. Ты оказала очень большую услугу нашей партии! Особенно благодарен тебе за то, что ты меня заменила».

— После февральской революции мы и в Россию вернулись вместе с Инессой, — закончила свой рассказ Крупская.

А дальнейшая ее такая короткая и яркая жизнь протекала уже на моих глазах.

Впервые я увидела Инессу Федоровну в Москве, когда она выступала на партийной конференции, защищая Апрельские тезисы Ленина. Помню, как прекрасен был весь ее облик: тонкие, словно точеные, черты; большие, с зеленоватым отливом, очень выразительные глаза; светлые пышные волосы. Стройная, выше среднего роста, она держалась на трибуне очень прямо.

Московская конференция происходила в решающие дни для нашей революции. Быть ли России буржуазной или пролетарской — так ставил вопрос Ленин в Апрельских тезисах: буржуазную революцию необходимо превратить в социалистическую.

Не все поняли этот всемирно-исторического значения прогноз. Для многих то, что утверждал Ленин, было еще малопонятной алгебранческой формулой. Особенно для тех товарищей, которые были оторваны от живой действительности многолетним тюремным заключением, ссылкой. Но Инесса прошла ленинскую школу, была свидетельницей того, как вызревали эти идеи и выводы в его мозгу. Не поддавалась она и влиянию товарищей, близких ей по эмиграции, которые пытались ее удержать от «скачка в неизвестное». Горячо и убежденно выступала она в защиту ленинских тезисов. Ее выступление, ее веские аргументы были не последней гирей на чаше весов, когда определялось решение конференции.

Чем дальше я узнавала Инессу, встречаясь с ней на советской работе — она работала в губернском Совете рабочих депутатов, а я в Московском Совете — и на работе в ЦК партии, тем больше я поражалась ее цельности.

При первой же встрече с Инессой бросалась в глаза ее скромность. Она сказывалась и в ее более чем скромном, поношенном, но всегда опрятном синем костюме, и в манере держаться, и в ее немногословности. Порой она даже казалась несколько скованной. Только тоненькое красное перышко на ее черной шляпе с большими полями как бы символизировало язычок того пламени, которое всегда в ней горело.

В 1919 году Инесса поехала с Д. З. Мануильским и Я. Х. Давтяном во Францию для переговоров по поводу обмена военнопленными. И сейчас нельзя без улыбки вспомнить, как много лет спустя Давтян (будучи уже советником нашего посольства в Париже) говорил с недоумением о некоторых странностях Инессы Федоровны. Оказывается, несмотря на их уговоры, она отказалась сменить обувь и свой поношенный костюмчик, считая это лишней тратой народных денег. Они же, зная буржуазные нравы «встречать по одежке», немедленно сменили в Париже свою одежду времен военного коммунизма на новую. Там даже острили на сей счет, что, мол, мужчины в Совдепии одеты прилично, но женщин своих они одевают в ветошь. Впрочем, вопрос о наряде Инессы Федоровны решился совершенно неожиданно. Клемансо, который был тогда у власти, узнав, что с комиссией приехала та самая большевичка Инесса Арманд, которая ухитрилась вести подпольную агитацию во время первой мировой войны среди французских войск, настолько испугался, что вообще лишил ее права свободного передвижения. Так вопрос о ее туалете отпал сам собой.

Вот эта ее скромность, ее равнодушие к своему внешнему виду лишь сильнее подчеркивали ее целеустремленность.

Вспоминаю также, как скромна она была в жизни, в быту.

Приехав в 1919 году с фронта в командировку за лекторами в Москву, я отправилась к Инессе Федоровне домой навестить ее. Она жила тогда на Манежной улице. Звонки тогда не действовали. Мне пришлось долго стучать — никто не открывал. Я уже стала спускаться по лестнице вниз, как вдруг щелкнул замок, дверь открыла Инесса. Оказывается, она больна. Дома никого нет, и ей пришлось подняться с постели. Я удивилась, что ее, больную, оставили одну. Инесса возмутилась:

— Дети работают, занимаются. Не должны же они из-за такой мелочи, как моя болезнь, манкировать службой или учебой. Я сама запретила им оставаться дома из-за меня.

Инесса горячо любила своих детей, но никогда, даже в голодные годы, когда все жаловались, она никогда ни словом не обмолвилась о них. Даже не все товарищи по работе знали, что у нее так много детей. Она гордилась своими детьми. Старший сын — Александр — уже был довольно крупным военным работником, старшая дочь — Инна — видным партийно-политическим работником. Младшая — Варвара — учи-

лась во Вхутемасе. Когда я однажды похвалила натюрморты дочери, висевшие в комнате Инессы, она с гордостью сказала:

— О, это уже пройденный этап. Варя теперь рисует куда лучше. Все некогда повесить новые ее работы.

А в Андрюше, самом младшем сыне, Инесса просто души не чаяла.

В квартире было холодно. Дом не отапливался. Комната имела неуютный вид. Только книги были аккуратно расставлены. Видно, их часто касалась рука Инессы. Инесса кашляла. Я хотела согреть ей чай. Мы долго шарили по полкам в поисках спичек — так и не нашли их.

Казалось бы, Инесса, которая росла в холе и довольстве, должна была особенно тяжело переносить лишения, неустройство быта. Но она их как бы не замечала.

Известно, что и Крупская и Ленин постоянно заботились об Инессе. Надежда Константиновна, по просьбе которой я писала свои воспоминания после кончины Инессы, ознакомившись с ними, прислала мне странное письмо, где, между прочим, писала по поводу этого места: «Я с болью читала эти строки, они точно упрек мне. Я всегда заботилась об Инессе и считала это своим долгом. Она была нашим близким другом. Я ее очень любила. Но она часто скрывала свое состояние. Все товарищи так истощены... К тому так много дела, что руки часто не доходят...»

Теперь опубликованы и записки Ленина, полные беспокойства о здоровье Инессы. Но как старый член большевистской партии, прошедший ленинскую школу, скромная и принципиальная во всем до мелочей, Инесса не допускала каких-либо привилегий для себя и предпочитала жить в тех же суровых условиях, в каких жило большинство рабочих и работниц в те напряженные годы. Этому она училась именно у Ленина. И, естественно, предпочитала скрывать от него и от Крупской свои лишения.

Но сама Инесса проявляла много заботливости и внимания по отношению к другим. Я знаю случаи, когда она бегала в секретариат ЦК хлопотать об обеде для машинистки, которую обделили при распределении талонов. Когда я однажды отправилась в дальнюю командировку, она мне притащила в салфетке где-то раздобытую снедь на дорогу.

Напрасно укоряла себя Надежда Константиновна... Очень занятая, сама больная, она всегда заботилась о товарищах, особенно об Инессе Федоровне, вплоть до мелочей.

Во время революции, бывая на съездах, конференциях, Надежда Константиновна всегда к концу заседания искала Инессу, чтобы отвезти ее домой на машине. Иногда Крупская просила меня: «Отыщите Инессу, она тут была и вдруг куда-то исчезла». Да, Инесса «исчезала». Ведь она хорошо знала, что сейчас вся аудитория, как один человек, поднимется и бросится за Лениным провожать его до машины. Она не считала для себя удобным шествовать рядом с ним в такие минуты.

* * *

В первые годы становления советской власти Инесса Арманд работала на самых разных участках государственного и хозяйственного строительства, но весь свой организаторский талант, весь жар своего сердца она отдавала воспитанию женских масс, которые Ленин призвал управлять государством.

Вернувшись с фронта, я работала вместе с Инессой Федоровной в Отделе по работе среди женщин при ЦК партии. Поразительна была ее работоспособность. Рабочий день ее длился шестнадцать—восемнадцать

часов. Она была членом МК, работала во французской секции Коминтерна. Она же была редактором «Странички работницы» — приложения к «Правде», и журнала «Коммунистка», автором брошюр, листовок. Чтобы писать, она убежала в Румянцевскую библиотеку (ныне библиотека имени В. И. Ленина), где — как она мне неоднократно жаловалась — было страшно холодно, не топили, приходилось писать в перчатках, но зато было тихо. Это было время, когда кончалась гражданская война.

В ту пору мы были очень бедны. Не было огромной сети детских садов, яслей, школ, бытовых предприятий, то есть всего того, что освобождало женщин от мелочных забот и домашнего хозяйства. И здесь Инесса сделала много не только словом, но и делом. Ей принадлежала идея избрания делегатов от работниц для участия в различных секциях Советов. Собрания женщин, на которых отчитывались эти делегатки, были прекрасной школой коммунизма. Делегатки фактически выполняли функции, которые выполняют теперь общественники. Работали они преимущественно в секциях, в которых сами были кровно заинтересованы, — общественного питания, охраны материнства и младенчества, народного образования, жилищной. Они вносили много инициативы и находчивости, помогали практически раскрепощению женщин. Разумеется, Инессе и делегаткам пришлось преодолеть много трудностей и прежде всего разбить недоверие к ним со стороны старых служащих, работавших в советском аппарате. Бывало, являются, к примеру, делегатки в жилищный отдел с требованием предоставить им облюбованный особняк для устройства детсада. А чинуша начинает их допрашивать: «Кто вы да что вы?» — «Мы делегатки!» — «А что это еще такое? Знать не знаю!» А они тогда: «А вот принесем мы тебе сейчас приказ от Инессы,образишь что к чему!» И дело шло на лад.

Много женщин, работниц и крестьянок, выдвинувшихся в те годы на общественную и государственную работу (Подчуфарова, Калыгина, Горева и другие), было обязано своим ростом Инессе. Она умело отыскивала народные таланты и сама их растила. Мало-мальски способных выступать она собирала со всех районов Москвы и учила их «делаться» агитаторами, пропагандистами. Инесса не была по своей природе агитатором-массовиком. Она была прекрасным лектором, пропагандистом и литератором. Но желание быть как можно ближе к массам заставило ее много работать над стилем своих выступлений. Она была врагом фразерства, позы, жеста, внешней аффектации. И так же, как Ленин, не любила оторванные от жизни утопии, мыльно-пузырные планы.

Вспоминаю, как, придя с одного большого собрания работниц, происходившего в помещении бывшего ресторана «Яр» (на Ленинградском шоссе), я сказала Инессе, что нам надо строить иначе нашу агитацию, выдвигать новые лозунги. Там, на собрании, после моего выступления и призывов к трудовой дисциплине одна очень истощенная, с ввалившимися глазами работница продемонстрировала принесенный из дому чугунок с почерневшими картофельными очистками, чтобы доказать, чем она питается и чем вынуждена кормить ребенка. Я предложила Инессе, чтобы мы в своих выступлениях развертывали красочные картины будущего, рисовали иной мир — мир мечты, чтобы хоть немного отвлечь их от окружающей мрачной действительности. Инесса пристально посмотрела на меня и спросила:

— А как вы себе представляете это прекрасное будущее, эти картины, которые хотите перед ними рисовать?

И я ей изложила все, что вычитала в утопиях социалистического толка. В ответ на это она мне сказала:

— Как хорошо, что вы все это выложили тут. Ни в коем случае не идите с этим в массы. Ленин учит нас: революция, коммунизм — это реальность, а не утопия!

* * *

По инициативе Арманд было решено созвать в 1920 году в Москве международную конференцию. Ее приурочили ко II конгрессу Коминтерна. Впервые после войны предстояло наладить связи с коммунистами разных стран. Из-за железного кордона — блокады, которой империалисты окружили молодую Советскую республику, — было чрезвычайно трудно поддерживать связь с товарищами. Коммунистические партии даже в таких странах, как Франция и Италия, еще только формировались. Клара Цеткин не могла прибыть к нам, и меня послали к ней в Германию. Крупская была очень занята на работе в Наркомпросе, Коллонтай хворала. Вся подготовка конференции легла на плечи Инессы. Составление тезисов, докладов, резолюций. Частые встречи с приехавшими делегатками, работа на пленарных заседаниях и комиссиях.

Как сейчас, вспоминаю торжественное открытие конференции. Это было 31 июля 1920 года в Большом театре. Задолго до открытия конференции весь партер и ярусы заполнили делегатки женского пролетариата. Огромное бабье царство. Бурное, всколыхнувшееся, как море, с всплесками алых кумачовых волн-косынок. Тут ткачихи с Цинделя, Трехгорки, кружевницы Ливерса, табачницы «Сиу», «Дуката», шоколадницы «Эйнама», швейницы бутырской фабрики, именующие себя «труженицами иглы». А сколько женщин в полушалках, домотканых шалих, в розовых кофтах навывпуск, с кружавчиками — по-деревенски — и в оренбургских платках. Это обитательницы бревенчатых домиков московских окраин — Крестьянской заставы, Пресни, это женщины из фабричных общежитий, казарм, бараков, из углов, огороженных ситцевой занавеской...

Потом все это огромное собрание, обсудив не только свои женские дела, но и проблемы международного значения, стоя поет:

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
А паразиты никогда...

У Инессы усталый вид, она мало спала. И беспокойство не покидает ее. Обеспечено ли все? Делегатки? Ораторы? Докладчики? И достаточно ли хорошо декорирована сцена? А делегатки успокаивают ее:

— Все хорошо. Вы нам только товарища Ленина обеспечьте...

Смертельно усталую Инессу Крупская и Ленин уговорили поехать отдохнуть и полечиться, благо Кавказ был освобожден. Мы направились в Кисловодск. Инесса Федоровна взяла с собой младшего сына Андрюшу.

У Инессы — подписанное Лениным обращение к железнодорожным властям оказывать ей содействие. Ведь тогда это был сложный и нелегкий путь в поездах с больными паровозами, по израненным гражданской войной путям.

И вот мы в Кисловодске.

В первые дни отдыха Инесса Федоровна чувствовала себя усталой и старалась уединиться. Помню ее высокую фигуру на фоне гор. С книжкой в руке она медленно поднимается все выше...

Здесь, на отдыхе, она как-то по-новому предстала передо мной. Ка-

кая разительная перемена произошла с нею с тех пор, как я ее увидела впервые. Напряжение, невероятная работа, которую Инесса взвалила на свои плечи, наложили свою печать на ее красивое лицо.

Правда, почти на всех отдохавших тогда в Кисловодске большевиках лежала печать истощения, физической усталости. Сказалось нервное напряжение первых лет революции. Рабочий Котов лежал неподвижно на койке, у него было горловое кровотечение. С ним не расставалась его жена Людмила Сталь, седая, с огромными выразительными глазами, очень живая, подвижная, — соратница Ленина и Крупской, одна из пионеров женского коммунистического движения. Она была вынуждена превратиться в сиделку и забросить свою работу. Старый большевик-рабочий Евсей Рихтерман заболел психическим расстройством и вскоре умер в одной из московских психиатрических больниц.

Санатории тогда были еще совершенно не оборудованы. В них не было самого необходимого, плохо было с питанием, не хватало мебели, постельных принадлежностей.

Крупская и Ленин были полны беспокойства об Инессе. Ленин телеграфировал Серго Орджоникидзе еще в день ее выезда: «Тов. Серго! Инесса Арманд выезжает сегодня. Прошу Вас не забыть Вашего обещания. Надо, чтобы Вы протелеграфировали в Кисловодск, дали распоряжение устроить ее и ее сына как следует и проследили исполнение. Без проверки исполнения ни черта не сделают.

Ответьте мне, пожалуйста, письмом, а если можно, то и телеграммой: «письмо получил, все сделаю, проверку поставлю правильно».

Серго лично знал Инессу Федоровну. Он, как неоднократно сам говорил мне, относился к ней с величайшим уважением. Ставил ее очень высоко. Ведь она его учила в партийной школе в Лонжюмо, где он был слушателем, как надо «читать и понимать «Капитал». Она же устроила его там на жилье в своей маленькой квартирке.

Серго Орджоникидзе, получив телеграмму от Ленина, поставил на ноги местных работников. Помню, партийные товарищи Кисловодска очень всполошились. Озадаченные, взволнованные, теребя в руках телеграмму, они явились ко мне, зная, что мы дружны с Инессой.

— Вот тут об Инессе Арманд... Подскажите, что надо делать, о чем позаботиться? Все сделаем... Ведь сам Ленин беспокоится.

Мы отправились к Инессе. Она жила с сынишкой в отдельном домике.

И там было неблагоустроено. Но Инесса, скромная, как всегда во всем, ответила, что ни в чем не нуждается, кроме как... в подушке. Понятно, ей притащили три подушки. Она оставила себе одну.

Но обстановка на Северном Кавказе не располагала тогда к отдыху. В горах засели банды белых. Нередко по ночам ревком по сигналу тревоги сиреной созывал всех коммунистов. Там снабжали нас винтовками, разбивали на отряды и посылали отбивать нападение белогвардейских банд.

Днем мы, как настоящие отдыхающие, играли в крокет¹, а вечером по сигналу тревоги брали винтовки и отправлялись в горы отбивать врага.

¹ Не могу забыть, как Андрюша — сынишка Инессы — присоединился к игре взрослых в крокет. Не будучи в силах, как взрослые, сильным ударом молота протолкнуть шар через ворота, Андрюша подталкивал его ногой. Мы, войдя в азарт, апеллировали к Инессе по поводу «маленького жульничества» Андрюши и нарушения им крокетных правил. Материнское сердце Инессы, которая следила за его игрой, сдавало, и она пыталась брать его под защиту. Но впоследствии, как только мы начинали играть, она поднималась и уходила, чтобы не проявлять пристрастия к сыну. (Андрей погиб на фронте во время Отечественной войны.)

Во время нашего отпуска на окраине Кисловодска были зверски убиты из-за угла два члена ревкома — Зенцов и Лонин. Тогда решено было объявить неделю террора, «прочесать» Кисловодск и выяснить, каких «тройских коней» оставили белые в городе. Сергей Герасимович Уралов, отдыхавший с нами, ответственный работник ВЧК, к которому обратились местные работники за помощью, составил список лиц, кого можно было мобилизовать из санатория. В этот список попала и я.

После недели «красного террора» я пришла к выводу, что я уже отдохнула вполне достаточно, и решила вернуться в Москву.

Инесса — человек дисциплинированный — осталась. Она доказывала мне, что «прервать, не использовать до конца отпуск и вернуться на работу неотдохнувшей — легкомыслие». И главное, она считала недопустимым «бросить путевку». Раз путевка выдана — надо ее использовать, ведь она пропадает, а другой, нуждающийся, уже не сможет ею воспользоваться. Все же я уехала. Мне и в голову не могло тогда прийти, что не увижу ее больше, что через два дня после моего отъезда Инессы не станет.

В последний перед отъездом вечер все собрались в гостиной, где стоял рояль, но было мало стульев. Мы долго упрашивали Инессу играть. Она согласилась неохотно. Но потом увлеклась. Лицо ее разрумянилось, шарф сполз с плеч... Она играла сонату Бетховена. Концерт Шумана. Рапсодию Листа... Я и сейчас еще вижу ее, словно живую, за роялем, слышу ее игру. Это была ее «лебединая песнь»...

* * *

И вот я в Москве. Снова погружена в привычные женотдельские дела.

В три часа ночи с 10 на 11 октября меня разбудил телефонный звонок.

— Сейчас с вами будет говорить товарищ Ленин, — сказала быстро телефонистка Кремля.

Не успела я спросонья сообразить, как в трубке прозвучал глухой, не совсем обычный голос Ленина:

— Простите, что вас разбудили... Сейчас на Казанский вокзал прибывает гроб с телом Инессы Арманд. Мы с Надеждой Константиновной уже едем. Вы готовы?

Я механически отвечаю:

— Да, сейчас.

Затем следует чисто ленинский вопрос:

— А вы не устали?

...Я только вернулась из Кисловодска, только рассталась с Инессой. Вечером, накануне моего отъезда, она играла на рояле... И вот надо ехать встречать ее гроб. Что же стряслось?

На следующий день после моего отъезда произошло неожиданное: разбитая армия белых, кажется генерала Хвостикова, решила сдаться. Спуститься с гор они могли только в Кисловодске. Но в его окрестностях создалась очень сложная обстановка из-за других банд. Обеспокоенный этим, Ленин еще в своей телеграмме просил Серго Орджоникидзе: «Очень прошу Вас, ввиду опасного положения на Кубани, установить связь с Инессой Арманд, чтобы ее и ее сына эвакуировать, в случае надобности, вовремя на Петровск и Астрахань или устроить (сын болен) в горах около Каспийского побережья и вообще принять все меры».

Инесса, разумеется, отказалась эвакуироваться, пока не вывезут из Кисловодска остальных отдыхающих. Местная власть вместе с прибывшей комиссией решила эвакуировать их в Нальчик. В числе эвакуированных была и Инесса. Направили их по Владикавказской дороге. Там было большое скопление беженцев из Грузии, где власть была в руках меньшевиков. Многие жители бежали из хваленного меньшевистского «демократического рая». Среди беженцев были случаи холеры. Эвакуация оказалась для Инессы роковой. Она заразилась в пути холерой, и в течение суток ее не стало...

Ночь. Мы на Казанском вокзале у траурного вагона, где стоит оцинкованный гроб... Здесь Ленин и Крупская, дети Инессы Федоровны, комендант Кремля Беленький и другие. Позже к нам присоединилась делегация московского и районных отделов работниц.

Гроб устанавили на траурный катафалк, в который были впряжены белые лошади, украшенные султанами и покрытые попоной. Колесница медленно двинулась в город.

На фоне рассветающего неба резко выделяются скорбные лица Надежды Константиновны и Владимира Ильича. Сосредоточенные и молчаливые, они провожают в последний путь своего близкого друга и боевого соратника.

На обратном пути, как мы все ни уговаривали Владимира Ильича сесть в машину, он ни за что не согласился.

— Пойду пешком за гробом,— сказал он так твердо, что возражать было бесполезно.

А путь был долог: от Казанского вокзала через всю Москву до Дома Союзов.

Владимир Ильич шел понуриив голову, поглощенный своими думами. Время от времени он поднимал слегка голову и, сощурив глаз, оглядывал обшарпанные дома Москвы, которые давно уже, с начала империалистической войны, не знали ремонта и продолжали разрушаться. Временами он вглядывался в осунувшиеся, исхудавшие лица, истощенные фигуры рабочих, служащих, случайно примкнувших к траурному шествию.

Светает. Рабочие и служащие спешат на заводы, учреждения. Они выходят еще затемно, чтобы успеть к началу работы. Идти далеко, трамваев нет. Вдруг, увидев эту скорбную процессию, пешеходы замедляют шаг, в недоумении останавливаются, вглядываются и шепотом удивленно спрашивают друг друга и нас:

— Неужели Ленин? Это он?

И тоже присоединяются к процессии. Толпа растет, растет. Они увидели Ленина и пошли за ним.

Не все еще из присоединившихся к нам в пути знали тогда, кто такая Инесса Арманд и каковы ее заслуги. С оттенком недоумения, а отчасти и любопытства они тихо спрашивают о ней.

Итак, Инессы нет... Она лежит в наглухо запаянном гробу в Голубом зале Дома Союзов. И никто не может даже посмотреть на это некогда прекрасное, одухотворенное лицо. Мимо шагают шеренги женщин, которых она взрастила и взлелеляла.

Все читают на атласных лентах венка прощальные слова: «Товарищу Инессе — от В. И. Ленина».

Гроб подняли и понесли к Красной площади.

Был ясный солнечный день ранней осени. Небо высокое, синее.

Звучит моцартовский «Реквием», «Похоронный марш» Шопена, соната Бетховена, которую Инесса часто играла раньше и которую так любил слушать Владимир Ильич.

А над ее гробом колыхались знамена, на которых начертано:

«Шагайте бесстрашно по мертвым телам, несите их знамя вперед»

«Вожди умирают, а дело живет...»

«Мы, женщины, гордо под знамя встаем,
из лавра венок тебе в память сплетем»

На трибуну Красной площади (где я проводила по поручению Отдела работниц при ЦК РКП(б) траурный митинг) поднимались товарищи — по партийной работе, по подполью, по революции 1905 года. Невский — со словом надгробным от ЦК партии. Коллонтай говорила о совместной работе среди трудящихся женщин России и на международной арене; Садовская — от питерских работниц, которых Инесса будила к новой жизни. А вот одна из тех, кого взрастила Инесса, — Анна Калыгина. Сжав свои большие рабочие руки, гневно потряхивая стриженной головой, плотная, крепкая, она выкинула вперед кулаки и, словно стальным молотом по наковальне ударяя, закончила речь:

— Не горевать пришли мы, работницы, сюда, а сказать, что ее дело будет жить и крепнуть.

Когда выступали старые ветераны партии и молодое поколение — ученицы Инессы, — Ленина не было. Он появился в последнюю минуту, чтобы проститься с другом. Он стоял с обнаженной головой, в наглухо застегнутом осеннем пальто у самого края свежевырытой могилы. Когда мы стали опускать гроб Инессы, Надежда Константиновна плакала, а он стоял прямой, суровый, неподвижный. Лицо его было гневным. В минувшем году здесь, у этой стены, он хоронил Свердлова, и вот теперь ушла Инесса...

После похорон я была у Крупской. Она спрашивала, и я рассказала, как Инесса отдыхала в Кисловодске... Ленин, слушая, вздохнул и сказал:

— В какое тяжелое время мы живем! Рядом падают буквально от истощения ближайшие друзья, товарищи, соратники, и мы бессильны им помочь. А на этот раз — как будто на отдыхе. Враг борется с нами не только пулей, штыком, а и эпидемией. На войне все средства хороши — *à la guегге, сomme à la guегге!*

Инесса похоронена у Кремлевской стены, недалеко от Мавзолея, где покоится Ленин, и от могилы Крупской.



Б. АЛЬБЕРТ-ПЛОЩАНСКАЯ

★

СТРАНИЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

... Я в Москве. Конец августа 1920 года. Тепло, пыльно, людно. Я иду в Деловой Двор, где после окончания II конгресса Коминтерна заседают комиссии. «Там Ленин», — сказали мне.

Мне нужен был Ленин. Только ему я могла передать послание, зашитое в воротнике моего платья. Товарищ Моисеев из Южного бюро Коминтерна, снаряжая меня в дорогу, внушал:

— Что бы с тобой ни случилось, береги это, довези в сохранности до Москвы и отдай лично товарищу Ленину. Смотри, чтобы наше послание не попало в чужие руки. Мы тебе доверяем, ты молоденькая, но храбрая, ты это доказала.

Эти слова наполнили меня гордостью.

Вот и Деловой Двор. Но не так-то легко было убедить сотрудников стола пропусков пустить меня к Ленину. Они отнеслись ко мне не только недоверчиво, но с явным подозрением. И не мудрено. Перед ними стояло странное существо неизвестной национальности — маленькое, щуплое, — говорившее на полуукраинском-полурусском языке с сильным иностранным акцентом. Измученное лицо с выбитыми передними зубами, грязная, изношенная до лохмотьев одежда. Кто она такая, эта девчушка? И зачем ей обязательно нужен Ленин?

Они потребовали, чтобы свое послание я отдала им. Я возмутилась:

— Как? Я была на фронте, а вы не доверяете мне! Нет, мне нужен лично Ленин. И только ему, и никому другому, я передам то, что привезла для него.

В этот момент из глубины коридора вышло несколько человек, и среди них, к моему счастью, Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская. Я хорошо знала их по фотографиям и бросилась к ним. Мне преградили путь. Тогда я крикнула изо всех сил:

— Товарищ Ленин, меня к вам не пускают!

Надежда Константиновна мгновенно встала так, что загородила собою фигуру Ленина, и обратилась ко мне спокойно и приветливо:

— Девочка, кто ты и что тебе нужно?

Но прежде чем я успела ответить, я услышала голос Ленина:

— Видно, что девочка очень устала. Надо накормить ее и дать ей отдохнуть. Потом она сама все расскажет. — Ленин подошел вплотную ко мне. — Как твоя фамилия?

— Площанская.

Ленин насторожился.

— А кто тебе Площанский?

— Отец.

— Где он? Он жив?

В его голосе слышалась тревога. Всем было известно, что в Одессе немцы поставили отца в числе других большевиков к стенке. Он спасся

чудом, благодаря немецкому солдату, который дал ему возможность бежать.

Владимир Ильич встречался с отцом еще в 1903 году в Лондоне. Отец работал тогда в Генеральной федерации профсоюзов. В 1917 году он вернулся из эмиграции в Россию и привез меня с собой.

— Жив, — ответила я.

— Надо сейчас же накормить девушку, — сказал Ленин.

Что было потом — не помню.

Вижу себя уже некоторое время спустя на подмосковной даче. Позднее я узнала, что нахожусь в Перловке, на даче врача Семашко, сына наркома здравоохранения. У меня тяжелое нервное заболевание: нагрузка подполья оказалась выше моих сил.

Сюда, на эту тихую дачу, меня привез врач Берковиц. Когда мы в первый раз вошли в комнату, предназначенную для меня, я подбежала к пианино, открыла крышку, нажала несколько клавиш и с удовольствием прислушалась к звукам. Доктор, конечно, обратил на это внимание. И всякий раз, когда он приходил ко мне, он, ничего не говоря, садился за пианино и играл. Играл он чудесно. Во всяком случае мне так казалось. Когда не было галлюцинаций, я и сама садилась за пианино и играла по слуху, нот я не знала. Доктор нащупал верный курс лечения.

— Играй, играй, — говорил он, — тебе станет легче.

Нервные приступы появлялись все реже и наконец совсем прекратились.

Через месяц доктор Берковиц привез меня к Надежде Константиновне Крупской. Владимир Ильич и Надежда Константиновна занимали тогда, как я помню, две скромные комнаты в Кремле.

Надежда Константиновна окружила меня поистине материнской заботой, в которой я очень и очень нуждалась. Рубцы на моей голове были еще болезненны. Каждое утро Надежда Константиновна сама причесывала меня и делала это нежно и осторожно. И сейчас вижу ее понимающее материнское лицо, склоненное надо мной.

Я жила в семье Ленина около двух недель. Владимира Ильича я видела ежедневно.

Как-то Надежда Константиновна сказала Владимиру Ильичу, что у меня нет одежды. Ленин ответил:

— Но я могу дать только один талон.

Дело в том, что многие иностранные товарищи, приезжавшие на конгресс Коминтерна зачастую нелегально, в большинстве своем нуждались в самых необходимых предметах одежды. Существовал такой порядок, что каждый делегат получал один талон на костюм или платье и один на обувь. И хотя я не была делегатом, Владимир Ильич, видя мою нужду, дал мне то, что получали иностранные товарищи, то есть талон на платье и талон на обувь.

Вручая мне талоны, Ленин, улыбаясь, сказал:

— Могу дать тебе практический совет. Ты у нас такая маленькая, выбери самое большое платье, из него можно будет сшить два. Вот у тебя и будет два платья.

Я отправилась на склад. У меня глаза разбежались. Дома мне никогда не покупали ничего нового. Мать перешивала для меня одежду моих старших сестер. И вдруг я могу взять то, что моей душе угодно. Я долго выбирала. Помня совет Владимира Ильича, я наконец остановила свой выбор на громадного размера шелковом коричневом платье и... изящных туфельках на французском каблуке. Мне вдруг захотелось иметь красивые вещи. Я нисколько не думала о практичности и целесообразности своих обновок.

Надежда Константиновна посмотрела на игрушечные туфельки и, стараясь скрыть улыбку, сказала:

— Какие красивые!

Она пропустила меня в комнату Ленина, а сама осталась в столовой. Владимир Ильич лукаво поманил меня пальцем.

— Иди, иди, покажи, что ты там выбрала.

Тут я почувствовала, что что-то неладно. В нерешительности я остановилась в дверях с пакетом под мышкой. Когда я разложила перед Владимиром Ильичем свое богатство, он подержал в руках туфельки, посмотрел на каблуки, потом на меня и сказал:

— Надень эти туфли и пройдишь по комнате.

Впервые в жизни я надела туфли на каблуках.

— Как ты будешь ходить в них по улице? Ты подумала об этом? Платье хорошее, большое, из него вполне можно сделать два. Но оно шелковое!

Вмешалась вошедшая Надежда Константиновна:

— Она ведь такая молодая. И, наверное, она никогда не видела и не носила красивых вещей. Не надо было пускать ее одну. Но ничего! Мы что-нибудь сделаем!

И действительно, совместно с женщиной, которую я часто там видела, Надежда Константиновна сшила мне из моей коричневой шелковой обновки платье, блузку, ленту для волос и сумочку. А через несколько дней откуда-то появилось еще и скромное темно-синее шерстяное платье, которое я носила с красным галстуком. Простые удобные ботинки мне достались от мальчика (не помню его имени), который часто приходил к Надежде Константиновне и Владимиру Ильичу и которого я жестоко к ним ревновала.

Когда шелковое платье пришло в негодность, я долго хранила лоскутья, как дорогую память.

В комнате Ленина против его рабочего стола стоял у стены небольшой деревянный диванчик на довольно высоких ножках. Несколько раз я тайком забиралась под этот диванчик до прихода Владимира Ильича, чтобы оттуда беспрепятственно смотреть на него. Это было, конечно, утомительно и неудобно, и однажды я каким-то движением выдала себя. Владимир Ильич со своей обычной лукавой и ласковой улыбкой поманил меня пальцем:

— Ну-ка выходи! Ты долго там сидишь? Странное место для отдыха ты себе выбрала.

Я не нашла, что ответить. Вылезла из-под дивана и подошла к столу. Владимир Ильич обнял меня за плечи, ласково притянул к себе и сказал:

— Не смотри на меня такими глазами, как верующие на икону. Когда ты так смотришь на меня, я сразу чувствую все свои недостатки. Есть среди большевиков более опытные, более образованные, но богов у нас нет. Помни это.

Это было сказано так серьезно и одновременно так по-родному, что запомнилось на всю жизнь.

Вскоре в Москву приехал отец, прибыла и мать. Я стала жить с родителями в Четвертом доме Советов на углу Моховой и Воздвиженки (теперь проспект Маркса и улица Калинина).

К тому времени я окрепла, и мне уже можно было работать.

Отец повел меня к Ленину в Исполком Коминтерна, который помещался тогда в Денежном переулке, № 5 (ныне улица Веснина). Владимир Ильич сказал, что оставит меня в Исполкоме Коминтерна:

— Она останется у нас. Нам нужны верные люди, знающие иностранные языки.

В Исполкоме Коминтерна, а потом в Исполкоме МОПРа я работала на протяжении семнадцати лет, до декабря 1937 года.

Сначала я работала в Информбюро. Тогда я еще не могла ни переводить, ни как следует печатать на машинке, но достаточно понимала по-русски, чтобы обслуживать иностранных товарищей, приезжавших в Коминтерн. Я быстро освоилась. Недаром я выросла в среде, где говорили на разных языках.

В конце 1921 года меня перевели в пресс-бюро Коминтерна.

У товарища Ленина был в здании Коминтерна свой кабинет, и Владимир Ильич иногда бывал на наших собраниях.

Однажды в нашем Красном зале происходило какое-то собрание. Только оно началось, как вдруг раздались приглушенные хлопки. Я обернулась и увидела Ленина, который вошел с запасного входа. Он делал знаки, чтобы не хлопали, и тихо сказал:

— Вы меня зарезали. Я же опоздал на целых пять минут!

Выступая в прениях и внося какое-нибудь предложение, он обычно говорил: «Товарищи, что если мы сделаем так...» или «Давайте попробуем так, по-моему, это будет неплохо».

Иногда после работы Владимир Ильич играл с нашими сотрудниками в городки в маленьком дворе за домом. Он любил эту игру и играл всегда с увлечением. Однажды я стояла в стороне и наблюдала за игрой. Через некоторое время Владимиру Ильичу нужно было уйти. Оглядываясь, кого бы поставить на свое место, он подозвал меня:

— Иди-ка попробуй! Это хорошая русская игра. Видишь эту фигуру? Представь себе, что это белогвардейская кокарда,— и бей!

Во время голода 1921 года сотрудники ИККИ, как и все тогда, жили на скудном пайке. Обедали мы все вместе, за простым, некрашеным, но добела отструганным столом. На одном конце длинного стола было место товарища Ленина.

Наш обед нередко состоял из одних сушеных картофельных очистков. На первое из них делали суп, на второе что-то вроде жиденького пюре. Мы с трудом глотали эту невкусную пищу, иногда даже не присоленную. Зато хорошей приправой к ней служили бесчисленные шутки и остроты. Ленин весело смеялся. О нас и говорить нечего. Наши более чем скудные обеды проходили зачастую так весело, что мы возвращались на работу довольные и как будто сытые.

Исполком Коминтерна, как уже говорилось, находился в те годы в Денежном переулке и занимал двухэтажное здание. Этажи соединялись узкой винтовой лестницей.

В тревожные дни Кронштадтского восстания сотрудникам поручили перенести архив ИККИ в другое помещение. Я тоже участвовала в этой работе. Как-то, спускаясь по лестнице с грудой больших и тяжелых папок, заняла весь проход. В это время навстречу мне поднимался Владимир Ильич, и мы не могли разойтись. Он взял у меня из рук папки и с улыбкой сказал:

— Что делает такая маленькая девушка с такими большими папками?

Мы вместе пошли обратно вверх, и, отдав книгу работникам архива, Владимир Ильич сказал:

— Напрасно вы даете этой слабенькой девушке такие тяжести.

Кто-то сказал:

— Она сама взяла.
— Да, но ведь наш долг беречь людей, да еще таких...— заметил Ленин.

В дни Кронштадтского восстания меньшевики подняли головы. Они без конца митинговали на предприятиях, в частности на заводе «Каучук» и на текстильной фабрике «Красная роза», находившихся в нашем районе.

На собрании сотрудников ИККИ с участием товарища Ленина мы обсудили создавшееся положение и разработали ряд мероприятий. В частности, некоторым нашим сотрудникам, в том числе отцу, выдали винтовки, и они должны были нести дежурства на заводах. Я исполняла обязанности связного.

На том же собрании мы единогласно постановили отказаться от своих пайков в пользу рабочих. Мы избрали из своей среды хозяйственную комиссию, которая систематически ездила в деревни и приобретала у крестьян путем обмена картофель, морковь, молочные продукты.

Однажды в качестве особо редкого и ценного «трофея» привезли ведерный бочонок сметаны. На собрании решили распределить сметану между детьми сотрудников и больными товарищами. При дележке кто-то принес небольшой эмалированный кофейник, и мы, с одобрения Надежды Константиновны, решили дать этот кофейник, наполненный сметаной, Ленину как больному товарищу. Но Владимир Ильич категорически отказался.

— Я не ребенок и не больной.

Сколько мы его ни уговаривали, он настоял на своем.

— Ни за что не возьму.

Злополучный кофейник несколько раз кочевал из кабинета Ленина в комнату месткома и обратно. Куда он в конце концов девался — я не помню, но Владимир Ильич его так и не взял.

Вспоминаю еще такой эпизод. Нэп. Я пришла в гости к Надежде Константиновне. Владимир Ильич вернулся домой и стал расхаживать по комнате, насвистывая что-то. Он любил свистеть. По его свисту Надежда Константиновна безошибочно узнавала его настроение. В тот день она поняла, что он чем-то недоволен. Тут же выяснилась причина.

— Надя, я попал в «хорошее общество».

И Владимир Ильич рассказал, что, возвращаясь домой пешком по Арбату, он увидел в витрине частной мясной лавчонки свой портрет.

Ленин, конечно, ничего не имел против мяса и мясных изделий, но он не любил, когда портреты его выставлялись.

Прошло два трудных года. Настал 1923 год. В Кремле заседал расширенный пленум Коминтерна. Ленин, больной, уже не принимал в нем личного участия. Он и Надежда Константиновна жили в той же маленькой квартирке в Кремле.

Ежедневно после окончания работы делегаты и сотрудники ИККИ, в том числе, конечно, и я, прежде чем идти домой, отправлялись гурьбой под окна квартиры Ленина и кричали каждый на своем языке: «Ленин! Ленин! Покажись нам!»

Ленин уже знал нашу привычку, он поднимался, улыбался нам, махал рукой. Потом сразу чьи-то руки оттягивали его. В окне появлялась медсестра и делала нам знак уходить. Мы и сами знали, что нельзя утомлять его.

Так я и видела живого Ленина в последний раз.

Утром 22 января 1924 года я была у родителей на Малой Бронной, и мы сидели за завтраком. Раздался звонок. Все удивились столь раннему посещению. Я хотела пойти открыть дверь, но отец отстранил меня и пошел сам. Вернулся он медленно, с трудом передвигая ноги. Сел, положил руки на стол и сказал еле слышно:

— Всё!

Мать и я, конечно, сразу поняли, что означает это «всё». Мы неоступно думали о Ленине и как будто были готовы ко всему. И все же удар застал нас врасплох. Несколько минут прошло в полном молчании, потом я вскочила, лихорадочно оделась и выбежала на улицу. Еще на лестнице меня нагнал отец, и мы помчались в Исполком Коминтерна, к своим близким товарищам.

Зал заседаний набит до отказа. Все стоят, тесно прижавшись друг к другу. На трибуну поднимается комсомолец, кажется, Коля Ребров. В руках у него листок с черной каймой. Он делает попытки прочитать его, сказать что-то, но голос отказывается служить, и все понимают, что скорбное молчание красноречивее любых слов.

Вошла Мария Ильинична. Я бросилась к ней и зарыдала.

Вдруг кто-то запел тоненьким дрожащим голосом «Вы жертвою пали»... Несколько человек подхватили траурный мотив, но голоса оборвались плачем.

Не помню, как мы разошлись. Это собрание оставило в моем сердце рубец на всю жизнь.

Отца пригласили в почетный караул у гроба Ленина. На открытке рукою Надежды Константиновны было приписано карандашом: «Возьмите с собою дочку».

В Доме Союзов меня ослепили бесчисленные знамена и яркий свет. Надежда Константиновна то ходила взад и вперед около гроба, то садилась, не отводя глаз от лица Ленина.

Несколько раз я становилась рядом с отцом в почетном карауле. Кто-то хотел отстранить меня, но Надежда Константиновна сказала: «Пусть стоит». Потом мне стало дурно, и меня увели. На похоронах я не могла присутствовать, так как заболела.



ДЮЛА ИЙЕШ

★

ИЗ ЛИРИКИ

С венгерского

КОГДА Я В МИР ЯВИЛСЯ...

Не замер мир от удивленья,
когда я в мир явился вдруг.
То было в день поминовенья
усопших,
в день, когда вокруг
чадят зажженными свечами
и, горький их вдыхая чад,
живые, полные печали,
над погребенными молчат;
когда с холмов, с дорог окольных
струится свет, как от костра,
и от рыданий колокольных
печаль особенно остра...
Я вижу край холма покатый
и у подножия его,
в долине, домик небогатый,
где ждут рожденья моего,
где мать моя ломает руки,
пока свершается обряд
поминовенья, и в округе
огни печальные горят.
Превозмогая рокот медный,
ко мне доносится на миг
тот торжествующе-победный,
родившийся в долине крик.
Туда, к печальной этой тризне,
где свеч колеблется огонь,
спешит поднять
комочек жизни
долины теплая ладонь.

ДОБРЫЙ МАЙ

Он растопил на реках лед.
Вчерашний снег сгребает в кучу.
Он проплывающую гучу
за вымя теплое берет.

И звонкой влаги благодать,
как молоко в подойник, бьется.
И пьет земля, и не напьется,
но глядь — и тучки не видать.

По лужам скачет детвора.
Но тучка новая над крышей
уже стоит коровкой рыжей —
и снова дождь как из ведра.

А ночью звезды так густы,
и, споря, как стихи и проза,
стоят над кучами навоза
сирени дымные кусты.

РАНЕННЫЕ

Когда, грустя о чем-то и скорбя,
вздыхала ты — я становился весел
настолько, чтоб мой смех уравновесил
тревогу, охватившую тебя.

А в сумерках, в печальной тишине,
когда я загрустил и нос повесил —
смеялась ты, чтоб смех твой перевесил
тоску и грусть, пришедшие ко мне.

Мы были — как песочные часы.
Два сердца — словно точные весы —
стремились к равновесью непременно.

Я так спасал тебя, а ты меня.
Два раненых солдата, из огня
друг друга мы несли попеременно.

СНЕЖНОЕ ВОСПОМИНАНЬЕ

Ах, поросенок бедный мой,
тебя мы слопали зимой.

И те, кого ты обожал,
к кому навстречу ты бежал,

визжал, подпрыгивая, — все ж
тебе всадили в шею нож:

что делать — кончились корма,
а на дворе уже зима,

и тщетно пробовала мать
тебя за ухо поднимать.

И вот теперь она сама,
тебе носившая корма,

тебя чесавшая, любя,—
держала за ногу тебя.

Я под периною лежал,
и я слышал, как ты визжал.

Прижавшись к брату, я дрожал,
я уши в ужасе зажал

и думал: «Бедный, как орет,
и, верно, скоро наш черед!..»

Потом я весело глядел,
как под тобой огонь гудел,

и больше не переживал,
когда я хвостик твой жевал —

а хвостик твой дымком пропах,
и он хрустел в моих зубах.

ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ

Нас не сегодня обвенчали
с тобой, гроза!
Любой беде, любой печали
смотрю в глаза.
Хоть кожу пламенем задело —
в мой век прямой
пусть мыслит все-таки не тело,
а разум мой.

Чтоб, глядя вдаль, где плотно сбиты
годов ряды,
стать выше собственной обиды,
своей беды,
и все, чем мы с тобой страдали
вчера, мой друг,—
как бы из той далекой дали
увидеть вдруг.

Мне век предоставляет слово —
да, я в долгу.
Но, им воспитанный сурово,
ему не лгу.
И хорошо в нем или плохо
устроен я —
но он мой век, моя эпоха
и жизнь моя.

Мне высока его вершина,
но будь что будь! —
я снова — ржавая машина —
пускаюсь в путь.

Но я кладу спокойно руку
на тормоза:
давай, История, друг другу
глядеть в глаза!

Тебя трясло, тебя ломало —
то ров, то яр.
Но в жизни видывал немало
и ты, мадьяр.
И ты гляди не до порога —
гляди в века:
как далека твоя дорога,
как далека!

Ты голод знал, ты помнишь беды
лихих годин.
Но от беды и до победы —
лишь миг один.
И все светлее кромка неба —
там жар течет,
как будто солнце горы хлеба
тебе печет!

Перевел Юрий Левитанский.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*

26

В 1950 году был образован Комитет для присуждения Сталинских премий «За укрепление мира», в него вошли Арагон, Го Мо-жо, Андерсен-Нексе, Келлерман, Бернал, Дембовский, Садовяну, Неруда, Фадеев и я; председателем Комитета стал Д. В. Скобельцын.

Среди награжденных в первый же год рядом с Жолио-Кюри была вдова Сун Ят-сена, госпожа Сун Цин-лин. В сентябре 1951 года я поехал в Китай вместе с Пабло Нерудой, чтобы вручить ей премию. С нами поехали жена Пабло, Делия, и Люба. До Иркутска мы ехали поездом — Пабло хотел хотя бы из окна вагона увидеть Сибирь. Мы остановились в Иркутске, встретились там с писателями. Неруде захотелось поглядеть на Байкал — он говорил, что мечтал об этом еще в молодости. Мы поехали на ихтиологическую станцию; нам показывали диковинных глубоководных рыб. Пабло потребовал, чтоб ему дали их попробовать. К счастью, в зажаренном виде трудно отличить виды рыб, и Неруда ел с аппетитом, конечно, не те диковины, которые плавали в аквариуме.

Вразрез с выбранным мною правилом я хочу написать о Пабло Неруде и о некоторых моих похождениях, связанных с ним. Кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых: я боялся обидеть или причинить неприятности. Однако Пабло Неруда стал легендарной фигурой, о нем написаны десятки романтических книг. Я хочу рассказать о другом Пабло, которого видел не на сцене истории, а в обыкновенных комнатах: в Мадриде, в Париже, в Праге, в Москве, в Пекине, в Вене, в Сант-Яго, в Исла-Негра.

Последняя часть этой книги может показаться чрезмерно печальной: старость, как издавна говорят, не радость, да и время — с 1945-го по 1953-й — вряд ли кто-нибудь назовет веселым. Я больше буду говорить о причудах Неруды, нежели о его замечательной поэзии, — мне хочется улыбнуться, вспоминая дни, проведенные с Пабло, может быть, со мною улыбнется и читатель.

Познакомился я с Нерудой в 1936 году в Мадриде. Обычно то время называют переломом в жизни и в творчестве поэта. Мне кажется, что «переломы» редкая вещь. Неруде тогда было тридцать два года, характер его успел сложиться, писать стихи он начал рано и в одной из первых книг «Двадцать стихотворений о любви и одно об отчаянии» не только нашел себя, но и показал высокое мастерство; он писал тогда: «Облака, как белые платочки расставания, ими размахивает путник-ветер, и сердце ветра колотится над нашим молчаньем любви». Неруда и тридцать

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2. 3 с. г.

лет спустя писал о ветре, о любви, о разлуке. В 1936 году поэзия Неруды расширилась. Он был тогда чилийским консулом в Мадриде; к нему приходили друзья — Гарсия Лорка, Альберти, Эрнандес. Вдруг на город начали падать фашистские бомбы. «И по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей». Он написал тогда книгу стихов «Испания в сердце», я ее перевел на русский язык. Мы подружились, а вскоре расстались на десять лет.

В годы войны Неруда был консулом в Мехико. Я прочитал его стихи, посвященные Сталинграду. Потом мне прислали сборник моих военных статей, который вышел в Мексике с предисловием Неруды: Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. Тогда-то Неруда стал коммунистом. Вернувшись в Чили, он писал стихи, выступал на собраниях; о нем узнали рабочие Сант-Яго и Вальпараисо, незнакомые с поэзией.

Предстояли выборы президента. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Виделы, который клялся, что проведет аграрную реформу и защитит права рабочих. Неруда уговаривал избирателей голосовать за Виделу. Новый президент вскоре забыл свои обещания. Здесь-то началась эпопея Неруды, которая, наверно, известна всем читателям: он был обвинен в государственной измене и после этого, в начале 1948 года, явился на заседание сената, где публично обвинил в измене президента республики. Поэту пришлось скрываться. Он продолжал писать — работал над книгой «Всеобщая песнь». Я рассказывал, как он появился на Парижском конгрессе.

Неруда любит Уитмэна не только потому, что многому у него научился, но и по внутреннему родству — это поэты одного континента. О столь распространенной теме, как мир, Неруда писал иначе, чем европейские поэты: «Мир наступающему вечеру, мир переправе и мир вину, мир словам, которые меня ищут и которые в моей крови, как очень старая песня, мир городу утром, когда просыпается хлеб, и мир рубашке моего брата...»

С тех пор Неруда написал десятки книг, изъездил десятки стран, узнал подлинную славу, однако он не изменился. Когда я его встречаю после нескольких лет разлуки, мы сразу начинаем говорить о сегодняшнем дне.

Я согласен с теми, которые говорят, что Неруда внешнею напоминает статую Будды, если бы ее высек из камня древний инка. (Боги инков, однако, сердитые, а Пабло благодушен.) Хотя его биография изобилует бурными событиями, он любит, да и всегда любил, покойфовать, побеседовать о пустяках или подумать о серьезном. Он производит впечатление Будды флегматичного, даже ленивого, а написал столько, что диву даешься. Многие его стихи очень громкие, но разговаривает он тихо, и голос у него не трибуна, а скорее обиженного ребенка. Его друг, чилийский депутат Балтасар Кастро, хорошо показывает Пабло. Он рассказал мне, как в начале их знакомства Неруда позвонил, чтобы сообщить о счастливом разрешении какого-то спорного дела; будто издали раздался голос, полный скорби: «Балтасар, победа!..»

Неруда — страстный коллекционер, собирает он различные вещи, но главным образом — огромные деревянные статуи, украшавшие носы парусных кораблей, и крохотные морские ракушки. В его доме в Исла-Негра на берегу Тихого океана — старинные компасы, песочные часы, морские карты. Китайский поэт Ай Цин, побывавший в этом доме, спросил Пабло, кем он себя считает — матросом или капитаном. Пабло ответил: «Я — капитан, но мое судно затонуло». Это было поэтической фантазией: никогда я не видел корабль Неруды не только тонущим, но потерявшим управление. В одном из музеев Китая Пабло увидел ракушку, которой у него не было. Он столько о ней говорил, что радушные хозяева

подарили ему редкий экспонат. Пабло голосом, полным прискорбия, однако, счастливо улыбаясь, часа два рассказывал мне о ценности полученной им ракушки. В Китае он покупал в игрушечных лавках тигров из папье-маше. Тигры были неопиcуемо свирепыми, и вместе с тем на них нельзя было глядеть без улыбки. (Мы тогда не знали, что десять лет спустя китайцы будут называть американский империализм «бумажным тигром».)

Неруда — человек чрезвычайно общительный. В Праге, когда бы я ни пришел к нему, в его комнате сидели или стояли люди: чилийские коммунисты, чешские поэты, разноязычные журналисты. В Сант-Яго я и Люба жили в доме Пабло, и нам казалось, что мы живем на площади. Как-то я захотел днем переодеться, но от этой затеи пришлось отказаться: все время в комнату заглядывали почитательницы поэзии Неруды. Обедало у него ежедневно человек пятнадцать — двадцать. Однажды он тихо спросил меня: «Ты не знаешь, кто это — последний налево от тебя?..»

В Чили я поехал по просьбе Неруды летом 1954 года: я должен был вручить ему премию мира. Я радовался, что увижу Латинскую Америку. Дипломатических отношений у нас с Чили не было, но визы дали мне и Любе. Я думал, что поездка будет идиллической. В то лето чилийцы праздновали пятидесятилетие Неруды. Да и «холодная война» шла на убыль. За два месяца до того в Париже я вручил премию Пьеру Коту, все было торжественно, пришли депутаты различных партий.

Я забывал, что до Чили далеко — мы летели из Стокгольма сорок восемь часов; это было в августе, а там была зима. В Чили еще стояла «холодная война». На аэродроме Сант-Яго полицейские с любопытством, но вежливо повертели наши паспорта, таможенники взглянули на раскрытые чемоданы, и мы уже шли в зал, где нас ожидали Пабло, Делия и Жоржи Амаду, приехавший на юбилей, когда неожиданно появились настроенные по-боевому чины особой полиции, почему-то именовавшейся «международной». Они начали яростно выбрасывать наши вещи из чемоданов. Из моего портфеля забрали все; я попытался отстоять диплом, который должен был вручить Неруде, но один из полицейских, обладавший мускулатурой боксера, так стиснул мои руки, что я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Золотой медали, к счастью, не нашли — она была в сумке Любы; падали она в руки начальника полиции, он ни за что не вернул бы ее: это был человек нечистый на руку, и вскоре его арестовали за махинации с каракулевыми шкурками.

На аэродром приехал председатель парламента Балтасар Кастро, но перед «международной полицией» и он оказался бессильным. Неруда повез нас к себе, затопил камин, что делал редко, и начал рассказывать, какие чудесные вещи мы увидим в Чили.

На следующий день все газеты были заполнены моими фотографиями. Полиция сообщала, что я пытался провезти грампластинки с секретными инструкциями компартия Чили и других стран Латинской Америки, шифрованные обозначения ячеек и пять миллионов песо. Последнее министерство юстиции тотчас опровергло, испугавшись, что ему придется вернуть деньги, которых полицейские не могли отобрать — их у меня не было. Не было и грампластинок ни с тайными инструкциями, ни с народными песнями. Шифрованными документами были объявлены записка с латинскими названиями некоторых растений — я надеялся раздобыть семена на их родине, и французские кроссворды, которые я решал в самолете.

Началось нечто невообразимое. Однажды ночью дом Неруды закидали петардами, пожар быстро погасили. В другую ночь мы проснулись от криков. «Здесь даже выспаться не дадут», — сказала Люба и тотчас

заснула. Утром мы узнали, что к дому подъехала установка с громкоговорителем, разбудившим всю улицу. Садовник Неруды увещевал: «Как вам не стыдно народ будить?..» Один из крикунов, говоривший по-испански, ответил: «Мы через пять минут кончим и уедем». В газетах я прочитал, что русские, специально прилетевшие из Нью-Йорка, предлагали мне «выбрать свободу» и улететь с ними в Соединенные Штаты, ибо «красные» не простят мне «Оттепели», что они зывали к Любе: «Спаси Илью и себя!», что Люба хотела было спрыгнуть со второго этажа, но ее удержали «два гиганта-чекиста». Газеты напечатали все это, хотя Сант-Яго небольшой город и дом Неруды известен всем, а он одноэтажный.

Стены города покрылись надписями: «Эренбург, убирайся домой!», «Чили — да, Россия — нет». Газеты сообщали, что я в Москве повесил много непонимных. «С Эренбургом приехала опытная чекистка, ее кличка «Люба». Наверно, большое впечатление на читателей произвело сообщение, что Неруду русские называют «Епида» — так журналисты прочитали фамилию, напечатанную в дипломе и по-русски.

На неделю я стал самым популярным человеком в Сант-Яго. Друзья советовали мне сидеть в бесте — фашисты хотели меня избить. Все же я уезжал в город (дом Неруды на окраине) иногда с Пабло, иногда с кем-нибудь из его приятелей. С Пабло я пошел в рабочий квартал. Охранял меня шофер, час спустя он взмолился: «Если мы пойдем дальше, у меня будет разрыв сердца...» Рабочие меня узнавали и кидались меня обнять, а шофер каждый раз пугался — уж не фашисты ли?..

Казалось, все потеряли голову. Только Пабло сохранял полное спокойствие, писал стихи, после обеда спал, рассказывал забавные истории. Он говорил, что, конечно, не ждал таких событий, однако ничего удивительного нет — янки распоряжаются тут, как у себя дома, вскоре это кончится, тогда я смогу снова приехать, он мне покажет Вальпараисо, юг Чили, и я пойму, что нет страны прекраснее.

Я связался по телефону с нашим послом в Аргентине и попросил его передать в Москву о моем положении. Дня три спустя Юнайтед Пресс сообщило, что московские газеты пишут о «самоуправстве чилийских властей». Чилийское правительство поняло, что переусердствовало. Кроме того, я с Нерудой отправился к послу Аргентины, которому после разрыва дипломатических отношений между Чили и Советским Союзом было поручено защищать интересы советских граждан. Мы были первыми, потревожившими посла; он признался, что запросит Буэнос-Айрес, сказал, что он поклонник поэзии Неруды, а на меня глядел с интересом, но и с опаской. Потом он сообщил Пабло, что был у престарелого президента Чили, который заинтересовался тем, что я хотел купить семена некоторых сортов бегонии, и сказал, что это может стать началом торговых отношений между двумя государствами.

Однажды в дом Неруды пришли двое посетителей. Пабло не было, а друзья, проводившие все время у Неруды, приняли их за незнакомых читателей. Тогда пришедшие сказали, что хотят поговорить со мной, и показали полицейские удостоверения. Оказалось, они принесли мне диплом. Папка была в ужасном виде — газеты писали, что ее подвергали различным химическим анализам. Когда Пабло вернулся, я показал ему диплом. Он улыбнулся и грустно сказал: «Я тебе говорил, что мы победим...»

Нужно было организовать церемонию вручения премии. Это было нелегко — фашисты грозились, что примут меры. Мы собрали военный совет — пришли и коммунисты, и Балтасар Кастро, и чилийские писатели, и, конечно же, Жоржи Амаду. Зал мы сняли в большой гостинице, но как обеспечить порядок? Мы решили, что центр города на один вечер

оккупируют студенты. Однако коммунисты, подумав, решили, что этого мало, и к студентам добавили несколько тысяч рабочих.

Все прошло спокойно. Зал был набит. Выступали и писатели, и политические деятели разных партий. Один старый писатель, забыв, что чувствуют Неруду, а не меня, начал медленно по-русски считать: «Один... Два... Три... Четыре...» Он хотел этим высказать свое уважение к русским. Я увидел, что Жоржи корчится, сдерживая смех, а Пабло слушал вполне серьезно. Потом он произнес вдохновенную речь. Известный актер продекламировал монолог «О вреде табака» Чехова.

Накануне нашего отъезда я устроил ужин в честь лауреата. Среди приглашенных оказались два министра — юстиции и информации, первый за пять дней до того объявил, что меня будет судить чилийский суд, второй ежедневно снабжал прессу фантастическими историями. Было много вина, и министр юстиции, развеселившись, произнес тост — просил меня не смешивать правительство Чили с полицией.

(Посол Аргентины дал нам визы, и мы провели несколько дней в Буэнос-Айресе, где жили в то время наши давние друзья — Рафаэль Альберти и Мария-Тереса Леон. Нас пригласили аргентинские писатели. Мы разговаривали стоя: нам объяснили, что сидеть нельзя — тогда прием может быть причислен к собраниям, а таковые строго запрещены. В последний день мы возвращались с прогулки, вместе с нами был секретарь посольства. Аргентинские друзья нам показали красивые окрестности города, и мы запоздали, а я обещал рассказать сотрудникам посольства о живописной истории, происшедшей со мной в Чили. Мы выскочили из машины, когда раздался грохот: напротив посольства — крутая улица, оттуда двое исчезнувших людей спустили на нашу машину «пикап». Посольскую машину исковеркали, а мы остались невредимыми только потому, что, торопясь, действительно не вышли, а выскочили.)

Все это относится к 1954 году, но если откинуть некоторые живописные подробности, то это — картины «холодной войны», о которой я рассказывал в предшествующих главах. С тех пор прошло десять лет, многое изменилось и в мире, и на родине Неруды. Недавно в Чили ездили советские писатели, и М. И. Алигер рассказывала, как их там радушно принимали.

Пабло Неруде недавно исполнилось шестьдесят лет. Одно из его стихотворений называется «Прошу тишины», в нем он просит: «А теперь оставьте меня в покое. А теперь обойдитесь-ка без меня...» Однако неделю или месяц спустя он снова кидается в море жизни. Он объясняет, почему смог выдержать горечь некоторых разуверений: когда тонули корабли, он снова брался за топор — он ведь кораблестроитель: «Моей религией те были корабли. Нет выхода иного у меня, чем жить».

Я столько писал в этой книге о трагических судьбах писателей и художников, что должен был рассказать, хотя бы коротко и шутливо, о большом поэте, который счастлив. Конечно, Неруда знал и часы отчаяния и разочарования, и горести любви, и многое другое, без чего не обойтись, но никогда он не отрекался от жизни и жизнь не отрекалась от него. Он пошел против сильных мира, стал коммунистом, нашел друзей, следовательно — нашел и врагов, но ругали его враги, никогда он не знал, что значит терпеть кровные обиды от своих. Он писал, о чем хотел и как хотел. Когда я переводил главу его книги, я наткнулся на один образ, которого не понял. Я спросил: «Пабло, почему индейцы голубые?»... Он долго мне объяснял, что как-то увидел индейцев под вечер на берегу озера, и они казались голубоватыми. «Но в поэме этого нет...» Он ответил: «Ты прав... Но пусть они останутся голубыми». Прав, конечно, был он.

Могут сказать: человеку везло и везет. Это ничего не объясняет. Неруда никогда не выбирал легкого пути, но на тяжелой дороге, когда вокруг него люди падали, плакали, проклинали свою судьбу, он видел не низость, а благородство, не лопухи, а розы — так уж устроены его глаза, такое у него сердце.

Вот он загрустил; он пишет не о борьбе народа, не об Андах или вулканах, он разрешает себе пожаловаться: «Я очень устал от куриц: мы не знаем, что они думают, они смотрят сухими глазами, не придают нам значенья... Давай уставать хотя бы раз или два в неделю, оттого что дни зовутся всегда одинаково, как блюдо на столе...» Это не брюзжание старика, а шалости ребенка, и кончает Неруда стихотворение тем, что придут молодые, откроют зарю или окрестят заново поцелуи. Если ему и повезло, то в ту самую минуту, когда он появился на свет — дело не в благоприятных обстоятельствах, не в оптимистической философии, не в эгонизме, а в чудесной природе этого человека.

27

Мы пробыли в Китае немного больше месяца; кроме Пекина, побывали в Шанхае и в Ханчжоу, ездили в деревни, смотрели Великую стену, могилы династии Мин.

Для меня все было внове: я впервые увидел Азию. Правда, радушные хозяева порой нас чересчур опекали — говорили, что время еще беспокойное, повсюду со мной ходили переводчики. (Только раз в Ханчжоу мне удалось их перехитрить и одному побродить по городу.) Много времени отнимали различные приемы, банкеты, совещания, митинги. Впечатлений все же было много. Однако я не решился ничего написать о Китае. Я увидел слишком мало для того, чтобы понять страну с древнейшей культурой, где только что победила революция, где новое переплеталось со старым; и вместе с тем я увидел достаточно, чтобы понять, что я ничего не понимаю, — это меня удержало от поверхностных суждений.

В книге воспоминаний я рассказываю не о различных странах, а о своей жизни. Поездка в Китай была для меня школой: на старости лет я начал освобождаться от шор европейского воспитания. Теперь я не боюсь сбивчиво, да и, наверно, наивно рассказать о своих впечатлениях — никто их не примет за попытку дать картину Китая.

В Северной Америке, где я побывал до Китая, потом в Латинской Америке, в Индии, в Японии и, конечно же, в Китае многое меня удивляло. Путешественник прежде всего замечает то, что ему непонятно; так бывало и со мной.

В первый же день ко мне пришли китайские писатели. Они называли меня «Эйленбо», и я долго не мог догадаться, что это загадочное слово означает «Эренбург». В китайском языке почти все слова состоят из одного слога, собственные имена — это два или три слова. Иностранные имена могут быть выражены словами лестными или обидными — в зависимости от отношения к человеку. «Эйленбо» свидетельствует о добрых чувствах, это значит «крепость любви». Фадеев по-китайски Фадефу, и Александр Александрович с гордостью мне говорил, что это означает «строгий закон». Некоторые звуки европейских языков, как, например, «р», в китайском отсутствуют. Мне много говорили о знаменитом французском писателе Бальбо, удивлялись, что я его не знаю, пока наконец я не догадался, что речь идет о Барбюсе.

Грамота в Китае — сложная наука: для того, чтобы читать газеты или книги с несложным словарем, нужно знать несколько тысяч иероглифов. Го Мо-жо знает десять тысяч, он может написать все, но прочитать

это «все» смогут далеко не все. В Шанхае нас повели в большую типографию. На стене были тысячи ящиков с иероглифами, и наборщики ловко взбирались по лесенкам, чтобы взять нужный иероглиф. После того, как лист напечатан, значки плавят, отливают новые — раскладывать их по ящикам чересчур трудно. Наборщики — люди очень образованные, они знают больше иероглифов, чем средний читатель, а знание иероглифов — это знание понятий. Я удивлялся, что китайцы не переходят на звуковое письмо, как это сделали вьетнамцы и частично японцы. Мне объясняли, что тогда житель Кантона не сможет читать пекинские газеты или журналы. На севере чай — «ча», на юге — «тэ», а иероглиф, конечно, тот же. На заседаниях Всемирного Совета Мира я несколько раз видел, как пожилые вьетнамцы переписывались с китайцами и корейцами — разговаривать они не могли, но иероглифы понимали.

На следующий день после приезда нас пригласили в Комитет защиты мира, там мне показали чертежи, изображавшие различные фазы церемонии вручения премии. «Одно нам неясно, — сказали китайские друзья, — как вы вручите медаль госпоже Сун Цин-лин — двумя руками или одной?» Я ответил, что это не имеет значения — могу одной, могу двумя. «Это имеет очень большое значение — нужно, чтобы вы поступили так, как это делается в Москве». Хотя Д. В. Скобельцын несколько раз при мне вручал премию, я не мог вспомнить, держал ли он диплом и медаль в одной руке или в двух. Обсуждение длилось долго. Китайцы куда серьезнее относятся к любой церемонии, чем европейцы, и существует множество правил приличия, которыми нельзя пренебрегать.

Две недели спустя мы были на приеме в честь второй годовщины провозглашения Народной республики. Нас выстроили в шеренгу и объяснили: «Вы подойдете к товарищу Мао Цзэ-дуну и поздравите его с праздником». Первой в шеренге оказалась Люба. Выйдя в зал, она направилась к президиуму, где сидели члены правительства. Китайцы во время ее остановили — нужно было описать полукруг.

На первом же банкете я обомлел — нам подавали различные блюда часа три, и блюд было не менее тридцати; их порядок для европейца загадочен — когда подали сладкое, я облегченно вздохнул, решив, что обеду приходит конец, но вслед за этим принесли рыбу, а в конце дали бульон и сухой рис. Еда в Китае изысканная, редко понимаешь, что ты ешь. Однажды нас угощала писательница Дин Лин. Одно блюдо мне особенно понравилось, и я спросил, что мы едим. Хозяйка не знала, звала повара, который сделал небольшой доклад; переводчик, однако, не знал ни анатомии курицы, ни русских названий растений, и блюдо осталось для меня загадочным.

Один писатель сказал мне, что не мог встретиться со мной — его жена была тяжело больна, три дня назад она умерла; говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже; потом я вспомнил, что Эми Сю мне говорил: «Когда у нас рассказывают о печальном событии, то улыбаются — это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться».

В Китае я впервые задумался об условностях, обычаях, правилах поведения. Почему европейцев изумляют нравы Азии? Мало ли у нас условностей? Европейцы, здороваясь, протягивают руку, и китаец, японец или индеец вынуждены пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, машинально целует ее руку. Англичанин, возмущившись проделками своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы, а еврей, входя в сина-

гогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя зайти в дом, не сняв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским — ширма не позволяла войти прямо; это связано с преданием о том, что черт идет напрямик; а по нашим представлениям черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин дозволен. Если европеец начинает восторгаться вещью в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет — того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается — нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем: если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы.

В 1951 году в Китае было много советских специалистов — инженеров, агрономов, врачей; они работали самоотверженно и вели себя скромно. Китайцы тогда ценили помощь, оказываемую им Советским Союзом, и принимали русских как желанных гостей. Однако различия в условностях порой и в те времена вмешивались в дружбу. Советские инженеры начали устанавливать оборудование одного из новых заводов; станки были рассчитаны на рост русских, которые несколько выше китайцев. Инженеры сказали, что дело легко исправить — они поставят перед станками подмости. Китайцы заулыбались, а потом заявили, что станки они установят сами. Они проделали тяжелейшую работу — вкопали машины в землю. Очевидно, в подмостках было нечто для них оскорбительное. Вспоминая этот случай, я часто думаю: сколько размолвок и обид рождается от случайностей; от того, что люди, которые чувствуют, переживают, да и думают сходно, привыкли к разным выражениям чувств, к веренице различных образов.

После церемонии вручения премии артисты пекинской классической оперы исполнили несколько сцен. Я впервые услышал китайскую музыку, она меня поразила; удивили и приемы актерской игры, содержание пьесы. Я сидел рядом с китайскими министрами, они наслаждались игрой, переживали происходящее на сцене. Потом я несколько раз был в театрах Пекина и Шанхая, начал понимать прелесть китайского спектакля. Его часто противопоставляют реализму — он сложен, как иероглифы, насыщен условными понятиями, но искусство немислимо без условностей: те, которые нам известны с детства, нас не удивляют. Нам кажется естественным, что Борис Годунов, умный и не ронявший зря слова, — на сцене все время поет; что Ромео и Джульетта, умирая, танцуют; что колокольчик — это «дар Валдая», а бессонница — «парки бабье лепетанье». Я рассказывал, как меня когда-то рассмешил французский трагик Мунэ-Сюлли, который патетически завывал, играя Эдипа, — я тогда знал только такой театр, где все «всамделишное». А некоторых москвичей сместили постановки Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров в пьесе «Лес» был непривычной для них условностью. Когда я увидел Мунэ-Сюлли, мне было восемнадцать лет, а Мэй Лань-фана я впервые увидел в шестьдесят. Знаменитый актер исполнял роль влюбленной девушки, его сын — служанки: все актеры были мужчинами. В опере Шанхая играли только женщины, они исполняли роли полководцев и бородатых мандаринов. Условности китайского театра меня удивляли потому, что я их не знал. Потом мне объяснили, что если актер

трясет руками над головой — значит он испытывает страх; флажки на спине полководца обозначают, сколькими полками он командует; если он делает вид, что пьет чай,— значит он начал переговоры с противником; красное лицо свидетельствует о порядочности персонажа, а белое — об его бесчестности и так далее. Каждый китаец, даже неграмотный, разбирается в иероглифах театра.

Мне во многом помог Н. Т. Федоренко — он был тогда советником нашего посольства. Он знает китайский язык, старую и новую литературу, его рассказы мне часто открывали глаза.

Китайские поэты мне говорили, что стихи нельзя слушать, их нужно читать — иероглиф рождает образ. Гийом Аполлинер одно время писал «каллиграммы»: стихотворение было чашей, крестом, башней; он обладал скудным материалом — латинским алфавитом, а стремился к тому, о чем говорили китайские поэты.

На одном из обедов мне подарили стихотворение. Я долго любовался красиво вычерченными иероглифами. Я думал, что автор — поэт, но он оказался директором Народного банка. В свое оправдание он сказал, что он — человек пожилой, а в старое время все должны были владеть версификацией. По содержанию его стихотворение было традиционно условным, но зрительно оно мне показалось куда выразительнее, чем «каллиграммы» одного из крупнейших поэтов XX века. Очевидно, мастерство связано с веками. Тютчев для меня великий поэт, но стихи, которые он писал по-французски, могли бы быть написаны любым французским студентом.

Я видел в Пекине произведения старого художника Ци Бай-ши; ему тогда было восемьдесят лет. Он рисовал в традиционной манере, но был талантливым художником — его лошади или белки мне показались очаровательными. Некоторые китайцы пожимали плечами: стоит ли повторять то, что было сделано много веков назад?.. Действительно, Ци Бай-ши не внес в живопись ничего нового, лошади или белки не изменились. А гениальный пейзажист XI века Го Си был не эпигоном, но новатором. Все же мне хочется взять под защиту доброго мастера Ци Бай-ши. Когда некоторые китайцы начали писать огромные полотна, то эти художники выглядели не новаторами и не эпигонами, а неумелыми копиистами. (В Индии я увидел современную живопись, которая, не будучи подражанием французским мастерам и сохраняя национальный характер, показывала мир по-другому, чем древние фрески Аджанты. Вероятно, нечто подобное произойдет когда-нибудь и в Китае.)

В старом китайском искусстве поражают не фантазия, не причуды, да и не дерзость художника, а необыкновенное терпение и безупречное мастерство. Это в характере народа. Я любовался в парках «деревьями любви» или «деревьями дружбы» — два дерева или пять срастаются в одно: для того, чтобы подчинить человеку рост дерева, нужны и знание ботаники, и огромная настойчивость. В Китае я не нашел того, что в Европе мы называем народным искусством. В Пекине были сотни улиц, где ремесленники жили, работали и продавали свои изделия, — улица корзин, улица щеток, улица чайников для лечебных трав, улица театральные бород, улица игрушек — бумажных гигров, змеев, крохотных птиц и так далее. Все предметы обихода, привычные для китайцев, отличались красотой пропорций, пониманием материала, а вещи европейского быта мне показались уродливыми.

Я увидел Китай, когда Народной республике было всего два года. В Шанхае еще имелись рикши, модницы прогуливались в парижских платьях, старики не расставались с традиционными длинными халатами. А в Пекине все мужчины и женщины были одеты в одинаковые синие костюмы — куртка, штаны. Многие закрывали рот и нос белыми повяз-

ками — эту моду принесли японцы, которые хотели оградить себя от мельчайших песчинок, приносимых ветрами из пустыни Гоби. Торговали повсюду и всем — музейными древностями, конфетами, шелком, женьшенем.

Меня поражала дисциплинированность народа. Молодые китайцы обзавелись вечным пером. Когда я бывал на собраниях или митингах, все сидели, внимательно слушали и записывали. Мне пришлось не раз выступать, иногда я шутил (боялся, что слушатели устали), записывали и шутки. Доклады китайцев повсюду были длинными — четыре часа, пять. (Спектакли тоже для европейца непомерно длинны, иногда пьеса идет два вечера — начало и конец истории.)

В саду возле школы, в деревне под деревом, в бараке я видел небольшие собрания — двадцать—тридцать человек; там тоже слушали и записывали. Переводчик мне объяснил: «Это критика и самокритика». Вряд ли содержание таких собраний было традиционным: обсуждали, что студент скрыл свое социальное происхождение, что незамужняя работница забеременела, что слесарь опоздал в мастерскую, но форма была китайской — один длительно каялся, другие слушали и записывали.

Возле города Ханчжоу в идиллическом пейзаже я увидел могилу знаменитого полководца XII века Ио Фэй. Он отразил атаки племени чжурчжэней, потом был отозван в столицу Ханчжоу и казнен. Около его могилы на коленах стоят бронзовый человек, предавший героя, и его жена. Школьная экскурсия осматривала достопримечательности. Один подросток плюнул в лицо предателя, тотчас его товарищи сделали то же самое. Китаец, который показал нам могилу полководца, не очень разобрался в древней истории и не знал, кем были названные им чжурчжэни, но поведение школьников он одобрил и добавил: «Он предал восемьсот десять лет тому назад»... Китайцы, с которыми мне привелось встречаться, уделяли внимание датам, годовщинам, а доказывая что-либо, говорили «в-пятых», «в-шестых», «в-седьмых»...

В Китае буддизм, да и другие религии играли скорее второстепенную роль. Я заходил в пагоды, там блистали статуи толстого золоченого Будды, а вокруг суетились, продавая какие-то листочки, отнюдь не толстые монахи; верующие пили чай, некоторые спали. Место религии занимала упрощенная мораль конфуцианства: будь честным, уважай начальство и чти предков. Кладбищ в деревнях, однако, не было, и крестьяне, обладавшие крохотным полем, похожим на пригородный садик, должны были уделять там место для могил дедов и прадедов.

В деревне неподалеку от Пекина мне рассказали, как один безземельный крестьянин не знал, где ему похоронить отца. Он молил на коленах помещика разрешить похоронить отца на помещицкой земле. Помещик продиктовал условия: за могилу бедняк должен будет проработать столько-то месяцев.

Народная республика первым делом провела аграрную реформу — покончила с феодализмом. Конечно, были среди помещиков люди богатые, но я побывал в некоторых помещичьих домах, по сравнению с которыми дом среднего датского крестьянина следует назвать дворцом.

Раздел помещичьих земель уничтожил несправедливость — это было первым шагом. Один юноша в Пекине мне говорил: «Скоро мы обгоним старшего брата в построении коммунистического общества» («старшим братом» китайцы тогда называли советский народ). А в деревнях я еще видел древнюю соху. Домики крестьян были крохотными: низкая печь, на которой спала семья. Ели скудно — чашка риса, иногда сладковатая редька или листики капусты. Женщины в деревнях еще держались прилично. Я видел босых крестьян, видел детей с язвами на голове. Пять лет спустя в Индии я понял, что все относительно — отошавшие кре-

стьяне, падающие голодные коровы, на улицах Калькутты бездомные, умирающие, прокаженные. Таких ужасов в Китае не было, но уровень жизни большинства китайцев в 1951 году был куда ниже, чем в самых бедных районах Европы. Друзья, побывавшие в Китае несколько лет спустя, рассказывали, что многое изменилось: построили тысячи школ, больниц, родильных домов, яслей. Я видел раннее утро нового Китая: прививали всем оспу, учили грамоте детей и взрослых, сносили трущобы Шанхая. Многие страны Азии тогда глядели на Китай, как на чудотворного пророка. Когда я был в Дели в 1956 году, туда приехала китайская делегация, трудно рассказать, с каким восторгом индийцы ее встретили.

Исторические пути Индии и Китая различны, и вместе с тем есть между ними много сходства. За триста лет до нашей эры города Индии были снабжены канализацией. В третьем веке до нашей эры китайцы построили Великую стену, чтобы защитить страну от кочевников. Производство шелка китайцы начали за две тысячи лет до нашей эры; в пятом веке до нашей эры вырыли оросительные каналы, потом начали изготавливать бумагу. Китайцам принадлежит изобретение компаса, сейсмографа, фарфора, книгопечатания подвижным шрифтом (за четыреста лет до Гутенберга). Они изобрели порох и многое другое, о чем европейцы узнавали с большим запозданием от арабов. Правитель Индии Ашока в третьем веке до нашей эры сформулировал принципы мира, согласно которым он решил никогда не начинать войн. Когда мы защищали в Движении сторонников мира те же принципы, на нас многие нападали. Феодалные распри, вторжения, навязанные войны истощили два великих государства Азии как раз в то время, когда страны Западной Европы освоили порох, обзавелись артиллерией и военным флотом. Индию начали разбирать по кускам, львиную долю получили англичане. Китай продолжал существовать как государство, но ему предъявляли ультиматумы, посылали на его территорию карательные экспедиции, навязывали кабальные договоры. Индия добилась независимости в 1950 году, причем осталась членом Великобританского содружества и сохранила старую социальную систему. Китай стал Народной республикой за год до того. Американцы создали «второй Китай» на острове Тайвань.

Каждый китаец помнит былые обиды. Стоит вспомнить хотя бы «опиумные войны», когда англичане, возмущившись запретом ввоза опиума в Китай, силой оружия добились продления права отравлять китайцев; это было в эпоху чартизма, роста тред-юнионов, в эпоху Диккенса, Теккерея, Тернера. Об этом я думал в Китае, потом в Индии. У народов Азии есть свои счеты с обидчиками, есть счета, которые нелегко погасить.

Вернусь к 1951 году. Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличнее от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище — положили цветы на могилу Лу Синя. Там мы встретили знакомую китаянку, открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала — расплакалась. Мне рассказали историю несчастной любви. Поэт Ай Цин говорил мне о том, как трудно быть поэтом, и его слова напомнили мне некоторые страницы моей биографии. Я встретил читателей моих романов. Все было проще и сложнее, чем это кажется туристу, который ищет экзотики.

Я влюбился в Индию, там было много людей, разговаривая с которыми я забывал, что это дети «страны чудес».

Год спустя в Японии я увидел, что та архитектура, о которой я мечтал в начале двадцатых годов, принадлежит японскому быту.

Эта глава моей книги может показаться статьей, вставленной в автобиографию, но я рассказываю о том, что меня волновало и волнует. Моя жизнь прошла на рубеже двух эпох. Октябрьская революция, революция в естественных науках, пробуждение народов Азии и Африки открывают новую эру. Многие я понял в конце моей жизни. Теперь часто говорят о предстоящем освоении космоса, а я только к концу жизненного пути начал осваивать нашу планету.

В гимназии меня учили латыни, я знал ссоры удельных князей, проказы богов и богинь древней Греции. Потом я хаотично прочитал много книг, бродил по музеям, понял величие Эллады, разгадал средневековое искусство, восхищался Возрождением. Но о странах Азии я в молодости судил по книгам европейцев да по некоторым произведениям древнего искусства. Книги, которые я брал, часто были случайными: Блаватская рассказывала о таинственной Индии, Киплинг писал о джунглях и об отважных белых, автор истории буддизма (книгу мне дал Волошин) восхищался нирваной. Потом я увидел Хокусай и Утамаро, мастеров XVIII века, но ничего не знал о портретах Сессю, который жил в XV веке. О современной Японии я судил по книге Пильняка, по модному в то время сатирическому роману посредственного французского автора да по безделкам, выставленным в витринах антикваров — чайникам, веерам, ширмам. Я прочитал книгу Ромена Роллана о Ганди и его последователях, стихи Рабиндраната Тагора, две или три книги, в которых рассказывалось о зверствах англичан, о кастах, о голоде, об йогах. Когда в 1917 году я увидел «Сакунталу», которую играли в Камерном театре, я восхитился — я ничего не знал о Калидасе и пьеса, написанная пятнадцать веков назад, показалась мне современной. В двадцатые годы журналы и газеты много писали о революционном Китае. Я знал про события в Кантоне, прочитал роман Мальро «Условия человеческого существования», французскую книгу о Конфуции. Я рассказываю о своем невежестве потому, что незнание Азии было общим грехом европейцев, и оно заставляло образованного индийца или китайца относиться к интеллигенции Запада с некоторым презрением.

Два мира сосуществовали отнюдь не мирно, между ними была стена.

Киплинг писал, что Восток и Запад никогда не встретятся. Он родился в Бомбее, молодость провел в Азии, был хорошим поэтом, но видя Индию, он ее не видел: на его глазах была повязка — идея превосходства Запада над Востоком.

Афоризм Киплинга мне кажется не только неверным, но и опасным — он нашел отклики повсюду. Теперь иные начинают поговаривать о превосходстве Востока над Западом. А Восток и Запад встречались, встречаются и, надеюсь, будут встречаться. Увидев японских художников XVIII века, я понял, чему у них научились мастера французского импрессионизма. Французские энциклопедисты изучали философов старого Китая. Английские филологи в середине XIX века многое почерпали из древнейшей индийской грамматики. Современный китайский театр произвел огромное впечатление в Париже и обогатил французских режиссеров.

У Востока и Запада общие истоки, и как бы ни были разнообразны рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет дальше.

Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности людей и народов, могут стать универсальными, а расизм или национализм (безразлично, от кого он исходит), с его утверждением приоритета и превосходства, неизбежно порождает вражду, разобщает народы, принижает культуру и в итоге становится всеобщим бедствием. Об этом я часто думал в годы, когда писал эту книгу, думаю и теперь, слушая по радио

поучения китайских начетчиков. Вряд ли заря новой эры будет идиллической, но мне не верится, что люди, уверенные в превосходстве своей крови, своей религии или в абсолютной правоте своего толкования того или иного учения, той или иной догмы, осмелятся от словесного расщепления своих спорных истин и чужих, столь же спорных, заблуждений перейти к оружию, способному уничтожить не только все заблуждения, но и все истины.

28

В 1949 году я кончил одну из моих статей строками: «Думая о судьбе века, я вспоминаю стихи турецкого поэта Назыма Хикмета, озаглавленные «XX век». «Уснуть сейчас, проснуться через сотню лет, любимый! — Нет, я не дезертир, к тому же мой век мне не внушает страха, мой бедный век — он от стыда краснеет, мой смелый век, мой век героев. Я не жалею, что родился слишком рано, горжусь, что я живу теперь — в XX веке...» Это написал коммунист после двенадцати лет тюрьмы, зная, что его приговорили к двадцати восьми годам заключения и что у него болезнь сердца... Когда читаешь эти строки, что-то подступает к горлу, хочется пожать далекую руку, сказать: «Никогда они не победят жизни, если есть у нас столько друзей, чистых, честных, смелых!..»

Назым Хикмет тогда еще сидел в турецкой тюрьме. Два года спустя я пожал его руку. В осенний вечер он позвал Любу и меня к себе. Жил он напротив «Правды» в квартире, которую ему отвели как гостю. Мы почти не знали друг друга, но Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его волновало. (Он слишком часто говорил то, что думал; некоторых это злило, но в конце концов обезоруживало. Один товарищ как-то сказал мне: «Но ведь это сказал Назым Хикмет, а с него взятки гладки...») В тот первый вечер, который мы провели вместе, Назым признался, что многого не понимает. Началось со статуэтки: «Вы знаете, я не могу глядеть на нее. Это уродство, настоящее мещанство! Но ничего не поделаешь — квартира казенная, я здесь гость...» Он рассказал, что ему предоставили машину: «Утром выхожу, шофер спрашивает: «Куда поедем, начальник?» Я отвечаю: «Какой я начальник? Я — поэт, я — коммунист, сидел в турецкой тюрьме...» Он говорит: «Ну не начальник — хозяин... «Маяковский — гений», а я посмотрел стихи в журналах — при чем тут Маяковский?.. Меня повели в театр. Как будто не было ни Мейерхольда, ни Таирова, ни Вахтангова...»

Эта старая трагедия — человек на десятилетия выпадает из жизни и, возвратившись, многого не может понять. Есть старые французские песни о солдате или матросе, который, приехав после долгой войны, не узнает своей жены, а жена принимает его за чужого. Можно заморозить сердца, как ягоды клубники, это вопрос сроков... Назыма арестовали в 1937 году, но не в Москве, а в Турции. Он не знал о гибели Мейерхольда, которого обожал, не знал, что поют вместо «ни царь, ни бог и не герой» «нас вырастил Сталин», не знал, что картины, которыми он восхищался в музеях, спрятаны, он очень многого не знал.

В тюрьме он писал стихи о Сталине как о старшем товарище. Он говорил в 1951 году: «Я очень уважаю товарища Сталина, но я не могу читать, как его сравнивают с солнцем, это не только плохие стихи, это плохие чувства...» А в 1962 году Назым Хикмет писал: «Он был из камня, из бронзы, из гипса и бумаги, от двух сантиметров до нескольких метров, на всех площадях мы были под его сапогами, под сапогами из камня, бронзы, гипса и бумаги...»

Повсюду его встречали овациями — большой поэт, герой, просидевший тринадцать лет в тюрьме. Он говорил, отвечал на вопросы и восхищал молодежь своей прямоотой, искренностью. Порой

наивность помогала ему быть мудрым. Впервые он приехал в Москву в 1921 году — ему тогда не было двадцати лет, а Советской республике четыре года. То была эпоха «памятника Третьему Интернационалу» Татлина, споров между футуристами и имажинистами, мейерхольдовского «Великодушного рогоносца», эпоха голода и уличных карнавалов. Назым прожил у нас восемь лет, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, писал стихи и пьесы, уверовал, понял, закалился. Это был на редкость цельный человек. В своей поэтической автобиографии он говорил: «Одним знакомы виды трав, другим — виды рыб, а мне — виды разлуки. Одни знают наизусть имена звезд, а я — имена расставаний». (О том же когда-то говорил Осип Мандельштам: «Я изучил науку расставаний...») Жизнь Назыма была бурной и трудной, но если он знал все виды разлук, все имена расставаний, то никогда не изведаль горечи разрыва: до конца жизни сохранил идеи, вкусы, привязанности юношеских лет.

Конечно, он повзрослел (слово «постарел» к нему не подходит), многое понял и за год до смерти писал: «Я разучился верить, я учусь понимать...» Но, учась понимать, он убеждался в правоте того, во что раньше верил. Еще при жизни Сталина мы как-то сидели вечером в пражской гостинице. Назым говорил: «Когда я спросил в Румынии, жив ли Мейерхольд, мне сказал один товариш, что, кажется, умер, а другой, которого я спросил, сказал, что Мейерхольд живет на юге, кажется, в Крыму или возле Сочи, там климат лучше... Я никогда не отступлюсь от коммунизма — для меня это правда. Но зачем обманывать товарищей...»

В 1956-м, а может быть, в 1957-м Назым мне рассказал, что при «культе личности», незадолго до смерти Сталина, арестовали старого турецкого коммуниста, ветеранара, которому было под семьдесят, он умер в концлагере, а теперь посмертно реабилитирован. Назым говорил: «Я часто думаю о судьбе Н... Мне повезло — конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже другим...»

Наzym гордился, что однажды выступал вместе с Маяковским: «Это было, конечно, в Политехническом. Я очень боялся, а Маяковский мне сказал: «Ты, брат, не бойся, читай по-турецки, никто не поймет, и все будут аплодировать...» Он вспоминал выставки, театры и все время удивлялся. «На улице Воровского, — рассказывал он, — я разговорился с двумя молоденькими поэтами. Я им говорю, что Элюар — замечательный поэт, а они улыбаются. Я их спрашиваю, что они думают о стихах Пабло Неруды, по-моему, это очень большое явление. Опять улыбаются. Потом один говорит, что они против низкопоклонства. Я очень рассердился, говорю: «Элюар — коммунист, Неруда — коммунист». Это им безразлично. По-моему, они совсем не коммунисты».

Дед Назыма Хикмета был пашой, губернатором. Внук стал в молодости коммунистом и коммунистом умер. После XX съезда, когда некоторыми овладели недоумение, даже сомнения, он говорил: «По-моему, у всех сняли с сердца камень...» Вернувшись из поездки в Париж, он рассказывал: «Есть удивительные люди. Когда у людей язык отнимался, они верили, а когда сказали правду, заколебались. Коммунизм — это страсть, жизнь, но для таких людей он был минутным увлечением или привычной службой».

О том, что Назым был убежденным коммунистом и большим поэтом, известно всем, но люди, встречавшиеся с ним, знают также, что он был на редкость добрым, хорошим человеком. Однажды я ему рассказал, что Элюар, узнав об Орадуре, в первую минуту усомнился, действительно ли гитлеровцы собрали детей в школу и там их сожгли. Назым сказал: «Я его понимаю. У нас в Турции очень много диких людей, бывала

страшная резня, кто-то рассказывал, что резали даже детей, и всегда мне казалось — может быть, выдумка, то есть преувеличивают...»

В Риме я разглядывал два тома его произведений: один иллюстрировал Гуттузо, другой — друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым проясил: он не хотел говорить о своих стихах, хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Амаду — всех не перечтешь. Об Элюаре он однажды мне сказал: «Удивительно, когда я читаю некоторые его стихи, мне кажется, что именно об этом, именно так я хотел написать...»

Почему-то все считают, что учителем Назыма Хикмета был Маяковский, а сам Назым не раз говорил, что Маяковский для него пример смелости, человеческого подвига, но поэтически он пошел по другой дороге. Он распрошался с рифмами, говорил, что поэзия отличается от музыки, сродни ей, но вместе с тем жаждет скорее звуков, чем звучания. От стремления продлить народную песню он перешел к созданию своей формы, к простоте и прозрачности. Я слышал, как он читал по-турецки, читал французские и русские переводы; конечно, этого мало, чтобы судить о поэте, и все же мне кажется, как казалось самому Назыму, что ближе всего ему был Элюар.

Его любовь к искусству двадцатых годов связана с его природой, с его эстетикой. В поэзии он освободился от всех литературных школ, а в пьесах есть что-то архаическое — приемы театра, который исчез. Он очень любил живопись, говорил, что она — труднейшее для восприятия искусство, что нелегко разгадать «сладость яблок Сезанна»: для этого необходима большая живописная культура. Бунтарь двадцатых годов в пятидесятые годы готов был яростно защищать любого советского художника, в котором чувствовал желание расстаться с академическим письмом.

Мы встретились в Риме; я пошел на вечер, где он читал свои стихи. В Риме он долго мне рассказывал, что нельзя требовать от искусства доходчивости; иногда его стихи понятны каждому, иногда только людям, разбирающимся в поэзии, и он протестует, когда одних ставят выше других. «Нельзя доверять уход за всеми розами директору завода, изготавлиющего розовое масло. Ведь каждый год выводят новые сорта, дело не только в масле, у розы цвет, запах. Некоторые люди — эстеты хотят, чтобы розу поставили выше пшеницы или кукурузы, а для других розы — это крохотная цифра в большом бюджете...» Он вдруг остановился у окна цветочного магазина: «Посмотрите, пожалуйста, какие здесь розы!»...

Я знаю, как легко приходит к заключенному отчаяние. А Назым Хикмет просидел тринадцать лет в каменной клетке вдвоем с надеждой. В тюрьме он написал «Человеческую панораму» — эпопею турецкого народа, стихи добрые, человеческие, которые пугали и пугают правителей Турции. Дважды Назым объявлял голодовку — связанный, продолжал бороться за человеческое достоинство.

Внешне он походил скорее на человека с севера, чем на турка, — очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно — в Москве и в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции он тосковал. Он покрыл диван турецкой материей; повел меня в ресторан «Баку»: «Здесь еда немножко похожа на нашу»; встречаясь на сессии Всемирного Совета Мира с турком, он не мог от него оторваться. Раз он сказал мне: «Прислали мои стихи на исландском языке. Удивительно!.. А в Турции меня не печатают. Да и печатали бы, те, для кого я пишу, не смогли бы все равно прочитать — неграмотные...» В стихотворении «Завещание» он писал: «Если я умру на чужбине, товарищи, похороните

меня на деревенском кладбище Анатолии рядом с батраком Османом, которого убил Хасан-бей... Хорошо, если вырастет чинара, а без камня и надписи я обойдусь...»

В 1952 году мы все с тревогой спрашивали: «Как Назым?..» Он сам потом писал: «С разорванным сердцем четыре месяца, лежа на спине, я ждал смерти». У него был сильный инфаркт. Его спасли, но с тех пор он жил в постоянном соседстве со смертью. Он весело разговаривал у меня на даче — он был прекрасным рассказчиком, — и вдруг его лицо покрылось крупной росой пота. В стихах он часто возвращался к мыслям о смерти: «Под дождем по московскому асфальту идет весна на своих тонких зеленых ногах, стиснутая шинами, моторами, кожей, тканями и камнями. Сегодня утром моя кардиограмма плохая...» «Из нашего ли двора вынесут мой гроб? Как вы меня спустите с третьего этажа? В лифт гроб не войдет, а лестница узкая...» «С одной стороны — строчи стихи, один другого светлее, с другой — беседуй со смертью, что рядом с тобой стоит».

Когда праздновали его шестидесятилетие, был вечер для писателей в Доме литераторов и другой для читателей — в Политехническом; на последнем я председательствовал. Зал был переполнен, стояли, сидели на полу в проходах, и все глаза светились любовью к Назыму. Я тихо спросил его: «Устали?» Он виновато ответил: «Немножко... Но я очень счастливый...»

Он страстно любил жизнь, борьбу и детей, стихи, птиц. Незадолго до смерти он писал: «Дадим шар земной детям, дадим хоть на день, дадим, как раскрашенный шарик, пусть с ним играют...» Он продолжал радоваться, любить, полетел в далекую Танганьiku и оттуда писал письма в стихах — о Черной Африке, о звездах, о борьбе, о своей любви.

В 1962 году он писал стихи своей любимой: «Я снял с себя идею смерти, надел на себя июньские листья бульваров... Он умер ровно через год в раннее утро раннего лета. Проснулся, пошел в переднюю за газетой и не вернулся — сел и умер.

Он лежал в гробу добрый и прекрасный. Старушка, всхлипывая, говорила девочке: «От разрыва сердца» — так в моей молодости называли инфаркт. А мы стояли у гроба, и кажется, у всех готово было разорваться сердце от короткой ужасающей мысли: нет больше Назыма!

1952 год для меня начался с похорон. В последний день старого года умер М. М. Литвинов. В тот же самый день инсульт сразил его близкого друга Я. З. Сурица.

Максима Максимовича я встречал в разных городах и при различных обстоятельствах, бывал у него в Москве, когда он был наркомом и жил во флигеле парадного дома на Спиридоновке, встречал его в Париже, ужинал с ним в Женеве, где он выступал на заседании Лиги наций, видел его в опале, провел у него вечер накануне его отъезда в Вашингтон, несколько раз разговаривал с ним в послевоенные годы. Я не могу сказать, что я его хорошо знал — он был человеком скорее молчаливым. Он сидел, слушал, порой усмехался — то с легкой иронией, то благодушно, изредка подавал реплику, но ничего в нем не было от угрюмого молчаливника, он любил посмеяться. Есть унылые оптимисты, а Литвинов был человеком веселым, но зачастую, особенно к концу своей жизни, с весьма мрачными мыслями.

Некоторые слова Максима Максимовича я запомнил, некоторые черты его разглядел и о них коротко расскажу. Он был крупным человеком, об этом можно судить хотя бы по тому, что во времена Сталина, когда

любая инициатива вызывала подозрения, существовало понятие «дипломатов литвиновской школы».

Почти всех дипломатов этой «школы» я знал — одних лучше, других хуже. Они работали в трудное время, когда западные державы еще рассчитывали уничтожить молодую Советскую республику: угрозы, полицейские налеты на посольства, фальшивки были бытом. Я видел, как наши дипломаты убеждали, когда это было нужно, умело ссорили врагов или мирили колебавшихся сторонников мира, привлекали на нашу сторону дельцов и ученых, крупных промышленников и авторитетных писателей. Эта работа оставалась для рядовых советских людей неизвестной, а дипломаты отнюдь не были баловнями судьбы. Некоторые умерли до начала произвола: Красин, Довгалевский, Кобецкий, Дивильковский. Другим повезло — Коллонтай, Суриц, Штейн умерли в своих кроватях. Воровского и Войкова убили антисоветские террористы. Майский, Рубинин, Гнедин, претерпев мытарства, вернулись живыми. А многие погибли. Антонов-Овсеенко, Крестинский, Розенберг, Гайкис, Марченко, Арнс, Гиршфельд, Аросев, Членов стали жертвами клеветы и беззакония (я назвал только тех, с которыми встречался).

Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Н. И. Вавилова и пошадил П. Л. Капицу? Почему, убив почти всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивного Максима Максимовича? Все это остается для меня загадочным. Да и сам Литвинов ждал другой развязки. Начиная с 1937 года и до своей последней болезни он клал на ночной столик револьвер — если позвонят ночью, не станет дожидаться последующего...

У Максима Максимовича была вполне миролюбивая внешность: толстый, добродушный, хороший семьянин. Да и досуги его были заполнены невинными развлечениями — за границей, когда выпадали два-три свободных часа, шел в кино, глядел мелодраматические фильмы, «страсти-мордасти». Он любил хорошо покушать, и приятно было на него глядеть, когда он ел — так восхищенно он макал молодой лучок в сметану, с таким вкусом жевал. Любил разглядывать большой аглас — наверно, колесил по далеким незнакомым странам. Он любил жить. Однако этот добродушный человек умел полемизировать, и западные дипломаты поглядывали на него с опаской. Некоторые из его выступлений в Лиге наций облетели мир. Жолио мне рассказывал, что выступление Литвинова, сказавшего, что нельзя договариваться с бандитами о том, в каком квартале города они могут безнаказанно разбойничать, помогло ему понять не только безнравственность, но глупость западной политики — за несколько лет до Мюнхена. А слова Литвинова о «неделимости мира» я слышал и после смерти Максима Максимовича на различных конгрессах и конференциях.

Литвинов с благоговением говорил о Ленине: «Такого не было и не будет». Ленин послал Максима Максимовича в Стокгольм в очень трудное время — в 1919 году, в разгар интервенции, говорил ему, что нужно попытаться найти на Западе разумных людей, учесть разногласия в лагере победителей, возмущение побежденных, рабочее движение, аппетиты возможных concessionеров, авторитет ученых, писателей. Литвинов хорошо знал Запад, он прожил много лет в эмиграции, женился на англичанке. Он говорил о Ленине: «Это был человек, который понимал не только претензии русского крестьянина, но и психологию Ллойд-Джорджа или Вильсона...»

Литвинов был на три года старше Сталина. Максим Максимович о Сталине отзывался сдержанно, ценил его ум и только один раз, говоря о внешней политике, вздохнул: «Не знает Запада... Будь нашими противниками несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил...»

Характер у Литвинова был далеко не мягкий. Я. З. Суриц рассказал мне о сцене, свидетелем которой был. В 1936 году Сурица вызвали в Москву. На совещании Литвинов изложил свою точку зрения, Сталин с ним согласился, подошел и, положив руку на плечо Литвинова, сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Максим Максимович снял руку Сталина со своего плеча: «Ненадолго...»

В старой записной книжке я нашел слова Литвинова: «Тит славился жестокостью. Захватив власть, он казался римлянам великодушным, подхалимы его называли «прелестью рода человеческого». В тот самый год Везувий уничтожил Помпею и Геркуланум. Вполне возможно, что вулкан выполнял директивы нового императора: в Помпее было много влиятельных людей, а Геркуланум славился философами и художниками». Прочитав запись, я вспомнил, как, выйдя из дома, где тогда помещался Литературный музей, я увидел Литвинова и пошел проводить его. День был весенний. Максим Максимович говорил о том, что Трумэн умом не отличается, вспоминал Рузвельта. Я спросил, кого он считает самым крупным политиком, он ответил: «Конечно, Сталина». Потом он почему-то заговорил об истории древнего Рима, написанной английским автором, и, посмеиваясь, сказал те фразы, которые я вечером записал.

На заседании, когда Литвинова поносили и вывели из ЦК, он возмущенно спросил Сталина: «Что же, вы считаете меня врагом народа?» Выходя из зала, Сталин вынул трубку изо рта и ответил: «Не считаем».

Литвинова не арестовали, но Сталин отстранил его от работы, хотел уничтожить измором. Однако в то время это не удалось. После нападения Гитлера на Советский Союз Сталин вызвал Литвинова, дружески протянул руку и предложил поехать в Вашингтон. Еще в 1933 году Максим Максимович встречался с новым президентом Соединенных Штатов Рузвельтом, наладил возобновление дипломатических отношений. Когда я был в Америке, политические друзья Рузвельта мне рассказывали, что президент уважал Литвинова, часто приглашал его, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу.

В 1943 году после сталинградской победы Литвинова отозвали в Москву. Он продолжал числиться заместителем министра иностранных дел, но вел незначительную работу. В 1947 году он стал пенсионером — не по своему желанию. Сталин, однако, распорядился, чтобы ему оставили квартиру и другие жизненные блага. Максиму Максимовичу пошел тогда восьмой десяток; он мог бы разглядывать атлас и вспоминать прошлое, но всю свою жизнь он проработал и не знал, как жить без дела, а жить он хотел и понимал, что, если он будет обречен на безделье, мотор заглохнет. Он написал Сталину, благодарил за внимание и просил дать ему работу. Жданов вызвал Максима Максимовича: «Вы писали товарищу Сталину. Мы хотим поставить вас во главе Комитета по делам искусств». Максим Максимович возмутился: «Я ничего в этом не понимаю. Да я и не думаю, что искусство можно декретировать...» Жданов рассердился: «Какую же работу вы имели в виду?» — «Чисто хозяйственную». Никакой работы ему не дали. Он начал составлять словарь синонимов, каждое утро ходил в Ленинскую библиотеку и все же томился от безделья. В кремлевской столовой почти каждый день он встречал Сурица, они отводили душу.

За несколько дней до смерти он лежал днем с закрытыми глазами; жена тихо спросила его: дремлет он или задумался. Он ответил: «Я вижу карту мира» — то, что называется «дипломатией», было для него творче-

ством, он мечтал, как предотвратить войну, сблизить народы и континенты, карта для него была тем, чем служат художнику тюбики с красками. Пенсионер поневоле умирал, как художник, полный творческих замыслов, без палитры, без кисти и без света.

В одной из комнат Министерства иностранных дел была гражданская панихида. Кто-то по бумажке прочитал речь. На Максиме Максимовиче был не парадный мундир, а обыкновенный костюм. Лицо его казалось непроницаемо спокойным, даже благодушным. Ко мне подошла дочь Сурица, Лиля: «Папа сегодня скончался...»

Якова Захаровича два дня спустя привезли в тот же зал. Было несколько сотрудников министерства; кто-то прочитал речь. На Немецком кладбище были снова мундиры мидовцев, снова речь по бумажке и венки из бумажных цветов.

С Сурицем я познакомился в Берлине в 1922 году на выставке советского искусства. Суриц внимательно глядел, иногда сердился, иногда любовался. Он приглашал меня приехать к нему в Осло, говорил, что там есть хорошие художники. Искусство он обожал, собирал картины, рисунки; у него были самые различные вещи — Роден и Лезитан, Матисс и Коровин, Марке и Бенуа. Он их охотно показывал, кричал на меня, что я не понимаю значения «Мира искусства», недооцениваю Левитана, не хочу признать Грабаря.

Я мало знаю о прошлом Сурица. Однажды, рассказывая о гитлеровцах, он сказал: «Подумать, что я учился в Гейдельбергском университете! Да если бы мне тогда сказали, я не поверил бы... Мы часто говорим абстрактно. А может быть, слова меняют значение. «Одичание». Ну, что это для меня означало в те годы? Политический просчет. Или успех «Санина», оргии, «кошкодавы». А в Берлине я видел, как студенты тащили за бороду старика, он был в крови, а они пели...»

Он был, кажется, первым советским послом: Ленин отправил его в Кабул в 1919 году, когда новый эмир Аманулла-хан прислал своих представителей в Москву с письмом к Ленину. Это было до рождения советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе, сам составил текст с упоминанием о признании полной независимости и суверенитета Афганистана. В Кабуле Суриц пробыл недолго, его назначили послом в Норвегию, а в Афганистан прибыл Раскольников.

История судит дипломатов, как полководцев,— по выигрышам или проигрышам. А у каждого даже самого одаренного дипломата бывают свои Аустерлицы и свои Ватерлоо — многое зависит от ситуации. Когда Сурица послали в Анкару, новая Турция с надеждой глядела на Москву. Яков Захарович умел делать свое дело. Обыватели думают, что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и говорить, из хорошего сделать лучшее, если не предотвратить, то хотя бы затормозить и смягчить плохое. Суриц завоевал доверие Кемале, укрепил дружбу между двумя государствами. О Кемале Яков Захарович говорил с восхищением: «Большой ум! По сравнению с ним Даладые — невежественный провинциальный политик...»

Что мог делать Суриц в гитлеровском Берлине? Да только наблюдать и сообщать в Москву. Американский посол Додд, друг Рузвельта, в своем дневнике не раз отмечал дружеские беседы с Сурицем, а дочь Додда, Марта, говорила мне, что Яков Захарович был единственным дипломатом в Берлине, которому ее отец доверял.

Летом 1937 года, приехав из Испании в Париж, я в посольстве увидел Сурица. Он расспрашивал, есть ли надежда на перелом после Уэски;

сказал: «Здесь все разворачивается отвратительно»... Потом он признался, что после Берлина наслаждается «воздухом Парижа». В свободное время он ходил на выставки, рылся в лавках букинистов, завел знакомства с художниками.

(Его всегда тянуло к людям искусства. В Москве я встречал у него А. Н. Толстого, И. Э. Грабаря, А. Я. Таирова, А. Г. Коонен, В. Г. Дулову, многих других.)

Обстановка во Франции была неблагоприятной: Блюма сменил Шотан, мелкий политический комбинатор, которому казалось высотами искусства раздобыть в парламентском бундесте несколько голосов для правительственного большинства. Народный фронт трещал. Буржуа, перепуганные забастовками, начали поглядывать на Гитлера с уважением, а то и с надеждой. Франция катилась к разгрому. Суриц пытался отсрочить развязку, он беседовал с Эррио, встречался с французским националистом, ненавидевшим третий рейх, Кериллисом, с журналистом Бюрэ, но у событий своя логика. Началась война, и малодушные правители Франции, не решавшиеся открыть огонь по противнику, потребовали отъезда Сурица из Парижа.

Я рассказал в предшествовавшей части книги, как в Куйбышеве в номере «Гранд-отеля» Суриц хотел, чтобы я восхищался рисунком Родена. Он пригласил меня на ночь и перед тем, как показать рисунок, три часа, задыхаясь от волнения, говорил о наших неудачах: «Конечно, пакт с Германией был необходимостью. Вины французы, англичане и, конечно, Бек. Но как Сталин использовал два года? Ужасно это выговорить — он верил в подпись Риббентропа. Он подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил!..» Сурицу казалось, что он говорит шепотом, но он кричал и успокоился только, когда вытащил из чемодана рисунок.

После войны его хотели послать в Японию; запротестовали врачи — не выдержит климата. Тогда нашли страну с климатом не более благоприятным — Бразилию. Он пробыл там недолго — под давлением Вашингтона Бразилия порвала отношения с Советским Союзом.

Суриц вернулся в Москву. Он смотрел на холсты, читал, думал. Однажды он сказал мне строго: «Вы моложе меня на десять лет, но не мешает и вам о многом задуматься...»

У него были тонкие черты лица, борода клином, большие усы, которые он, волнуясь, пожевывал, косматые брови. В последние годы он страдал гипертонией и порой выходил из себя — говорил то, что думал. Приходил он неожиданно, рассеянно пил чай, молчал, а потом прорывалось — он мог говорить два часа подряд, не останавливаясь, что-то в нем клокотало. Начиналось почти всегда со слов: «Вчера мы с Максимом Максимовичем говорили...» Следовал негодующий монолог. Иногда Яков Захарович объяснял поступки Сталина «патологическим раздвоением личности». Старый революционер, интернационалист, типичный интеллигент, он не мог принять ни толкования «низкопоклонства» и «космополитизма», ни многих других событий конца сороковых годов. Я не пересказываю его историй о Сталине — они могут показаться разоблачениями, внешне расширить, а по существу сузить характер этой книги. Суриц много объяснял характером Сталина, расхождением в нем самой теории и практики; может быть, он был прав; но сейчас мне хочется передать герзанию старого, больного, душевно чистого человека, проработавшего всю свою жизнь для торжества идеи, в которую продолжал верить, и видящего то, чего он не мог принять. Раз он тихо выговорил: «Беда даже не в том, что он не знает, как живет народ, он не хочет этого знать — народ для него понятие, и только...»

Он уходил, а месяц или два спустя приходил — не мог дольше молчать — и начинал: «Вчера мы с Максимом Максимовичем вспомнили Лозовского...»

Было только одно средство успокоить Якова Захаровича — повести его в комнату, где висели рисунки Матисса, пейзажи Фалька, холсты Шагала. Лицо его менялось, он чуть заметно улыбался. Я больше с ним не спорил — не потому, что боялся взволновать его, нет, он меня обезоруживал своей любовью к искусству. Однажды, глядя на рисунок Матисса, он тихо сказал: «Жизнь — это тоже линия...» Когда Якова Захаровича хоронили, я вспомнил эти слова. До чего человеческая линия!.. Рисунки остаются, внуки их легко расшифруют, может быть заглянут и в старые книги. А кто в огромном клубке истории разыщет тонкую оборвавшуюся нить, дела и страсти исчезнувшего со сцены актера?

30

В конце февраля 1952 года праздновали юбилей Гюго. В Москву пригласили Поля Элюара и внука Виктора Гюго художника Жана Юго. (Придется объяснить читателям, почему великий поэт не оставил детям в наследство буквы «г» — это относится к русской транскрипции. В прошлом столетии французские имена, начинавшиеся с немой согласной «h», снабжались «г» — Гюго, скульптор Гудон, город — Гавр; потом стали писать правильнее — поэт Эредиа, композитор Оннегер, Эррио.)

Жан Юго — прелестный художник. Он иллюстрировал книгу Элюара «Париж еще дышал» прозрачными пейзажами города, мастерскими и в то же время простодушными. Юго привез в подарок нашим библиотекам редкие издания своего деда и, выступая на различных собраниях, говорил, что счастлив провести знаменательные дни в столице Советского Союза.

Хотя приглашения были посланы поздно, Жан Юго прибыл вовремя и присутствовал на научной сессии Института мировой литературы, с которой начались празднества. А Элюара не было. Я пошел на заседание, выслушал доклады и, вернувшись домой, увидел Элюара. Люба рассказала, что позвонили с аэродрома: «Прилетел француз, фамилия Элюар. Никто его не встретил. По-русски он не говорит, но называет фамилию товарища Эренбурга...» Люба попросила посадить его в такси, шофер должен довезти его до квартиры. Элюар пришел за десять минут до меня. Он рассказал, что его хотели отправить во французское посольство, тут он запротестовал, из всех его слов поняли только «Эренбург». Жена приедет через два дня — когда пришло приглашение, ее не было в Париже. Я сердился: почему никто не сообщил об его приезде? Он смеялся: «А зачем сообщать? Я и так добрался...»

Элюар был очень скромным. Один из участников Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что однажды к нему пришел высокий человек, сказал пароль и дал пакет с листовками. День был холодный, он предложил преждешему посидеть возле печурки. «Вдруг я понял, что видел это лицо в довоенном журнале. Я робко спросил: «Вы поэт?» — «Да». Это был Элюар. Я не мог удержаться: «Вы не должны зря рисковать... Мог бы принести другой». Он удивился: «Почему «другой»? Все мы рискуем. А товарищи устали, набегались за день...» Ив Фарж ездил с Элюаром в партизанский район Греции летом 1949 года — за несколько месяцев до конца Сопротивления. Шли жестокие бои: люди уже защищали не гору Граммос, а человеческое достоинство. Фарж мне рассказывал, что иногда приходилось часами идти в гору. Ни разу Элюар не пожаловался, не попросил передохнуть, а когда я ему говорил: «Посидим часок», он возражал: «Пойдем с бойцами — зачем их задержи-

вать?..» Однажды он выхватил у двух девушек тяжелый мешок, потащил его, не хотел отдавать. Я записал слова Фаржа: «Он, кажется, никогда не думал о том, что он большой поэт. Может быть, потому другие не могли об этом забыть».

Он выступил в Колонном зале, потом в клубе автомобильного завода. Мне он признался: «Самое трудное выйти на сцену, когда все на тебя смотрят...» Не успел кончиться юбилей Гюго, как начался юбилей Гоголя. Элюар выступил в Большом театре, еще где-то. Потом чествовали Федина, и Элюар его приветствовал. Потом он рассказывал в Доме литераторов о современной французской поэзии. Потом его пригласили студенты. Потом была пресс-конференция. Доминика говорила мне: «Поль очень волнуется, когда выступает...» Я просил уменьшить программу, но такие уж нравы: если юбилей — двадцать пять речей, если банкет — пятьдесят тостов, страна большая, людей много...

В одно утро Элюар пришел ко мне расстроенный, сказал, что с Жаном Юго приключилась неприятность: он стоял на Софийской набережной, неподалеку от дома английского посольства, и писал акварелью пейзаж Кремля. Подошел милиционер и отобрал альбом. «Жан никогда не занимался политикой, но к вам он чувствует симпатию. Он — председатель французского юбилейного комитета, и вот уехал со мной в Москву. Досадно!.. Может быть, ему вернуть альбом?..»

Я позвонил довольно ответственному в то время товарищу, который мне ответил, что француз рисовал не только Кремль, но и здание Министерства обороны: «Это совершенно недопустимо...» Часа два или три спустя мне принесли из гостиницы книгу Элюара с иллюстрациями Юго, художник на первой странице акварелью нарисовал Кремль, я увидел «недопустимую» верхушку здания Министерства обороны. Юго писал, что уезжает, посылает Любе и мне эту книжку на память о наших встречах. Акварель напоминала другие работы Юго — нежные и наивные: стены, купола, снег. Да из окна английского посольства можно все это сфотографировать и, конечно, куда точнее! Я рассердился, снова позвонил, сказал все, что думал. Вечером тот же довольно ответственный товарищ сообщил мне, что альбом решили вернуть Юго: «А к вам просьба — постарайтесь его успокоить». Скрепя сердце я пошел к Юго, долго мялся и наконец начал: «Произошло недоразумение...» Юго увел меня в ванную и там сказал: «Можете быть уверены, что во Франции я не скажу об этом ни слова...» В Париже в интервью он говорил, что очень доволен своей поездкой, его чудесно принимали и он увидел, как в Советском Союзе любят Гюго. Осенью 1954 года он написал мне, что работает над иллюстрациями к «Оттепели», которую публикует французский журнал «В защиту мира». Рисунки были лирическими: лесок, прогалины, влюбленные... Юго скорее почувствовал, чем понял, что многое в наших нравах изменилось.

Вернусь к Элюару. Мне хочется передать образ большого поэта, которого я встретил впервые сорок лет назад, но узнал и полюбил много позднее. Смутно помню молодого сюрреалиста, высокого, худого, с привлекательным лицом, с удивительно красивым голосом. Он ругал одного писателя, в те времена весьма почитаемого: «Это не человек, это хорек, который уверяет кур, что он их спасет от куриных хлопот...» Когда он негодовал, он густо краснел. В те годы я его плохо знал и только недавно, прочитав его юношеские письма, понял, что у нас было много общих увлечений и сомнений, хотя он был на пять лет моложе меня. В ранней молодости он болел легкими, его послали в Швейцарию в санаторий. Там он познакомился с русской девушкой Галей и влюбился в нее. Началась война. Галя уехала в Москву. Поль служил в полевом госпитале, был отравлен газами. Он слал письма Гале, и в 1916 го-

ду она приехала в Париж, вскоре они поженились. С помощью Гали он перевел «Балаганчик» Блока. В одном из писем с фронта он просил мать послать его первую книжку стихов знакомой Гали — «известной русской поэтессе Марине Цветаевой».

1930 год я с Любой встречали в Берлине у художника Георга Гросса. Среди приглашенных был Элюар. В то время в среде сюрреалистов шли горячие споры — прав или не прав Арагон. Элюар оставался с непримиримыми, но по природе он был мягким, шутил, смеялся, хотя в те годы ему было очень трудно.

Четыре года спустя я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции». Статья была поверхностной, хлесткой. Меня разозлило, что сюрреалисты устраивают дискуссии о поле, характере и возможном поведении стеклянного шарика или лоскута бархата. А фашисты за Рейном жгут книги, убивают людей. Когда Элюар пришел на Антифашистский конгресс писателей, чтобы прочитать речь, написанную Бретоном, он со мной не поздоровался.

Летом 1937 года у книжного магазина на бульваре Сен-Жермен я разглядывал новинки. Кто-то стоял рядом, я поглядел — Элюар. Мы оба смутились. Он первый сказал: «Здравствуйте!.. А Пикассо говорил мне, что вы в Испании...» Я ответил, что неделю назад был на Арагонском фронте. Он спросил, как там теперь. Я рассказывал, должно быть, нехотя, потому что он вдруг остановился: «Мне нужно в другую сторону...» Вспоминая эту неудавшуюся встречу, я думаю, как часто бывал глухим и слепым.

В годы войны я прочитал во французском журнале, выходившем в Лондоне, несколько стихотворений, которые меня потрясли человечностью и красотой. Подпись — Жан дю О — явно была псевдонимом. Мелькнула мысль: может быть, Элюар?.. Вскоре после этого один из летчиков «Нормандии» прочитал мне те же стихи и еще другие: «Это Поля Элюара...»

Мы встретились летом 1946 года в Париже и обняли друг друга. Я знал по рассказам общих друзей, что в начале тридцатых годов в личной жизни Элюара произошли перемены: он женился на Нуш. Пикассо показывал мне ее портрет, она казалась красивой. Стихи Элюара стали менее мрачными. И вот я увидел Нуш, она оказалась не только красивой, но обаятельной, нежной, хрупкой и в то же время смелой. Мы просидели в темном кафе вечер. Поль и Нуш рассказывали о годах оккупации. Мы смеялись, шутили. Бог ты мой, каким светлым казалось нам тогда будущее!..

Приехала из Москвы Люба. Элюар нас позвал к себе. Мы добрый час разыскивали дом, где он жил. Он записал адрес в мою книжицу, а такого номера не оказалось. Мы ходили взад и вперед по длинной улице де ля Шапелль. Если мы нашли наконец дом, мрачный, темный, то только потому, что один из прохожих, которых мы спрашивали, догадался: «Наверно, у вас старый адрес — часть улицы переименовали, поищите на улице Макс-Дормуа». Я ругал Элюара: почему он записал не ту улицу? Нуш смеялась: «Поль против нового названия. Он говорит, что мы жили и живем на улице де ля Шапелль. Вы понимаете — это ведь целый мир. Даже говорят так: «Человек — с улицы — де ля Шапелль...»

Мы встретились с Элюаром два года спустя во Вроцлаве, по ночам разговаривали. Потом мы бродили по развалинам Варшавы. Иногда с нами был Пикассо, иногда мы беседовали вдвоем. Он изменился — казалось пережитое: в конце 1946 года, когда он уехал на несколько дней в Швейцарию, скоропостижно скончалась Нуш. Друзья рассказывали

мне, как тяжело он пережил потерю; а мне он сказал в одну из вроцлавских ночей: «Я стоял одной ногой в могиле...»

Потом был Парижский конгресс и снова длинные беседы. В Москве в феврале — марте 1952 года я видел его в последний раз. Если сложить все часы, проведенные с ним, получится мало, очень мало, но, видимо, у сердца свой хронометр; я потерял не только большого поэта — близкого друга, простого и необычайного, мягкого и мужественного, поэта любви, считавшегося малопонятным и ставшего своим для миллионов читателей.

Неужели никогда не перестанут взрослые, серьезные люди противопоставлять один период творчества поэта другому, рубить человека на куски, превращать его жизнь с поисками, потерями, надеждами, с ее неперемнной трагедией в шутовской экзамен, где экзаменатор бубнит: «Это было ошибкой... Теперь правильно... Опять неверно... Хорошо, что поняли... Пожалуй, дадим вам диплом...» Что за напасть и что за ограниченность! В 1925 году Элюару было тридцать лет, а в 1945-м пятьдесят. Дело не только в том, что поседели виски, руки начали дрожать, но разве человек, перед которым в тумане раскрывается даль, может понять, почувствовать то, что станет для него в конце жизненного пути не азбучными истинами, а своим опытом, слезами, потом, потерями? Да одни ли поэты меняются? Но разве не меняется сама жизнь? Долгие годы сюрреализма для Элюара были не ошибкой, которую ему следует простить за последующее, они были годами его жизни, его поэзии, и, наверно, без них он не стал бы автором последних книг.

Юношей на фронте он начал стихотворение словами: «Меня покинула лазурь, и я развел огонь...» О том же он писал и в годы Сопротивления, и перед смертью: о ночи и огне. Он всегда писал о любви. Перед молодым фронтовиком была Галя, перед зрелым поэтом — Нуш, в последние годы — Доминика; но стихи Элюара не летопись сердечных событий, не прославление петрарковской Лауры или другой женщины — это стихи о любви и любой любящий может их принять за выражение своих чувств. Поэтический гений — это не только исключительная сила слов, это исключительная глубина, острота чувствований, она позволяет «самовыражению» стать выражением современников, а порой и правнуков.

Однажды во Вроцлаве Элюар рассказал мне историю стихотворения «Свобода». Это стихотворение состоит из ряда четверостиший, каждое кончается словами «я пишу твоё имя»: «На моих разбитых укрытиях, на моих рухнувших маяках, на стене моего уныния я пишу твоё имя... Элюар сказал, что писал эти стихи о Нуш и кончал стихотворение словами: «Я родился для того, чтобы тебя узнать, чтобы назвать тебя по имени». У него было поразительное свойство: этот якобы замкнутый, даже «герметический» поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. «Вдруг я понял, — рассказывал он, — что я должен кончить именно, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода». Это было в 1942 году, тогда у всех была одна возлюбленная.

Поэзия Элюара неизменно считалась трудной, о нем говорили как о «поэте для немногих». Но стихи Элюара летчики сбрасывали на города оккупированной Франции — стихи оказались убедительнее листовок, хотя Элюар ни в чем не поступился, ни к чему не приспособился — стихи военных лет так же «трудны», как написанные раньше или позднее. Еще раз было доказано, что понятие «доходчивости» условно, часто стихи подлинного поэта куда понятнее миллионам читателей, чем трезвые наставления литературного критика.

Сложность поэзии Элюара в ее сжатости, трудность в простоте. Его стихи почти непередаваемы — они слишком зависят от облика слова, его

звучания, связанных с ним ассоциаций. (Незвал, Альберти, Тувим, Назым Хикмет. Неруда читали его стихи в подлиннике, их любовь к человеку была связана с ощутимостью, реальностью его поэзии.) Трудно объяснить, в чем сила стихов Элюара, — внешние приметы поэзии отсутствуют: нет ни рифмы, ни размера, ни редкостных эпитетов, ни пышности образа. В стихотворении «Габриэль Пери» он говорил: «Есть слова, которые помогают жить, и это простые слова: слово «тепло» и слово «доверие», слова «любовь», «справедливость» и слово «свобода», слово «ребенок» и слово «доброта», и некоторые названия фруктов и цветов, слово «мужество» и слово «открытие», слово «брат» и слово «товарищ», и некоторые названия стран и деревень, и некоторые имена друзей и женщин...» Стихи его кажутся зыбкими, невесомыми, как тень листы или утренняя роса, и, однако, они остаются в памяти, стоят вдоль дороги жизни, как старые чинары или как каменные статуи.

Элюар очень любил живопись. Его книги, кроме Пикассо, иллюстрировали многие художники, непохожие один на другого — Макс Эрнст и Валентина Юго, Леже и Сальвадор Дали, Шагал и Кирико. Многие из художников, которые ему нравились, мне далеки, но я понимаю, что он видел в их работах: чертежи поэм, зримый мир его сновидений. В своих стихах, однако, он не пытался словами вылепить форму или передать цвет — верил в магию слов и от нее не уклонялся ни к пластике, ни к красноречию.

Больше всего, больше всех Элюар любил Пикассо. Их дружба длилась четверть века, и ничто не могло ее подорвать или хотя бы остудить. Под «Герникой» Пикассо — стихи Элюара. Поль собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу «Пабло Пикассо». Внешне они казались людьми двух полюсов — чертом и младенцем, но это относится к характеристике экзаменаторов или классификаторов, которым чужда стихия искусства. Черт может быть добрым, даже простодушным, а младенец побывал в аду и многое знал. Наперекор законам возраста и ремесла они были близкими феноменами, и когда Пикассо вспоминает: «Это Поль мне сказал», его лицо становится таким нежным, что сжимается сердце.

Он был настолько хорошим и скромным человеком, что, кажется, личных врагов у него не было. В 1942 году он вошел во французскую коммунистическую партию, остался верен ей до конца. Умер он еще в эпоху предельного ожесточения, и вот что поразительно — сила его поэзии, ее человечность, великодушие обезоруживали политических противников. Правда, правительство пыталось запретить похоронное шествие, но это было механическим актом «холодной войны», поступком не живых людей, а электронной машины. Со дня смерти Элюара прошло много времени, а его влияние продолжает расти, о нем уже никто не спорит — его поэзия переросла и биографию и события.

Я все-таки не сказал, что всего удивительнее в его поэзии. Доброта. Можно быть большим поэтом, уметь страдать и уметь рассказать о муках или о радости — глубоко, точно, но без доброты. Это уж не столь частое свойство и вообще людей и в частности поэтов. Элюар не мог быть счастливым рядом с чужим несчастьем, и происходило это не от размышлений, а от природы человека. Когда он говорил о своем личном счастье, он говорил о счастье всех: «Мы идем вдвоем, взявшись за руки. Нам кажется, что мы повсюду дома — под ласковым деревом, под черным небом, под всеми крышами, у всех каминов, на пустой улице, на ярком солнце, в смутных взглядах толпы, среди мудрых и безумных, среди детей и среди взрослых. В любви нет ничего таинственного, мы здесь, все нас видят, и влюбленным кажется, что они у нас в гостях». Это написано незадолго до смерти. Он шел с Доминикой, может быть, по

холмам Дордони или в Москве по Пушкинской площади. Он хотел всех одарить. Он боролся, рисковал не раз жизнью — не оттого, что решил так поступать, а потому, что не мог иначе.

В один из последних московских вечеров Поль сидел у нас. Его руки дрожали больше обычного, но он шутил, потом замолк. Люба говорила с Доминикой. Вдруг он сказал мне: «Я вспоминаю молодого рабочего. Помните — он прорвался после вечера в комнату за сценой?.. Он сказал: «Мне тоже хочется писать стихи, но я боюсь, что не выйдет. Голова все время набита словами, гудит, а писать боюсь...» Горько то, что задуманное всегда лучше, чем выполнение. Не только в поэзии — в жизни...»

Эти слова я записал. Прощаясь, мы думали, что встретимся в декабре в Вене. Я радовался, видя рядом с ним крепкую, милую, заботливую Доминику. Восемь месяцев спустя в холодное туманное утро я услышал: «Вчера умер французский поэт Поль Элюар...» Доминика потом мне рассказала, что утром он прочитал газеты: Розенбергам, несправедливо осужденным в Америке, отказано в пересмотре дела. Поль сказал: «Только бы их спасли!..» Четверть часа спустя он позвал Доминику: сердце перестало биться. Ему должно было исполниться пятьдесят семь лет. Я пишу и мне кажется, что это случилось вчера. Ничего нет сильнее, чем то, что связывает людей, когда перевал позади и они спускаются вечером по темной крутой тропинке.

31

Когда я оглядываюсь назад, 1952 год мне кажется очень длинным и в то же время тусклым; вероятно, это связано с тем, как я тогда жил. В журнале печатался «Девятый вал», критики его хвалили; но я чувствовал, что книга не вышла, и ничего больше не писал. Перерывы между поездками, связанными с борьбой за мир и с работой депутата, оставляли достаточно времени, чтобы задуматься над своим писательским путем. В один из осенних дней я записал в книжечку: «Видимо, разумнее всего оставить работу писателя. Через три месяца мне будет шестьдесят два года, это не тот возраст, когда можно сидеть у моря и ждать погоды. Движение за мир — хоть здесь я могу что-нибудь сделать».

В октябре собрался XIX съезд партии. Сталин произнес в конце короткую яркую речь. О литературе упомянул в своем докладе Маленков; он жалел, что у нас нет Гоголей и Щедриных, и сказал, что идейные позиции писателя определяются тем, типичны его герои или нет. Один ленинградский писатель мне говорил: «Управдомов можно было высмеивать и до того, как вспомнили про Гоголя и Щедрина. А подымешься на ступеньку выше — скажут: «Нетипично». Интересно, каким путем будут устанавливать «типичность» — может быть, статистикой».

Я просмотрел подшивку «Литературной газеты»; все выглядит идиллически. Газета отмечала, что в «Новом мире» напечатан роман Гроссмана «За правое дело», но критики о нем молчали. Они хвалили новый вариант «Молодой гвардии» Фадеева, одобрительно писали о романе Качетова «Журбины». Газета сокрушалась, что недостаточно учтен «гениальный труд Сталина, произведший переворот в языкознании». Разоблачили «лженауку» кибернетику. Писателей ругали мягко, почти по-отечески. Праздновали юбилеи: Паустовскому и Федину исполнилось шестьдесят лет, Назыму Хикмету и Каверину пятьдесят. Устраивали вечера, подносили папки, обнимали и, разумеется, желали «новых творческих успехов». Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили. В одном из толстых журналов напечатали стихотворение Мартынова, редакцию за это поругали. Под тусклыми, похожими одно на другое стихотворениями пестрели незнакомые имена молодых; теперь я заметил

под одним из них подпись Е. Евтушенко. Когда перелистываешь еще не успевшие пожелтеть листы, кажется, что редакция не знала, чем их заполнить. Кончились радищевские дни, отмечали пятидесятилетие со дня смерти Золя, потом столетие со дня рождения Мамина-Сибиряка.

В апреле в Москве состоялось Международное экономическое совещание. Я познакомился с лордом Бойд-Орром, старым английским пацифистом, человеком большой культуры и чистых мыслей. Он мечтал о сотрудничестве двух миров, с восхищением говорил о Ганди, об Эйнштейне.

На совещание приехали, помимо экономистов, несколько крупных предпринимателей и довольно много средних или мелких, надеявшихся на советские заказы. Вспоминаю смешной эпизод. Из секретариата совещания мне позвонили. «Что значит французское сокращение А.П.Т.?» Я не мог расшифровать, ломал себе голову. Потом мне переслали письмо: Апт оказался городом в Провансе, а письмо написал фабрикант охры Шовен. До войны, по словам Шовена, французские фабриканты охры продавали России ежегодно восемь тысяч тонн, и он решил приехать на экономическое совещание с надеждой возобновить экспорт охры. Шовен оказался живым симпатичным южанином, участником французского Движения сторонников мира и неисправимым фантазером. Его принимали в Комитете защиты мира на Кропоткинской. Он восхищался людьми, но, глядя на облупившийся фасад особняка, повторял: «Вам совершенно необходима охра!..» В Москву он привез образцы промышленной охры — глазированные фрукты и лавандовую туалетную воду. Фрукты были вкусными, лаванда чудесно пахла, но ни эти товары, ни охра не соблазнили Министерство внешней торговли. У одного бельгийца купили партию дамских комбинаций, и он ликовал, а Шовен уехал с пустыми руками, но с сердцем, полным любви к нашему народу, писал мне письма, хотел, чтобы советские актеры приняли участие в карнавале Апта — словом, оставался наивным мечтателем.

Жизнь шла своим ходом. Народ трудился. Строили новые заводы. Учителя учили грамоте малышей, которые теперь стали юношами и работают или учатся, думают, спорят. Подростки читали Толстого, Чехова, Горького. На сцене тысячи театров ежевечерне Гамлет говорил о флейте и лжи, герои Чехова тосковали, а бессмертный Хлестаков врал, не зная передышки. В музеях всегда толпились посетители. Разговаривая с незнакомыми людьми, я видел, как выросло сознание так называемого «среднего человека».

В Праге осенью происходил процесс группы видных коммунистов. В «Литературной газете» их назвали «жабами у чистого родника», которые «мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях». (Весной 1963 года Верховный суд Чехословацкой республики отменил приговор и реабилитировал осужденных.) Конечно, я не предвидел последующего, но пражский процесс заставил меня снова насторожиться.

Переговоры о перемирии в Корее начались еще весной 1951 года. После длительных споров стороны пришли к соглашению о шестидесяти пунктах договора. Спор продолжался об одном вопросе — порядке репатриации военнопленных. На Генеральной Ассамблее ООН Вышинский и Ачесон произносили длинные речи. Все понимали, что разрешить конфликт силой оружия невозможно, однако бои продолжались, причем они шли в районе, который согласно одному из шестидесяти одобренных пунктов должен был стать нейтральной зоной.

Шли бои и в Индокитае. «Холодная война» не затихала. Некоторые американские сенаторы называли операции в Корее «началом третьей мировой войны», говорили, что эта война будет длительной и должна кончиться «полным уничтожением коммунизма». Во Франции то и дело менялись правительства, вспыхивали забастовки, арестовывали коммунистов и профсоюзников. В Греции продолжались расправы. Я долго глядел на фотографию казненного Белоянниса; он держал в руке гвоздику и улыбался.

Год казался тихим и душным. Многие события последующих лет медленно созревали, но даже завзятые оптимисты предпочитали помалкивать.

Я был занят подготовкой Конгресса народов; дважды побывал в странах Скандинавии, ездил в Берлин, просидел несколько недель в Вене.

Жолио-Кюри и другие руководители движения хотели, чтобы Конгресс народов был шире и представительнее конгрессов сторонников мира. В письме к итальянскому либералу Нитти Жолио дал гарантии, что участники конгресса смогут свободно изложить свою точку зрения. Недоверие все же помешало многим колебавшимся приехать в Вену. Но если вспомнить обстановку конца 1952 года, то можно сказать, что конгресс удался. На нем выступили бывший канцлер Вирт, депутат католической партии Италии Терранова, итальянский депутат-республиканец Нитти, приверженцы Варгаса в Бразилии и Перрона в Аргентине, члены индийской партии конгресса, представитель партии большинства иранского парламента, некоторые английские тред-юнионисты, националисты из Марокко, друзья Бургибы, писатель Сартр, наблюдатель от организации сторонников «всемирного правительства» и пацифисты различных толков.

В отличие от парижского и варшавского конгрессов ораторов, критиковавших политику Советского Союза, выслушивали спокойно, многие даже аплодировали; в некоторых из таких речей говорилось о чрезмерно воинственном тоне Вышинского, об отказе от поисков компромисса, о подтексте пражского процесса. Мне запомнились выступления Элин Аппель, итальянской католички Пиаджио и шведского писателя Бломберга.

Конечно, как и в Варшаве, приветствуя некоторых ораторов, все вставали, на заключительном заседании пели, махали платочками и закрыли конгресс в три часа утра. Все же атмосфера была более деловой, да и более миролюбивой, чем на Варшавском конгрессе. Вступительную речь произнес Жолио, он как бы дал тон ораторам. Впервые много говорилось о мирном сосуществовании, о культурных связях. Фадеев болел, и советской делегацией руководил Корнейчук, который непрестанно улыбался.

В тексте обращения к народам не было резких обвинений: он заключал требование немедленного прекращения военных действий, признания за всеми народами права на независимость, необходимость всеобщего разоружения — словом, напоминал некоторые резолюции, единогласно одобренные Ассамблеей Объединенных Наций семь или восемь лет спустя.

После окончания конгресса был устроен ужин в большом зале, где смогли уместиться две тысячи человек. Было мало речей и много австрийского вина, легкого, но коварного. Все развеселились. Под утро кто-то прочитал, вернее прокричал, только что полученный из Москвы список новых лауреатов премий «За укрепление мира»: «Ив Фарж, Китчлу, Поль Робсон...» Я аплодировал и вдруг услышал: «Илья Эренбург». Я скорее растерялся, чем обрадовался. Никогда мы не присуждали премий нашим. Да и почему мне, а не Фадееву или Корнейчуку?.. Ко мне подо-

дили, чокались, обнимали. Серени сказал мне на ухо: «Хорошо, что он вам дал премию. Именно сейчас...» Я спросил, что значат его слова, но он не ответил.

Два дня спустя мы поехали поездом в Москву. Один вагон отвели Сун Цин-лин и китайским делегатам, в двух других разместилась советская делегация и наши гости — Китчлу, Амаду, Эндикотт, Саломеа. Поезда в то время шли медленно. Выехав утром, мы только под вечер добрались до Будапешта. Денег у нас не было, и на дорогу нам ничего не дали, кроме цветов. Корнейчук, сидевший в соседнем купе, то говорил, что готов съесть своего соседа, то мечтал, как нас накормят в Будапеште, где поезд должен был простоять два часа. На вокзальном перроне мы увидели Ракоши и других важных товарищей, нас повели в правительственный зал. Корнейчук шептал: «Сейчас дадут гуляш...» Однако нам дали черный кофе и печенье. Корнейчук помялся, потом сказал: «Мы весь день ничего не ели»... Венгры засуетились; ресторана на вокзале не оказалось, полчаса спустя принесли сосиски, очень вкусные, но очень маленькие. Поели мы на следующее утро — на советской границе, где простояли часов пять. Два дня спустя я приехал в Москву. В дороге я несколько раз пытался расшифровать слова Серени — может быть, он знает что-то?.. Но чем больше я думал, тем меньше понимал и только нервно позевывал.

Пять дней спустя мы встречали Новый год с Ириной, Лидиными, Савичами. Я успел повидать некоторых друзей, спрашивал, какие новости. Рассказывали пустяки. На сердце у меня было смутно, я сам не знал почему.

Тринадцатого января газеты привезли в полдень. Я нехотя развернул «Правду». «К новому подъему нефтяной промышленности». «Упадок внешней торговли Франции». Вдруг на последней странице я увидел: «Арест группы врачей-врагителей». ТАСС сообщал, что арестована группа врачей, которые повинны в смерти Жданова и Щербакова. Они сознались, что собирались убить маршалов Василевского, Говорова, Конева и других. В газете было сказано, что большинство арестованных — агенты «международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», которые получали указания через врача Шимелиовича и «еврейского буржуазного националиста Михоэлса». В списке арестованных были известные медики — трое русских, шесть евреев.

Я поехал в Москву, пытался узнать, что приключилось. Одни говорили, что врачей начали арестовывать два месяца назад; другие, напротив, рассказывали, что был консилиум, пригласили врачей, лечивших Сталина, и потом арестовали. Все повторяли, что в больницах ад, многие больные смотрят на врачей, как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства. Агроном, тот, что беседовал с Сартром, проводил отпуск в Ялте. Он приехал до срока, рассказал мне, что его жена перепугалась: «Сегодня же уедем из санатория — нас здесь отравят»... Женщина-врач говорила: «Вчера пришлось весь день глотать пилюли, порошки, десять лекарств от десяти болезней — больные боялись, что я «заговорщица»...» На Тишинском рынке подвыпивший горлодер кричал: «Евреи хотели отравить Сталина!..»

Я говорил, что наш народ духовно вырос; но и мыслящий тростник порой перестает мыслить; можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу. Я никак не хочу всем приписывать того страха, о котором говорил. Последний холерный бунт был в 1893 году. Да и погромы исчезли с концом гражданской войны. Но если забраться в душевные дебри многих вполне разумных людей, то можно найти смутное недоверие, подозрительность. Конечно, такие не станут прислушиваться к разговорам молочниц на рынке. Однако о врачах-убийцах

сообщили следственные органы. Вспомнили процесс в 1938-м; тогда выяснилось, что врачи убили Горького. Теперь они стали еще хитрее — ставят неправильный диагноз и лечением доводят больного до смерти. Я часто замечал у людей вместе с преклонением перед медициной страх перед медиками — перед тем врачом, который их лечит: может ошибиться, недосмотреть... Если его завербовали враги, он может убить и безнаказанно. Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии — церемония была назначена на 27 января: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках...» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать...»

Двадцать первого января, в день годовщины смерти В. И. Ленина, под его портретом в газетах был опубликован указ о награждении орденом Ленина женщины-врача «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

На вручении мне премии выступали с приветственными речами Тихонов, Сурков, Арагон, Анна Зегерс, колумбийский писатель Саломеа. Потом полагалось выступить мне. Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира». Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучало: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих...» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной — к словам о преследовании вставили «силы реакции»: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.

Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая «убийц в белых халатах». Во многих письмах говорилось: «русская женщина», «русская душа».

Однако самые неистовые толкования я прочитал во французской газете «Се суар», которую долго редактировал Жан-Ришар Блок. Эти статьи принадлежали перу видного журналиста Пьера Эрве, бывшего тогда коммунистом. Я понимаю, что французский коммунист мог поверить органам советского следствия и защищать их от политических врагов. Однако Эрве превзошел все и всех: его статьи напоминали фальшивку, изготовленную в годы второй империи, «Протоколы сионских мудрецов»; он доказывал, что козни «Джойнта» и арестованных врачей не локальное явление, а результат давнего заговора. Даже в те дни эти статьи меня удивили. А говорю я о них потому, что два года спустя, когда законность в нашей стране была восстановлена, Эрве порвал с коммунистической партией, выпустил книжку и даже прислал ее мне с трогательной надписью. В книжке среди прочего Эрве возмущался «делом врачей», не упоминая о своем личном вкладе.

В «Правде» появилась резкая статья о романе Гроссмана. Тотчас и другие газеты обрушились на роман. Один сотрудник «Правды» рассказал мне, что статью напечатали по указанию Сталина. Не знаю, так ли это, но одно бесспорно — она выходила из рамок литературной критики.

События продолжали разворачиваться. Февраль оказался для меня очень трудным, о пережитом мною я считаю преждевременным рассказы-

вать. В глазах миллионов читателей я был писателем, который мог пойти к Сталину, сказать ему, что я в том-то с ним не согласен. На самом деле я был таким же «колесиком» и «винтиком», как мои читатели. Я попробовал запротестовать. Решило дело не мое письмо, а судьба.

Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел — переводил Вийона. Вдруг пришел сторож Иван Иванович: «По радио, значит, передавали, что Сталин заболел, паралич, положение тяжелое...»

Помню, как ехал в Москву. Было много снега. В сугробах тонули детишки. Я хотел задуматься: что теперь будет со всеми нами? Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники: оцепенение.

32

«В девять часов пятьдесят минут вечера...»

Медицинское заключение говорило о лейкоцитах, о коллапсе, о мерцательной аритмии. А мы давно забыли, что Сталин — человек. Он превратился во всемогущего и таинственного бога. И вот бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным.

Дом, в котором я живу, находится в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того, чтобы пройти на одну из этих улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь, и, если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через пятьдесят шагов меня останавливали и все начиналось сначала.

Траурный митинг писателей состоялся в Театре киноактера на улице Воровского. Все были подавлены, растеряны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверно, то, что и другие.

На следующий день нас повезли в Колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал набальзамированный, торжественный — без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями.

Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. Рассказывали о задавленных на Трубной площади. Привезли отряды милиции из Ленинграда. Не думаю, чтобы история знала такие похороны.

Мне не было жалко бога, который скончался от инсульта в возрасте семидесяти трех лет, как будто он не бог, а обыкновенный смертный; но я испытывал страх: что теперь будет?.. Я боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранять ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки: я связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось «мудростью гениального вождя».

Я никогда не разговаривал со Сталиным (кроме телефонного разговора накануне войны, о котором писал). Я видел его издали на торжественных заседаниях, приемах или на сессиях Верховного Совета. Однажды я оказался рядом с ним, случилось это на приеме, когда в Москву приехал Мао Цзэ-дун. Меня удивило, что при входе контроль был строжайшим, как будто это не ресторан «Метрополь», а Кремль. Войдя в зал, я увидел, что народу очень много, и не стал пробиваться вперед. Зал оживленно гудел. Вдруг наступила тишина. Оглянувшись,

я увидел Сталина. Он был не таким, как на портретах, старый человек небольшого роста с лицом как бы исколотым годами; низкий лоб, живые острые глаза. Он с любопытством разглядывал зал, где, наверно, не был четверть века. Потом началась овация, и Сталина увели налево, где находились китайцы. Все произошло настолько быстро, что мне не удалось как следует его разглядеть.

Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как все, называл его «хозяином». Древние евреи тоже не произносили имени бога. Вряд ли они любили Иегову: он был не только всесилен, он был безжалостен и несправедлив, он наслал на праведного Иова все беды — убил его жену, детей, поразил его самого проказой, и все это только для того, чтобы показать, как живо гниущий, брошенный всеми невинный человек будет на пепелище прославлять мудрость Иеговы. Бог бился об заклад с сатаной, и бог выиграл. Проиграл Иов.

В четвертой части этой книги я обещал читателям вернуться к Сталину, попытаться подвести итоги и найти причины наших заблуждений. Как многие поступки в моей жизни, это обещание было легкомысленным. Я не раз садился за эту главу, черкал, рвал написанное и наконец понял, что не смогу выполнить обещанное: конечно, теперь я знаю куда больше, чем в марте 1953 года, но я вижу, что знаю слишком мало для итогов и выводов, да и то, что мне известно, я зачастую не понимаю. Я не могу дать портрет Сталина — я его лично не знал; видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Напрасно я обещал выйти из рамок воспоминаний, заняться историей или философией. Ограничусь тем, что поделюсь с читателями своими мыслями и чувствами в марте 1953 года, а если и выскажу некоторые размышления, то они будут связаны с характером работы писателя, которого больше всего волнуют судьбы человеческого сознания и совести.

Обожествление Сталина не произошло внезапно, оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал: по его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль, не соответствующую действительности; художники писали огромные полотна, посвященные канунам революции, Октябрю, первым годам Советской республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным; в газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина «гениальным» и «мудрейшим» предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смутили в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я — интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать.

Святой Петр для католиков — камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая, для меня он — герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в римском соборе, я забыл про все легенды: я глядел на ногу Петра — от поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительна. Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал «Хулио Хуренито», в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал: «Вера — очки и шоры. Вера двигает горы. Я — человек, не гора. Вера мне не сестра. Видел

я камень серый, стертый трепетом губ. Мертвого будит вера. Я — человек, не труп. Видел, как люди слепли, видел, как жили в пепле, видел — билась земля, видел я небо в пепле. Вере — не верю я».

Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть, они назвали свою часть «Батальоном Сталина». В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину, за Сталина!». Сколько писем итальянских и французских героев Сопротивления, написанных перед казнью, кончались словами: «Да здравствует Сталин!» К семидесятилетию Сталина одна француженка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в честности которых трудно усомниться, — Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством.

Шла борьба, и места «над схваткой» не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком; говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форрестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе.

В тридцатые годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено: фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили «невмешательство», и только горсточка советских военных сражалась на стороне республиканцев. Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию: Чемберлен и Даладе надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась «странная война», правители Франции воевали не столько против рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной Армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что «красные» ослабят рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит «красных». Не успела кончиться вторая мировая война, как начали поговаривать о третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина.

Я не сразу разгадал роль «мудрейшего». Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие, я пытался обелить перед собой Сталина, я приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, нравам.

Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о «головокружении от успехов», и о том, что «сын не отвечает за отца». После разгула «ежовщины» он публично сокрушался: в таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. Десять лет спустя, в разгар кампании против «космополитов», он осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. М. С. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаренце, говорил, что его не нужно трогать, а несколько месяцев спустя Чаренца арестовали и убили.

Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал: «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Роллан после встречи со Сталиным говорил: «Он удивительно человечен!..» Фейхтвангер считал себя скептиком, стреляным воробьем. Сталин, наверно, про себя посмеивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стреляный воробей поверил...

Суриц, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлером был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны — об этом мне говорили и военные и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных «врагов народа», почему-то поверил в подпись Риббентропа. Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся — не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову; потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в «братьев и сестер» бога. Однако он быстро собрался с духом, поразил Гопкинса своим спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени — в газетах редко встречалось его имя. Культ был восстановлен сразу же после разгрома немцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе «гениального стратега».

Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел много узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович предатели. С. М. Эйзенштейн рассказывал о своей встрече со Сталиным, который, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил: «Петруха недорубил...» Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра, я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина.

Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью, и, рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признавался, как трудно нам было порой молчать.

Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делается в домах и в умах. Я пытался утешить себя: Сталин о многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молоденькой Наташе Столяровой, или о жене художника Шухаева, или о Семене Ляндриесе — если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве.

Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь «Последние новости» или «Тан» охотно опубликовали бы такую статью, даже если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранил зло, но он и не думал о защите царской России — напротив, он хотел обличить ее злодеяния перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием, и в книге о прожитой жизни я не мог об этом умолчать.

Один из участников французского Сопrotивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, в котором он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал това-

ришей, жег крестьянские дома, подозревал всех в измене или малодушии. «Я не мог об этом рассказать никому,— говорил он,— это значило бы нанести удар всему Сопротивлению, петеновцы за это ухватились бы...»

Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах. Да о чем тут говорить: пресечь преступления не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные. 2 июля 1956 года было опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»; в нем были такие строки: «...Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же после смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями. Может возникнуть вопрос: почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? В сложившихся условиях этого нельзя было сделать». Далее документ говорит, что «Сталин повинен во многих беззакониях», но его авторитет был таков, что «всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества».

Вероятно, Сталин до конца своей жизни считал себя коммунистом, учеником и продолжателем Ленина, не только говорил, но и думал, что ведет народ к высокой цели и что для этого не нужно брезговать никакими средствами. Я не случайно вспомнил времена итальянского Возрождения. Макиавелли писал, что для создания сильного государства любые средства хороши — яд, доносы, убийства из-за угла; он предлагал правителю сочетать в себе храбрость льва с хитростью лисицы, быть мудрым, как человек, и хищным, как зверь. Для Медичи или Борджии такие советы были, наверно, полезны, но для коммуниста они неприемлемы.

Старый спор о том, оправдывает ли цель средства, мне кажется абстрактным. Цель не указатель на дороге, а нечто вполне реальное, это действительность, не картины завтрашнего дня, а поступки сегодняшнего; цель предопределяет не только политическую стратегию, но и мораль. Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия, нельзя бороться за равенство, превратив народ в «колесики и винтики», а себя в мифическое божество. Средства всегда отражаются на цели, возвышают или деформируют ее. Мне кажется, что после XX и XXII съездов это стало ясным всем, кроме разве некоторых зарубежных догматиков, которые, говоря о чистоте своих риз, рядом с именем Ленина кощунственно ставят имя Сталина.

Как миллионы моих соотечественников, прочитав материалы XX съезда, я почувствовал, что с моего сердца сняли камень. Хотя методы Сталина были оставлены сразу же после его смерти, наш народ, да и все человечество должны были узнать горькую правду — того требовали и разум и совесть. Мы узнали о заблуждениях прошлого. В этом прошлом много подвигов и побед советского народа, но, говоря о них, может быть, правильнее сказать не «благодаря Сталину», а «несмотря на Сталина» — уж слишком часто он направлял свой государственный ум, свою редкостную волю на дела, которые противоречили тем идеям, на которые он ссылался, ранили совесть любого честного человека.

Вернусь к мартовским дням. На Мавзолее Ленина ночью приписали имя Сталина. На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил о бдительности «в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами», а Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам «охранять их права, записанные в Сталинской конституции».

На следующий день Москва вернулась к обычной жизни. Я видел, как дворники усердно подметали улицу Горького, как шли люди на рабо-

ту, как выгружали во дворе ящики, как мальчишки озорничали. Все было знакомым, и я говорил себе: как неделю назад... Вот это и было неправдоподобным: Сталин умер, а жизнь продолжается.

Днем я дошел до Красной площади. Она была завалена венками: люди стояли, пытались прочесть надписи на лентах, потом молча уходили.

Я поехал с Фадеевым в «Советскую» гостиницу — там остановились друзья из Всемирного Совета, приехавшие на похороны. Глаза у Фаржа были печальные, но он сразу стал нас приободрять, говорил: «Все образуется» — таков был его характер: он должен был утешать других. Ненни меня обнял и в тревоге спросил: «Что же теперь будет? Это ужасно!..» В его глазах были слезы. Я сам не знал, что будет дальше, но пример Фаржа оказался заразительным, и я ответил: «Через неделю мы увидимся в Вене. Не нужно отчаиваться — все образуется...»

Я шел по улице Горького. Было холодно: зимний вечер. Вдруг я остановился — простая мысль пришла в голову: не знаю, будет хуже или лучше, но будет другое...

33

Венский конгресс выбрал комиссию, которая должна была передать пяти великим державам предложение вступить в переговоры о Пакте мира. В комиссию вошли Жолио-Кюри, Фарж, Ненни, Изабелла Блюм, японский сенатор Горо Хани, бразильский генерал Буксман, Тихонов, другие; включили и меня. Заседание комиссии было назначено на 16 марта.

Заседали мы два дня, решили отправить текст всем правительствам мира и приняли обращение к общественному мнению. Работали мы в павильоне парка, который сдавался для различных торжеств. Во время перерывов друзья уводили меня по дорожке куда-нибудь подальше и спрашивали: «Как у вас?..» Всех волновало, что будет теперь, когда нет Сталина. С Альп порой дул ледяной ветер, но кое-где уже зацветали подснежники и лиловые крокусы. Прошло десять дней, я успел о многом подумать и понял, что хуже, чем было, не будет, может быть, станет лучше. Из Москвы я уехал накануне сессии Верховного Совета, но в посольстве мне дали короткую речь Маленкова, я ее переводил друзьям; в речи не было ничего нового, однако я всех обнадеживал и хоть раз в жизни оказался хорошим пророком.

Самолет вылетал из Праги 20 марта, и мы вместе с Фаржами должны были добраться 19-го до Праги. Посол мне сказал, что даст машину до границы, а в другой поедет охрана: «Фаржу должны вручить Сталинскую премию, мы не можем его отпустить без охраны...» Мне сказали, что чешская машина будет нас ждать на границе. Рано утром мы двинулись в путь. Увидав машину с военными, Фарж удивился. «Ничего не поделаешь — вы теперь лауреат Сталинской премии...» Он засмеялся: «Но я не диктатор Никарагуа или Гондураса...»

Военная машина неслась впереди. Меня тревожило, что я не узнавал хорошо мне знакомого пейзажа. Я сказал водителю, чтобы он остановился — очевидно, мы поехали не по той дороге. Водитель гудел, но военная машина не останавливалась. Шофер меня успокаивал: «Как-нибудь доедем...» Конечно, мы доехали, но не к тому пограничному пункту, где нас ожидала чешская машина. Советские товарищи сказали, что они спешат в Вену, и укатили. А мы остались в домике чешских пограничников, которые громко вздыхали. У них есть автомобиль, говорили они, но сегодня похороны Готвальда, и начальник уехал в Прагу. Я умолял достать машину. Пограничники куда-то звонили и продолжали вздыхать.

Часа два спустя приковыляла престарелая малолитражка, которая

с великим трудом довезла нас до города Чешске Будейовице. Мы трижды меняли машины и наконец добрались до Праги. Во всех городах и селах у зажженных огней стояли в почетном карауле солдаты и местные жители. В Праге мы миновали южные кварталы, потом пошли пешком. Нас провели к Национальному музею. Похоронное шествие еще продолжалось. Вацлавская площадь была заполнена людьми. Все было, как в Москве — саркофаг, венки, Булганин в мундире, Чжоу Энь-лай, артиллерийские залпы. Люди стояли молча. Не было ни давки, ни плача.

Шесть дней спустя Иву Фаржу вручали в Кремле премию. Церемония успела сложиться, и речи присутствующих напоминали те, что я слышал не раз. В очень коротком приветствии я сказал о большом сердце Фаржа. Он меня обнял и шепнул: «Спасибо за Прованс»... (Он родился, учился, провел молодость в Провансе, там у него был домик «Ле Туретт».)

На следующий день Ив и его жена Фаржетт приехали к нам в Ново-Иерусалим. Они уже знали наш дом, но впервые увидели его в зимнее время: Фарж восхищался снегом, голубыми елями и пельменями с уксусом. Он был веселый, счастливый. Увидев краски и кисти Любы, попросил холст, засучил рукава и начал писать портрет. На следующий день они должны были вылететь в Тбилиси. Я ему рассказывал про древнюю архитектуру, про картины Пиросманишвили, про грузинские вина. Он радовался: «Отдохнем — год был нелегким...»

Это было в пятницу, а в понедельник утром мне позвонили из Москвы: «Высылаем машину — с Фаржем несчастье...» Я вошел в кабинет Григорьяна и увидел Фадеева; обычно он сидел выпрямившись, а теперь сгорбился. Григорьян сказал: «Пишите некролог». Зазвонил телефон, он взял трубку: «Еще жив?.. Хорошо... Понятно...» Он снова повернулся к нам: «Пишите некролог». Я возмутился: «О живом?..» Фадеев увел меня в соседнюю комнату, рассказал, что Фаржа повезли в Гори, устроили пышный ужин с тостами, а когда машина возвращалась в Тбилиси, она врезалась в грузовик, стоявший на дороге. Фарж сидел рядом с шофером, у него разбит череп. Другие невредимы, только жене Фаржа осколки чуть поранили лицо. «Нужно писать, Илья Григорьевич. Я вас понимаю, но ничего не поделаешь...» Я не ответил: думал о Фарже. Замолк и Александр Александрович. Часа два спустя кто-то вошел в комнату и тихо сказал: «Скончался...»

Помню страшное утро на Центральном аэродроме. Было холодно. Едва светало. В сером неровном свете я видел гроб, венки, глаза Фаржетт. Говорили речи: Лоран Казанова, Скобелцын, Тихонов. Когда настал мой черед, я с трудом выговорил несколько фраз: меня душили слезы.

Фаржу было всего пятьдесят два года, но не в этом дело. Да и не в том, что без него наше движение как-то сразу стало суше.

Никогда не принимаешь смерть друга. Дело даже не в этом. Дружба наша была короткой. Я познакомился с ним ранней весной 1936 года в Гренобле. Мне говорили шахтеры Мюра: «Фарж напишет в газете...» Студенты повторяли: «Фарж-художник... Фарж-писатель...» Товарищ, который возил меня в Мюр, советовал: «Обязательно поговорите с Фаржем, таких, как он, мало...» Беседа не вышла; он все время зажигал гаснущую трубку, спрашивал, а я торопился: скоро поезд. Мы снова встретились летом 1946 года. Он с возмущением говорил о продажности, о нищете, о спекуляции — его тогда назначили министром продовольствия, и он негодовал: «Люди гибли в маки, в гестапо и это для того, чтобы создать республику черного рынка и сделать Гуэна президентом!»... Я понял, что он смелый человек, но разговор был коротким. Два года спустя я увидел его на Вроцлавском конгрессе. Мне понравилось его выступление: он говорил не так, как другие. Мы побеседовали, согласились

друг с другом и ушли — каждый в свои житейские дебри. Только летом 1950 года в Праге, где мы готовили конгресс, мы провели вместе несколько дней, ходили в музей, вспоминали различные книги, рассказали один другому многое из того, что держишь про запас, а порой уносишь в могилу, — словом, подружились. И вот весной 1953 года Фарж бессмысленно погиб. Но и не в этом дело.

Дело в том, что в мире, где я встречал людей гениальных и бездарных, ярких и бледных, Фарж мне казался необычным. Киплинг говорил о коте, который ходит сам по себе. Я знавал немало людей, жаждавших стать именно такими — независимыми, оригинальными котами. А Фарж, наоборот, хотел быть, как все. Еще до войны он написал книгу о Джотто, в ней он говорил, что великий живописец XIV века считал себя не гением, а рядовым мастером, и выразил при этом мысли, чувства всех своих современников. Фарж говорил, что его дом — улица в любой стране, в любом городе, в любой деревне. У него было множество друзей. И вот при всем этом он был уникальным — котом, который действительно ходил сам по себе. В 1950 году, когда люди повсюду были выстроены — взводы, полки, армии, когда специализация стала законом — рабочий повторял годами один и тот же жест, ученый ничего не знал, кроме своей узкой области, когда любое слово воспринималось одними как канон, другими как ересь, когда даже завзятый оригинал боялся не попасть в тон моде, — Ив Фарж не входил ни в какую партию, подчас критиковал своих друзей и защищал своих противников, дружил с сотнями людей, различных по своему положению, враждовавших между собой, жил интересами и чаяниями всех, сохраняя при этом свой облик, делая то, что ему казалось правильным, увлекаясь тем, что его увлекало. Серьезные люди, слыша о нем, пожимали плечами, но, встретив его, пробыв с ним несколько часов, неожиданно для самих себя говорили: «Вот это человек!»...

Чего только он не делал! Еще школьником он увлекался живописью. У него было двадцать профессий. В Марокко он, служащий коммерческой фирмы, устраивал выставки своих холстов. Его судили: он организовал демонстрацию, когда казнили Сакко и Ванцетти. Он писал статьи против колониализма. Фаржетт мне рассказывала, как он написал портрет одного бербера и тот, желая отблагодарить художника, застрелил орла, вынул еще горячее сердце и заставил Иву и Фаржетт съесть его сырым. Он вернулся во Францию, писал статьи для журнала Барбюса, потом уехал в Гренобль, стал сотрудником провинциальной газеты, писал рассказы, восхищался выступлениями Литвинова, перебрался в Лион, заботился об испанских детях, выступал на социалистических конгрессах (тогда он еще был социалистом), требовал борьбы против фашизма и продолжал заниматься живописью.

Когда немцы оккупировали Францию, он один из первых стал организовывать Сопротивление. Итальянцы разыскивали «террориста Бонавантура» — Фарж сбрил усы, лохматые брови и обзавелся другим именем. Фаржетт арестовали, он делал все, что мог, чтобы ее спасти, и одновременно организовывал маки в горах Веркора, переправлял туда людей, оружие. Его разыскивало гестапо. Он работал с коммунистами и с голлистами, с Пьером Вийоном и с Омоном, с Бидо и с Родем. Родился Национальный фронт и Грегуар, заменивший Бонавантура, ездил из южной зоны в Париж, возвращался в Лион. Ранней весной сорок четвертого года Дебре передал Фаржу указ, которым он назначался комиссаром республики в районе Рона-Альпы. Он остался на своем посту и после освобождения Лиона, первое обращение к гражданам комиссара республики подписано: «Ив Фарж (Грегуар)».

Фарж мне рассказал, как в освобожденный Лион прилетел генерал де Голль: «Я ему сказал, что ужинать он будет с участниками Сопротив-

ления. Он меня прервал: «Где местные власти?» Я ответил: «В тюрьме». Это ему, видимо, не понравилось...» Помолчав, он добавил: «А мне не понравился его тон...»

Год спустя Фарж попросил освободить его от обязанностей комиссара: война кончилась, а работа администратора была ему не по душе. Бидо отправил его в Бикини — представлять Францию на первом испытании атомной бомбы. Фарж поехал и возмутился. В Америку пришла телеграмма из Парижа: Фаржу предлагают стать министром продовольствия. Разоренная Франция жила впроголодь. Фарж объявил войну черному рынку. Он явился на заседание национальной ассамблеи, и депутаты услышали нечто невероятное: Ив Фарж, министр продовольствия, обвинил вице-преьера Гуэна в том, что тот покровительствует крупным спекулянтам. На своем посту Фарж пробыл недолго. Он написал книгу «Хлеб коррупции». Гуэн возбудил судебное дело против бывшего министра. Одновременно один из парижских театров поставил пьесу Фаржа. Он продолжал писать пейзажи, организовал общество «Защитники свободы» — черновик Движения сторонников мира. Вместе с Элюаром он отправился в Грецию. Писал рассказы. Выступал на собраниях, посвященных защите мира. В книге «Кровь коррупции» разоблачил организаторов войны в Индокитае. Поехал с Клодом Руа в Корею. С Жолно он познакомился еще в 1936 году в Гренобле, и они хорошо понимали друг друга. Фарж стал душой Всемирного Совета Мира.

Такой послушной список или, если угодно, такую трудовую книжку увидишь не часто. Но дело, пожалуй, не в этом, да и не в изумительной бескорыстности, которой отличался Фарж: ему были безразличны и титулы, и деньги, и слава. Дело в другом: у кота, который ходил сам по себе, были свои понятия о том, чем ему стоит заниматься и чем не стоит. В отличие от многих людей, с которыми меня сводила жизнь, Фарж не знал, что такое иерархия горя. В годы Сопротивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей, и когда ему говорили, что нужно быть осмотрительнее, что ему доверены важные задания, он отвечал: «А для меня это важно...» После освобождения он спас жизнь многих стрелочников Виши, хотя знал, что этим восстанавливает против себя некоторых товарищей; он говорил: «Правительство покрывает знатных мерзавцев, хочет отыгаться на судьбе ничтожных людишек». Рассказывая об этом, он говорил: «Тащили девушку, о которой говорили, что она спала с немецким солдатом, обрили ей голову, хотели раздеть. Я прибежал вовремя... Потом меня наставляли: «Конечно, вы правы, но это мелкое происшествие, а вы — комиссар республики...» У них все по графам. Вот если бы я вздумал отстаивать Петена — это показалось бы соответствующим моему положению...»

Я был переводчиком при одном тяжелом разговоре Фаржа с Фадеевым: Ив возмущался — на заседании бюро публично оскорбляли секретаря Совета Мира Дарра. (Я рассказывал, что американского пастора заподозрили в шпионаже, слухи пошли из Китая и дошли до Сталина.) Фарж говорил: «Я уйду из движения. Если у вас есть факты, расскажите их мне. Но нельзя говорить о защите гуманизма и одновременно обижать ничего не понимающего человека...» Потом я сказал Фаржу: «Напрасно вы накинулись на Фадеева...» Он не дал мне договорить: «Вы думаете, что я этого не понимаю? Я поддерживаю мирные предложения Сталина — я с ними согласен. Я возражаю на антисоветские статьи о вашей внутренней политике — я не знаю, что у вас делается, но я знаю авторов статей — это растленные перья. Но с Дарром дело другое — я его знаю и, пока мне не докажут, что он в чем-либо виноват, я буду его защищать...»

Да, второго такого кота я не встречал.

Была в нем еще черта, которая меня всегда восхищала. Мы часто проводили вечера в Праге, и вот раз он мне начал рассказывать о Распае. Моя ранняя молодость прошла на бульваре Распай, но я не знал в точности, кем он был,— Герцен о нем упоминал как об одном из революционеров сорок восьмого года, а кто-то мне сказал, что Распай был ученым, химиком. Фарж обожал Прованс и знал историю множества провансальцев. Он начал мне рассказывать о Распае, который родился в городке Карпентрас. Ему было восемнадцать лет, когда его приговорили к смерти — это были месяцы белого террора. Ему удалось скрыться. Он работал как ученый — без лаборатории, без инструментов; он открыл роль сахара в организме за сорок лет до Клода Бернара, значение микробов задолго до Пастера, но никто не хотел слушать об его открытиях: он слыл чудачком. В 1830 году он сражался на баррикадах за свободу. Новый король предложил ему службу. Распай отказался. Тогда король приказал его арестовать. В тюрьме он работал над книгой о химии. В мае 1848 года он вел рабочих, которые ворвались в зал, где заседало Учредительное собрание. Рабочие требовали права на труд. Распая приговорили к шести годам тюремного заключения. Он работал в тюрьме над книгой о биологии. Когда он вышел на свободу, ему пришлось эмигрировать в Бельгию. Он вернулся во Францию накануне франко-прусской войны, ткачи Лиона его выбрали в парламент. В 1874 году ему был восемьдесят один год, и его присудили на два года заключения за прославление Парижской коммуны. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет. Фарж мне рассказывал о нем с восхищением, наверно, он чувствовал свое душевное родство с вечным мятежником, с социалистом утопического толка, с ученым, открытия которого проходили бесследно. Он повторял: «Это душевная щедрость Прованса!»

Позднее, уже после смерти Фаржа, я нашел у Ламартина, который был умеренным либералом и противником Распая, такие слова о нем: «Он заражал народ своим фанатизмом надежды, не примешивая к нему ненависти»... Вот почему я вспомнил сейчас рассказ Фаржа о Распае. Фанатизм Фаржу был чужд, но в одном его можно было назвать фанатиком — в надежде. Как бы ни была горька действительность, Фарж всегда надеялся, что правда восторжествует, и своей надеждой заражал других.

Шестого февраля 1934 года фашисты в Париже вышли на улицы. 9 февраля Фарж создал в Гренобле Комитет бдительности — с ним были два его друга. Грое... Комитет призвал жителей Гренобля прийти на демонстрацию. 11 февраля тридцать тысяч гренобльцев вышли защищать республику. В 1948 году Фарж пригласил бывших участников Сопротивления собраться и создать организацию, способную отстаивать свободу и мир. Пришло очень мало людей. Фарж говорил, что у них нет денег на газету, даже на листовки, каждый должен говорить всюду, где может, и Фарж вложил столько надежды в свои слова, что вскоре маленькая группа людей превратилась в мощную силу — французских сторонников мира.

Говорят, что заразительны суеверия, страх, недоверие, злоба; это правда; но надежда тоже может стать заразительной. В те годы я не раз был подавлен, мрачен, опускались руки, и Фарж неизменно заражал меня своей надеждой. Я говорил, что в Вене обнадеживал других. Может быть, помогли мне не только мои размышления и подснежники, но также близость Фаржа, его слова, улыбка. Он был слишком добрым, чистым, душевно веселым, чтобы допустить победу низости и зла.

Даже в политических выступлениях он говорил не на газетном языке, а на человеческом. Это нравилось обыкновенным людям и зачастую

сердило профессиональных политиков. Помню, в Праге летом 1950 года мы обсуждали, каким должно быть короткое воззвание в поддержку Конгресса народов. Предлагались фразы, тысячи раз встречавшиеся во всех газетах мира. Фарж вынул изо рта трубку и ошаршил всех: «Нужно начать с самого простого: «Так дольше не может продолжаться...» Некоторые запротестовали: «Мы обращаемся к взрослым, а не к детям...» После долгих споров приняли текст Фаржа, и обращение, расклеенное на стенах различных городов, останавливало прохожих, заставляло их задуматься.

Поразительно, что его любили самые разные люди, даже политические противники: жители городков и деревень в округе Апта (фабрикант охры Шовен не без помощи Фаржа стал сторонником мира), почтальоны, виноделы, учителя, рабочие, лавочники, министры бывшие, настоящие и будущие, художники, захолустные Демосфены и новые Распаи, Фадеев и аббат Бюлье, Элюар и марсельские авантюристы — у Ива были ключи ко всем сердцам.

Он недаром прозвал свою жену Фаржетт. Когда они поженились, Фаржетт была подростком. Он зарядил ее своей энергией, привил ей свою широту, заразил надеждой. Когда оккупанты посадили Фаржетт в тюрьму, Ив ей писал: «Я убежден, что мы сильны, потому что даже в разлуке опираемся друг на друга... Ни в коем случае не нужно отчаиваться, ничего еще не потеряно. И потом то, что остается, то, что останется навсегда, — это наша гордость: мы знаем, что мы оба выше страха...»

Нельзя сказать, что он любил искусство, как нельзя сказать, что люди любят воздух. Мы в Праге пошли с ним в музей; тогда в фондах, точнее в подвальном помещении, были свалены полотна французских импрессионистов, Сезанна, Боннара, Пикассо и заодно многие картины чешского художника XIX века Пуркине. Мы провели в подвале несколько часов. Когда мы вернулись в гостиницу, Фарж начал говорить о живописи. Он любил пейзажи импрессионистов и одновременно говорил: «Сезанн напомнил о значении формы...» Вдруг другим голосом он сказал: «Обидно!.. Я убежден, что, если бы рабочим показать сад Боннара или семейный портрет Пуркине, они не дали бы вернуть их в подвал, абсолютно убежден. Послушайте, Илья, вы увидите, что очень скоро все эти холсты вернутся на свое место...» Так и в Москве перед огромной картиной, где был изображен Сталин в поле, он сказал мне: «Я держу пари, что через год или два это уберут — это обидно и для Сталина, и для русского поля, и для искусства...»

После смерти Фаржа я получил из Парижа пакет с семенами, на конверте было написано: «По поручению г. Ива Фаржа». Я посеял их поздно, в апреле, и вот перед самыми осенними заморозками зацвели красные мимюлюсы, звезды гаярдии, голубая ипомея, темная, как запекшаяся кровь, настурция. Они продержались неделю и почернели после морозного рассвета. Я глядел на них, когда писал первые страницы «Оттепели». Я видел улыбку Фаржа, слышал его слова: «Все образуется...»

Я разговариваю с ним и теперь. Для старости мало одних утешений, да и надежда у человека, которому за семьдесят, уже не на свою удачу, а такая, какая была у Фаржа, — он мне однажды сказал: «При нас или после — в общем, это не так уж существенно...»

Я задумался: что осталось от Фаржа? Он никогда не отдавал достаточно времени ни живописи, ни литературе; его картины не повесят в музеях, его книги не станут переиздавать, историк упомянет о нем мимоходом: в серьезных трудах нет места для котов, которые ходили сами по себе. Через десять или двадцать лет умрут люди, которые с ним работали и сражались. Но, кажется, продление человека в другом — не в имени, а в тех изменениях, которые он произвел. Фарж что-то заронил в миллио-

нах людей. Они могут забыть его имя, но они восприняли его урок, иначе разговаривали со своими детьми, и Фарж, может быть, сделал больше для роста сознания, совести, человечности, чем крупные политические деятели, большие ученые, прославленные художники.

Все это — рассуждения. Лучше закончить рассказ о Фарже скромным личным признанием: он помог мне освободиться от многого дурного, помог надеяться, любить, жить.

34

Четвертого апреля рано утром меня разбудил телефонный звонок. Савич голосом, который срывался от волнения, сказал: «Возьми «Правду» — сообщение о врачах...» Не знаю, сколько раз я перечитал короткое сообщение, напечатанное на второй странице. Я не знал никого из пятнадцати врачей, о которых шла речь, но я понимал, что случилось нечто необычайное. В сообщении говорилось, что врачей незаконно обвинили, что они ни в чем не повинны и что их признания получены «путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Это было напечатано в «Правде», передавалось по радио, это было сказано прямо, громко на весь мир.

Под сообщением о врачах была помещена статья, посвященная плодовым садам. Час спустя я увидел маленькую заметку под этой статьей: у женщины-врача, которую недавно наградили орденом Ленина за то, что она помогла разоблачить «убийц в белых халатах», орден отобрали.

Еще накануне мы позвали на дачу приехавшего из Киева С. Е. Головановского, обещали заехать за ним в гостиницу. Оказалось, он не видел газеты. Я начал рассказывать; кажется, я знал сообщение наизусть. Он не верил ни мне, ни Любе. Мы увидели наклеенную на стене газету. Головановский попросил: «Остановимся! Я должен сам прочитать...» Читал он долго. Читали и другие прохожие. Я вышел из машины. Пожилой человек громко сказал: «Вот оно как» — и улыбнулся.

Два дня спустя в той же «Правде» была напечатана передовая; в ней рассказывалось, что следствием по делу врачей руководил Рюмин, ныне арестованный. «Правда» писала о том, что меня тревожило и раньше: «Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спаянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды. В этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс». Газета писала: «Только люди, потерявшие советский облик и человеческое достоинство, могли дойти до незаконных арестов советских граждан...» Первой моей мыслью было: удивительно — Берия выдает своих!.. Я понял, что история начинает распутывать клубок, где чистое перепутано с нечистым, что дело не ограничится Рюминым. Прошел всего месяц со дня смерти Сталина, но что-то на свете переменялось.

Я хочу еще раз сказать молодым читателям моей книги, что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство, построил Магнитку и Кузнецк, рыл каналы, прокладывал дороги, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, учился, читал, духовно вырос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века. Все это памятно любому советскому человеку, который жил и работал в то время. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы ни ценили ум и

волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать. Мы знали, что одновременно с большими делами, о которых сообщали газеты, делаются несправедливые, злые дела — о них люди говорили шепотом и только с близкими друзьями. Говоря «мы», я имею в виду людей, с которыми дружил — писателей, художников, некоторых старых большевиков, некоторых военных — может быть, сотню, может быть, две сотни; но мне думается, что такие же чувства испытывали очень многие советские люди. Почти у каждого был друг или товарищ, сослуживец или сосед, арестованный и пропавший без вести, в вину которого ему трудно было поверить. Люди молчали или шептались, и вдруг они заговорили — не озираясь испуганно по сторонам, не глядя на телефон, как на опасного врага, заговорили просто, по-человечески, с той добротой и совестью, которые всегда лежали в характере нашего народа. Это казалось чудом, и не раз в те апрельские дни я вспоминал Ленина, его благородство и душевную чистоту.

Я прерву размышления: просятся на бумагу неожиданные признания о прелести, о волшебстве апреля в наших местах, не избалованных теплом юга. Еще кое-где сереет снег, а видишь — начинается праздник: прорезают землю травинки, нежные звезды будущих одуванчиков, зацветают вербы, стрекочут налетевшие отовсюду птицы; шумливо, неспокойно и радостно — после долгих месяцев молчания, после холода, который сродни одиночеству, после искуса зимы. Может быть, я так чувствую потому, что в старости осень, а за нею зима мучительны, слишком они похожи на свое собственное увядание, на все то, что знакомо любому человеку, перевалившему за шестьдесят. А весна — это мир молодости, и есть ли что-нибудь слаще для старого человека, чем глядеть на ребятшек, которые ломают лед подмерзшей за ночь лужицы, чем слушать их крики, нестройные и милые, как птичья болтовня, чем увидеть под вечер робких влюбленных, которые как будто стыдятся своего счастья и держатся за руки, а еще холодно по вечерам, пальцы зябнут. Все это происходит именно в самом начале апреля, в дни перелома, когда на одной стороне улицы холодно и пусто, сосульки не двигаются с места, а на другой стороне солнце, гам, весна. Мой дом на северном склоне холма, и в начале апреля у нас горы снега, и все-таки он поддается, оседает, я его раскидываю, сбрасываю и всем своим существом чувствую, что жизнь побеждает. Если даже подумаешь на минуту, что у тебя все позади, осматривались считанные весны, все равно берет верх веселье, хочется смеяться, делать глупости, мечтать о будущем — не о куцем своем, а о будущем мира. Так переживаю я апрель в Подмосковье.

А тот апрель, о котором я рассказываю, был особенным. Он отогревал стариков, озорничал, как мальчишка, плакал первыми дождями и смеялся, когда снова показывалось солнце. Вероятно, я думал об этом апреле, когда осенью решил написать маленькую повесть и на листе бумаги сразу же поставил заглавие «Оттепель». Это слово, должно быть, многих ввело в заблуждение; некоторые критики говорили или писали, что мне нравится гниль, сырость. В толковом словаре Ушакова сказано так: «Оттепель — теплая погода во время зимы или при наступлении весны, вызывающая таяние снега, льда». Я думал не об оттепелях среди зимы, а о первой апрельской оттепели, после которой бывают и легкий мороз, и ненастье, и яркое солнце — о начале той весны, что должна была прийти.

Второго мая мы с Корнейчуком отправились в Стокгольм на бюро Всемирного Совета. У меня в кармане был первомайский номер «Правды» с моей статьей «Надежда»; в ней я писал: «Надежда этой весны связана не только с возобновлением переговоров в Паньмыньчжоне...

Советское правительство ясно сказало, что готово сотрудничать с правительствами других стран для того, чтобы обеспечить всеобщий мир... Все понимают, что пора монологов миновала, настает время диалога». Бюро собралось за полтора месяца до сессии. Все говорили о будущем бодро: идея переговоров, еще недавно считавшаяся утопией, теперь повторялась в речах государственных деятелей всех стран.

Помню, Лизлотт сказала мне, что я помолодел; вероятно, оттого, что многое в жизни начинало меняться; весна отогрела человека, слывшего неисправимым скептиком. Мы говорили о многом, и я сказал Лизлотт, что поговорка, существующая у многих народов об одной ласточке, которая не делает весны, попросту неумна. Конечно, если ласточка прилетит слишком рано, то она может испытать холод, голод, даже погибнуть, но все же прилетит она не осенью или зимой, а в самом начале замешкавшейся весны. Ласточки не делают времен года, но осенью они нас покидают, а весной возвращаются.

Сессия Всемирного Совета собралась в Будапеште в середине июня. Мы были полны надежд, но события в Берлине и казнь Розенбергов напомнили, что история не мчится по автостраде, а петляет по путаным тропинкам. Я не стану сейчас писать о немецких делах: не хочу переходить от воспоминаний к тому, что остается злобой сегодняшнего дня. Вспомню о казни Розенбергов. Она показала всем не только постыдным поступком, но и политической бессмысленностью. За два месяца до того Эйзенхауэр выступил с речью, в которой говорил, что атомная война была бы всеобщей катастрофой и что Америка хочет мира. Эта речь была напечатана в «Правде» и рядом помещен советский ответ. Казалось, что эпоха истерической нетерпимости Маккарти кончена. Дело Джилиуса и Этель Розенбергов длилось долго. Они жили в камерах, ожидая смерти, переписывались друг с другом, писали об их маленьких детях. Эти письма были опубликованы, и теперь я нашел вырезку из газеты «Фигаро», которая обычно восхищалась Америкой: «Так могут говорить только люди с большим и чистым сердцем». Кардиналы и президент Франции, Томас Манн и Мартэн дю Гар, Эррио и Мориак — все они просили Эйзенхауэра не казнить Розенбергов. Жизнь двух невинных людей оборвал вздорный политический акт: уступка крайним кругам, раздражение против европейских союзников, которые настаивали на переговорах с СССР. Жолио мне сказал: «Это ужасно, но не нужно падать духом. Сторонники политики силы могут затянуть дело, могут совершить еще много злого, но теперь ясно, что идея переговоров проникла во все слои общества, даже в южные штаты...»

(Жолио был прав: месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий в Индокитае.)

В Новом Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, «О работе писателя». В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне: «...Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией? А классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь — зачем это написано? Как будто все есть, а чего-то не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не такими, как на самом деле...»

Моя статья была попыткой разобраться в психологии художественного творчества (потом я вернулся к тем же проблемам в очерках о Стендале и о Чехове). Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы; я упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года: «...Почему у нас в изоби-

лии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых (увы, многочисленных) критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви... Мне могут сказать, что героиня реконструкции не допускала других тем. Но Маяковский написал поэму «Про это» тоже не в заурядное время... Я могу продолжить вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминание о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? (Обычно действие происходит в «погожий летний день», или в «душистый майский вечер», или в «ясное бодрящее осеннее утро».) Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека».

Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила: «Вы уже знаете?..» Она рассказала, что видела на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделью спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но, признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя: неужели все ограничится каким-то Рюминым? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине, все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям, но Берию все ненавидели, рассказывали о нем как о человеке, развращенном властью, жестоком и низком.

Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам, беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать,— это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал: «К сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии». Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие значительные люди не могли подкашивать Сталину его государственной курс. Я снова перечитал передовую «Правды», посвященную аресту Берии: «Из неприязни ко всякому культу личности,— писал Маркс,— я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран,— я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом». Ясно было, что «культ личности» или «суеверное преклонение перед авторитетом» относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть XX съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач — начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет.

Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. «Нормализация рабочего дня» была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каж-

дого человека могут быть свои привычки и свои странности. Но Сталин был не человеком, а богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множества людей. Министры боялись до двух-трех часов ночи уйти с работы: Сталин может позвонить по вертушке. Министры задерживали начальников отделов, начальники — секретарей, секретари — машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям: он уходил на работу в двенадцать часов дня, возвращался в два часа ночи. Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятия «дня» и «ночи» исчезали, и вот в конце лета этому был положен конец.

В сентябре был Пленум ЦК. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно: все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему; а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот на Пленуме подвергли резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказали о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе коров теперь меньше, чем было в 1916 году в царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока, но было внове, что об этом можно прочесть в газете. Тому, что люди называли «показухой», был нанесен удар, и это очень многих обрадовало.

Я сел за «Оттепель» — мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе, передать мое ощущение оттаивания, мои надежды. Об «Оттепели» много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказать от недавнего прошлого, их сердили и упоминание о деле врачей, и осторожная ссылка на тридцатые годы, и особенно название повести. В печати «Оттепель» неизменно ругали, а на Втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В «Литературной газете» цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту «Оттепели».

Теперь я перечитал эту книгу. (Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955-м я совершил еще одну ошибку — написал вторую часть, бледную, а главное, художественно ненужную, которую теперь выключил из собрания сочинений.) Мне кажется, что в повести я передал душевный климат того памятного года. Сюжет, герои в отличие от обычного пришли, как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся: пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Сабуров и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев говорит своей жене о Вере Шерер: «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач. А чересчур доверять нельзя, это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты. Так что твоя Шерер зря расстраивалась...» Инженер Коротеев упрекает себя в двурушничестве: «Я часто думаю: «Это хорошо в книге, а не в жизни»... Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается?.. Савченко куда цельнее, он не пережил ни тридцатых годов, ни войны, он большего требует — это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали...» В повести много разговоров об искусстве. В Сабурова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Р. Р. Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет «Оттепель», но она написана с любовью к героям, с желанием показать, почему некоторые из них ведут себя плохо. Халтурщик Володя

чувствителен к искусству: увидев работы Сабурова, он понимает, что именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом, может быть, залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга, и Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается: «Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что я ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу: «Вера, вот и оттепель...» Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов.

Пять лет назад, когда я начал писать мои воспоминания, я сразу решил, что кончу их на том дне, когда сел за «Оттепель». Дойдя до этой главы, я убедился, что был прав: мне было труднее говорить о месяцах, породивших «Оттепель», о судьбе этой повести, чем о различных куда более драматичных событиях предшествовавших лет. 1953 год — первая страница новой части не только моей жизни, но и жизни нашего народа. За ним последовали годы, богатые событиями, но они настолько близки, даже злободневны, что не вмещаются в историю прожитой жизни. (О некоторых из этих событий, а также о людях живых или умерших после 1953 года я все же написал.)

Пять лет я просидел над этой книгой. Было много радостного для меня в течение этих лет, были и тяжелые месяцы. К моему собственному удивлению, я переживал и счастье и горе еще острее, чем в молодости, но силы уменьшались и если не скудела нежность, то в отвердевших сосудах текла старческая кровь. Я мог бы здесь написать слово «конец», но мне хочется еще раз оглянуться назад, попытаться осмыслить длинную жизнь обычного человека в необычное время и если не подвести итоги, то сделать некоторые частные выводы, поделиться с читателями моими сомнениями и моей надеждой.

35

Год назад один товарищ, работавший в архиве, переслал мне копию документа царской охранки: «Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи из Москвы от 17 ноября 1908 года к Сергею Николаевичу Шестакову в Киев». «...Из Полтавы я поехал через Смоленск в Москву. Здесь внешне прескверно: приходится таскаться по ночевкам, несмотря на множество знакомых, найти ночлег довольно трудно. Что касается до впечатлений, произведенных московскими делами вообще и нашими знакомыми в частности, то, как ни печальны дела, после юга они отрадны. Трудно сказать, лучше ли теперь положение, чем было весной, но во всяком случае не хуже. Многие убеждены, что партийный кризис подходит к концу. На состоявшейся на днях областной конференции было констатировано некоторое оживление работы, в особенности в Иваново-Вознесенске, Сормове и в Московском округе. На днях, как вы знаете из газет, Московский окружной комитет был арестован. Что касается тактических взглядов, то раньше всего расскажу о резолюции Московского комитета, принятой с некоторыми поправками на областной конференции. Основные ее положения таковы: общее международное осложнение классовых противоречий, конец некоторого оживления в российском капитализме, ублюдочное социал-реформаторство буржуазии, гнусность аграрной «реформы» правительства, невозможность успешной экономической борьбы — выход в политическое брожение, неизбежность революционного подъема, более пролетарский и более международный характер его. В качестве практических задач партия отмечает необходимость установления более тесных связей с пролетариатом Запада, создания крепкой нелегальной организации, желательность более строгого социалистического характера работы, а также необ-

ходимость воздействовать в более строгом стиле на фракцию. Эта последняя стала держать себя приличнее: приняла резолюцию о подчинении ЦК и депутат Белоусов даже произнес речь по аграрному вопросу, написанную Лениным. Кроме того, она официально выступила с заявлением о своем несогласии с отклонившимися большевиками. Эти последние встретили сочувствие у Плеханова, Мартова и Дана, которые заявили, что нелегальная работа теперь не только не полезна, но и вредна. Редакция «Голос социал-демократа», то есть кавказские меньшевики во главе с Костровым с ними не согласны. Вот и все о партийных делах. 8—9 номера «Голоса с.-д.» в Москве нет, зато получили № 30 «Пролетария»...»

Читая, я не сразу понял, кто автор письма — может быть, старый большевик, мой товарищ давних лет? А дойдя до адреса, вдруг вспомнил. В конце письма приписка: «По мнению ДП, автор настоящего письма поднадзорный Илья Григорьевич Эренбург». Департамент полиции не ошибся — это копия моего письма Вале Неймарку. Я перечитываю текст и дивлюсь не столько содержанию, а языку. Так иногда с трудом узнаешь себя на старой фотографии.

Когда я писал о проступках думской фракции, мне не было и восемнадцати лет. Год спустя я сочинял стихи: «Я ушел от ваших громких дерзких песен, от мятежно к небу поднятых знамен, оттого что лагерь был мне слишком тесен...»

Некоторых читателей этой книги озадачило неожиданное и чересчур быстрое превращение подростка, фанатично поглощенного подпольной работой, в юношу, сочиняющего декадентские стихи. Приехав в Париж, я увлекся искусством и открыл новый для меня мир; однако я продолжал ходить на собрания, рефераты и мечтал, пробравшись в Россию, вернуться к подпольной работе. Я предупреждал, что в книге воспоминаний расскажу не обо всем. Большую роль в моем отходе от политической работы сыграю, как я упоминал, короткое пребывание в Вене. Там я жил у X. — опускаю имя — боюсь, что впечатления зеленого юноши могут показаться освещенными последующими событиями. Моя работа была несложной: я вклеивал партийную газету в картонный рулон, наматывал на него художественные репродукции и отсылал в Россию. X. был со мною мил и, узнав, что я строчу стихи, в течение нескольких вечеров говорил о поэзии, об искусстве. Это были не мнения, с которыми можно поспорить, а безапелляционные вердикты. Такие же вердикты я слышал позднее на Первом съезде писателей. Но в 1934 году мне было сорок три года, я успел кое-что повидать, кое-что понять. А в 1909 году мне было восемнадцать лет, и я не умел ни взглянуть вперед, ни попытаться понять ход истории. Для X. обожаемые мною поэты были «декадентами», «порождением политической реакции». Он говорил об искусстве как о чем-то второстепенном, подсобном, и я вернулся в Париж растерянный, подавленный: мне казалось, что у меня отняли все, чем я жил. Я говорил Лизе, что не знаю, как начать следующий день.

Один читатель прислал мне мои ранние стихи, напечатанные в разных журналах. Эти стихи (на редкость беспомощные) помогли мне вспомнить терзания далеких лет. Я чувствовал, что сбился с пути: «Печальны и убоги, убогие в пыли, осенние дороги, куда вы привели?..» Я издевался над своими стихами: «Довольно! Я знаю и гордые позы, и эти картонные латы. На землю, на землю! Сражаться с врагами! Я снова запыленный воин. Меня вы примите под красное знамя! Я прежних доспехов достоин»...

Я задумался над давним письмом. Давно уже нет в живых ни Вали Неймарка, ни социал-демократических депутатов Государственной думы, ни X., который испугал меня своими сентенциями об утилитарной сущности искусства. Жизнь прожита, и я могу только добавить, что есть

линия, связующая письмо подростка с книгой старого писателя. Я не жалею ни о том, что в возрасте пятнадцати лет начал работать в подпольной большевистской организации, ни о том, что три года спустя, фанатично полюбив поэзию, перестал ходить на собрания, посещал еще несколько месяцев Школу социальных наук, но и это забросил, читал с утра до ночи старых и новых поэтов, глядел холсты, слушал споры о кубизме и о «научной поэзии».

Однако даже в те годы я не мог забыть о том, что мне показалось в пятнадцать лет простой и единственной правдой, с волнением слушал рассказы людей, приезжавших из России, ходил в мае к Стене коммунаров, ненавидел мишуру и ложь мира денег. Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали два Эренбурга, они редко жили в мире, часто один ущемлял, даже топтал другого, это было не двуличием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства.

Критики редко стремятся понять писателя, у них другие задания — изредка (главным образом в юбилейные даты) они прославляют автора, а чаще его поносят. Западные журналисты осуждали и осуждают меня за тенденциозность, политическое пристрастие, подчинение правды узкой идеологии, а то и административным директивам. Некоторые советские журналисты, напротив, утверждали и утверждают, что я страдаю избытком субъективизма и в то же время объективизма, не умею отделить новое сознание от хлама обветшалых чувств, вывожу нетипичных героев, защищаю формализм.

Я не стану защищать написанные мною произведения, о некоторых из них я отозвался в этой книге достаточно сурово; но сейчас я говорю не о моих литературных недостатках, а о прожитой жизни. «Люди, годы, жизнь» не роман, и я не мог переделать фабулу или изменить характер героя. Если я умолчал о некоторых событиях моей жизни, то о своих заблуждениях, о своем легкомыслии я говорил откровенно. В свое оправдание добавлю, что внутренние блуждания и противоречия пережили многие из моих современников; видимо, это было связано эпохой.

Я сформировался на традициях, на идеях, на моральных нормах XIX века. Теперь многое мне самому кажется древней историей, а в 1909 году, когда я списывал тетрадки скверными стихами, еще жили Толстой, Короленко, Франс, Стриндберг, Марк Твен, Джек Лондон, Блуа, Брандес, Синг, Жорес, Кропоткин, Бебель, Лафарг, Пеги, Верхарн, Роден, Дега, Мечников, Кох... Я не отрекаюсь ни от подростка, стриженного ежиком, который осуждал «отклонистов» и посмеивался над Надей Львовой за ее увлечение поэзией, ни от зеленого юноши, который, открыв существование Блока, Тютчева, Бодлера, возмутился разговорами о второстепенном и сугубо подсобном назначении искусства; теперь я понимаю обоих.

Увлечение революционной борьбой, работа в подпольной большевистской организации не были для меня случайными, они многое предопределили в моей жизни, и если они помешали мне получить среднее образование — вместо гимназии я проводил дни на явках, на собраниях, в рабочих общежитиях или в чайных, а потом в тюремной камере, — то многому они меня научили. Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 года, и старшие товарищи, прежде всего мой друг, ученик Первой гимназии, и книги; но в выборе прежде всего сказались черты моего характера.

В 1917 году я не узнал того, за что боролся десять лет назад: в эмиграции я успел оторваться от жизни России и пережить увлечения раз-

личными ценностями, действительными и мнимыми, которые оказались мне попираемыми. Два года спустя я понял свою ошибку. Некоторые друзья меня звали в Париж, но я поехал в Москву. Я сам привязал себя к той идее, которая казалась мне в начале крылатой гоголевской тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником,— в 1957 году я писал: «...В глухую осень из российской пуши, средь холода и грусти волостей, он был в пустые небеса запущен надеждой и отчаяньем людей... Не знаю, догадаются, поймут ли... Он сорок лет бушует надо мной, моих надежд, моей тревоги спутник, немислимый, далекий и родной».

Я вложил в уста, вернее в дневник, одного из героев повести «День второй» многие из моих сомнений. Володя Сафонов повесился — это я пытался повесить самого себя. Я заставил себя о многом молчать: то были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют «культом личности», к добровольному молчанию примешивала и вынужденное.

Меня могли бы арестовать в годы произвола, как арестовали многих моих друзей. Я не знаю, с какими мыслями умер Бабель, он был одним из тех, молчание которых было связано не только с осторожностью, но и с верностью. Я мог бы умереть в послевоенные годы, до XX съезда, как умерли Таиров, Суриц, Тувим. Их тоже мучали злодеяния, совершаемые якобы в защиту идей, которые они разделяли и за которые чувствовали свою ответственность. Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад о культе личности.

Легче переменить политику, экономику, чем человеческое сознание. Я часто встречаю людей, которые не смогли освободиться от душевной скованности, страха, казуистики, оставшихся в них от предшествовавших лет. Однако растет поколение, не знавшее ни «бурных аплодисментов, переходящих в овацию», ни ночей, когда мы прислушивались к шуму на лестнице. Переход людей от религии к научному сознанию длился очень долго, а подростков, родившихся в начале сороковых годов, за один день перевели от слепой веры к критическому мышлению. Остается еще раз поблагодарить людей, нашедших в себе достаточно силы и понявших, что разоблачить произвол — это значит укрепить идеи Октября. А для меня нет большей радости, чем слушать порой незрелые, но искренние и зазорные высказывания наших юношей, едва вступающих в жизнь.

С годами я понял, что и моя любовь к искусству, и моя верность идее социализма связаны с одним — с судьбой культуры. Когда я начал жить, культура была творчеством и достоянием немногих. У нас теперь в той или иной форме, в той или иной степени культура дошла почти до всех. В течение сорока лет люди читали, думали, и они духовно выросли. В годы, когда «Новый мир» печатал мои воспоминания, я получал множество писем; мои сверстники вспоминали свое прошлое, делились тревогами и надеждами, а молодые ставили вопросы, которые когда-то зря называли «проклятыми»; такие письма меня учили и вдохновляли.

В этой книге я часто писал о своих ошибках. Были ошибки и у других, были ошибки и у общества, их список длинен, о нем часто вспоминают не только наши противники, но и мои соотечественники.

В послевоенные годы я много бывал на Западе. Уровень жизни вырос по сравнению с довоенным, победил новый индустриальный стиль в архитектуре, в утвари, жизнь стала комфортабельней и спокойней. Однако спокойствие исчезло не только из-за роста механизации, но также из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я видел, как рухнула Чет-

вертая республика, как развалилась Британская империя. Только в Соединенных Штатах можно еще услышать апологию капитализма, а политики Западной Европы разговорами о плановой экономике, о частичной национализации, о повышении подоходных налогов пытаются уверить, что, даже стоя на месте, они шагают в ногу с веком.

Я думаю, что многие из наших ошибок, и материальных и духовных, связаны с тем, что раннее утро не полдень и что, как уверяет французская поговорка, старость многого не может, а молодость многого не знает. По дорогам прошлого легко мчаться в превосходном и вполне современном «бьюике». А к будущему пробираешься с трудом, часто блуждаешь и спросить, как лучше пройти, некого.

Мир очень изменился. Когда я начинал сознательную жизнь, самодурам или реакционерам ставили в вину отсутствие логики — картезианство еще было живым. Полвека истории, опыт каждого показали, что старая логика обанкротилась; безупречные гипотезы опровергались событиями; жизнь разворачивалась не по законам Декарта, а зачастую вопреки им. С помощью диалектики легко объяснить происшедшее. Но я сейчас думаю о другом: как должен поступить человек в своей личной жизни, если перед ним то, что не предвидели ни любимые им авторы, ни различные конференции или дискуссии?

Когда я был мальчиком, в русских, немецких или итальянских школах детей учили, что грех убивать, красть, оскорблять родителей, завидовать чужому счастью; школьники знали на память десять заповедей. Во французских школах после отделения церкви от государства ввели новый предмет — «мораль»: десять заповедей были обновлены с помощью басен Лафонтена, а статьи уголовного кодекса украшены цитатами из Гюго. Дом строят не с крыши, и потомки будут говорить о середине XX века как об эпохе больших научных, социальных и технических открытий, но не как о времени гармоничного расцвета человека: в наши дни образование повсюду опережает воспитание, физика оставляет позади себя искусство и люди, приближаясь к радиоактивным двигателям, не снабжены тормозами подлинной морали. Совесть — понятие отнюдь не религиозное, и Чехов, не будучи верующим, обладал (как и другие представители русской литературы XIX века) обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести; однако я выхожу за пределы и этой главы, и всей моей книги.

Я помню одного лектора, который в 1932 году уверял, будто открытия Эйнштейна — попытка воскресить идеализм, даже мистику. Новая наука встретила много неожиданных препятствий: роды всегда трудны. За тридцать лет успехи ученых стали настолько очевидными, что изменилось сознание любого среднего человека. Наука XIX века теперь кажется тесной уютной квартирой. Вероятно, нечто подобное, хотя и в меньшей степени, переживали люди позднего Возрождения, поняв, что Земля не центр Вселенной. По-новому встало перед нами понятие бесконечности. То, что казалось абсолютно реальным, превращается в абстракцию, а вчерашняя абстракция становится реальностью.

Когда развитие физики и ее роль в создании ядерного оружия дошли до сознания политиков, военных, да и обыкновенных людей, все начали задумываться над возможностью уничтожения жизни на нашей планете. Есть два выхода — накапливать ядерное оружие или согласиться на всеобщее разоружение. Я продолжаю ездить на различные совещания или конференции сторонников мира, на встречи «круглого стола». Скептики порой мне напоминают прошлое — и Гаагскую конференцию, и конгресс в Амстердаме, организованный перед второй мировой войной, говорят о моей наивности. Наивны, пожалуй, скептики. Прежде разоружение было утопией идеалистов или лицемерием граби-

телей. Когда один тигр говорил другому, что нужно вырвать клыки и обстричь когти, они надеялись этим успокоить многомиллионные отары овец. Теперь тигры поняли, что атомная война не стратегические планы, не вопрос о том, у кого больше нефти, стали или даже урана, а мгновенное и всеобщее истребление. Разоружение стало реальной потребностью всех, и если продолжают споры об его осуществлении, то только потому, что традиции в международной политике куда крепче, чем в естествознании. Вопрос в одном: обгонят ли предостережения физиков рутину дипломатов и осознают ли различные правительства необходимость перейти от разговоров к делу до того, как вздорный случай вызовет катастрофу.

Жизнь полна противоречий. Есть люди, которые говорят о совместном освоении космоса, о полетах на Луну и одновременно готовы (к счастью, на словах) взорвать бедную передовую планету потому, что не могут договориться с другими людьми о статуте нескольких кварталов одного города. Тысячелетние навыки решать спор оружием побуждают теперь различные государства обзавестись ядерным оружием. Если в моей молодости писали, что нельзя жить возле бочки пороха, то теперь мы живем возле бочек куда более опасных. Знание опередило сознание.

Во второй половине XX века искусству пришлось повсюду потесниться. Внешне оно распространилось: тиражи романов почти повсюду повысились, увеличилось число посетителей музеев и выставок, окрепло кино, родилось телевидение. Однако в частной жизни множества людей роль искусства уменьшилась. Может быть, это произошло оттого, что язык искусства оказался опереженным резкими поворотами и в науке, и в социальной жизни. А может быть, эти повороты и привели к некоторому охлаждению к искусству — люди потеряли душевное спокойствие, восхищались искусственными спутниками, боялись ядерных бомб, тешились изобретениями, неистовствовали на спортивных состязаниях и мечтали о машинах, способных превращать полуфабрикаты в трапезы Лукулла.

Некоторые замечательные изобретения, как, например, телевидение, ежедневно поставляют эрзацы искусства. Люди реже идут в театр и вместо того, чтобы раскрыть книгу, садятся у телевизора. На экране мелькают бои в Конго и олимпиады, свадьбы королевы и похороны президента, балерины в пачках и дрессированные кошки, Гамлет и боксеры, концерт и светские скандалы. Все это рябит, дребезжит, грохочет, мяукает, стихи смешиваются с рекламами, а музыка с прогнозами погоды. Люди смотрят, тут же закусывают, сплетничают, ссорятся, восприятие постепенно притупляется.

Я помню, как в моем детстве все благоговейно говорили о Толстом, глядели на него, как на пророка. Когда Золя осудили за защиту Дрейфуса, взволновался весь мир. В годы первой мировой войны люди, которые продолжали думать, прислушивались к голосу Ромена Роллана. В парижском театре зрители дрались из-за музыки Стравинского или декораций Пикассо. Теперь порой дерутся болельщики на футбольном матче.

Лет пять назад по моей вине в «Комсомольской правде» началась дискуссия: обречено ли искусство на смерть в «атомном веке». Один из наших кибернетиков высмеял молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством и, по его словам, вздыхают: «Ах, Блок! Ах, Бах!» Я прочитал тысячи писем, адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеи отмирания искусства; но у кибернетика нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэ-

зии величие естествознания; их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом тургеневского Базарова.

Если бы эти люди оказались правы в своих прогнозах, то освоением космоса занялись бы неполноценные существа, обладающие нужными знаниями, но лишённые культуры чувств, которые, наверно, мало чем отличались бы от мыслящих машин XXI века. Открытие огня, то есть способов его добывания, относится к началу каменного века. Десятки тысячелетий спустя Эсхил написал «Прикованного Прометея». Эта трагедия жива, и теперь она вдохновляет миллионы людей, усиливает в человеке чувство достоинства. Половое влечение свойственно даже мухам, но для того, чтобы оно стало любовью, потребовались тысячелетия искусства — от древних критян и Калидасы до Гёте, Стендаля, Толстого и дальше — до Аполлинера, Блока, Маяковского, Хемингуэя, Элюара, Пастернака.

Я думаю, что новое сознание, новые чувствования требуют от искусства нового языка. Людям, привыкшим к живописи Джотто, к стихам Рютбефа, — Вийон, Рабле или Учелло показались падением искусства, а четыреста лет спустя для французов Второй империи, воспитанных на классицизме и романтизме, Манэ, Дега, Бодлер, Флобер были варварами, попирающими красоту.

На ленинградском симпозиуме писателей, в котором участвовали литераторы из различных стран, кто-то сказал, что лучше быть продолжателями Толстого, Диккенса и Стендаля, чем Пруста, Кафки или Джойса. Я не думаю, что наше время оставляет художнику единственный выбор — чьим эпигоном он предпочитает быть.

Читателя не удивит, что столько места в книге воспоминаний я уделял искусству: это связано не только с моим ремеслом, но и с моим мироощущением — я убежден, что нельзя идти вперед, шагая только одной ногой, и что без духовной красоты человека никакие социальные изменения, никакие научные открытия не принесут людям подлинного счастья. Ссылки на то, что и содержание и форма искусства диктуются обществом, при всей их правильности, кажутся мне чересчур формальными. Конечно, Леонардо да Винчи или Микеланджело знали больше, чувствовали острее и глубже, чем их современники, и, конечно же, им приходилось считаться с меценатами, кардиналами, принцами, даже с наемными убийцами эпохи. Но, прославляемые или преследуемые, они были философами, открывателями, прокладывали путь в будущее. Их произведения нас потрясают и теперь, а история итальянских городов конца XV — начала XVI века нам кажется бурной, кровавой, но давно отшумевшей, да и мало привлекательной. Не был ли Стендаль пронзительнее, глубже своих современников — подданных «доброго короля с зонтиком»? При жизни «Красное и черное» прочитали несколько тысяч человек, из которых, может быть, только сотня-другая разгадала значение этой книги. Вот уж кто не был эпигоном! Он вырос из своего века, но он его перерос. Его романы многих отталкивали, они порой сердили даже Бальзака и Гёте, которые смутно чувствовали силу Стендаля. А разве стихи Пушкина, «Герой нашего времени», «Мертвые души» — это только гениальное отображение России Николая Первого, концентрат идей и чувствований передовых дворян той эпохи?

Книга Винера о кибернетике показалась мне увлекательной, но я не начал отпевать искусство. Напротив, я понял, что в нашу эпоху все очень быстро меняется. Изменится, наверно, и литература или живопись. Хуже всего начать по-стариковски брюзжать, осуждать время и молодых — они, дескать, не могут ни мечтать, ни страдать, как их деды. Я во многом повинен, но только не в этом.

Повествование о своей жизни я оборвал на первой главе той части, которая для меня должна быть последней и о которой я не хочу писать — это сегодняшний день. С начала 1954 года, когда я дописал «Оттепель», прошло десять лет. Я продолжал колесить по миру, читал книги новых авторов, встречался с друзьями, любил, терзался, надеялся.

Я жил, кажется, гуще, порой и острее, чем в молодости. Оказалось, что я не знал ни глубины некоторых чувств, ни голоса тишины, ни всей ценности последних солнечных дней поздней осени.

В начале 1963 года я провел два дня с Пикассо. Я глядел на его новые полотна «Похищение сабинянок». На композицию его толкнула картина Давида. Согласно древней легенде римляне в поисках жен похитили сабинянок, а когда сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые «Герники», причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской я стоял замороженный и только ночью подумал: удивительно — ведь ему за восемьдесят!..

Я увидел много новых для меня стран — Индию, Японию, Чили, Аргентину, мир для меня стал шире: ведь в молодости я знал только Европу да понаслышке Соединенные Штаты — полторы части света вместо пяти. Я познакомился с некоторыми людьми, которые показали мне значительными. Упомяну о беседе в Дели с Джавахарлалом Неру, который был для меня в политике тем, чем холсты Амриты Шер-Гил в живописи — органическим сплавом индийской национальной глубины с передовой мыслью Запада.

Впервые я побывал в Армении и влюбился в нее; своей розовой сухостью она напомнила мне Кастилию, понравились люди, страстно любящие свою землю и вместе с тем не ограниченные провинциалы, а подлинные граждане мира. Сарьян писал мой портрет, вспоминал прошлое, яростно проклинал людей, безразличных к искусству, и я видел не старого мастера, а юношу, который впервые восхищается охрой и жемальтом.

Искусство продолжало меня радовать, открывало на многое глаза. Изобретение кинематографии — заслуга техники, но, когда я увидел последние фильмы Феллини, Алена Рене, я понял, что кино начинает находить свой язык, что оно способно не только передать игру гениального мима Чаплина, реальность зримого, динамику событий, но и осветить духоту, темноту душевного мира человека не так, как это делали сцена, книга или холст.

Меня обрадовала своей точностью повесть Сэлинджера о подростке, да и многие другие книги, рассказы наших молодых — Казакова, Аксенова. Прочитав короткий и на первый взгляд традиционный рассказ Солженицына, я почувствовал себя богаче: автор иначе, чем Чехов, но с чеховской глубиной ввел в мой мир прекрасную русскую женщину, прожившую трудную жизнь.

За последние годы умерли Фальк, Незвал, Жолио, Ривера, Кончаловский, Пастернак, Леже, Заболоцкий, Хемингуэй, Назым Хикмет. Я чувствую, до чего поредел лес моей жизни, нежно и суеверно гляжу на живых друзей, а вечером утешаюсь тенями подростков.

Я узнал К. Г. Паустовского — прежде я очень редко встречался с ним, знал большого мастера, а увидел благородного, доброго и смелого человека. Мы подружились на старости. Я полюбил Некрасова — оказалось, что возраст не стена: есть и у старика окна, дверь.

Я не разучился ни любить, ни надеяться, да уж теперь, видно, не разучусь. Конечно, старость вяжет человека — иссякают силы. Зато теперь у меня не только больше опыта, но и больше внутренней свободы.

Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал, что исповедуюсь на площади. Помогало мне сознание, что, рассказывая об умерших друзьях, о себе, порой вставляя дорогое имя, я борюсь против забвения, пустоты, небытия, которые, по хорошим словам Жолио, противны человеческой природе.

Я знал, начиная эту книгу, что меня будут критиковать: одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю. В предисловии ко второму тому, написанному осенью 1963 года, я повторил: «Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что моя книга — рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никогда не претендую дать историю эпохи...»

Критиковали, да и будут критиковать не столько мою книгу, сколько мою жизнь. Но начать жизнь сызнова я не могу. Я не собирался никого поучать, не ставил себя в пример. Я слишком часто говорил о своем легкомыслии, признавался в своих ошибках, чтобы взяться за ампула старого резонера. Притом я сам с охотой послушал бы мудреца, способного дать ответ на многие вопросы, которые продолжают меня мучить. Мне хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, которых я встретил: это может помочь некоторым читателям кое над чем задуматься, кое-что понять.

Сейчас у меня слишком много желаний и, боюсь, недостаточно сил. Кончу признанием: я ненавижу равнодушие, занавески на окнах, жесткость и жестокость отъединения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего; я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом, мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, недоговорал, недолюбил. Но таковы законы природы: зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает: «Завтра я...» А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои.

1962—1964.



И. ГРЕКОВА

★

ЛЕТОМ В ГОРОДЕ

Рассказ

Когда цветут липы, город весь погружается в запах. Пахнет в трамваях, в магазинах, на лестницах.

В большом библиотечном зале тоже пахло липами. Окна были раскрыты, и, когда налетал ветерок, каждый чувствовал присутствие лип.

Шла читательская конференция. Все было, как полагается. Стол, накрытый зеленым сукном. Графины, цветы в горшках, микрофон. Народу собралось много — человек сто, не меньше. В президиуме сидел писатель — Александр Чилимов. У писателя было хмурое, немолодое лицо, чуть отечное книзу, с глубокой, врубленной морщиной между бровей. Он положил на зеленое сукно большие жесткие руки и смотрел прямо перед собой, на портрет Тургенева.

У другого конца стола на самом краешке стула примостилась заведующая библиотекой Валентина Степановна. Она волновалась. В горле у нее першило, в глазах жгло. Когда кто-нибудь из выступающих путался или запинаясь, она начинала мучительно шевелить губами.

Только что отошел от микрофона Миша Вахнин, слесарь с инструментального завода. Эх! Ведь как вчера хорошо рассказывал, а теперь сбился. Генриха Бёля назвал Генрихом Боклем. Никак не мог выговорить «экзистенциализм». В зале смеялись. Обидно! Знали бы они его... Ведь у человека свои мысли, свежий взгляд — это нечасто бывает.

...А писателю скучно. Сколько он, верно, слышал таких выступлений...

К микрофону вышла любимица Валентины Степановны — лаборантка Верочка из соседнего НИИ. Развита, умница — просто чудо! Ну, за эту можно не бояться. А писатель все смотрит на Тургенева — чудак, смотрел бы на Верочку. Одни глаза чего стоят. А сама мягкая, тонкая, как церковная свечка. Верочка говорила, волнуясь, что называется «переживала». Она все сгибала-разгибала в руке конспект, а потом бросила его на стол, ухватила одной рукой за стержень микрофона и говорила-говорила, щекой к микрофону, и эта щека у нее покраснела, словно микрофон был горячий...

«Милая моя, ну можно ли так волноваться? — думала Валентина Степановна. — А какая хорошенькая! Что-то в ней старинное, эпохи Возрождения, что ли. Где это я видела такую картину: девушка с лилией в руке? Точь-в-точь Верочка с микрофоном».

Чтобы не смущать Верочку, Валентина Степановна даже отвернулась и стала глядеть в окно. За окном жил своей жизнью бульвар. Мальчик в матроске бежал за красным мячиком. Катились коляски, корми-

лись голуби. Надо всем этим нависла большая синяя туча. Парит. Наверно, будет дождь.

Верочка кончила. Раздались аплодисменты. Она оторвала руку от микрофона и пошла на свое место, гибко лавируя между стульями. Проходя мимо Валентины Степановны, она наклонилась, выдохнула шепотом:

— Ну, очень плохо?

— Нет, Верочка, очень хорошо.

— Ох, вы всегда меня утешаете.— И ускользнула.

Писатель сидел так же неподвижно, с морщиной между бровей. Хоть бы улыбнулся, что ли.

— Слово имеет Марья Михайловна Ложникова, пенсионерка, старейший член библиотечного совета.

Вышла очень маленькая кудрявая старушка со спущенным на одной ноге чулком. Слуховой прибор висел у нее на цепочке, как охотничий рог. Она разложила на зеленом сукне листочки конспекта. Писатель содрогнулся. Марья Михайловна подошла к микрофону, поднялась на цыпочки и металлическим голосом завопила на весь зал:

— Товарищи! Сейчас, как никогда...

— Не так громко! — закричали в публике.

— Что? — спросила Марья Михайловна. Она была похожа на чижи-ка: кивает, словно клюет.

— Не так громко! Потише! — надрывались в зале.

— Не слышу! — победно крикнула в микрофон Марья Михайловна.

Ну вот, опять смеются. Валентина Степановна вышла вперед:

— Марья Михайловна, дорогая, подальше от микрофона и не надо так кричать.

Она взяла старушку за плечи и переставила. Какая легкая старушка!

— Стойте так и не напрягайте голоса, пожалуйста.

Марья Михайловна чижиком поглядела поверх очков и поднесла рог к уху.

— Не так громко! — крикнула в раструб Валентина Степановна. Все это походило на цирк, и она страдала.

— А, не так громко? — поняла наконец старушка. Она снова ухватилась за свои листки и привстала на цыпочках: — Товарищи, сейчас, как никогда, имеет место огромная воспитательная роль литературы. Сегодня мы обсуждаем произведение уважаемого Александра Петровича...— (О ужас! писателя звали Александр Александрович.) — ...Это хорошие, качественные произведения. В них мы воочию наблюдаем передовые черты героев нашего времени, поколения строителей коммунизма. Особенно удаются уважаемому Александру Петровичу — (опять!) — образы борьбы за перевыполнение плана против бюрократизма и волокиты. Однако не со всеми образами мы можем согласиться. Например, среди образов Александра Петровича фигурирует личность Вадима, который на страницах романа ведет себя отрицательно, допускает целый ряд аморальных поступков, буквально пьет. Как старая учительница, я спрашиваю вас, Александр Петрович: кого и чему может научить такой Вадим? Можем ли мы воспитывать молодежь на таких примерах, я вас спрашиваю, Александр Петрович?

Она обернулась к писателю.

— Александр Александрович,— умоляюще подсказала Валентина Степановна.

— Не слышу!!!

— Александр Александрович!! — крикнула в рог Валентина Степановна.

— А,— закивала старушка,— понятно. Можем ли мы воспитывать молодежь на таких примерах, я вас спрашиваю, Александр Александрович?

Писатель отрицательно затряс головой. Теперь — наконец-то! — он улыбался.

— Оглично! — обрадовалась Марья Михайловна. — Смотрите: он уже признает свои ошибки. Ну, я скажу дальше. — Она снова взялась за листки. — Такие примеры, как Вадим, могут только дезориентировать молодежь, толкнуть ее на ложный путь морального разложения. Надо показывать молодому поколению подлинные примеры героизма, подражание которых... подражая которым...

Она засуетилась, ища продолжение.

— В общем, ясно,— сказал толстый парень в первом ряду.

— Дайте выступить человеку,— огрызнулась испитая женщина в комбинезоне.

Старушка все суетилась, перебирая листки.

— Не будет ждать своего времени... нет, не то... ах, да: выводит в своем герое... опять не то... кажется, вот, нашла: «В человеке должно быть все прекрасно — лицо и одежда, душа и мысли», как учил великий русский писатель Антон Павлович Чехов.

— Знаем,— сказал толстый парень.

— Цыц! — прикрикнула женщина в комбинезоне.

— Дальше у меня на другом листе,— заторопилась Марья Михайловна. — Сейчас найду.

Руки у нее дрожали, листочки рассыпались, часть упала на пол. Писатель подскочил, бросился подбирать.

— Зачем это, зачем? — твердила Марья Михайловна. — Вы — писатель с мировым именем — и листки с полу... Я сама, сама...

Несколько голов из президиума скрылось под столом. Писатель вынырнул первым. Его большое лицо покраснело от усилий. Он собрал листки вместе и вручил их Марье Михайловне. Она уже улыбалась, закивала:

— Спасибо, не стоит. Я лучше так, без бумажки скажу. Конечно, не на таком уровне, но от души. Самое главное — читала я ваши произведения и плакала. А меня не так уж легко до слез довести. Соседка по квартире оскорбляет — не плачу. Глохну — не плачу. А ваши произведения читаю — и плачу. А помните, как у вас Вадим этот самый с похорон матери домой идет? Не помните? Напрасно! Я вам сейчас прочитаю. У меня здесь выписано... Хорошо, не надо. Просто скажу: плакала. Здесь и еще в девяти местах. У меня закладки заложены, где плакала. И за эти слезы вам, Александр Петрович, большое спасибо и низкий поклон.

Она отступила от микрофона и низко, по-монашечьи, поклонилась писателю в пояс. Зашумели аплодисменты. Александр Александрович встал, мешковато вышел из-за стола и поцеловал Марье Михайловне руку. Она клонула его в лоб и заплакала. Зал зашумел еще громче. Люди вставали, аплодировали, кричали: «Спасибо, спасибо!» Толстый парень в первом ряду хлопал особенно громко, как пушка. Марья Михайловна сбивчиво шла на свое место, закрывая лицо платком. Писатель стоял, опустив глаза, и неуверенно, тихонько похлопывал ладонью о ладонь. Седой клок у него на лбу вздрагивал. Наконец он сел. Публика тоже стала садиться. Валентина Степановна постучала по микрофону — затихло.

— Товарищи, выступило уже десять человек. Больше записавшихся нет: Может быть, кто-нибудь еще хочет выступить? Или предоставим слово Александру Александровичу?

— Просим... просим... — загудел зал.

Писатель встал — большой, смущенный, с опущенными руками. Сразу стало совсем тихо. Тоненько звенел микрофон.

— Что мне вам сказать? В нашей жизни, в писательской, бывает всякое — хорошее и плохое. И плохого, по правде сказать, больше. Пишешь — и рвешь, и снова пишешь — и снова рвешь, и так далее. И чувствуешь себя таким бездарным, паскудным, исписавшимся... да что говорить. И подлецом иной раз себя чувствуешь, чего скрывать. Бывает. А бывает иногда и хорошее. Не в газете похвалят — это что! Хвалят, ругают — дело случая. А вот когда понимаешь, что кому-то нужен. Пусть не всем, а кому-то нужен. Это большое дело. Вы тут сегодня меня благодарили — не вам меня благодарить. Спасибо вам, дорогие друзья. И дай вам бог, как говорится, счастья в жизни.

У, какой поднялся шум! Валентина Степановна торопливо постукала по микрофону:

— Тише, тише. Александр Александрович не кончил. Продолжайте, пожалуйста.

— Да что продолжать? У меня вроде бы все.

— Слышали, товарищи? К сожалению, все. Разрешите, товарищи, от вашего имени поблагодарить Александра Александровича... От лица всего коллектива сотрудников библиотеки, от читательского актива и всей массы читателей...

Аплодисменты, стук стульев, шарканье подошв. Народ задвигался, начали вставать, выходить, выбираться кто куда. По людскому потоку заходили водоворотники... Вокруг писателя образовалась толча: кто задавал вопросы, кто совал книгу — подписать, кто фотографировал... Сразу стало горячо и густо. Валентина Степановна знала: тут-то и начнется самое важное. Самые открытые, самые нужные разговоры. Сперва здесь, на пороге зала, потом в раздевалке, потом на улице, под бледными глазами фонарей, на набережной, на влажных садовых скамейках... А вечер все длится, и нет сил расстаться... Все хороши, и все умны, и все друг друга любят...

Нет, ей сегодня никак нельзя было остаться. Лялька придет, а обеда нет.

— Александр Александрович, спасибо! Мне так жаль, я должна идти.

— Ну что ж, идите, Валентина Степановна. Я тут с вашей молодежью поговорю. Прекрасная у вас молодежь.

— Да, молодежь у нас чудесная.

— Приезжайте к нам еще! — крикнула вихрастая девчонка, крупно осыпанная веснушками.

— Приеду, непременно.

* * *

А дождь-то, оказывается, был. На улице стояли большие лужи. Да, молодежь у нас отличная. После дождя еще сильнее пахнут липы. Противный, в сущности, запах. Сладкий, навязчивый, приторный... Нет, подлый. Именно подлый запах. Как тогда пахли липы... Интересно, до чего же все-таки живуча память. Неистребима. Столько лет прошло, все отболело, а вот запахло липами — и как вчера.

Валентина Степановна шла бульваром. Под липами сидели пенсионеры. Старики с белыми нимбами вокруг лысин играли в «козла». На скамейках сидели женщины с тяжело расставленными, опухшими ногами. На коленях они стоймя держали сумочки, заслоня круглые животы. Ходили голуби, дети играли в песок.

Впереди шел какой-то мужчина в широком клетчатом пиджаке, тоже, видно, пенсионер. Он шел понуро, уронив вправо неряшливо остри-

женную голову, пеструю от седины. В его походке сзади было что-то знакомое, какой-то затаенный пляс. Неужели? Мужчина обернулся. Так и есть, это был Володя. Но как постарел!

— Валюша, ты? — сказал Володя.

— Как видишь, я.

— Давно мы с тобой не видались, — забормотал Володя. — Года три, а? Я, признаться, здесь уже который день прохаживаюсь, жду тебя. Ты все там же работаешь?

— Там же.

— Там же... И все такая же. Не меняешься. Даже помолодела.

— Это известный трюк: говори женщине, что она помолодела. Не ошибешься.

— Нет, кроме шуток. А знаешь, я давно мечтаю с тобой встретиться. Знаешь, когда подходишь к завершению жизни... тянет к тем, кто был особенно дорог. Ты не замечала?

— Нет, — сказала Валентина Степановна. — Я не подхожу к завершению жизни. Ты — как хочешь, а я — нет.

— Ну, ты всегда была строга. Узнаю тебя, узнаю! — засмеялся Володя и на секунду показал высокие, узкие, все еще красивые зубы. Те самые зубы. Все прошло, все.

— Давай хоть посидим немного, — предложил Володя. — Мне хочется с тобой поговорить. Именно с тобой. Я ведь одинок. Не веришь? Честное слово.

— Сядем, — устало согласилась Валентина Степановна.

Они сели на одну из пенсионерских скамеек. Высокая старуха с библейскими глазами, кормившая голубей на другом конце скамьи, встала, строго посмотрела на них и отошла.

Володя сел, потирая руки, — косоплечий, мешковатый в своем пиджаке. Ногти не совсем чисты... Не следит она за ним, что ли?

— Да, много воды утекло, — сказал Володя. — Я теперь часто возвращаюсь мыслями к прошлому и вижу, что, пожалуй, мы с тобой допустили ошибку.

— Говори об одном себе. Я никакой ошибки не допустила.

— Злючка, чертополох, — сказал Володя и опять улыбнулся.

«Не хватает еще мне раскиснуть от этих зубов», — подумала Валентина Степановна.

— Нет, кроме шуток, мне всегда тебя недоставало. А сейчас, когда я вижу тебя такой молодой, интересной, подтянутой... Честное слово, во мне начинает что-то шевелиться...

— Ну и пошляк же ты стал, — грустно сказала Валентина Степановна, чертя каблукон песок. — Или, может быть, ты всегда был пошляк, только я не замечала?

— Пошляк, именно пошляк, — обрадовался Володя. — Метко сказано. Надо сознаться, без тебя я немного опустился морально и, пожалуй, физически. Маня — прекрасная женщина, хороший врач, но в ней нет этого самого... вечно женственного. Вообрази, я иногда вынужден сам себе стирать трусы и майки... Мне, конечно, нетрудно: квартира в новом доме, горячая и холодная вода, мусоропровод — все это есть. Но мужчине даже как-то неловко заниматься хозяйством, правда? Возьми литературу: где ты найдешь мужчину домашнего хозяина? Это как-то противостоит. С тобой я этого не знал. Вспоминаю, как ты прелестно хозяйничала в нашей маленькой комнатке на шестом этаже... В нашей мансарде. Помнишь?

— Забыла.

— Не верю, — засмеялся Володя. — Женщины никогда не забывают. «Боже мой! — думала Валентина Степановна. — Это самое лицо,

эти самые щеки я любила. И как! Просыпалась: люблю. Засыпала: люблю. Все: люблю».

— Липы пахнут, слышишь? — спросила она.

— Да. Чудесный запах.

— Ну, ладно, мне пора идти, — сказала Валентина Степановна. — Лялька ждет.

— Да, кстати, как Лялька? — спросил Володя с голодным каким-то лицом. — Совсем взрослая? Институт кончает?

— На третьем курсе.

— Красивая, наверно.

— Для меня — очень красивая.

— На кого похожа?

— На тебя.

— А веришь ли, — раздумчиво сказал он, — я этим живу. Ты мне, конечно, не поверишь, но это факт. Я вами — тобой и Лялькой — живу.

— Ну что же, — сказала Валентина Степановна и встала. — Живи. Мне пора.

Он тоже встал.

— Валюша, а может быть, ты позволишь мне, старому человеку, иной раз забежать на огонек? Посидели бы за чайком, поговорили... посмеялись бы...

— Ни к чему это.

— Все-таки я ей отец.

— Она тебя не знает и знать не хочет.

— Грустно, — сказал Володя.

Старый Володя. Жалко его все-таки. Она спросила:

— Здоровье-то как?

— Здоровье ничего.

Они попрощались. Рука у него была слабая, вялая, какая-то мертвая. Дойдя до конца аллеи, она обернулась. Володя сидел, опустив руки. Его клетчатый серый пиджак казался издали зеленоватым.

* * *

Валентина Степановна поднялась по лестнице не спеша. «Не спешить, на каждой площадке считать до ста», — сказал врач. Ничего не поделаешь. Считай теперь до ста. До самой смерти считай.

В сумке у нее лежали ранние овощи: редиска, петрушка, морковь, салат. Все это было влажно, свежо, молодо-зелено. Не в ларьке брала — на рынке. Дорого, зато хорошо. Ляльку подкармливать надо: Лялька бледна.

На последней, шестой площадке она сосчитала только до пятидесяти и отперла дверь. Замок шелкнул — она дома.

— Ты, что ли, Степановна? — окликнула ее с кухни соседка Поля.

— Я. А что, Ляля не приходила?

— Не было. В десять глаза продрала, прическу всколотила — и вон. Ни чаю не попила, ничего. Все некогда. Вот не дрыхла бы до десяти часов — все бы успела. Я...

— Не звонила она?

— Вроде бы нет. Мне ни к чему. Ковры выбивала. Пылища! Глаза застит. А может, и звонила. Мне ни к чему. Мне звонить некому — я и не слушаю.

С Полей всегда так: ты ей — слово, а она тебе — двадцать. Валентина Степановна разделась и прошла к себе. В комнате прохладно, окно открыто, и белая занавеска упруго надута ветром.

Она села за стол, чтобы подумать. Она всегда думала перед тем,

как начать работу по дому. Думала недолго — минуты три. Расставить дела по местам, пригнать их плотно, без зазоров. Чтобы на все хватило времени и не торопиться.

...Разобрать, почистить овощи — раз, суп поставить — два, пока суп варится, белье прополоскать — три...

Она считала и загибала пальцы, начиная с мизинца.

Лялька всегда над ней смеялась, поддразнивала:

— Первая колонна стоит, вторая колонна идет... Полководец!

— Надо же сообразить, что когда сделать. Потому у меня и хватает времени, а у тебя нет.

— Все равно, я так не умею. Не умею планировать.

— Все ты умеешь, Лялька, когда захочешь.

А и верно — Лялька все могла, когда хотела. Но только все полосами. Полоса шитья. Сшила себе вечернее платье. Подруги приходили — ахали. Что платье — Олегу сшила брюки! Потом — полоса стряпни. Достала где-то поваренную книгу восемнадцатого, что ли, века. Пестрый фартучек на отлете, тонкие руки — по локоть в муке...

Поля стояла рядом, вперед животом.

— Неш так пекут? Кто так пекет? Пресное тесто — оно пресное и есть, а кислое — кислое. А ты в одну охристебратию все. И тут тебе дрожжи, и тут тебе сода, и сдоба туда же, как идиотство. И все она по книжке. Нет, чтобы людей спросить. Нет, по-нашему кислое — оно и есть кислое, а пресное — пресное...

— Слушай, Поля, а ты когда-нибудь ошибалась? — спросила Лялька.

— Нет. А как это: ошибалась?

— Очень просто. Была ты когда-нибудь не права?

Поля честно подумала и ответила скромно:

— Не вспомню. Будто не была.

...А пирог-то вышел хорош — высокий, дородный, румяный... Даже Поля, попробовав, сказала: «Ничего», но тут же добавила: «А по-нашему лучше».

Так же вот, полосами, шло у Ляльки ученье. Полоса пятерок, портрет на доске передовиков учебы — Валентина Степановна радуется. Следующую сессию начнет с двойки. Лежит, курит: «Не хочу учиться, хочу жениться!»

— Лялька, как тебе не стыдно! С твоими способностями...

— Еще неизвестно, к чему у меня способности. Может быть, во мне погибла певица.

И вот — полоса музыки. Купила гитару, научилась играть по самоучителю. Поет под гитару — старательно, но фальшиво. Слуха нет.

— Нет, Лялька, в тебе не погибла певица.

— А что? Очень плохо?

— Очень.

— А как же Борька в меня влюбился, когда я ему Кармен изобразила? За пение.

— Не «за пение», а «несмотря на пение».

— И это — мать! Это не мать, а зверь. Настоящая мать должна слепо — понимаешь? — слепо обожать свое дитя. Создавать ему золотое детство. Поняла? А теперь проверим. Мышонок, хорошо я пою?

— Плохо.

— Ох, честность тебя погубит. А все-таки я тебя люблю...

Посмотрит, свесив голову набок, а потом взвизгнет тоненько и — целовать:

— До чего же хорош! До чего мал! До чего мил!

* * *

...Ну, ладно. Пора идти. Почистить овощи — раз, суп поставить — два. Валентина Степановна вышла на кухню, взяла с полки мисочку, с гвоздя дощечку. Все у нее на своем месте, каждая вещь — на своем возде. Это не педантизм — просто экономия времени.

Она начала разбирать овощи. Рядом стирала Поля, низко согнув спину над цинковым, выдавшим виды корытом. Кофта у нее на спине потемнела от пота.

— Поля, взяли бы вы мою машину стиральную. Гораздо скорее. Я вчера большую стирку — за час...

Ой, не надо было начинать. С Полей всегда так: дернешь за цепочку — и польется. Так и есть.

— Машина!!! Видали мы ваши машины. На все — машина. Вы сморкнуться или там до ветру сходить — и то скоро машину придумаете...

(В глазах Поли Валентина Степановна была олицетворением интеллигенции со всеми ее грехами и слабостями.)

— ...Нет, Валентина Степановна, мне вашей машины не надо. Даром не возьму, не то что тысячи платить. Крутит, крутит, а что крутит — неизвестно. И по часам за ней следи. Кругом четыре минуты. Грязь не грязь, белое, черное — ей все равно. Четыре минуты. Разве я руками-то четыре минуты стираю? Я, может, каждое пятнышко на свет гляжу. Маруська нижняя давесь на машине постирала — мы обхохотались. Все вместе склала и давай крутить. А что вышло? Псивое белье и псивое.

(«Маруська нижняя» была соседка снизу, вечный предмет Полиных осуждений.)

— Тяжело руками-то, — вздохнула Валентина Степановна.

— Тебе, матушка, все тяжело. Немолодая, да и сердечная. Я твоих лет, а все покрепче. Выдубила я себя работой. Постираю небось белей твоей машины.

— Ну, как хотите.

Поля опять нагнулась над корытом и, сердито двигая спиной, стала стирать. Валентина Степановна крошила овощи. Тихо было. Только белье плескалось в корыте да ножик о деревянную дощечку: стук, стук.

«Хорошо, что молчит, — думала Валентина Степановна. — Имеет же право человек на личную тишину».

Нет, с личной тишиной ничего не вышло. Поля еще не наговорилась.

— Вот, Степановна, я что тебе скажу. У Дуськи Саврасовой племянник — молодой, а культурный. До того культурный, просто прелесть. Техникум кончил. Бывало, идет на гулянку — нарядится, нагладится, как херувим. На боку — приемник-транзистор. Ну, все как есть. Мы с Дуськой глядим — не нарадуемся. Комнату ему дали, и съехал он от Дуськи. Живет ничего, только стал у него волос падать. Ну падает и падает, и захотел он жениться. Дуська не против, ей что, не у ней живет. Расписался он на женщине. Сперва ничего, а потом стала хулиганить. Белое, и серое, и розовое вместе кипятит — это надо подумать. Он сперва молчал, а потом стал требовать. Она — пуще. Вербками привязывает бюсгалтер — до какого нахальства дошла. Нет, не будет он с ней жить, разойдется.

(Поля никого не могла похвалить, не осудив кого-нибудь другого. Хвалила она чаще всего себя.)

— Я такого нахальства — бюсгалтер вербками! — не позволю. Я хоть и простым сторожем работаю, ваши вузы-пузы не кончала, а культуру знаю. Муж покойник пьет — а мне все терпимо. Наблюдает —

вытру, не то что перед соседями срамотиться. Бельишко ему постираю, вычиню, наглажу — как светлое Христово воскресенье...

Замолчала. Тихо. Только белье трется.

— А что я тебя спросить хотела, Валентина Степановна, — внезапно сказала Поля. — Ваш-то заболел или так просто не ходит?

— О чем это вы, Поля? — лицемерно спросила Валентина Степановна.

— Прямо не понимаешь? — прищурилась Поля. — Об ком же, как не об Олежке об вашем? Не слепая. Стенке — и то в глаза кинется. Ходил-ходил парень — и здасьте, перестал, как водой в ньютазе смыло. И на Лариске-то твоей образа нет — не вижу, что ли? Красится-мажется, а сама как смерть заgrabная.

Валентина Степановна молчала.

— Таишься ты от меня, ох таишься. А чего таиться? Дело-то житейское, бабье. Я вам с Лариской худа не хочу. Девка-то при мне выросла, ниже стола на кухню бегала: тетя Поля то, тетя Поля се. Мало я ей соплей подтерла? А ты на службу твою фр-фр, хвостом махнула — и нет тебя. А Поля здесь, куда она денется. Ребенок все-таки, не кошка. Я и кошек жалею, кормлю. А ты со мной, будто уши у меня, как у свиньи.

— Поля, милая, не обижайтесь. Я от вас ничего не таю, честное слово. Я сама ничего не знаю.

— Таись не таись — все равно видно. Шила в мешке не упрячешь — проколот наружу. Ходил парень и не ходит. И девка сама не своя. А она часом не со свежей икрой?

— Бог с вами, что вы только говорите, Поля, да и какими словами, никак не могу привыкнуть к вашему жаргону.

Валентина Степановна ножиком сбросила зелень в закипающий помутневший суп.

— Уж и обиделась, — сказала Поля. — Жиргон какой-то. Вы меня такими словами не трогайте. Больно вы тонкие — тоньше волоса. Сама-то что, не рожала? Не гуляла? И рожала и гуляла, а слова сказать нельзя. А ты лучше за бельем Ларискиным поглядывай. Девка неряха, все швырь да швырь, а ты поглядывай.

— Простите, Поля, у меня голова болит, — сказала Валентина Степановна и ушла к себе в комнату. Как в подполье.

...Белье прополоскать — три... Прополощешь тут белье — на кухне Поля. Удивительное многословие. Наверно, оттого, что не читает. Это у нее вместо чтения. Приучить ее, что ли, к книгам? Не выйдет. Скорее она меня отучит.

Чтобы не терять времени, Валентина Степановна взялась вытирать пыль. Успокоительное занятие. Руки заняты, голова свободна, никто рядом не бубнит, и можно думать о чем хочешь, хоть о сегодняшней конференции. Ничего, удачная вышла конференция. Нет, о конференции не думалось, в голову лезли совсем другие мысли: Ляля, Олег.

Вот на стене фотография: Ляля с Олегом в лесу, на лыжах. Олег — прямой, статный, темноволосый, на широкой груди — свитер в обтяжку. Лицо красивое, молочно-восковой спелости. Черные брови срослись над прямым носом. Рядом Лялька — стоит, вся перегнулась, словно повисла на палках, одна нога далеко в сторону, хохочет, в волосах снег...

Зазвонил телефон. Валентина Степановна вышла в коридор, взяла трубку.

— Мышонок, ты? — сказал издали любимый, смутный, низковатый голос.

— Я, милая. Откуда ты? Я тебя жду. Есть салат.

— О, салат! Это удачно. Люблю салат. Мышонок, ты меня слышишь? Я тебя люблю. Понимаешь?

— Понимаю. А ты когда будешь?

Лялькин голос помедлил и сказал, немножко переломившись:

— Не знаю. Скоро. А мне никто не звонил?

— Никто. При мне никто. Может быть, Полю спросить?

— Не надо.

— Хорошо, не надо. Так я жду тебя.

— Договорились.

Валентина Степановна повесила трубку. Не успела отойти — опять звонок. Хоть бы Олег!

— Валюнчик, это я.

— Жанна! Куда же ты пропала?

— Ах, это целая история. Вообрази, я опять влюбилась.

— Господи, помилуй!

— Да. Ужасайся не ужасайся, моя добродетельная подружка, придется тебе принять меня, какая есть. Тру-ля-ля. Осуждаете, Валентина Степановна?

— Что ты — осуждаю! Радуюсь за тебя.

— Ты знаешь, ему больше всего понравились мои икры. В этих икрах — он говорит — вся эlegantность века.

— А он не дурак?

— М... не знаю. Но ведь я и сама не умна. Верно?

— Пожалуй, верно.

— Люблю за искренность. Ты все такая же девочка-правдочка, как в школе.

— Нечего сказать, девочка! Скоро буду бабушка-правдочка.

— Как? Уже!! Лялька?

— Что ты, нет. Это я просто о возрасте.

— Да, возраст — это наш кошмар, не правда ли? И все-таки не хочется расставаться с иллюзиями, верно?

— Ты знаешь, я давно с ними рассталась.

— И я. Но время от времени они все-таки появляются. Ты знаешь, в прошлом году я уже совсем отказалась от любви. Решила: хватит. А тут опять она налетела на меня, как ураган. Чувствую, что-то клубится, клубится... Нет, Валюнчик, по телефону этого не выразишь. Можно я к тебе зайду? Ты что делаешь?

— Обед готовлю. Ляльку жду.

— Ну, я на одну маленькую минутку. Посижу, папироску выкурю — и нет меня. Можно?

— Конечно, можно.

— Целую.

— Жду.

...Ох, эта Жанна. Смех и слезы. А люблю ее. Вся жизнь вместе — это не шутка, вся жизнь. Вместе в школе учились, вместе работали. Вместе бедовали в войну. Если б не Жанна, пропали бы мы обе — я и Лялька. У девочки уже цинга началась. А кто спас? Жанна. Фрукты, лимоны... Это в войну-то! Откуда? Спросишь — смеется: «Заработала честным трудом». Какой-то был у нее там заведующий складом. Кто ее осудит? Не я.

А Лялька маленькая — до чего же она была хороша! До страдания. Даже прохожие на улице останавливались и страдали: какая девочка! Волосы черные, глаза зеленые, взгляд строгий, а ресницы... Да, давно я не видела Ляльку черноволосой... Каждую неделю новый цвет: то белой ржи, то красного дерева... А недавно пришла вся седая, с сиреневым

оттенком. Очень просто: серебряная краска, чуточку школьных чернил — и все.

— Лялька! Опять новый цвет? Пощади. У меня же сердце.

— Надо идти в ногу с веком, Мышонок. Равняйся, подтягивайся. И вообще о чем разговор? Мои волосы? Мои. Мои губы? Мои. Хочу и крашу. Не нравится? Золото ты мое! Это в тебе девятнадцатый век играет.

— Лялька, меня же не было в девятнадцатом веке. И ты это отлично знаешь.

— Все равно. Душой ты в девятнадцатом веке. Такой уютный век. Все ясно, как у Поли: белое — белое, черное — черное. Ты бы хотела меня видеть чистой, белой, тургеневской, с удочкой в руках над старинным прудом. Образ Лизы Калитиной, «Дворянское гнездо».

— Все врешь.

— Ну, вру. Ты у меня молодой. Ты у меня красивый. А уши-то, уши! Как две камни. А волосы? И седых-то почти нет. Ох, задущу!

— Лялька, сумасшедшая, пусти...

А Лялька у зеркала — вот тоже картина. Интересно смотреть, как она «делает себе лицо». Серьезные, страдальческие губы, черный карандаш в углу зеленого глаза... Два-три штриха — и глаз оживает: продолговатый, загадочный, раскосый... А потом — отделка ресниц. В руке тупой перочинный ножик. Этим ножом ресницы терпеливо, по одной загибаются кверху. И непременно тупым. Однажды Олег — аккуратный Олег — нашел у нее этот ножик и наточил. Услужил, нечего сказать! Лялька чуть ресницы себе не отхватила. Потом ножик нарочно тупили на цветочном горшке...

Эх, Олег! Ну чего ему не хватало?

Звонят. Наверно, Жанна пришла. Так и есть — она. Дверь открыла Поля и, буркнув, ушла на кухню. Не любит она Жанну.

— Валюнчик, здравствуй, солнышко! — Жанна поцеловала Валентину Степановну в щеку. — Я тебя не покрасила?

— Кажется, нет. Заходи.

Из-за кухонной двери слышался монолог Поли:

— Пустая баба, кривое вертено. Туда — круть, сюда — верть, а чего модничать, пора о душе подумать. Пятый десяток — не двадцать лет! А она на себя накручивает. И Лариска за ней. Туда же.

— Это что, Поля говорит? С кем она?

— Сама с собой. Это она так. Не обращай внимания.

— И тужится она тужится, и пыжится она пыжится, — громко сказали за дверью: — Ей пятьдесят, идет, вырядилась, коленки бльсь-бльсь, а под коленками-то одни вени — море синее... А чего? Все одно — выше головы не прыгнешь, умней отца-матери не будешь. Старая, она и есть старая. Время-то назад не течет.

— Это она про меня?

— Нет, это она про себя. Идем.

Жанна уселась в кресло, переплела ноги змейкой. В самом деле, удивительные, неувядаемые ноги. Вынула папиросу, закурила.

— Ну вот такие дела, Валюша. Опять на жизненном пути повстречалась мне любовь.

Жанна всегда говорила такими формулами. Странно, что это было не противно. Ей это шло.

— И кто же он? — спросила Валентина Степановна.

— Один моряк. Вполне интеллигентный. Знаешь, я равнодушна к

галунам. Недаром во все времена женщины любили военных. Это золото, кивера, ментики, доломаны...

— А ты знаешь, что такое доломан?

Жанна задумалась.

— Вроде сабли? — спросила она.

— Не совсем. Скорее вроде кителя.

— Я так и думала: вроде кителя. Ах, в наше время все так бесцветно — защитный и еще раз защитный. Морская форма всегда меня волновала. Можешь верить, можешь не верить.

— Охотно верю.

— Вечно ты надо мной смеешься. Конечно, я смешна. Эту черту — влюбчивость — я за собой знаю. Когда встречается на пути любовь, я обо всем забываю и сразу же начинаю пылать.

— Где ты его выкопала?

— О, это целый роман. Мы встретились в очереди за билетами. Я покупала в Сочи, а он — в Минводы. Разговорились, посмеялись, он мне спел: «О, эти черные глаза»... То, другое. «А вам, говорит, обязательно нужно в Сочи?» — «Обязательно». — «Кто-нибудь ждет?» — «Никто не ждет, свободна, как ветер». — «Тогда, говорит, поехали вместе в Минводы». Ну, меня как вихрем завертело... В глазах — круги. Поехала в Минводы.

— Прямо так? Сразу?

— Нет, через два дня. Ну, я, конечно, себя привела в порядок, брови выщипала, волосы покрасила — видишь? Гамма с отливом. Ты не смотри у пробора, там отросло. Ты здесь смотри. Прекрасный оттенок. Костюмчик мне Анна Марковна приготовила — пройма спущена, по юбке мягкие складки. Сумочку достала в цвет, туфельки венгерские на шпильках — ты знаешь. Еду, как королева, выгляжу вполне прилично. Больше тридцати восьми я бы себе не дала, а ты ведь знаешь, какой у меня глаз на возраст. В общем, это был прекрасный сон...

— И сколько времени он продолжался?

— Две недели. Деньги кончились.

— У него?

— У меня.

— А он?

— Остался там. Когда мы расставались, он даже прослезился. Дал слово, что позвонит мне сразу, как приедет.

— Он женатый?

— Кажется, да. А что? Валюша, ты меня осуждаешь?

— Честное слово, нет.

Вдруг Жанна уткнулась носом в спинку кресла и зарыдала. Именно зарыдала, а не заплакала.

— Жанна, милая, что с тобой? Я тебя обидела?

— Я сама себя обидела.

— Ради бога, не плачь. Я же не Поля. Я все понимаю.

Жанна трясла головой. Светло-каштановые пряди, «гамма с отливом», рассыпались, и между ними замелькали темные, с сединой.

— Валюша, сегодня я вспомнила Леонтия Иваныча... — (Леонтий Иваныч был покойный муж Жанны, генерал.) — ...За ним я была, как за каменной стеной. Если бы он был жив, ничего бы не случилось. Он воздух вокруг меня целовал. Это проклятое одиночество! Нет, ты не понимаешь.

— Я ведь тоже одна.

— У тебя — Лялька.

— Верно. У меня Лялька.

...Внезапно, как-то сразу, Жанна успокоилась. Она села, вытерла глаза и улыбнулась.

— Знаешь, мне все-таки повезло, что я не располнела. Сзади меня можно принять за девочку. Правда?

— Правда.

— Ну, я пойду. Посидела, покурила, поплакала... Как это хорошо, когда есть где поплакать!

— Приходи ко мне всегда, в любое время.

— Поплакать?

— И посмеяться тоже.

— О, дружба, это ты. Валюша, ты истинный друг.

— Мы с тобой — старые друзья.

— Старые-престарые. Проводи меня, а то я боюсь Полю.

Валентина Степановна проводила Жанну до выхода.

— Паразитка,— громко сказали за кухонной дверью.

Жанна храбро натягивала перчатки.

— Прощай, Валюнчик. Будь здорова. Ляльку целуй.

— Приходи.

Хлопнула дверь, тонкие каблучки застучали по лестнице. За кухонной дверью продолжался монолог Поли:

— А мне мужика не надо. На что мне мужик? От него грязь одна. Стирайся на него, стирайся... Дух тяжелый от мужика. Ты, что ли, за дверью, Степановна? Входи, не робей. Что, не правду я говорю? В этикие годы о мужиках думать — последнее дело! Я молодая-то была — огонь! А теперь мне мужика не надо. Даром не возьму. От мужика грязь, от мужика вонь, без пол-литра он не придет. Лучше уж я в церкву пойду. Мне мужика не надо...

Валентина Степановна тихонько отошла от двери и ушла к себе. Надо бы суп заправить, да бог с ним. Там — Поля. Удивительно, как один человек может всех поработить, если он всегда прав.

Остается вытирать пыль. И в самом деле, что за неряха эта Лялька! Поглядеть только, что у нее на столе! Сумочка, конспекты, карандаши для бровей, пояс с резинками, один чулок. Дорожка побежала, надо поднять...

Валентина Степановна взяла Лялькину сумку, да как-то неловко, и из нее посыпались мелочи: помата, пудреница, скомканные рубли, какие-то бумажки... Она опустилась на колени и стала подбирать рассыпанное с полу. Как сегодня писатель подбирал бумажки... Одна развернутая бумажка кинулась ей в глаза. Против воли она прочла: «...Савченко Лариса Владимировна... год рождения 1940... направляется в гинекологическое отделение роддома № 35... для прерывания беременности... 6—7 недель...»

На одно мгновение светлое небо за окном мигнуло, словно зажмурилось. Валентина Степановна постояла на коленях, потом собрала вещи и встала, держась за угол стола. Она сложила все обратно в сумку. Все это было бессмысленно и невозможно, совершенно невозможно. Бумагу она перечла еще раз. Все так. Ну, ладно. Ужасно, но ладно. Это надо усвоить. Ужасно, что она от меня скрыла. А я думала, у нее нет от меня секретов.

Валентина Степановна вышла в кухню и погасила газ под супом. Поли, слава богу, не было. Потом она вернулась и села в кресло. Кресло ее не принимало. Она подогнула ноги и положила голову на ручку. Так почему-то вышло. Так было почти не больно сидеть. Она закрыла глаза. На улице кричали дети. Ветер дергал занавеску и доносил в комнату запах лип.

* * *

Так точно пахли липы в то проклятое лето. Помню: я стояла здесь, а он там. Он спиной к окну, я лицом.

— Валюша, неужели это все серьезно? Ты в самом деле хочешь, чтобы я ушел?

— Совершенно серьезно.

— Ты идиотка. Ты пойми, ведь это же ничего не значит. Ну, маленькое увлечение. Увлекся. Это бывает.

— Зачем ты мне лгал?

— Лгал! А что, мне надо было все так тебе и выложить? Мерси. Ты бы устроила скандал, все поломала... Я слишком дорожил нашими отношениями, чтобы тебе сказать.

И это говорил Володя. Невозможно. Это не он говорил, не он.

— Валюша, ты делаешь из мухи слона. Ты пойми: я же люблю тебя. Та, другая женщина для меня, в сущности, нуль. Ну, если хочешь, я там все порву, хочешь?

...Как он не понимает, что дело не в другой женщине, а во лжи? Я сказала:

— Дело не в другой женщине.

— А в чем же?

— Дело во мне. Я тебя больше не люблю. Уходи.

— Смотри, пожалеешь.

И он ушел. Помню это ощущение: весь мир рвется сверху донизу, пополам. И тут же: еще не поздно. Догнать, вернуть. Вон его папирота в пепельнице — еще живая. Еще дымится. Что же ты стоишь? Догони, верни. И удар двери внизу — все.

Нет, Володи больше не было: он раздвоился. Он раскололся. Он распался на двух. Один — прежний, любимый, свой, как своя рука. Другой — новый, глухой, жестокий. Чужой. И мысль: как смеет этот, новый, ходить в теле моего? Убийца.

Когда мир раскалывается пополам, человек оглушен. Произошло что-то невообразимое. Это невозможно, но это так. И человек не может вместить противоречия, и ему кажется, что он погибает. Вздор. Человек живуч. Он и погибая живет. Живет, забывает, выздоравливает.

...А про Ляльку я ему так и не сказала. Зачем? Пожалееет... Еще одна ложь. Впрочем, тогда это была еще не Лялька. Я думала, что это будет мальчик, Володя. Мальчик еще только начинался, не было полной уверенности. Думала: скажу потом. Так и не сказала. А про то, что есть Лялька, он узнал случайно, два года спустя...

Но я тогда про Ляльку не думала. Все думала о нем, Володе: когда это началось? Снег лежал или уже весной? Почему-то это казалось самым важным: когда кончался прежний и начинался новый? Важно было найти эту черту в прошлом и по этой черте отрезать.

Все-таки в тот день я пошла на работу. В библиотеке сидела Жанна, болтала с читателями. У ее столика всегда был хвост. Она меня заметила, испугалась:

— Валюша, что с тобой? Ты вся зеленая.

А мне стало худо. Она меня отвела в туалет. Какие-то ведра стояли с известкой. В одном — большая кисть. А главное, пол в разноцветных плитках — желтые с красным, как сейчас вижу. Этот пол шел прямо на меня. Жанна держала мне голову. Потом стало легче.

— Валюша, милая, скажи, это не...

Я кивнула.

— Боже, как интересно. У тебя будет маленький бэби.

Жанна тогда увлекалась Голливудом и говорила: «бэби», «дарлинг».

— Володя, конечно, в восторге?

— Володя не знает.

— Как так?

— Жанна, ты все равно узнаешь, так лучше сразу. Володи никакого нет. Мы разошлись.

...Слезы в темных Жаннинных глазах. Что слова? Слезы важны.

— Валечка, можно только одно слово спросить? Ну, самое маленькое слово?

— Нельзя.

— Я не о Володе. Раз нельзя, так нельзя. Я об «этом». Ты «это» оставишь или будешь ликвидировать?

А «это» была Лялька...

— Не знаю, Жанна, ничего не знаю.

...А потом началась странная какая-то жизнь — вроде бреда. Я лежала и думала. С работы уходила минута в минуту — торопилась домой, чтобы лечь. Приходила, ложилась на диван лицом к спинке, думала. Звонил телефон — не подходила. Только при каждом звонке начинало стучать сердце. Прямо бухало в уши. Соседка стучала в дверь:

— К телефону!

Я не подавала голоса. Соседка кричала в коридоре:

— Нет дома! А может, спит!

Сердце все стучало, но постепенно успокаивалось. Через полчаса — опять звонок, и опять сердце. Я ни разу не подходила. Я только твердила про себя одну и ту же странную фразу: «Будь проклят ты, если это ты».

И опять начинала думать. Все о том же: где провести черту? По ту сторону — прежний Володя. Его я любила. По эту сторону — новый. Его надо было ненавидеть. А черта все смещалась туда и сюда. Иной раз новый прорастал в прежнего... Минутами даже казалось, что никакого «прежнего» вообще не было. И тогда я кричала этому новому, как живому: «Ты что же, совсем хочешь у меня все отнять?» А иногда, наоборот, прежний начинал прорастать в нового... Вот это было хуже всего. Тогда я почти готова была простить, вернуть... Какая-то шерстинка запомнилась на спинке дивана. Она все ходила от дыхания взад и вперед, колебалась... Убирать в комнате я почти перестала, есть — тоже. Никого не могла видеть, кроме Жанны. Одну только Жанну могла видеть. Очень важно, когда человек не раздражает. Вот Жанна меня никогда не раздражала. Ходит по комнате, чего-то напевает... Подметет пол, смахнет пыль... К зеркалу подойдет — локоны, ресницы, то, се. Себе подмигнет по-потешному. Переимчива была, как обезьяна: одну бровь поднимет — и человек готов. Или о тряпках говорит таким грудным, таинственным шепотом, на манер голливудской звезды:

— Фасончик вери найс... Рукава буфиками. плечики подложены, но не очень, а так, в самый раз. Получается мягкий квадрат, понимаешь? Юбочка-шестиклинка до полноты, внизу чуть расклешена. По вороту бейка...

Слушаешь ее — и словно бы даже легче становится. Как будто смотришь мимо своего горя на пеструю, красивую, беззаботную птицу. Вот какая она, Жанна. Поглядишь на нее — вся из кусочков, каждый где-то заимствован и, в общем, так себе. А все вместе — Жанна. Сентиментальная, щедрая, шалая, дорогая Жанна.

О Володе мы не говорили. Так было условлено. Жанна держала слово. Как ей иногда было трудно — надо знать Жанну! Молчать о чем-нибудь — ведь это для нее тяжелый труд. Но однажды она приготовилась, даже губы нарисовала лиловым и заговорила:

— Валюнчик, ну позволь мне сказать... У меня же будет разрыв сердца. Я же тебя люблю. Я же не уговариваю тебя вернуться к Володе...

— Нет.

— Но надо же посмотреть в будущее, верно? Я ведь хочу тебе только добра. В этом ты можешь быть уверена, это как сталь. Послушай, если ты решила ликвидировать, то надо сейчас, а то будет поздно.

...Ничего я в этом не понимала, ничего не хотела знать. Никогда не приходилось с этим иметь дело. Какая-то уголовщина: договариваться, прятаться, красться... Читала в газетах случаи: и врача и женщину — под суд. Стать преступницей, подсудимой. И все-таки без этого нельзя. Куда было девать еще и этого Володю? Мне без того хватало хлопот с теми, двумя.

И Жанна все устроила. Свезла меня к врачу. Владимир Казимирович. Этаким в заграничном костюме... Голос у него был жирный, будто шкварки жарились. А лицо — смуглое, холеное, умное... Жанна уверяла, что у Владимира Казимировича легкая рука: «Ты увидишь, он так это делает, просто одно удовольствие». А я покорила, меня просто не было...

— Сомнения исключены, — сказал Владимир Казимирович. — Беременность налицо. Что касается оперативного вмешательства, то оно может и не понадобиться, если вовремя принять соответствующие меры...

Так он замысловато говорил, Владимир Казимирович. Фразы длинные, витиеватые... Ходит-ходит кругом смысла... Восьмерками...

Он предложил «легкий, безболезненный курс уколов». По двадцать пять рублей за укол. Препарат — прямо из-за границы. Ни к чему не обязывает, но может помочь. Я стала ездить на уколы... Он жил на даче, в Карповке. Дача — дворец. Двухэтажная, каменная, все удобства: газ, ванная, телефон. И сад с каким-то дурацким амуром. Птицы надевали ему на голову, и амур плакал. Проклятая дача! К ней вела небольшая улица — заросшая липами, тенистая... Ветки нагибались низко над заборами и густо цвели. Тогда я поняла, как подло могут пахнуть липы.

... А уколы не помогали. Владимир Казимирович каждый раз говорил: «Не сегодня-завтра, подождите». А я уже не верила в эти уколы. Мне казалось, он, как опытный рыбовод, поддел меня на крючок и водит, берет по двадцать пять рублей, чтобы потом вернее взять свою тысячу. Тысячи у меня не было, я заняла у Жанны. А он был ласков, Владимир Казимирович... Каждый раз, прощаясь, он задерживал мою руку в своей. А мне казалось, что я взяла жабу... И вот...

— Ну-с, молодая дама, — сказал Владимир Казимирович, вытирая руки, — наш курс закончен, но не дал, к сожалению, положительных результатов. Я, со своей стороны, честно предупреждал, что не гарантирую успеха на все сто процентов. Не правда ли?

— Что же теперь делать?

— Если вы по-прежнему не горите желанием... э... сохранить плод, то нам придется встретиться еще раз, чтобы применить метод менее приятный, но зато более надежный.

Так он сложно говорил, Владимир Казимирович.

Что мне было делать? Я согласилась. Он потребовал деньги вперед: «А то некоторые слабонервные дамочки убегали у меня, можно сказать, со стола...»

Все было уговорено: в пятницу вечером, после десяти, когда стемнеет. Никто не должен ни провожать, ни встречать. Полнейшая конспирация. С собой иметь: две простыни, два полотенца, все прокипяченное, проглаженное утюгом с двух сторон. «Предупреждаю: белье не возвращается». Документов с собой не брать. После операции разрешено оставаться на даче не больше десяти минут: мало ли что может случиться?

«Ответственность большая, но я не боюсь ответственности, — сказал Владимир Казимирович. — Подчеркиваю: никаких проводов, никаких встреч».

И вот пятница, вечер, уже темнеет, уже стемнело, и снова я в электричке — еду. Предстоящее — боль, опасность — меня почти не занимало. Всю дорогу меня мучили два Володи. Хуже того: мне казалось, что я и сама раздвоилась — не вижу, где я и где не я, и вообще все окончательно пропало. Меня окружала подлость, и я чувствовала себя подвластной подлости... Я подошла к той даче. Было уже темно. Я узнала ее по амуру. Подошла к калитке, просунула руку, откинула крючок... Кто-то вырос рядом, словно из-под земли. Лучик карманного фонаря...

— Гражданочка, ваши документы...

Кто-то пришел. Нет, это не Лялькин звонок. Лялька звонит всегда громко, настойчиво, весело. А этот звонок был совсем короткий и слабый: пим. Валентина Степановна все сидела в кресле, положив голову на жесткий подлокотник. Ничего, Поля откроет.

Дверь **отворилась**, и в комнату вошла Лялька.

— Мышонок, ты здесь? Что ты тут делаешь? Почему в темноте?

— Ничего, просто сижу. Немножко нездоровится.

— Что такое? Давай сюда лоб. Холодный! Мышонок, ты симулянт. Я зажгу свет, ладно? Так лучше. Есть хочу — умираю. Где салат?

— Я салата не делала, — сказала Валентина Степановна. — А ну-ка, присядь.

Лялька опустилась на диван. Тошная, длинная, ногастая, как кузнечик, да еще в платице серо-зеленом, коротком, выше колен. Ну, кузнечик — и все. Когда она села, колени поднялись выше подбородка. Бледная, сняйки под глазами до половины щек.

— Лялька, послушай...

Лялька вынула заколку из волос, покусала:

— Ты что, беседу хочешь со мной проводить?

— Нет. Я просто хочу тебе кое-что рассказать.

— Ну-ну.

— Ну, и что было дальше?

— Дальше я побежала. Никогда в жизни так не бегала. Они свистят, а я бегу. Ноги молодые, сильные. Ноги у меня и сейчас еще ничего — носят.

— И убежала?

— Вообрази, да. Слышу — свистки стали слабее, а потом и вовсе пропали. Но я все бежала. Узелок свой я еще в самом начале отбросила, так что бежала без вещей, без денег, без ничего. И знаешь, так хорошо было бежать... Я чувствовала, что ушла от всех от них: от милиционеров, от доктора этого, от суда...

— Тогда судили за это?

— Тогда за все судили.

— Ну, и что дальше?

— Дальше ничего. Прибежала на станцию — у платформы стоит электричка. Темно, а в электричке окна светлые, широкие... Прекрасная такая электричка и словно меня специально ждет. Ворвалась я в вагон. Все на меня смотрят: красная, растрепанная, счастливая... Сразу, как вошла, электричка двинулась. Прошел контролер — я без билета. Он с меня штрафа не взял, почему — не знаю. Приехали в город. Я — прямо к автомату. Звоню ему, Владимиру Казимировичу. Боялась, что его

арестовали из-за меня. Но он — ничего, даже не очень испугался. Говорит: не беспокойтесь, я привык выполнять свои обязательства. Пригласил приехать во вторник. Пятница, говорит, тяжелый день. Тут я его обхамила.

— Ой ли! Не верится. Что же ты ему сказала?

— Я к вам больше не приду. Вы подонок.

— Так и сказала? Ай да герой! И не скончалась тут же от угрызений совести?

— Нет. И еще я сказала: назло вам рожу десятерых.

— Явное преувеличение. Ну, а дальше что было?

— Дальше? Родилась ты.

— Веселенькая история...

*

...В коридоре что-то упало, и плачущий Полин голос сказал:

— Во паразитство! И ночью покою нет. Тыр да тыр. Днем дрыхнут, а по ночам вырят. Все как не у людей. Нет, сменяю я себе квартиру, сменяю.



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

МЕСЯЦ ВО ФРАНЦИИ

1

У Парижа свои капризы, своя безвкусица, свои обманы зрения...

И у Парижа — увы! — бывают часы, когда его клонит ко сну (порой и Гомеру случается спать).

Безумие Парижа, перебродив, оказывается мудростью.

В. Гюго.

День начинается так. Проснувшись, делаю небольшую прогулку километра на три-четыре. Выйдя из отеля, сворачиваю сразу же налево и через аркады Лувра, потом через мост Карусель выхожу на набережную Вольтера. Дальше — вдоль Сены, мимо закрытых еще букинистических лотков до небольшого моста О-Дубль, где сворачиваю налево и, минуя Нотр-Дам, по Аркольскому мосту выхожу на правый берег Сены, к площади Отель де Виль. Дальнейший путь опять же вдоль Сены, на этот раз уже по ее течению. Дойдя до Лувра, сворачиваю направо, и по рю Риволи до моего отеля уже рукой подать. Иногда совершаю прогулку в другую сторону — через площадь Согласия до Эйфелевой башни и обратно. После прогулки иду в ванную и, как говорят радиодикторы, приступаю к водным процедурам.

Вся прогулка отнимает не больше четырех-пяти минут. Быстрота ее объясняется тем, что совершаю я ее не ногами, а глазами. Над моим диваном висит громадный — два на полтора метра — план Парижа, и это первое, что я вижу, проснувшись утром. План этот не обыкновенный — улицы, кварталы, площади; план этот — плод двадцатилетнего труда художника Пельтье, умудрившегося нанести на него все дома Парижа. Все до единого. И не просто нанести, а дотошно нарисовать в аксонометрии, с птичьего полета. Я не представляю, как это можно сделать, но это сделано. Кропотливейшим образом нарисованы все жилые дома, дворы, церкви, соборы, дворцы, вокзалы, мосты, парки и бульвары с деревьями, памятниками, отдельные скульптуры, лестницы, спускающие к Сене. Если сесть в противоположный конец комнаты и взять бинокль, создается полная иллюзия, что ты летаешь над городом в самолете. Впрочем, есть даже и преимущество: с самолета надо догадываться, что под тобой, а здесь всюду надписи.

План этот, приведший меня в восторг в одном из парижских домов, принесли на аэродром, когда мы летели в Москву. Всю дорогу он очень мешал: скользкий, завернутый в целлофан, он все время выскальзывал

из рук и тыкался кому-то в спину. Сейчас, наклеенный на полотно, он висит у меня на стене, вызывая всеобщее восхищение и зависть.

Я с детства люблю карты и планы. Вероятно, потому, что больше всего в жизни мечтал быть путешественником. Лавры Ливингстона и Миклухо-Маклая не давали мне покоя. По картам маленького карманного атласа Юнкера я составлял захватывающие маршруты через Гималаи в Индию, по непроходимым зарослям Центральной Африки, вдоль берегов Ориноко и Амазонки. Осуществить их в жизни мне так и не удалось: пришлось ограничиться Кавказом, Крымом в студенческие годы, а в войну долгими походами через Украину, с востока на запад и с запада на восток. Атлас Юнкера пришлось сменить на войсковую двухверстку, на план Сталинграда, с которым почти полгода не расставался. К сожалению, он, мятый, с продранными углами, с разноцветными стрелками и цифрами, не сохранился. Зато сохранилась маленькая, вырванная из немецкого офицерского атласа карта «Европейской части России», на которую я наносил линию продвижения наших войск и которую бережно хранил в левом боковом кармане гимнастерки.

Такую же страсть к планам и картам, я знаю, испытывает и Паустовский, но и его и меня в этом увлечении перекрыл мой фронтовой друг, лейтенант сапер Обрадович. Когда ранней весной сорок четвертого года мы освободили станцию Апостолово, я вечером того же самого утомительного дня застал его в одной из хат низко склонившимся над столом при свете керосиновой лампы. Оказывается, он рисовал план будущего, восстановленного Апостолова. Прорисовывал новые улицы, организовал административный центр, перенес в другое место вокзал, который сейчас пылал, подожженный немцами. Впрочем, Обрадович по образованию был архитектором, и, хотя занятие его в тот вечер не могло не вызвать улыбку, я его понял.

Итак, по утрам я делаю зарядку — пробежку по набережным Сены. Вечером же, когда все кругом затихает и даже телефон устает, я совершаю, оторвавшись от книги, прогулки по другим местам Парижа. В основном по его юго-западу, по району Исси-ле-Мулино, — он ближе всего к моей голове. Для того же, чтоб попасть на Монмартр или плас Пигаль — самые подходящие для этого часа места, — приходится становиться ногами на диван, что, как известно, не рекомендуется. А Исси-ле-Мулино я знаю уже довольно хорошо. И район парка Монсури, где я провел свое раннее детство, и Университетский городок, и Монпарнас, куда перекочевали с оккупированного туристами Монмартра художники и где собираются строить сейчас новый ультрасовременный квартал в районе вокзала... И все это я теперь восстанавливаю в памяти благодаря мсье Пельтье, его египетскому труду, его плану. К нему мы еще вернемся, когда заговорим о прошлом и будущем Парижа. Сейчас же о настоящем.

Жили мы в самом центре города, в Отель дю Лувр. Прямо от него идет широкая, короткая и прямая авеню де л'Опера — витрины, витрины, банки, отели, рестораны и опять же витрины; направо — рю де Ришелье и Комеди Франсез, налево — Лувр.

В те дни, когда утра были свободны, я устремлялся прямо к Сене. Все теперь знают ее по кинокартинам — неширокую, спокойную (это не буйная, вся сотканная из водоворотов Рона), миролюбивую Сену, законченную в гранит, пережваченную доброй полусотней мостов. Она рассекает Париж на две неравные части, на Rive droite (Правый берег) и Rive gauche (Левый берег). Иностранец не сразу ощущает разницу между этими берегами, вернее частями, города. Парижанин же очень точно знает разницу (и даже маленькое соперничество) между ними.

Правый берег — это развлечения, театры, торговля — *commerce de luxe*. Левый — студенты, художники, артисты, он победнее, но серьезнее. И разделение это — сейчас, может быть, уже несколько условное — существует уже восемь веков, с тех пор как король Филипп-Август, «первый урбанист Парижа», расширил границы Парижа за пределы островов Ситэ и Сан-Луи. Тогда же и началось соперничество. Когда в 1912 году Марсель Пруст предложил своего Свана издательству «NRF», он, между прочим, сказал: «Этот дом Левого берега вряд ли будет доверять писателю с Правого берега». Но эти тонкости знает только парижанин, нам же, чужестранцам, остается просто восторгаться красотой Сены — нам неведомы ее коварные качества.

Особенно хороша Сена вечером, перед самым заходом солнца, когда Париж затягивается легким розоватым туманом и Сена, становящаяся тоже розовой, отражает в себе берега и склонившиеся над нею столетние вязы и платаны. Ночью же в ней горят фонари мостов и набережных, а в праздники тихо колеблются освещенные прожекторами отражения Лувра, Нотр-Дам, Эйфелевой башни... Но и утром она не менее хороша. Даже в пасмурный декабрьский день. Свинцовая и слегка матовая, она повторяет в себе арки каменных мостов, и в этой сдвоенности изображения — тоже овое обаяние Сены. Так же, как в вязах над самой водой. Они, бедняжки, правда, стареют, сохнут (газеты пишут, что убивают их, в основном, выхлопные газы автомашин), их срубают, и, распиленные на части, они лежат печальные, безмолвные на берегу реки.

Мы как-то сидели вечером на таком поверженном гиганте, сидели и курили. Это был чуть ли не первый вечер в Париже, когда все еще казалось странным, неправдоподобным, когда не верилось, что ты в Париже. Невдалеке от нас какие-то ребята разжигали из сухих сучьев костер. Он потрескивал, отбрасывая длинные мятущиеся тени. Натаскав запасы хвороста, ребята улеглись и, накрывшись плащами, уснули. Перед этим чего-то поели, выпили вина, а бутылку бросили в воду — она медленно проплыла мимо нас. На противоположном берегу тоже зажегся костер — один, другой, третий. Кто эти ребята? Кто те, на том берегу? Гиды говорят: ну, это из тех, что не хотят работать. Я совсем не уверен, что это так, но вот лежат, поджав колени к подбородку, а рядом потрескивает и стреляет костер...

Стоял декабрь, не было рыболовов, без которых в другое время года Сена немислима. Но влюбленные были. Без них, без этих парочек, Сена не выдержала бы, высохла. Их много — склонившихся, подпирающих стенку, примостившихся на срубленных стволах, хоронящихся в тени мостов, целующихся и шепчущихся под аккомпанемент гитар и мандолин из крохотных транзисторов... Вот проплыла баржа — широкая, плоская. И на ней тоже парочка. И тоже транзистор...

Где-то пробили часы. Прогудел пароходик — маленький речной пароходик с длинной трубой. По верхней набережной бесшумно несутся машины. А над всем этим на черно-розовом от городского зарева небе мерно кружится луч прожектора с верхушки Эйфелевой башни. Это, очевидно, для самолетов.

Недавно я увидел в «Юманите» фотографию некоего неизвестного художника у своего мольберта на набережной, у самой Сены. И печальная подпись под ней: «Париж, кажется, скоро потеряет одно из своих очарований». А рядом статья «За 13 минут 13 километров». Оказывается, сейчас разрабатывается проект автомобильной дороги от моста Наций до моста Отёй, по правому берегу Сены. Где-то она будет подземной, где-то на столбах, а где-то прямо по набережной... Парижанин вздыхает: оно, конечно, хорошо за тринадцать минут тринадцать километров, ну, а как же быть с влюбленными, с художниками?

Букинисты на набережных...

Без них Сена тоже не была бы Сенной. Сотни их длинных ящико-лотков, прикрепленных к каменным парапетам набережной, тянутся на добрых два-три километра, начиная от улицы Бонапарта вдоль набережных Малакэ, Конти, Гранд-Огюстен, Сен-Мишель, Монтебелло по левому берегу и от Отель де Виль (ратуши) до моста Пон-Нёф по правому.

Можно провести целый день возле этих лотков. Невозможно оторваться от самих букинистов, можно подумать, что их выбирал специально какой-нибудь кинорежиссер. Это почти всегда старики и старухи. Старики в допотопных плащах, накидках, в каких-то длинных, до колен, блузах. Старухи, преимущественно злые и сварливые, из тех, что держат дома целые семейства кошек и котов, сидят в соломенных креслах и что-то вяжут. Одна из них торговала орденами — этот товар на набережных тоже есть. Я скромно спросил, сколько стоит наиболее пышный и блестящий. Старуха сверкнула на меня злыми глазами-щелочками и огрызнулась: покупатель посolidнее торговался с ней за орден Почетного легиона наполеоновских времен. Между прочим, не лотки, а целые магазины, торгующие орденами, я видел в тихом дворе Пале-Рояля. И не один, а штуки три-четыре рядом. Там можно купить все — полный набор георгиевского кавалера, орден Бани, Золотого руна, кайзеровские, гитлеровские, любой Гватемалы или Никарагуа. Я стоял и смотрел на кресты, звезды, пальмовые ветви, дубовые листья, золотые цепи, муаровые ленты, покоившиеся на алом бархате, и думал о том, сколько интересных и никому не известных историй лежит и поблескивает за витриной. И никому эти истории не нужны. Но ордена эти и ленты зачем-то продают. И покупают. А кто их покупает? И для чего? Неужели в Париже столько коллекционеров и таких чудаков, как я, которым захотелось бы вдруг поразить своих друзей на Шереметьевском аэродроме блестящим из-под плаща экзотическим орденом неведомого старинного княжества? Неужели на этой торговле можно сколотить состояние? Очевидно, да...

В северо-западном районе Парижа есть так называемый Блошинный рынок — *Marché de puise*. Это нечто вроде обычных толкучек, с той только разницей, что там не толкуются, а ходят по маленьким улочкам, состоящим из рундуков и открытых магазинчиков. И продавцы там не случайные, а постоянные. Купить там можно все. Я не говорю о всякой одежде, которая, не уступая качеством, в два-три раза дешевле, чем в центре. Речь идет о вещах, которые совершенно непонятно кому могут пригодиться. Вы можете, например, свободно купить рыцарские доспехи (все честь честью, шлем с забралом, панцирь, наколенники, щит; копьё только, кажется, не было) за три тысячи новых франков, или корабельный штурвал метра полтора в поперечнике за девятьсот франков, или медный, жюль-верновских времен водолазный скафандр — не помню уже за сколько. Большое количество русской боярской одежды, очевидно театральной, от русских эмигрантов. Кому все это надо и в таком количестве — непонятно. Но раз продают — значит, покупают. Рынок...

Но вернемся на набережную и пороемся в книгах. Их тут много. И очень разных. Много старья, нужного и ненужного, много забывшихся уже бестселлеров и разной полицейской дребедени, но есть и хорошие издания, интересные мемуары, старинные гравюры, увражи, альбомы. Очень много карт и планов — преимущественно старинных, с гербами, картушами, на пожелтевшей бумаге. И ройся в них, сколько тебе влезет, никто тебя не осудит, не помешает. Вряд ли ты здесь найдешь какую-либо особую библиографическую редкость (для этого есть другие букинисты на рю Бонапарт или Сен-Пэр, например), но интересного все же

много. Меня, например, интересует все, что пишется о Сталинграде. И я нашел несколько номеров коллаборационистского иллюстрированного журнала «Signal», издававшегося немцами на французском языке. Я впервые увидел в нем Мамаев курган сверху, глазами немецкого аса.

Сидевший рядом с ним или за его спиной в пикировщике Ю-87 корреспондент «Signal» очень эффектно снял с воздуха наши позиции и горящий город. А потом ас пьет коньяк и весело улыбается — словно поработал. В журнале о нем целая статья.

К слову, о встречах и Сталинграде. За месяц до Парижа я был в Лейпциге на кинофестивале. Был у нас там, при нашей делегации, переводчик — студент Лейпцигского университета Вилли. Это был славный, деликатный юноша лет двадцати, очень волновавшийся, что недостаточно быстро и точно переводит. Мы все его полюбили. Расставшись, я подарил ему свою книгу «В окопах Сталинграда». Он посмотрел на меня как-то странно и сказал:

— А вы знаете... Я до сих пор не хотел вам говорить — мой отец убит был в Сталинграде.

Заговорив о Вилли, я коснулся темы современной молодежи, к которой я еще вернусь, сейчас же мне хочется поговорить еще о Париже.

Родился я в Киеве, но первые годы своей жизни провел за границей. Мать кончила школу, а затем университет в Швейцарии, в Лозанне. Потом работала в Париже, в госпитале. Там же застала нас война. В 1915-м — мне было тогда четыре года — мы вернулись в Россию и осели в Киеве.

Не могу сказать, чтоб о Париже тех лет я имел исчерпывающее представление. Основные воспоминания связаны с парком Монсури, где в компании двух других русских мальчиков — Тотошки и Бобоса — я бегал по дорожкам и лепил из песка бабки. Нянькой нашей был Анатолий Васильевич Луначарский — он жил этажом ниже нас, на рю Роли, 11. Мы мирно лепили бабки, возможно, даже и дрались, а он рядом на скамейке писал свои статьи и тезисы для очередной лекции. Тотошка, сын Луначарского — Анатолий, погиб в Отечественную войну: он был фронтовым корреспондентом и, хотя ему это было категорически запрещено, отправился с новороссийским десантом. Оттуда он не вернулся. До войны мы с ним два раза встречались. С Бобосом же — теперь его зовут уже Леонидом Михайловичем Кристи, он известный кинодокументалист — мы впервые после парка Монсури встретились только через сорок восемь лет, зимой прошлого года в Москве. Нас очень развеселила парижская фотокарточка тех лет, где мы трое и еще одна девочка, моя двоюродная сестра, стоим рядышком — четырехлетние и очень серьезные. Оба мы — и я и Бобос — со стыдом признались друг другу, что почти совсем забыли французский язык, хотя именно на этом языке мы начали складывать свои первые фразы.

Должен признаться, что в этот свой приезд (до этого я был в Париже дважды, но в общей сложности не больше двух суток) я обнагел и с французами говорил только по-французски. Это было чудовищно, но галантные французы уверяли меня, что все понимают. Возможно, это объясняется тем, что я, хоть и забыл слова, сохранил почему-то произношение.

Между прочим, у русских, долго проживших во Франции, даже если они говорят по-русски совершенно правильно, появляется характерная интонация, чисто французская манера говорить. Дело даже не во французских словах, вплетающихся в речь, таких, как синемá, авион, арондисман («я живу в шестом арондисмане», то есть районе), или не очень русское «не так ли?» — «n'est ce pas?», которым французы заканчивают

почти каждую вопросительную фразу. Дело именно в интонации, очень забавной, но сразу же дающей тебе понять, с каким русским ты говоришь — москвичом или парижанином.

Французский язык... Говорят, у него очень трудная грамматика и какие-то там сложности с неправильными глаголами. Кажется, это действительно так, но, когда слушаешь его (особенно парижан), сразу становится веселее. Даже когда они кричат и ругаются между собой — и то приятно слушать. Сцепились в автомобильном заторе два таксиста, обливают друг друга отборной бранью, а я слушаю, наслаждаюсь. Не знаю, отчего это происходит: возможно, от интонации — всегда вверх, а не вниз, а возможно, от самого характера французов, в общем легкого, живого, порывистого. При всех своих горестях француз старается не терять юмора. А может, и не старается — само собой получается. В этом счастье француза. Он знает, что юмор спасителен. Он скрашивает невзгоды, помогает жить. И вообще без него скучно. И француз шутит, иронизирует над всем в жизни — над женой, любовницей, другом, самим собой, даже над генералом Шарлем де Голлем.

Как-то я у себя в номере устроил короткое замыкание. Как и почему — до сих пор не могу понять, но так или иначе свет погас. Я позвонил, и через пять минут появился monter — парнишка лет двадцати с лишним, с перебитым (как выяснилось потом — от бокса) носом, совершенно рыжими волосами и глазами собирающегося нашкодить школьника. Весело наивистывая, он починил что надо и в вознаграждение попросил разрешения закурить «папирос русс».

Так познакомился я со своим тезкой Виктором Ружэ, ставшим для меня с этого момента образцом французской легкости и беззаботности.

— О-ля-ля,— весело говорил он, давась дымом советской папиросы, но не бросая ее,— жизнь не такое уж дерьмо, как многие думают. Нос красивее у меня, конечно, не станет и на Брижит Бардо рассчитывать тоже не приходится, но кончится эта проклятая зима — и весь мир будет мне завидовать.

Я заинтересовался. В ответ он предложил, если у меня будет время, съездить в воскресенье посмотреть одно из интереснейших мест в Париже.

Время, конечно, нашлось, и в воскресенье в девять утра мы уже сидели в вагоне метро. Я не все понимал, что он рассказывал на своем парижском жаргоне, но все же уловил, что он работает электромонтером на стройке какого-то многоэтажного каркасного дома, что в нашем отеле он вроде как «подхалтуривает» — заболел гостиничный электрик, а один из портье друг Виктора,— что у него есть девушка по имени Моника и что в прошлогоднем первомайском номере «Юманите» была его фотография, когда у него был еще не перебитый нос.

После метро мы долго еще шли по каким-то парижским окраинам и наконец вышли к Сене. Кто видел когда-нибудь фильм «Столь долгое отсутствие», навсегда запомнит хибарку-ящик, в которой жил герой картины. К такому же ящику подвел меня и Виктор.

— Вот,— сказал он,— моя вилла!

У «виллы» не было никакого замка. Он что-то раздвинул, и мы на четвереньках влезли внутрь. Кругом вырезанные из журналов фотографии, на земле два тюфяка — вот и все.

Он тут дивет? — несколько смутившись, спросил я.

— О нет. Сейчас нет. Сейчас у друзей. Сегодня у одного, завтра у другого. Зато летом... Лучшего места не сыщешь в Париже. Воздух. Река. Можно рыбу удить. И так приятно, лежа на животе, следить за проплывающими баржами. Моника тоже любит на них смотреть. Неужели вам здесь не нравится?

И все это он говорил просто, весело, предвкушая приближение апреля, до которого было еще добрых три месяца.

Больше я Виктора не видал. Вернулся заболевший электрик, а мы уехали на юг. Но сейчас, когда в Москве уже настал апрель (дай бог, в Париже он теплее), я часто вспоминаю своего тезку и веселую его усмешку — весь мир мне будет завидовать! Дай-то бог! Легко и весело жить с таким характером.

Париж...

Думаю, что нет на земле человека, которому бы не нравился этот город. А если иногда и встречается, то это либо кокетничающий своим нигилизмом сноб, либо человек, у которого с Парижем связаны как-нибудь неприятности, либо дурак. (Я со стыдом вспоминаю сейчас вырвавшуюся у меня фраза на обратном пути в Париж после увлекательного путешествия по тихому, несуетливому Провансу. «Ох, опять надо в Париж ехать...» — сказал я вздыхая и тут же испугался, хотя речь шла не о самом Париже, а о его утомительной для нас суете. И все же я стыжусь этой фразы — я прошу прощения у Парижа.)

Париж — один из красивейших и обаятельнейших городов мира. Я говорю «один из...», потому что на земле, вероятно, есть тысячи красивых и обаятельных городов, но именно в Париже эти качества — красота и обаяние — сплелись столь прочно, что они уже неотделимы. Париж красив, ослепителен и в то же время прост, весел, непосредствен. Ансамбли Лувра, Тюильри, площади Согласия поражают своей законченностью; монмартрские же улочки и переулки Порт-де-Лиля тесны, кривы, сияют облупленными брандмауэрами, но, ей-богу же, я затрудняюсь сказать, что милее моему сердцу. В ресторане «Отель дю Лувр» официант во фраке подает незнакомый нам изыск в виде устриц или улиток в глиняных горшочках, в крохотном же кабачке на Муфтар ты жуешь длинные, хрустящие парижские булки с колбасой, запивая их эльзасским пивом, — и опять же не понятно, где лучше. Нет, в кабачке, конечно, лучше: вокруг разговоры, споры, хохот, а за стойкой толстая хозяйка, приветливая, все видящая, все слышащая — точь-в-точь с картины Тулуз-Лотрека или Эдуарда Манэ. Мы как-то обедали в ресторанчике мадам Луизетт на Блошином рынке. Я глядел на нее и не мог оторваться — немолодая, живая, с негаснущей сигаретой во рту, она все время что-то разливала, отсчитывала, перекидывалась шутками, замечаниями, подходила к столикам, смеялась, кого-то отсчитывала, опять возвращалась к своей стойке, опять разливала. Хозяйка, владычица... Говорят, ее весь рынок побаивается. И любит. Узнав, что мы русские, она пожелала с нами сфотографироваться.

Наш читатель, знакомясь с теми или иными зарубежными очерками, часто задает себе вопрос: почему так много пишется о ресторанах и кабачках. Неужели другой темы, другого места для общения нет? Увы, но это так. Если хочешь общаться с французами — ресторана и кафе тебе не миновать. (Статистика утверждает, что семьдесят лет тому назад, в девяностые годы прошлого столетия, в Париже было тридцать тысяч отелей, ресторанов, кафе и винных погребов. Думаю, что сейчас не меньше.) Во Франции не принято приглашать к себе в гости. Даже на семейные торжества. Один русский, проживший в Париже тридцать пять лет, говорил мне, что за все время он был только два раза в гостях. Да, француз не любит приглашать к себе домой. В Париже не забежишь по дороге к товарищу — это считается бестактным, там принято встречаться в ресторанах. По любому поводу — просто так посидеть, почитать газеты, заключить сделку, провести деловой разговор. Писательница Натали Саррот говорила мне, что работать может только в

небольшом ресторанчике возле своего дома. Дома мешают, отрывают от дела, а здесь тихо, спокойно, никаких телефонов.

Традиция встречаться в ресторанах имеет свои корни. Еще в XVIII веке, перед самой революцией, якобинцы и близкие им друзья — адвокаты, журналисты, художники — собирались в ресторанах, предпочитая их дворянским, аристократическим салонам. По тем же причинам и в XIX веке, особенно в шестидесятих годах, художники стали встречаться и устраивать свои выставки не в аристократических, враждебных им салонах, а в кафе и ресторанах. Это были годы рождения и становления импрессионизма — движения, взбунтовавшегося против академизма, салонной живописи эпохи Наполеона III. Все прогрессивное в искусстве собиралось именно там, за маленькими столиками на бульварах. Особенно популярен был тогда «Тамбурин» на бульваре Клиши, где часами проводили свое время в спорах и дискуссиях за стаканом вина и Ван-Гог, и Писсарро, и Тулуз-Лотрек, и многие другие — короче говоря, весь молодой, строптивый, ищущий новых путей художественный Париж.

Париж немислим без художников, как без Нотр-Дам или Эйфелевой башни. Они составная часть города, его пейзажа. На набережных, в парках, на мостах или просто посреди тротуаров они сидят или топчутся вокруг своих мольбертов, ни на кого не обращая внимания. Больше всего их, конечно, на площади Тертр, на Монмартре. Но там уже коммерция. Там за десять новых франков в пятнадцать минут сделают твой портрет, там можно купить любую картину, написанную в любой манере, кроме абстрактной — у туриста абстракционизм не в почете. За свои деньги он хочет приобрести добротную вещь, которую можно привезти домой и, показав друзьям, сказать: «Вот на этом месте я был». И монмартрские художники учитывают это.

На этой самой площади Тертр — маленькой квадратной площади возле собора Сакре-Кёр, купола которого фигурируют чуть ли не на всех полотнах работающих здесь, на свежем воздухе, художников, — мы как-то познакомились с бородатым, симпатичным македонцем. Он показал нам свои полотна, в общем довольно славные, хотя более или менее похожие на соседние, потом познакомил со своим другом, тоже из Югославии. Друг оказался очень разговорчивым, приветливым, веселым, но почему-то картин своих нам не показал, хотя мы и просили его об этом. Он мялся, переводил разговор на другую тему. Потом уже, когда мы с нашим македонцем оказались, как и следовало этого ожидать, в кафе («Нет, не это — это для туристов; спустимся по той лесенке, и я вам покажу настоящее монмартрское кафе...»), он нам сказал, что парень этот, его друг, в общем-то, не столько пишет, сколько организует сбыт картин. И нам стало ясно, что все эти ребята со шкиперскими бородками, в измазанных краской блузах и пожилые длинноволосые мэтры с черными бантами, что все они, или почти все, не просто так пишут свои картины и продают любителям, а, очевидно, объединены в какие-то группы, артели или имеют своего «маршана», продавца, которому и отваливают какую-то толику своего заработка. Впрочем, точных сведений у меня нет.

Париж немислим без художников. Он любит их. И они его. Пожалуй, нет на свете города, которому столько посвящено было бы полотен... Первыми известными художниками, изобразившими Париж, были братья Лимбург. Две их миниатюры, именуемые «Блаженные часы герцога де Берри», хранящиеся в музее Конде в Шантийи, воспроизводят с документальной точностью, как говорят знатоки, Париж XV века — Лувр и королевский замок с церковью Сен-Шапель на острове Ситэ. Те же Ситэ и Нотр-Дам середины XV века мы видим и на миниатюре

Фукэ, хранящейся сейчас в Нью-Йорке. Все на них очень точно, очень подробно, но в обоих случаях архитектура является в основном фоном, на котором разворачиваются жанровые и религиозные сцены.

Последующий век не был самым счастливым для Парижа. Искусство миниатюры при Людовике XII доживало свои последние дни. Франциск I перебрался со своим двором в замки Иль-де-Франса и Луары, и французская живопись на какое-то время посвятила себя портрету. Следующий, XVII век был отдан, так сказать, на откуп фламандцам и голландцам. Создав у перекрестка Круа-Руж свою маленькую колонию, они принялись за пейзажи Парижа, перенесли в них дух и атмосферу своей родины. С присущим им мастерством они писали старый Лувр, Сену с какими-то баржами и плотами, мрачную Нельскую башню, тесные площади, но все это было очень голландским, очень фламандским. И все же только благодаря им — Зееману, Абрахаму де Вервету и другим — мы знаем, как выглядел Париж, вернее центр Парижа — все та же Сена и Ситэ — тех лет.

По картинам Жан-Батиста Рагнэ (его прозвали парижским Каналетто) и других художников того времени мы узнали куртуазный Париж XVIII века. На этих полотнах он, правда, не всегда точен — в угоду моде тех лет истинный облик города иной раз заслонялся живописными руинами и пышными, часто вымышленными, в стиле Пиранези сооружениями. Говоря нашим современным языком, перед нами Париж несколько «подлакированный» — тогда любили пейзажи с пышными садами, идиллическими парками или, наоборот, с эффектными пожарами, клубами дыма, языками пламени. Иными словами, по этим картинам мы можем судить не столько о Париже, сколько о манере и вкусах той эпохи. Настоящий же Париж — его дух, характер, небо, воздух, люди — заиграл всеми своими красками только в живописи XIX века, вернее его второй половины. В эти годы Парижу, несомненно, повезло. Можно с уверенностью сказать: не было тогда художника, которого бы он не пленил. На Западе во всяком случае, да и у нас, пожалуй, тоже. Их и не перечислишь, этих художников. Это и Клод Монэ, и Сейра, и Синьяк, и Писсарро, и Эдуард Манэ, и Валлотон, и Ренуар, и Матисс, и Ван-Гог, и певец Монмартра Утрилло, и непревзойденный, на мой взгляд, Альбер Марке... Пожалуй, только Гогена и Сезанна нет в этом списке. У первого мы знаем только одну «парижскую» картину — «Сена у моста Иена» (она висит сейчас в Лувре, и когда я ее увидел, я подумал, что это Марке: так не похожа она на Гогена), второй же прожил в Париже недолго и большую часть своих картин написал в Экс-ан-Прованс.

Мне мало до сих пор что-либо говорило имя Иоганна-Бартольда Ионгкинда — по-настоящему я его узнал в Париже. Голландец по происхождению, он поселился в Париже, но именно он первый, еще до импрессионистов, сумел уловить истинный дух его. О нем хорошо в свое время сказал Эмиль Золя: «Ионгкинд понял, что Париж живописен даже в мусоре своих улиц. Он пишет церковь Мен-Мадар и тут же уголок новых, только что пробитых бульваров. Перед нами весь квартал Муфтар с его маленькими лавочками, жирной, грязной мостовой и бледно-серыми стенами. Мне нравится эта картина — громадное небо в тучах и запах парижского дождя...»

Ионгкинд не был ни барбизонцем, ни импрессионистом, он находился где-то между ними, но в его парижских пейзажах мы, пожалуй, впервые ощущаем и видим не только архитектуру города, но и воздух, освещение, аромат, «запах парижского дождя».

Об импрессионистах, которым Париж обязан очень многим, писать вряд ли стоит — о них столько уже писалось, — хочется сказать только несколько слов о двух «самых парижских» художниках — Утрилло и Мар-

ке. Они очень не похожи, эти два художника, но оба, пожалуй, больше всех любили Париж, больше всех его знали. Так во всяком случае кажется мне, когда я разглядываю их картины. У Мориса Утрилло нет парадного Парижа. У него Монмартр, самые обыкновенные, самые, казалось бы, непривлекательные улочки, какие-то дворы, лестницы, стены, крыши. И написаны они как будто очень просто, и краски неярки, и композиции как будто никакой нет (на самом деле она у него очень крепкая), и небо серое, и стены серые — но под его кистью все эти стены и крыши приобретают такую художественную законченность, они так правдивы, что внешняя их непривлекательность превращается в нечто другое — в то, что мы и называем красотой. Впечатление такое, что художнику не было никакой необходимости выбирать какую-нибудь особую точку, он мог сесть со своим мольбертом в первом попавшемся месте — любой закоулок для него всегда таил в себе нечто прекрасное, и мы, глядя на его картины, ощущаем это с не меньшей силой.

Я взбирался по крутым лесенкам Монмартра, смотрел оттуда сверху на крыши Парижа, и каждый раз я вспоминал Утрилло. Иногда мне даже казалось, что я в этом месте уже был. Нет, не был — просто виноват в этом Утрилло.

Альбера Марке мы знаем лучше, чем Утрилло, — несколько лет тому назад его работы очень широко были представлены на выставке в Пушкинском музее. У Марке совсем другой Париж. Это не узкие монмартрские улочки — это просторы. Марке любил море, морской пляж, порт, Сену. Он много раз писал Сену. И очень часто с одной точки, из своего окна. Окно выходило на Пон-Нёф — самый старый мост Парижа, хотя и называется он Новым. И каждый раз Сена у него другая. То в тумане, то в зимней дымке, то в серый пасмурный день, то ночью с огнями и черными расплывающимися силуэтами домов. Марке не любил детали, все у него обобщено, все как будто грубо. И все как будто сделано наспех. Мазок — и человек, мазок — и фонарь, три мазка — и дерево. Ничего не прорисовано, никаких деталей, какие-то общие массы — а вот перед тобой живая Париж. Тот самый, который ты видал вчера, позавчера, а может, увидишь завтра. Я не знаю, почему Марке любил писать из своего окна — может, из-за болезни, может, просто не любил работать на шумных парижских улицах, но какое счастье, что он снял квартиру именно здесь, у самой Сены, на углу улицы Дофин и набережной. Поселись он в другом месте, и мы не имели бы его сюиты, его песни о Пон-Нёф, не любовались бы изгибами Сены и заснеженными тротуарами набережной Гранд-Огюстен, просвечивающим сквозь голые ветви деревьев мостом Сен-Мишель (опять же один только мазок), затуманенными башнями Нотр-Дам — одним словом, Парижем, каким он был в тот зимний пасмурный день 1934 года, когда Марке вздумалось подсесть к окну.

Я стою перед пейзажами Марке и Утрилло — двух столь не похожих друг на друга художников ни по манере, ни по пристрастиям — у одного к захудалым улочкам, у другого к широким, воздушным просторам Парижа, — смотрю на их картины и задаю себе вопрос: а есть ли у нас свой московский, ленинградский, киевский Марке, свой Утрилло? Ленинграду в этом отношении повезло — Остроумова-Лебедева, Добужинский, Бенуа. А Москве? Иной раз идешь по ее улицам и удивляешься: почему вот здесь не примостился художник?

Был когда-то художник Иван Павлов, гравер. Я помню его еще с детства, в основном почему-то по отрывному календарю. Вот Павлов знал и любил Москву. И не мог с ней расстаться — с ее покосившимися деревянными домиками, ампириными колоннадами, мезонинами. Запечатлевал не без грусти своим резцом старую, уходящую Москву. За это ему и спасибо.

Знаем мы и другую Москву — Москву ныне здравствующего Пименова. Это уже Москва сегодняшняя, строящаяся, с широкими улицами, новыми домами, потоком автомашин. Эта новая Москва не исключает, не перечеркивает старую, до сих пор еще живую и дорогую всем нам.

Не повезло и моему родному Киеву. Просто диву даешься, как могло случиться, что такой колоритный, своеобразный город не имеет своего «певца». А Киев ведь сам просится на полотно. Где вы найдете такие горы, такие вьющиеся вверх и вниз улочки, такие днепровские откосы, такие дали, такое разнообразие крыш, тонущих в зелени? Мы, правда, помним Киев — Лукомского, но это Киев церквей и золотых куполов, Киев далекого прошлого...

Но вернемся все же к Парижу. Выйдем-ка мы с вами из отеля («Бонжур, мсье,— скажет нам любезный портье,— вам пока еще ничего нету»), купим в киоске свежие номера газет и, свернув направо, зайдем перекусить в находящийся у входа в отель небольшой бар. Шурша газетами, выпиваем чашечку-другую кофе с хрустящей булочкой, здесь они называются «круасанами», и, взяв на дорогу пачку «голуаз» — самые дешевые, крепкие, но не вызывающие кашля сигареты, — отправимся в путь.

Куда же пойти? Пожалуй, лучше всего совершить мой любимый утренний разминочный маршрут по плану Парижа. Тогда давайте свернем налево и нырнем под арки Лувра. В этом крыле Лувр не музей, а министерство финансов. Филиал министерства, какие-то его канцелярии, до последнего времени находился еще и в левом крыле, выходящем на набережную, в так называемом Павильон дю Флор. Но сейчас это тоже музей: как раз в день нашего приезда длительная борьба между музеем и министерством закончилась победой искусства.

Между прочим, как-то из окна моего номера — а оно выходит на маленькую квадратную площадь, плас дю Пале-Рояль, всю заставленную машинами, — я видел демонстрацию инвалидов и участников войны. Окруженные полицией, с плакатами в руках, тысячи людей прошли по авеню де л'Опера и довольно долго простояли у министерства финансов — делегаты добивались приема у министра. Требовали они увеличения пенсий. Министр делегатов не принял. Полицейские, топтавшиеся рядом на улице Риволи, сели в свои машины и уехали. По авеню де л'Опера опять открылось движение. Море голов и плакатов, заполнившее маленькую площадь, постепенно стало растекаться по окрестным улицам.

Но сейчас, утром, и на площади, и на улицах Сент-Оноре и Риволи тихо, даже машин еще мало. Потом их появится несметное количество. Через Риволи не так-то легко будет пройти, а между четырьмя и семью Париж превращается в сплошной автомобильный затор, и, если ты торопишься, надо идти пешком или спускаться в метро. От плас де ла Конкорд (площади Согласия) до Лувра минут двадцать ходьбы, на машине в эти часы вы промучаетесь не меньше сорока минут. Проблема транспорта в Париже почти неразрешима — миллион, если не больше, автомобилей. Проблема стоянок и гаражей тоже невероятно сложна — машины вереницами стоят вдоль тротуаров, найти место для стоянки совсем не просто.

Но сейчас мы совершенно спокойно проходим под арками Лувра и попадаем в объятия двух его длиннющих крыльев, на площадь Карусель. В центре ее Триумфальная арка, воздвигнутая в честь наполеоновских побед 1805 года, за ней кроны Тюильрийского парка, а еще дальше — Елисейские поля, но сейчас их не видно: мешает парк.

Когда-то на месте Лувра был замок, заложенный еще Филиппом-

Августом, с круглыми башнями, подъемными мостами, высоким донжоном посредине. Теперь от замка не осталось ни следа, — мы знаем, как он выглядел, только благодаря «Блаженным часам герцога де Берри», — и на месте замка гигантское здание музея, в прошлом — королевского дворца.

В него мы не зайдем, он еще закрыт. Взглянем только налево, в сторону Кур Карэ — Квадратного двора. Вот у того подъезда, у Башни Часов, юный д'Артаньян был вызван на дуэль Атосом, Портосом и Арамисом, а несколько позже люди кардинала в черных камзолах пытались помешать ему передать королеве алмазные подвески, подаренные ею герцогу Бекингэмскому. Но д'Артаньян проскочил вот в ту дверь, видите — слева, и Ришелье был одурачен, а д'Артаньян упал в объятия Констанции Бонасье...

Какие люди! Какие чувства!

— Защищайся, несчастный! — вскричал Атос и обнажил шпагу.

Клинки скрестились.

(Да, при кардинале Ришелье дуэли были запрещены, но мушкетеры нарушали запрет. Мы запрета не нарушаем, а иной раз, ох, как хочется. Бросил бы перчатку: «Завтра в шесть утра, у Новодевичьего. Выбор оружия за вами...»)

...Гвардеец кардинала со стоном упал на траву. Алая струйка крови появилась на его губах. Атос вытер шпагу и, не взглянув на свою жертву, вскочил на коня. благородное животное вмиг перенесло его на другой берег Сены к монастырю Гранд-Огюстен, где в таверне «Золотая лилия» давно уже ждали и беспокоились его друзья...

Увы, монастыря сейчас уже нет, сохранилась только набережная Гранд-Огюстен, самая древняя в Париже, а вместо «Золотой лилии» — ресторан Лаперуз. А на набережной, по которой промчался Атос, — только букинисты. Но сейчас еще рано, их «буат» закрыты на замки. Откроются они не раньше десяти.

А вон в том угловом доме окно, из которого рисовал Марке. Правее — тот самый Пон-Нёф, Новый мост, которому минуло уже триста пятьдесят лет. Кроме своего возраста, он знаменит тем, что на нем впервые появились тротуары, которых до этого в Париже не было. Облицовку моста обновляли неоднократно, конструкция же старая, XVI века. Говоря о каком-нибудь бодром старике, парижане острят: держится, как Новый мост.

Мы стоим как раз у въезда на него. Смотрим на Сену, на проплывающие мимо баржи и соображаем, куда же направиться дальше. Пойдем налево, к Нотр-Дам.

Когда я впервые подходил к этому собору, одному из старейших и красивейших соборов Франции, я чувствовал легкую дрожь волнения. Передо мной был памятник безвестных гениальных мастеров, воздвигнутый более семисот лет тому назад на месте многих других церквей, в том числе и галло-романского храма, которому теперь было бы две тысячи лет. В общей сложности собор строился сто восемьдесят лет, считая разного рода достройки, и хотя мы относим его к памятникам готического искусства, это не совсем так. Собор Парижской богородицы — образец переходного периода от романского стиля к готическому. В основном он строился от 1163 до 1250 года, на рубеже этих двух эпох.

«Таким образом, — писал о нем Виктор Гюго, — романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, единовластные папы, раскол церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри — все расплавилось, смешалось, слилось в Соборе Парижской богородицы. Эта главная церковь, церковь-прароди-

тельница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры: у нее голова одной церкви, конечность другой, торс третьей и что-то обшее со всеми».

Я не видел Реймского и Шартрского соборов — гордости Франции, — но я видел Миланский и Сан-Стефано в Вене, а теперь вот Нотр-Дам. Я затрудняюсь сказать, какой из этих трех производит наибольшее впечатление. Думаю, что все-таки Нотр-Дам, хотя, возможно, тут играют роль связанные с ним литературные и всякие другие ассоциации и воспоминания. Впрочем, вряд ли нужны сравнения. Собор прекрасен сам по себе, прекрасен своей величественностью, изяществом и простотой (насколько она возможна в эпоху средневековья), своими башнями, украшенными резьбой порталами, аркбутанами, контрфорсами, химерами, своей благородной темно-серой окраской, о которой Виктор Гюго сказал, печалься, что время многое отняло у собора: «Но оно же придало его фасаду тот темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты»¹.

В ночь под рождество мы приглашены были на мессу в Нотр-Дам. Наши хозяева достали нам приглашения на эту пышную церемонию, которые не так-то легко получить, и не только достали, а провели через епископский подъезд, где нас встретил с поклоном пожилой любезный прелат. Вслед за ним мы проследовали под пристальными, оценивающими взглядами сотен глаз довольно длинный путь от бокового входа до предназначенных для нас почетных мест у самого алтаря и сели на свои скамейки. Здесь кое-где еще были свободные места, остальная же часть собора и хоры были заполнены до отказа. Орган исполнял фуги и прелюдии Баха. Мощные аккорды доносились откуда-то сверху, точно с неба, и заполняли собой весь храм, все его приделы. Иногда орган стихал, и в музыку сотен его труб вступал невидимый хор. Мы невольно почувствовали торжественность момента и места, где находились, — места, где сто шестьдесят лет тому назад Наполеон, взяв из рук папы Пия VII корону, сам возложил ее себе на голову...

Потом началась служба. Настроение торжественности несколько приупало. Служившего мессу красивого, немолодого, с умным лицом епископа стали почему-то бесконечное количество раз облачать в роскошные одежды. С великим умением и старательностью надевали на него ризы и кружевные одеяния, и я невольно стал следить за тем, как он просовывает руки в рукава, а голову в отверстие ризы. У обслуживающего его кюре или прелата — не знаю в точности, как эта должность называется, — было чрезвычайно земное, городское, деловое выражение лица и такие современные очки без оправы, что чувство торжественности постепенно начало меня оставлять. Ко всему часу показывали уже одиннадцатый час, а пришли мы в восемь, а до этого мы провели довольно-таки длинный и утомительный день, глаза невольно начали слипаться.

Но самое сложное ожидало нас впереди.

Началось причастие. Епископ, сопровождаемый прелатом в очках, стал раздавать облатки. Медленно и важно приближался он к нам. Все вокруг стали на колени и, что несколько поразило и даже испугало

¹ Нынешний министр культуры Франции Андрэ Мальро придерживается иной точки зрения. По его инициативе старинным парижским зданиям придается их первоначальный вид — патину времени уничтожают пескоструйными аппаратами. Уже побелели, потеряли свою рельефность (от всяких атмосферных явлений выступающие части здания всегда светлее основной массы) и стали похожи на молодящихся дам преклонных лет Бурбонский дворец, Квадратный двор Лувра, церковь Мадлен, Отель Крийон и морское министерство на площади Согласия, большая часть домов на рю Рояль. Неужели и Нотр-Дам постигнет та же участь? Впрочем, парижские таксисты (а они, как и наши, все знают) абсолютно спокойны: через годик-другой, говорят, все опять потемнеет, жаль только денег.

меня, высунули языки. Разной длины и цвета и в таком количестве, они как-то сразу сбили всю торжественность происходящего. Епископ неторопливо крестил коленопреклоненных и клал им на кончик языка облатку. Та же участь ожидала и нас...

Епископ приближался. Я насторожился. Мягкой, почти беззвучной походкой, весь в шелку и кружевах, он подошел ко мне. Немного утомленное, интеллигентное лицо его было замкнуто и непроницаемо. На какую-то долю секунды он задержался, нарушив плавность своего движения, скользнул серьезным, несколько вопрошающим взглядом по моему лицу и сомкнутым губам и прошел мимо. Меня обдало запахом тонких духов и чего-то еще, еле уловимого. Я почувствовал на себе косые взгляды соседей. Около полуночи мы покинули собор. Большинство молящихся осталось: месса еще не кончилась. Но епископ тоже удалился. Мы прошли мимо его роскошного, сияющего никелем и лаком лимузина. Немолодой шофер в красивой форме открывал ему дверцу. Мне показалось, что епископ несколько осуждающе посмотрел на нас. Впрочем, вероятно, мне это только показалось — в конце концов мы ведь никакого этикета не нарушили, а если даже и нарушили, то все же меньше, чем Наполеон, отнявший в этом же соборе у папы Пия VII корону.

Нотр-Дам — сердце Парижа. Бронзовая плита в самом центре площади и есть та точка, от которой ведут счет километры всех национальных дорог. Остров, на котором высится собор, называется Ситэ и напоминает в плане корабль с острым носом: отсюда и герб Парижа — корабль с надутыми парусами. Двухтысячелетняя история Парижа полна великих и драматических событий. Пересказывать их здесь не будем. Скажем только, что для нас Париж не только столица Франции и один из крупнейших очагов мировой культуры, для нас он родина великих революционных традиций. Начиная с 1357 года, с восстания оппозиционного королю кругов, руководимого Этьеном Марселем, Париж всегда первым выходил на улицу, всегда кипел, бурлил, сражался на баррикадах, свергал королей, проливал кровь, свою и чужую, привлекал к себе все передовое, протестующее, ищущее. Подолгу жил в нем Герцен. Именно в Париже познакомились и дружились Маркс и Энгельс. Несколько раз бывал и жил в Париже Ленин.

С того времени Париж, говорят, несколько «ожирел». Впрочем, болезнь эта не новая — зародилась она еще при III Республике, если не раньше. Тенденция к «ожирению» проявилась уже после поражения революции 1848 года. Так называемый «средний француз» хочет тишины и покоя. Конечно, не все французы аполитичны и стремятся к покою: волны забастовок, охватывающие иногда всю страну и парализующие ее жизнь, с достаточной убедительностью свидетельствуют, что это совсем не так, но все же о тяге к тишине и покою мне многие говорили во Франции.

Один довольно бойкий журналист, не правый и не левый, а так себе, серединка на половинку, уверял меня:

— Парижанин любит обсуждать и осуждать, но не очень любит вникать. Газеты он читает ежедневно, но относится к ним скептически. Каждый гнет по-своему, говорит он, и каждый в чем-то даже убедителен, но я не хочу, чтоб меня убеждали. Вас интересует, как относится француз — государственный служащий или мелкий буржуа к действительности? А по-разному. В основном, в зависимости от цены на продукты, от того, вздорожал или не вздорожал сегодня уголь и биштекс. Об этом говорят в кафе, за столиками, иногда очень даже темпераментно, а думают о другом — скорее бы воскресенье, скорее бы сесть в свое «дешво»

и мотнуть куда-нибудь километров этак за сто от Парижа, повалиться на травке, поудить рыбку, стрелнуть в фазана... Кстати, что вы делаете в ближайшее воскресенье? Хотите в Шартр? Это и близко, и собор там знаменитый, и ресторанчик я там знаю — таких цыплят вы в жизни не ели...

Предложение было соблазнительным: Шартрский собор — краса и гордость Франции, но я им не воспользовался. И даже не потому, что собеседник мой был утомительно разговорчив и, как мне кажется, относился как раз к той категории парижан, о которой говорил сам, а просто потому, что не захотелось уезжать из Парижа, из города, о котором сказал Виктор Гюго в нелегкое для Парижа время: «У Рима больше величия, у Трира больше старины, у Венеции больше красоты, у Неаполя больше прелести, у Лондона больше богатства. Что же есть у Парижа? Революция».

Гюго сказал это сто лет тому назад. Он не мог предвидеть будущего. Он пережил горе Парижа, захваченного пруссаками, но вряд ли он мог предположить, что пройдет совсем ничтожный срок и его любимый Париж дважды еще подвергнется нападению все того же восточного соседа. В 1914 году Париж отстояли, в 1940-м он пал. Франция была оккупирована. Оккупирована, но не покорена. Годы Résistance, Сопrotивления навеки войдут в историю Франции, как вошли 1830, 1848, 1871 годы.

Мы, познавшие, как никто другой, все ужасы войны, гордимся тем, что в рядах участников Сопrotивления были и наши солдаты, наши офицеры, бежавшие из плена и снова взявшиеся за оружие, что душой Сопrotивления были потомки парижских коммунаров, французские коммунисты. Они были всегда впереди, на самых опасных участках. Этого не вычеркнешь. Нет авторитета большего, чем завоеванного кровью... Это поняли Пиккссо, Матисс, Леже, Жюлио-Кюри, Ланжевен, которые в самые напряженные годы пришли к компартии.

Мы прощаемся с Нотр-Дам. Пересекаем площадь. Двадцать лет назад ее камни в последний раз обогреты были кровью парижан. Последние, засевшие на колокольне собора эсэсовцы открыли пулеметный огонь по участникам собравшегося на площади митинга. На сохранившейся фотографии тех лет мы видим ее, усеянную телами. Сейчас она тиха и спокойна — ничто не напоминает о кровавых днях лета 1945 года.

Было бы время, мы обошли бы с вами весь остров Ситэ. Обязательно побывали бы в мрачной крепости Консьержери. Это, пожалуй, одно из самых мрачных зданий в мире. В его казематах заточены были и жирондисты, и посадивший их туда Дантон, жертва Робеспьера, и сам Робеспьер, а за ним и судившие его судьи, до этого королева Мария-Антуанетта, физик Лавуазье, поэт Андре Шенье, Шарлотта Корде, убийца Марата. Побывали б мы и на Гревской площади (теперь она называется Отель де Виль), где в средние века собирались и шумели безработные (отсюда и французское слово «grève» — забастовка), а позднее на эшафоте рубили головы, но что поделаешь, за один раз всюду не побываешь. Поэтому, взяв такси, отправимся на плас де л'Опера.

Здесь мы рассчитаемся с такси и зайдем в маленькое кафе на углу бульвара Капуцинок. Возможно, мы даже еще и не проголодались, но в двенадцать часов — а сейчас уже двенадцать — парижане обязательно должны подкрепиться, и лучшего места, чем это недорогое кафе, чтоб поглядеть на них, мы не найдем. По узенькой лесенке мы взберемся на второй этаж и зайдем столик у витрины — так мы будем видеть и улицу и кафе.

Бульвар Капуцинок и следующий за ним Итальянский (вернее, бульвар Итальянцев) — это центр «шикарного» Парижа, и, как сказано

в путеводителе Мишелэ, «история этих бульваров — это история мод». Когда-то, при Людовике XIII, по нынешним Большим бульварам проходили стены городских укреплений. При Людовике XIV они были снесены и на их месте проложены «променады», впоследствии ставшие называться бульварами — излюбленное место прогулок парижского света. Именно здесь, на широких тротуарах бульвара Итальянцев, великосветские фланеры демонстрировали последние моды, а в знаменитых кафе Тортони, Мезон Доре и других писатели, художники, артисты и всевозможные дельцы назначали свои встречи, делились последними новостями, заключали сделки. Именно здесь — заядлым курильщикам это будет интересно — в 1835 году впервые вошло в моду курить публично, на улице, в кафе — до этого это считалось предосудительным. И все-таки не только фланерами и кафе знамениты эти места.

Мемориальная доска на доме № 14 по бульвару Капуцинок сообщает нам, что в подвале этого дома 28 декабря 1895 года братья Люмьер впервые публично демонстрировали свои фильмы «Выход рабочих с завода» и «Прибытие поезда» — смешные, прыгающие фильмы, положившие начало современному кинематографу. А напротив этого дома, чуть правее, за сорок семь лет до этого раздалась первая залпы и пали первые жертвы революции, свержшей Луи-Филиппа. Бульвару Капуцинок есть что вспомнить...

Сейчас на площади и на бульваре особенно оживленно. И в нашем кафе тоже. Все столики заняты. Тесно невероятно. Везде — на спинках стульев, на подоконниках, иногда на коленях или просто под столом — лежат пальто. Хорошенькие официантки, балансируя подносами, ловко лавируют среди тесно составленных столиков. А над всем этим непрекращающийся гул голосов — никто молча не ест, все разговаривают, смеются, шутят, хвалят и осуждают друг друга, знакомятся, не обращают ни на кого внимания и в то же время, быстрым взглядом скользя по тебе, сразу же дают тебе оценку.

Одеты все просто, но — парижане **остаются парижанами** — всегда со вкусом и красиво. Ничего кричащего, но и тусклого нет. Какой-нибудь яркий шарфик или перчатки — и все сразу начинает играть. Большинство девушек в штанах, особые модницы даже в кожаных. И в кожаных курточках на молниях. Впрочем, говорят, что мода уже проходит, переключившая в провинцию — в Авиньоне, например, «кожаных» девушек куда больше, чем в Париже. Прически разные, но самое модное сейчас — это парики. Один раз — не помню уже где — я просто обомлел. За соседним столиком сидела красивая, по-мальчишески растрепанная брюнетка. А через несколько минут, когда я на нее взглянул, она оказалась вдруг соломенно-яркой блондинкой. Оказывается, ей просто стало жарко в парике.

Народу в кафе много, но обслуживают вас молниеносно. Не успел заказать, как официантка уже приносит аппетитный бифштекс, свежую булочку и обязательный графин вина. Вез вина французы не обедают. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (сведения, правда, не очень свежие, за 1887 год) утверждается, что на каждого парижанина за прошедший год пришлось по 184,7 литра вина, 7,48 литра сидра или грушовки и 11,22 литра пива. Иными словами, ежедневно парижанин выпивает (учитывая, что женщины и дети пьют все-таки чуть меньше) полторы, а то и две бутылки вина.

Попутно о Брокгаузе и Ефроне и сведениях, которые я там почерпнул, читая статью, посвященную Парижу. Очень странно, например, сейчас, во второй половине XX века, читать, что крепостная стена окружает город по обоим берегам Сены и состоит из военной улицы, вала, рва и гласиса, 94 бастионных фронта и 66 потерн, а оконченная в 1878

году новая линия фортов состоит из семи первоклассных фортов, каждый на 1200 человек команды и 60 тяжелых орудий, 16 фортов второго разряда на 600 человек команды и 24 орудия и около 50 батарей и редутов на 200 человек и 6 орудий каждый. Все это, как утверждает словарь, «делает Париж недоступным для полной осады и бомбардировки».

Как странно читать сейчас эти наивные строки после того, как гитлеровцы без боя заняли Париж в 1940 году. «Да, но зато он остался цел,— говорят некоторые французы,— немецкие снаряды и бомбы не нанесли в эту войну ни одной раны Парижу». Да, Париж остался цел, и мы этому рады не меньше парижан, но стоит ли забывать вишейскую политику тех лет, политику предательства и сотрудничества с Гитлером? Кстати, во Франции сейчас в определенных кругах опять заговорили о Петене и вспоминают о нем как о герое, взявшем на себя весь позор предательства, чтоб спасти Францию от разрушения. Это напомидало мне рассуждения сектантов-иуданстов, которые утверждают, что Иуда был самым верным учеником Христа, сознательно принявшим на себя позор предательства, чтоб ускорить вознесение Христа на небо. Утверждается даже, что слова Христа: «Один из вас сегодня предаст меня» — звучали не как горькое предсказание, а как прямой приказ, который, мол, Иуда и выполнил. Что же касается Петена, то за его политику французы заплатили очень дорогой ценой — ценой крови сотен расстрелянных французов, ценой концентрационных лагерей и Орадур-сюр-Глан...

Вот о чем невольно задумываешься даже двадцать лет спустя в центре города, который сейчас так оживлен, красив и безмятежен...

Но пора уже домой. Расплатимся внизу, у кассы, и пойдем в отель. Там нас уже ждут — надо начинать «трудовой» день.

Существенным элементом этого «трудового» дня были приемы и встречи. Нас троих — К. Паустовского, А. Вознесенского и меня — пригласило в декабре 1962 года во Францию общество французских литераторов. Председатель этого общества мсье Шабанн и «ведавшая» нами «по линии» министерства иностранных дел мадам Ланшон в первый же день вручили нам отпечатанную на машинке «программу» нашего пребывания. Программа была достаточно насыщена. Пожалуй, не было в ней ни одного дня без какого-либо приема, или, как французы говорят, «гесертюи». Они бывают разные. Бывают торжественные, в каком-либо ресторане, где все сидят за красиво убранным столом и по очереди произносят любезные тосты. Бывают попроще, где все толкуются с рюмками и бутербродами в руках под непрерывающиеся вспышки фоторепортерских блиццев. Бывают и более интимные, на чьей-нибудь квартире — здесь народу поменьше, репортеров совсем нет и можно даже снять пиджаки.

Так, за накрытыми столами, где в более, где в менее официальной обстановке, мы познакомились со старейшими французскими писателями Франсуа Мориакром и Андрэ Моруа, с писателями группы «нового романа», с кинорежиссером Ф. Росиффом.

На одном из таких гесертюи нас представили некоей мадам Барбизон, пожилой даме с недовольным лицом. Через несколько дней, взглянув в нашу программу, я увидел, что мы должны идти к ней на встречу с парижскими студентами.

И вот в большом особняке мадам Барбизон на Монмартре нам был продемонстрирован, так сказать, еще один вид приема, вид, который должен был, очевидно, относиться к разряду дружеских, непринужденных встреч. В большом двухэтажном салоне с внутренней лестницей и балконом собралось много молодежи. Поначалу, когда мадам Барбизон

знакомила всех со всеми и пыталась руководить парадом, было как-то натянуто и скучно. Потом, когда все расселись кто куда, многие просто на пол, и Вознесенский прочитал свои стихи, а Паустовский провел нечто вроде беседы, скванность постепенно стала проходить. Когда ж она совсем исчезла и в разных концах двухэтажного зала завязались какие-то оживленные дискуссии, нам вдруг дали понять, что надо «закругляться». Кажется, хозяину дома, довольно мрачному мужу мадам Барбизон — весь вечер он промолчал, переходя от группы к группе, — вся эта кутерьма попросту надоела, и его потянуло ко сну. Уходить было жаль: только-только завязались какие-то дружеские отношения, но — что поделаешь. Мы ушли.

Для чего все это было сделано, я так и не понял. Студенты были из разных учебных заведений, двое даже из военных училищ, но по какому принципу они были здесь собраны, мне не совсем ясно. Впрочем, студентам, по-моему, тоже. И вообще, встретиться мы с этими же ребятами не в особняке богатого и быстро устающего фабриканта, мужа мадам Барбизон, а хотя бы на том же Монмартре, в каком-нибудь захудалом бистро, все было бы гораздо проще, веселее и интереснее...

И все же, как бы официален или не совсем удачен, как в данном случае, ни был бы прием, всегда найдется на нем человек, с которым интересно познакомиться, поговорить, поспорить. На одном из таких приемов я встретился с очень известным во Франции поэтом Пьером Эмманюэлем. Мы, к сожалению, мало знали друг о друге, но нам интересно было поговорить и очень хотелось продолжить разговор у него на родине, в Провансе, в небольшой деревушке Эгальер. Но пути наши как-то разминулись — в Эгальер мы попали за несколько дней до его приезда туда. Очень рад я и знакомству с Натали Саррот — французской писательницей, русской по происхождению. Это человек удивительной простоты, естественности и деликатности, с которым на пятой минуте знакомства чувствуешь себя старым другом. На своей маленькой машине «deux chevaux» («две лошади»), неказистой на вид, но дешевой и самой любимой парижанами, она возила нас на Блошиный рынок, каждый закоулок которого ей известен, бродила с нами по набережным Сены, усиленно пригласала на рождество к себе в деревню, но тут, как всегда, помешало расписание. Очень хотелось мне также посидеть вместе с ней, правда за разными столиками, в ее «творческом» ресторанчике и написать там какой-нибудь крохотный рассказик, неважно какой, но чтоб внизу можно было написать: «Декабрь, 62 г., Париж». Но тоже не получилось.

Кстати о «рабочих столах». Мы осматривали Мальмезон, загородный дворец Наполеона, купленный ему Жозефиной специально для отдыха. Водил нас по дворцу милейший и галантнейший хранитель музея, рассказывал истории каждого кресла, каждого подсвечника, каждой безделушки, бережно хранящейся под стеклом. Когда мы зашли в кабинет-библиотеку, ту самую, из которой опальный император в 1814 году, попрощавшись со своим братом Жозефом и Гортензией Богарнэ, отбыл на остров Святой Елены, милейший хранитель музея указал нам на изящный, красного дерева с золотом стол и сказал:

— Вот за этим столом император работал. Здесь, в Мальмезон, он не только отдыхал, но и работал. И всегда в одиночестве: он не любил, чтоб ему мешали. Здесь, в тиши этого кабинета, разрабатывался мирный договор с Испанией, составлялись предварительные условия перемирия с Англией, конкордат с Ватиканом. Здесь же, за этим столом, император работал над кодексом ордена Почетного легиона. О, это очень знаменитый стол...

И тут я в шутку сказал:

— Вот поработать бы за этим столом...

Любезнейший хранитель музея на это только улыбнулся и сказал:

— Пожалуйста, когда вам будет угодно. Только предварительно позвоните мне...

Как-то вечером мне было сказано, что надо пойти в книжный магазин «Глоб»: там, мол, состоится подписывание книг — очень распространенное у французов «мероприятие», о котором заранее даже сообщается в газетах. Меня это занятие почему-то всегда смущает: стоишь, глупо улыбаешься и не знаешь, что надписывать, но отказаться было бы нелюбезно, и я поехал. Просидел с полчаса за столом, поулыбался, понадписывал, поотвечал на вопросы о тиражах, гонорах, Солженицыне, а когда запас книг иссяк и вокруг стола поредело, я с ужасом обнаружил, что в углу на диванчике сидит мой дядя. Бог ты мой, в этой суеде я совсем забыл, что мы условились с ним здесь встретиться. А еще ужаснее, что нам и поговорить-то не удастся: в семь часов у мадам Луазо встреча с писателями, а сейчас уже без пяти. Черт знает что, ничего не успеваешь, вечно опаздываешь...

С дядей мы не виделись и не подсчитываешь сколько. Он профессор геологии, с незапамятных лет живет в Швейцарии, а я в этой стране был последний раз лет этак около пятидесяти тому назад. Узнав, что я в Париже, дядя позвонил из Лозанны ко мне в гостиницу, и мы условились, что я встречу его на следующий день на Лионском вокзале. Конечно же, мы оба долго не могли в густой толпе обнаружить друг друга, я дважды бегал на привокзальную площадь и, только потеряв уже всякую надежду найти, увидел его стоящим на том самом месте, на котором недавно стоял я. Почему-то я думал, что он должен быть с усами, а оказалось — вовсе бритый.

Потом мы сидели с ним в некоем датском ресторане на авеню де л'Опера («Сходим туда, это недалеко и там неплохо кормят», — сказал дядя) и пили с ним датскую водку из бутылки, вмороженной в глыбу льда. (Несколько дней спустя, когда мы с моими новыми парижскими друзьями искали, где бы пообедать, я небрежно сказал: «Я знаю одно местечко — датский ресторан, это недалеко и там неплохо кормят». В тот момент я чувствовал себя настоящим парижанином.) Так мы сидели и разговаривали о разных разностях. Он рассказывал о своей жене, моей тетке, ей недавно делали глазную операцию; о Лозанне, в которой прожил почти всю свою жизнь, — она очень изменилась за последние годы; о новом туннеле под Монбланом — дядя крупный специалист в этом деле; о том, что из-за массы дел почти нет времени ходить по горам, а он это очень любит. Так мы сидим и ведем негромкий разговор. Кругом тихо и чинно. Людей почти нет, только за столиком в углу сидит какая-то пожилая пара, очевидно, муж и жена — оба в толстенных очках и очень похожи друг на друга. Говорят, это бывает при очень долгой семейной жизни.

Все это происходило в четыре часа дня 13 декабря 1962 года.

А ровно двадцать лет тому назад, в этот же самый день — а если быть совсем уж точным, то не 13, а 15 декабря 1942 года, — я тоже пил водку и тоже очень холодную, ее вынимали из сугроба. Но разливали ее не в хрустальные рюмки с монограммами и коронами, а в алюминиевые кружки и закусывали не устрицами и датским сыром, а тушенкой. В тот вечер в Сталинграде мы отмечали мое повышение в чинах — присвоение звания капитана. И было совсем неплохо. Мой связной Титков раскалил вымоченными в керосине кирпичами докрасна нашу печурку, стол ломился от яств — тушенки и чеснока и даже трех апельсинов,

принесенных, конечно же, командиром разведвзвода, в углу шульженковским голосом хрипит патефон, и только отдаленные глухие разрывы напоминают о том, что где-то в полутора километрах у водонапорных баков сидят немцы. Но сегодня нам не до них: сегодня помкомвзвода Казаковцев торжественно вручил мне собственноручно сделанные им из латуни выпуклые блестящие «шпалы», и я навсегда расстался с красными лейтенантскими кубиками на своих петлицах. Это событие немалое, и никто не имеет права нам мешать. «Э-э, Титков, будут спрашивать из штаба, скажи, что я на передовой. Поставь там у входа кого-нибудь из наших. А заодно притащи-ка еще из сугроба...»

Кто думает, что в Сталинграде был только ужас, ад и стиснутые зубы, тот ошибается. Было и то, и другое, и третье, и не у всех выдерживали нервы, но было еще одно — солдат всегда найдет, как использовать тишину на переднем крае, как скоротать долгие часы ожидания перед началом задания, как приукрасить, хоть малость, жизнь, которая неизвестно сколько еще продлится. В подвале мясокомбината за час до атаки на злосчастные баки комбат-1 Беньяш устраивал концерты самодеятельности, и, скажу, совсем неплохие: тенор, бас, частушки под баян, двое чечеточников и даже фокусник не хуже Кио, разве что без лилипутов. К комбату-2 Котову все ходили слушать пластинки Утесова, Руслановой и даже Собинова с Неждановой. Любители прекрасного пытались в меру своих сил украсить свой земляночный быт — приклеивали к стенкам фотографии, вырезанные из журнала картинки. В одной землянке, помню, висели даже репинские «Запорожцы» в самой настоящей раме. А командиру полка майору Метелеву — мы его все любили — саперы обшили весь блиндаж толстыми глянцевитыми кусками картона. Солдаты притащили его откуда-то за тридевять земель, чуть ли не с «Баррикад», и майор зажил во дворце — картон был расписан под мрамор. Когда же кончилась в Сталинграде стрельба, именно в его землянке было прорублено первое на весь фронт окно, и с соседних полков приходили смотреть на это чудо XX века...

Тот памятный вечер 15 декабря закончен был по всем правилам фронтовой традиции — вылезли из землянки на морозный воздух и дали залп из пистолетов и автоматов прямо в небо, по звездам. А потом разошлись по домам, по своим землянкам и завалились спать. Засыпая, я, вероятно, думал о том, как хорошо, что никто нас не потревожил, что неплохо все-таки «обмыли» свеженькую «шпалу», что Титков как метрдотель оказался на высоте, но вряд ли я мог тогда предположить, что двадцатилетие этого знаменательного события я буду отмечать в парижском ресторане на авеню де л'Опера в компании со своим дядюшкой-профессором, приехавшим из Лозанны.

Переводчицей у нас была Ольга Леонидовна — веселая, подвижная, очень экспансивная дама, живущая во Франции с ранних лет: родители вывезли ее из России совсем еще маленькой девочкой. Ей, ее энергии мы обязаны очень многим. Ей же я обязан и осуществлением своей давнишней мечты — встрече с кумиром моей юности Ле Корбюзье.

— Завтра в одиннадцать утра вас примет Корбюзье, — выпалила она, с трудом переводя дыхание от волнения, счастья и крутой лестницы, по которой бежала, чтобы поскорее сообщить нам эту радостную новость. — Я только что звонила ему, и он разрешил прийти к нему завтра ровно в одиннадцать в его мастерскую на рю де Севр...

Я не буду повторять, чем для нас был Корбюзье в студенческие годы. О его творчестве, о нашей переписке с ним в те годы я уже писал в предыдущих очерках. Скажу только, что для меня встреча с ним, одним из крупнейших архитекторов мира, «отцом конструктивизма», была если не

самой, то одной из самых завлекательных приманок нашей поездки во Францию.

За день до визита мы были на выставке Корбюзье в Музее современного искусства. Большая часть выставленных работ мне была известна. Но представлены они были очень широко и подробно, с эскизами, зарисовками, макетами, со всей кухней зарождения и развития первой мысли. Это была в какой-то степени итоговая выставка многолетней деятельности Корбюзье, которому сейчас уже за семьдесят. В четырех или пяти залах музея разворачивается весь сложный, интеллигентный, противоречивый, но всегда наполненный поисками путь большого и очень интересного художника.

Я сказал «художника», а не «архитектора» не случайно. И не потому, что Корбюзье в прошлом вместе с Озанфаном писал плоскостно-декоративно-условные натюрморты, а сейчас много времени уделяет «*tapeisseries*» — стенным коврам, тоже условно декоративным, а потому, что понятие «художник» шире понятия «архитектор», а сам Корбюзье вечно раздираем противоречиями, в нем самом все время идет борьба между инженерией и пластикой, между разумом и чувством, «рацио» и «эмоцио». На одном полюсе — дом в Марселе (или более знакомый нам Центросоюз на улице Кирова в Москве), на другом — капелла Роншан. Эти два (или три) взаимоисключающих творения — предельная рациональность одного и абсолютная иррациональность другого — и есть его лицо — лицо мастера, лицо художника. В непрекращающейся внутренней борьбе, неуспокоенности, вечном поиске — весь Корбюзье.

...Мы с Андреем Вознесенским зашли в хмурый, неприветливый, замкнутый городскими стенами двор. Поднялись по такой же мрачной лестнице на второй этаж и попали в узенький коридор-прихожую. Кто-то, сидевший там, попросил нас минуточку подождать, вышел, потом вернулся и сказал:

— Пожалуйста, вас просят.

Не без трепета шагнули мы в еще более узенький коридорчик, ведущий в большую мастерскую, но до нее не дошли, а свернули налево в крохотную с узким окном в углу комнату. Из-за стола навстречу нам поднялся Корбюзье.

(Точно так же двадцать семь лет тому назад мне было сказано: «Пожалуйста, вас просят», только не на французском, а на русском языке, в особняке Леонтьевского переулка. Но тогда я трепетал чуть побольше: я шел на экзамен к Станиславскому. Между прочим, сидя у Корбюзье, я вспомнил Станиславского — в них есть что-то общее: рост, большие красивые руки, галстук бантиком, но главное — какое-то неуловимо ощущаемое величие, не имеющее никакого отношения к важности. Просто ты чувствуешь, что перед тобой великий человек — великий даже при своих слабостях.)

У Корбюзье большое умное лицо с резкими складками возле рта, редкие, гладко зализанные назад седые волосы, очки в толстой оправе и, как я уже сказал, очень большие, с длинными сильными пальцами руки, на которые все время смотришь, — они чуть-чуть дрожат. Он немного глуховат, переспрашивает. Больше любит говорить, чем слушать. К нам отнесся с большим вниманием, но без особого любопытства.

После первых общих фраз я задал вопрос: помнит ли он нашу переписку тридцатых годов, переписку с молодыми советскими студентами, которые клялись ему в вечной любви и задали ему несколько вопросов, на которые он любезно и очень интересно ответил. Нет, он не помнит ничего. Я сказал, что, если его это интересует, я могу прислать фотокопии его писем. Он поблагодарил, но особого интереса опять-таки не проявил. Тогда я поинтересовался тем, как он смотрит сейчас на один из своих от-

ветов, в котором он говорил, что его нисколько не интересует архитектура церквей, что надо заниматься архитектурой и планировкой городов, что это куда важнее, а теперь вот он создал капеллу Роншан, доминиканский монастырь Сент Мари де ла Турет? Чем это можно объяснить?

Он прямого ответа не дал, а стал говорить о том, что проблема современного города до сих пор не решена, что любой большой город не в силах выбраться из тупика, в который его загнал автотранспорт, и что цель его жизни — вывести город из этого тупика. Он говорил долго, интересно, не давая себя перебить, а если нам это где-то удавалось (мне все же хотелось вернуться к поставленному вопросу), ловко обходил наши сети и развивал свои собственные мысли. Он говорил о городах-сателлитах; о транспортных артериях, вливающих в город, которые привлекли сейчас особое его внимание; о том, что французские власти не идут ему навстречу в решении самых насущных проблем; что за свою жизнь он много уже настроил в разных концах света и меньше всего во Франции, второй его родине: Корбюзье по происхождению швейцарец, настоящая фамилия его Жаннере.

Я сказал о Советском Союзе, где идет сейчас грандиозное жилищное строительство и где его талант и знания могли бы очень пригодиться.

— Нет,— сказал он решительно.— Я трижды просил у Сталина разрешения работать у вас или хотя бы приехать к вам. И трижды он мне отказал.

— Но Сталина уже нет...

— А у меня времени нет. Я не могу ждать тридцать лет. С этим тоже надо считаться. Я не молод, я поставил перед собой определенные задачи и должен их выполнить. На остальное у меня не хватит времени.

— Но разве вас, архитектора больших масштабов, не интересует размах нашего строительства? У нас такие возможности... Мы уже отказались от декоративной, эклектической архитектуры, мы ищем новое, современное.

— Это очень хорошо. Я желаю вам успеха. Но у меня свои планы. Хорошо бы хоть с ними справиться.

Но все же хотелось примирить обиженного старика с нами. Может, он хочет, чтоб ему выслали наши книги, журналы, монографии по архитектуре?

Он улыбнулся и указал на солидную стопку журналов, возвышающуюся в углу комнаты, прямо на полу.

— Видите эту гору? Это я ежедневно получаю столько. И я их выкидываю. Я их не читаю. У меня нету времени. Я его экономлю. Каждую минуту экономлю.

Мы поняли это как намек и стали приподыматься со своих стульев. Но он посадил нас и опять стал говорить о проблеме городов. Сказал, что совсем недавно вышла его книга на эту тему и что мы можем ее приобрести в таком-то магазине. Он забыл адрес магазина, позвонил своей секретарше, и та принесла нам — нет, не книги, как втайне надеялись мы,— а только адрес. (На следующий день Корбюзье сам позвонил Ольге Леонидовне и сообщил, что адрес оказался неправильным, вот новый... По-видимому, ему очень хотелось, чтоб эти книги у нас были, но пошел он почему-то по несколько осложненному пути.)

Разговор постепенно стал выдыхаться, возвращаться к одному и тому же — проблеме города,— и мы (шел уже второй час нашего визита), чтоб оживить его, попросили разрешения сняться вместе с ним.

Он категорически отказался.

— Нет, нет,— решительно сказал он.— Я ни с кем не фотографиру-

юсь. Не надо.— И после краткой паузы добавил:— Вместо этого я вам лучше...

Он взял листок бумаги и быстро, тремя-четырьмя штрихами нарисовал «модюлор». Модюлор — это придуманные им архитектурные пропорции, связанные с пропорциями человеческого тела. Нечто вроде золотого сечения. Графически это фигура человека, пересеченная на разных уровнях горизонтальными линиями, членящими фигуру человека на определенные взаимозависимые отрезки.

Он нарисовал человека, подписался своим знаменитым «L. С.» и преподнес мне. Потом хитро взглянул на Андрея Вознесенского и вместо человечка нарисовал орангутанга. Андрей торжествующе посмотрел на меня — обскакал!

Перед уходом Корбюзье завел нас в свою мастерскую. В ней работало человек десять молодых архитекторов, но к ним он нас не подвел, а подвел к большой ученической черной доске, разрисованной мелом, и сказал:

— Вот тут все начинается...

Мы с уважением посмотрели на доску и стали раскланиваться. Рука у него крепкая, совсем не стариковская. На прощание он вдруг потрепал меня за чуб и сказал с той же лукавой улыбкой, какая у него появилась, когда он рисовал орангутанга:

— Когда-то и у меня такие вот волосы были, а теперь...— Он смеялся и, слегка подталкивая нас в спину, проводил до выхода.— Спасибо, что пришли. Не обижайтесь на меня. Мне еще так много надо успеть сделать...

Мы спустились вниз по темной, мрачной лестнице.

Весь день у меня не проходило какое-то ощущение горечи. Почему? Человек прожил большую, интересную жизнь, достиг предельных высот и всемирной славы, прижизненно стал классиком архитектуры, о нем пишут тома исследований, здания его красуются во всех концах мира — и во Франции, и в Японии, и в Германии, и в Индии, и у нас, в Москве, по его даже не осуществленным проектам учится молодежь, да и сам он, несмотря на возраст, полон еще сил, планов, намерений. Что же еще надо человеку? И почему меня не покидает чувство горечи? А потому, что у этого семидесятипятилетнего человека сил куда больше, чем от него требуют. И вообще от него ничего не требуют — ему заказывают. Католическая церковь заказала или, скажем мягче, предложила ему спроектировать капеллу в Роншан — он согласился. «Меня в архитектуре интересует все. Эта задача мне тоже показалась интересной, я и взялся ее осуществлять». Доминиканский орден предложил построить монастырь — он опять согласился: тоже интересно. Но никто не предложил ему, как в Бразилии Оскару Нимейеру (кстати, ученику Корбюзье), построить целый город. А ведь это мечта Корбюзье. Построить город на определенное количество жителей, продуманный во всех деталях, город-образец, город будущего, «Ville radieuse» — «Лучезарный город», о котором он столько лет грезит. Почему французское правительство, канонизировавшее его за капеллу Роншан, не предложит ему такого проекта? Мне говорили потом, что правительству, мол, нет никакого интереса строить такие города: зачем тратить на это деньги, что город Бразилиа Нимейера строился с определенной целью — привлечь промышленников и предпринимателей к богатому и дикому краю, где заложена столица Бразилии, что в свое время Корбюзье сделал проекты Ла-Рошаль-Палисс, Алжира, Сан-Дие, но тогда у правительства не было денег, а сейчас появились другие заботы.

Противоречит ли сам себе Корбюзье — вот вопрос, который меня больше всего интересует. Пожалуй, да. Об этом я уже говорил — раньше

и несколькими страницами выше. И в то же время нет. Функция, назначение — вот что лежит в основе всех творений Корбюзье. В марсельском доме — удобство жилья, в Центросоюзе — удобство рабочего места, в павильоне Филиппс на Брюссельской выставке — стремление привлечь к себе внимание, в капелле Роншан — настроение, та же цель, что и у строителей Нотр-Дам. Нам могут быть далеки эти настроения, мы можем их не разделять, но то, что с поставленной перед собой задачей — в капелле Роншан создать для молящихся ощущение чего-то мистически возвышенного — Корбюзье блестяще справился, этого не отвергнешь.

Функция, назначение здания — основа архитектуры. Когда функции изменяют или искусственно подменяют ее другой — жилой дом делают, как дворец, гостиницу, как храм, станцию метро, как церковь с куполом, а единственная цель высотного здания — быть высотным, — тогда архитектуры нет. Есть здание, карнизы, колонны, шпили, но нет архитектуры. У Корбюзье она всегда есть.

И все же он противоречив. Нет, это не то слово. Он не противоречив — он ищет. А значит, и может ошибиться. В поисках нового может отказаться от уже найденного. Он не догматик. В этом он опять-таки похож на Станиславского. Автор знаменитой «системы Станиславского» больше всего боялся, что она может превратиться в догму, в евангелие. Он тоже искал, отвергал, бросался в крайности, опять возвращался, опять отвергал и больше всего боялся застоя, окостенения. Я помню еще бесконечные очереди на «Трех сестер», «Вишневый сад», «Царя Федора», помню ощущение счастья, которое мы испытывали, добившись у администрации пропуска на ступеньки бельэтажа, а недавно, когда я проходил по Камергерскому мимо театра, два человека предложили мне купить у них билеты...

Впрочем, театр не архитектура, у него свои законы. Но у всех видов искусства есть один, общий для всех закон — не застывать, не топтаться на месте, идти вровень со своим веком, а может быть, даже чуть-чуть впереди.

И Станиславский и Корбюзье родились в XIX веке — одному было бы сейчас сто лет, другой подбирается к восьмидесяти, — но оба они стали великими реформаторами XX века. И оба искали правду. В театре — это правда переживаний, правда воплощения чувств; в архитектуре — это правда конструкции, исходящей из назначения и подчеркивающей функцию здания.

«А где же идея?» — скажут мне. Разве не она является основой всех основ? Ну, конечно же, она, кто ж спорит. Но идея сама по себе существовать не может. Она требует своего воплощения в определенных формах. Демократические Афины нашли эти формы в периптере Парфенона, императорский Рим — в роскоши и богатстве Форума, средневековые — в готике соборов, Возрождение — в творениях Браманте, Брунеллески, Виньола, Микеланджело. Наш русский ампиризм нашел свои формы в образцах великого прошлого. Нашел свои формы даже современный фашизм: немецкий — в нюрнбергском ансамбле «Партайтаге» и имперской канцелярии, итальянский — в монументальнейшем и безвкуснейшем из всех существующих стадионов Foro Муссолини (ныне Foro Олимпико) и римском комплексе так и не открывшейся всемирной выставки. «Величие, сила и суровая простота!» — вот лозунг этой бесчеловечной архитектуры, в которой не было ни величия, ни силы, ни суровой простоты.

Сейчас мы ищем формы, которые соответствовали бы нашей современной эпохе. Идея ясна — архитектура должна быть демократичной, не замкнутой, не отгораживающейся, а привлекающей к себе, удобной, функциональной, продуманной, архитектурой для народа, а не для единиц и учреждений. Идея ясна, а формы все еще нет. Только нащупываем.

Переносить с Запада готовые формы нам не к лицу. Капелла Роншан не найдет у нас своего места, а вот автор ее нашел бы, уверен в этом.

Вряд ли когда-нибудь Ле Корбюзье прочтет эти строки, но очень хотелось бы, чтоб он знал, что влюбленные в него когда-то студенты, став взрослыми, в него веры не потеряли и только немного огорчаются, что талант одного из крупнейших мастеров современности используется не теми, кому он был бы гораздо полезнее. А может, и сам старик излишне упрям?

Ле Корбюзье не зря так много говорил о трагедии современного города. Проблемы его очень сложны. Как нового, строящегося, так и старого, веками сложившегося. Париж особенно остро переживает это сейчас. В нем три миллиона жителей (в Большом Париже — шесть миллионов), вопрос жилья до сих пор не разрешен, а строить в самом городе уже негде. В тупик зашел и транспорт: парижские улицы не выдерживают напора машин, воздух отравлен выхлопными газами. А жить где-то надо и передвигаться тоже.

Парижские газеты наперебой пишут о будущем своего города. Статьи, проекты, прогнозы, дискуссии, споры, обвинения, а в общем-то, перспективы весьма расплывчаты. Много споров идет вокруг НЛМ — жилищной строительной организации, поддерживаемой коммунистами и прогрессивными элементами Парижа, организации, которую хочет прибрать к своим рукам правительство. Много пишут и о методах самого строительного процесса — каждый день во Франции погибает не менее одного строительного рабочего, а последняя катастрофа на бульваре Лефевр, где рухнуло двенадцатиэтажное здание, стоила жизни четырнадцати рабочим, не считая восемнадцати раненых. Все это тревожит, волнует парижан. Проблемы жилья, транспорта, водоснабжения, свежего воздуха, воскресного отдыха — как их разрешить?

При Наполеоне III префект Парижа Осман довольно решительно перекроил план города. Он прорубил сквозь запутанную сетку узеньких улочек старого города широкие, прямые авеню и бульвары. Город значительно благоустроился, а заодно и Наполеон III несколько успокоился — он больше всего боялся бунтов и мятежей, а широкие бульвары куда труднее перегородить баррикадами, чем кривые, тесные переулки. Стоило это громадных денег, но затраты оправдали себя — Париж стал тем Парижем, каким он есть сейчас.

Сегодня охотников тратить такие суммы нет. Знаменитый проект Ле Корбюзье «Вуазен» (полная реконструкция центра Парижа — гигантские небоскребы среди сплошного парка) так и остался проектом. Что же делать?

Как и всегда в таких случаях, начали с пригородов. Сейчас вокруг Парижа, в небольших городах-поселках, на расстоянии пяти — десяти — двадцати километров строится пятьдесят новых жилищных комплексов. Размеры их разные — от шестисот до четырнадцати тысяч квартир. Многие из них еще строятся, некоторые уже готовы. В общей сложности это обеспечит жильем от шестисот до восьмисот тысяч населения. В какой-то степени это облегчит квартирный кризис (именно в какой-то, так как процент непригодных для жилья домов доходит в Париже до тридцати процентов), но ни в какой степени не решит, а, наоборот, усложнит проблему транспорта — как минимум сто пятьдесят тысяч новых машин вольются в поток парижских улиц.

Наиболее крупные из этих комплексов возводятся в Гаржле-Гонесс, Витри-сюр-Сен, Шатенэ-Малабри, Масси-Антони, Басси-су-Буа, Сен-Дени, Сарсель. Наиболее интересные архитектурно, на мой взгляд, два относительно небольших массива (на тысячу пятьсот и тысячу семьсот

квартир) в пяти километрах на восток от Парижа — в Бобиньи и Пантэн. Авторы этих проектов Эйо и Ведр попытались избежать обычного однообразия таких массивов. Их ансамбль состоит из прихотливо извивающихся лент корпусов не выше шести этажей и разбросанных среди них вертикальных круглых и крестообразных башен в двенадцать — тринадцать этажей. Это придает массиву определенное разнообразие и живописность, особенно если смотреть на него с самолета — самой выгодной точки, как считает один из известных французских архитекторов Марсель Лодс.

«Совершенно необходимо,— пишет он в журнале «Архитектюр д'ожурдю»,— чтобы все руководители — министры, члены правительства, работники муниципалитетов и строители — архитекторы, инженеры, урбанисты — большую часть своего времени проводили в самолетах. Градостроительная и архитектурная композиция требует, чтоб ее рассматривали именно сверху, с самолета. Только оттуда можно оценить ошибки чаще и красоты реже современных строений, так как исчезают детали и четко читается общая композиция».

Так вот, общая композиция всех этих массивов очень хороша, особенно в Бобиньи и Пантэне, но что о них говорят сами жители — не знаю; возможно, им тоже надо почаще летать в самолетах. Но это так, в шутку, а если серьезно говорить, то современному, по всем правилам построенному городу куда как далеко по красоте и живописности до безалаберных, хаотично застроенных, а потому если и не всегда удобных, то в большинстве своем живописных городов прошлого. Тут нынешним архитекторам придется еще крепко подумать. То, что так хорошо в макете — белые пластмассовые кубики на черной полированной доске и зеленые губки, изображающие зелень, — далеко не так привлекательно в натуре. Очевидно, архитектуру надо воспринимать все же не с самолета, а с тротуара.

Пригороды пригородами, а город тоже хочет строиться. И строится, и реконструируется, что-то сносит, что-то возводит, решает тысячи головоломок. В Париже много новых, ультрасовременных зданий. Но их как-то не ощущаешь — они тонут в Париже прошлых веков. При всем своем железобетоне, алюминии и стекле, они по-своему приспособились к соседним зданиям и стесняются выпирать наружу. И это совсем не плохо. Но милой этой застенчивости скоро придет конец. Парижу мало уже слишком прижившейся Эйфелевой башни (на нее давно никто не сердится, а что было, когда ее возвели!), мало здания радиоцентра и ЮНЕСКО (кстати, очень деликатно вписавшегося в окружающий ансамбль), Парижу захотелось небоскребов. И он вскоре их получит.

В шести точках Парижа появятся новые кварталы, и самый большой из них — в конце оси Конкорд — Этуаль — Порт Нейи, на другом берегу Сены, в районе плас де ла Дефанс (площади Обороны), или, как французы называют круглые площади, Рон-пуан де ла Дефанс (round point — круглая точка).

Это парадные ворота Парижа. Сквозь них по прямому, как стрела, семикилометровому проспекту, состоящему из четырех авеню — генерала де Голля, Нейи, Великой Армии и Елисейских полей, — приезжий попадет в самый центр Парижа — к Лувру.

Реконструкции первой очереди (Зона № 1) подлежат авеню генерала де Голля, плас де ла Дефанс и прилегающие районы. Первый камень в виде построенного уже громадного выставочного здания «Национального центра индустрии и техники», парусное перекрытие которого держится на трех точках, — уже заложен. Напротив, по другую сторону площади, должен появиться ансамбль из четырех вытянутых параллелепип-

педов, самый высокий из которых, так называемый «Тур-синьяль» («Башня-сигнал»), достигнет ста восьмидесяти метров. Здесь будут бюро, отели, Дворец конгрессов. Вдоль авеню — жилые дома не очень большой этажности, в виде замкнутых прямоугольников. За ними, несолько отступя, — высокие призмы различных учреждений и бюро. Расположено все довольно просторно, друг на друга никто не налезает, много зелени, воздуха, различных спортивных площадок, внутренних озелененных дворов.

Но самое интересное в проекте — это решение транспортной проблемы. Под авеню генерала де Голля от моста Нейи до выхода с плас де ла Дефанс сооружен будет туннель длиной в один километр для скоростного транзитного транспорта. Над ним второй — для разворотов и попережного движения. На поверхности авеню движение только пешеходное. Площадь Дефанс тоже трехэтажная. Ко всему этому под жилыми зданиями — подземные стоянки на двадцать тысяч машин.

Для строительства всего этого ансамбля учреждена компания на общественных началах, совет которой наполовину состоит из представителей местных и муниципальных учреждений, наполовину из правительственных.

Общее впечатление от проекта, в особенности когда смотришь на его макет (а в будущем с самолета), очень эффектное. Авторы его — архитекторы Эрбэ, Озелль, Камю, де Мэйи и Зеерфусс.

С другими реконструируемыми районами дело посложнее. Дефанс фактически находится за чертой города, пять же остальных — Богренелль, Саблонниер, Процессион, Мэн-Монпарнас (15-й арондисман) и северо-восточный участок вдоль каналов — расположены в самом городе. Правда, с исторической и архитектурной стороны эти районы особой ценности не представляют — тут в основном промышленность и наиболее ветхий жилищный фонд города, — но все же это уже город, да еще Париж, к внешности своей, несмотря на преклонный возраст, относящийся с большим вниманием.

Не испортят ли небоскребы Париж? Не окажутся ли они чужеродными? Не нарушат ли силуэт? Смогут ли сосуществовать, хоть и на большом расстоянии, купол Пантеона и стеклянная башня нового Монпарнасского вокзала? На это пока трудно ответить, но думаю, что да! Никакой город, даже Париж, не должен отречься от своего века. Парижу это особенно не к лицу. А в общем, поживем — увидим. Меня сейчас куда больше интересует не площадь Дефанс, а Новый Арбат — ведь он со своими небоскребами вырастет в самом центре Москвы. Не без тревоги (возможно, и необоснованной) смотрю я сейчас на Ялту, раскинувшуюся в своей чаше у подножья Яйлы, на маленькие ее домики среди кипарисов и платанов. Скоро и здесь появятся небоскребы — высокие, стеклянные, совсем не крымские. И станет Ялта похожей на Гавану...

К самому концу поездки у меня появился друг. Звали его Никой. Лет ему было семнадцать или восемнадцать. Мать у него русская с примесью греческой крови, отец украинец. Родители из России очень давно — сам он и его два брата родились во Франции. Старшего я не видел — он отбывал воинскую повинность, — с младшими же подружился. Алик, худенький, застенчивый, немного стесняющийся своего русского языка, больше помалкивал. Ника, веселый, хитроглазый, смысленый, бойко говорит по-русски и мастер на все руки. Алик скорее мечтатель, и взгляд у него какой-то задумчивый, в себя. Он рисует. Сейчас увлекается керамикой — разные вазочки, горшочки, тарелки, кувшины. Сам формует, обжигает, расписывает — очень талантливо. К чему лежит сердце у Ники —

я так и не понял. Оба они уже не учатся, где-то работают, что-то развозят, а в основном, по-моему, ищут работу.

За два дня до отъезда Ника меня спросил:

— У вас сегодня опять какой-нибудь прощальный прием?

— Как будто нет, свободно.

— Может, сходим тогда куда-нибудь?

— Например?

— Вечерний Париж посмотрим хотя бы.

— Точнее.

— Хотите в студенческий ресторан? Были когда-нибудь?

— Нет.

— Пошли.

Со студентами контакт возник мгновенно. Не успели мы подсесть к столику, за которым сидело несколько ребят, как еще двое или трое подтащили свои стулья. В кафе было шумно, тесно, стульев не хватало, только встанешь — стул моментально исчезал. Решили рассчитаться и всей компанией двинуть к Пьеру, благо живет он в двух шагах по Буль-Мишу, через Ситэ, на набережную Межиссеры.

Пьер, очевидно, слегка побаивался своей консьержки, а может, несколько злоупотреблял поздними приходами, поэтому подыматься по лестнице нам велено было молча и на цыпочках. Где-то на пятом или шестом этаже лестница превратилась в винтовую, потом в узкий темный коридор, и наконец беззвучный поворот ключа — и мы у Пьера.

Не знаю, как для других, но для меня прочитанное и полюбившееся в детстве или юности живо и сейчас. Как старых знакомых узнавал я места, где никогда не был, но о которых читал. Знакомой мне когда-то показалась лестница в доме, где жил Раскольников возле Сенной площади, кабинет и аскетическая, с железной кроватью спальня Чехова в его ялтинском доме. Знакомой оказалась и комната Пьера...

Именно в такой комнате должен жить парижский студент. Под самой крышей, в мансарде с наклонной стенкой, с развешанными по стенам картинками и фотографиями, с колченогим столом и обязательно с окном, выходящим на крутые парижские крыши, трубы и бегающих по крышам котов. А вдали должен быть виден купол Пантеона, или Инвалидов, или башня Сен-Жак, или еще что-нибудь в этом роде. Сейчас ночь, никаких куполов не видно, но я знаю, что они должны быть.

И разговор в этой комнате в этот ночной час должен быть именно таким — безалаберным, перескакивающим с темы на тему, веселым, со смехом, с песней, с какими-то не очень острыми, но поминутно вспыхивающими спорами о политике, об искусстве, о чем-то своем, студенческом, нам непонятном. А часам к двум выясняется, что стол пуст. Но тут происходит нечто неожиданное. Стол пуст — значит, надо... Но студенты мои переглядываются, пожимают плечами. В Париже? Сейчас? Разве что найдешь? Несколько озадаченные, потолкавшись, порывшись в карманах, все же уходят. Минут через десять, слышим, скрипят ступени. Являются сияющие: в руках кулечки с нарезанной ломтиками жареной картошкой. Вид победителей.

— И это все? — В глазах Ники нескрываемое презрение. — Les parisiens! Парижане!.. — И подмигнув мне: — Доказать им?

Через несколько минут мы с Никой уже в «чреве Парижа» — на центральном рынке. Это достопримечательнейшее место ночного Парижа. Именно ночью здесь все кипит. Табунами стоят, подъезжают и отъезжают громадные тупорылые грузовики. Здоровенные ребята сгружают ящики с овощами, фруктами, зеленью. На прилавках вырастают горы ананасов, бананов, артишоков, яблок, цветной капусты, спаржи, вороха салата, несметное количество винограда всех цветов и сортов. Тут же

проносят красно-розовые телячьи, воловьи, бараньи туши. На специальных рундуках мясники в окровавленных фартуках аккуратно раскладывают сердца, печени, почки, легкие — то, что у нас в Киеве называется потрошками... Как живут люди в окрестных домах — не представляю: машины гудят, грузчики кричат, продавцы кричат, жизнь в самом разгаре, рестораны полны...

В одном из них, где все, как положено, в этот час едят луковый суп, Ника отводит в сторону пожилого официанта. О чем-то они шепчутся, и не проходит трех минут, как Ника возвращается с оттопыренным карманом.

Торжествующие, мы покидаем «чрево Парижа», минуем самое опасное место — консьержку — и ощупью, в полном мраке, чтоб не привлечь к себе внимания, добираемся до своей мансарды. Пьер и вся его компания ошеломлены. Пять ноль в нашу пользу — у парижан тоже есть такое выражение.

Я вспоминаю сейчас этот вечер — один из самых веселых и непри- нужденных в Париже. Никаких салфеточек, вилочек, ножичков, никаких тостов, никакой натянутости — все просто, естественно, по-студенчески, как у нас. Только почему-то все говорят по-французски и за окнами не Трифоновский переулок, а какая-то рю де Сен-Жермен-л'Оксеруа, а на стенке не Гагарин, а то ли Жан-Поль Бельмондо, то ли знаменитый велосипедист, кумир парижан.

В комнате не продохнешь от дыма. Окурки плавают в тарелке. Соседи, не сомневаюсь, ворочаются с боку на бок: консьержка далеко и шепотом никто не говорит. Спорим об Алжире, о новом искусстве, еще о чем-то. Пьер поет песенки — у него неплохо это получается, настоящий шансонье. Ника сияет от счастья: «Правда, хорошо?» Хорошо...

На прощанье обязательный обмен адресами. Чтоб не перепутать всех, я записываю в записную книжку: Эдуард Буник (который в очках), Макс Делэтр (похожий на Фернанделя), Мишель Делорм (с бородой), Мейдуб Абдель-Вахаб (Бургива!), Мишель Вомэ (неразборчиво), Пьер Пиньо (хозяин комнаты, шансонье — и почему-то нарисован цветок). А вдруг где-нибудь когда-нибудь еще встретимся...

К слову сказать, обмен адресами вовсе не такое уж бесполезное дело. Весной прошлого года в Италии, в городе Прато, на ткацкой фабрике нас водил и показывал ее молодой симпатичный парень Бруно. Из разговора выяснилось, что он пишет стихи. Как только выйдет книжка, обязательно придет. Что ж, очень мило, спасибо, буду ждать... И вот месяца три-четыре спустя кто-то звонит в дверь. Открываю. Стоят трое. «Вот какой-то иностранец вас разыскивает». Смотрю — Бруно. Двое других — наши киевляне, к которым он обратился за помощью. Оказывается, он проездом в Киеве с молодежной делегацией, привез обещанную книжечку — вот, пожалуйста. Ну разве не приятно? Бруно был накормлен обедом и снабжен коробкой пластинок. «О! Диско руссо! Грацие! Спасибо!»

Другой случай. Сережа Здрок. Он не итальянец и не француз, а чистокровный украинец из Волынской области. Познакомились мы с ним в Германии в 1958 году. Он был прикомандирован ко мне, так сказать, в качестве ординарца, когда я ездил туда с нашей делегацией на празднование сорокалетия Советской Армии. Это был славный и очень трогательный паренек. Когда я поздно возвращался с очередного юбилейного «мероприятия», он всегда ожидал меня у проходной или озабоченный бродил по двору казармы. «Два рази вже підогрівав ужин, а ви все не йдете. Все прохололо. А борщ такий смачний... Підогріти ще?»

Расставаясь, я вручил ему громадную плюшевую скатерть, пару рубашек (он скоро должен был демобилизоваться, в хозяйстве приго-

дится) и гигантского-фаянсового не то тигра, не то льва, на которого он с восторгом поглядывал. (Все эти презенты вручались членам делегации во время торжеств в каждом полку, в каждом батальоне.) Через год или полтора я получил от него очень обстоятельное письмо, написанное прекрасным почерком, на чистейшем украинском языке, в котором сообщалось, что у него все в порядке, на работу устроился, женился и извиняется, что с таким запозданием пишет. А еще через год другое письмо, совсем уж трогательное...

Одним словом, я верю в записывание адресов — это не только акт вежливости. Верю, что и на этот раз не зря записал адреса двух Мишелей, Пьера, Эдуарда, Макса и Мейдуба, хотя провели мы вместе всего лишь несколько часов в прокуренной комнатенке на набережной Мажиссеры.

Есть такое слово — «контакты». Я не очень люблю это слово (почему-то вспоминается контактный и неконтактный больной), но понятие, им выражаемое, мне дорого.

Существует великое множество разновидностей таких контактов. Конференции, съезды, конгрессы, фестивали, обмен делегациями, профессорами, студентами, все виды гастролей, спортивные соревнования, банкеты, приемы — и все они приносят свою пользу, — но самый, на мой взгляд, дорогой, самый ценный, самый полезный вид контакта — это самый простой: сесть рядом и поговорить. Так сидели мы с ребятами на мансарде, так неделю или полторы спустя сидели в маленькой квартирке мадам Оби на рю Луи Давид, 70, в районе Порт-де-Лиля, таком знакомом нам по фильму «На парижской окраине». Мадам Оби — коридорная второго этажа отеля «Лувр». Немолодая уже, сдержанная, приветливая, содержавшая мой номер в идеальном порядке, она как-то сказала: «А почему бы вам не навестить как-нибудь в свободное время меня и мою дочь? Мы были бы очень рады. Добираться до нас просто — на метро до Порт-де-Лиля, а там два шага». Эти два шага мы, правда, проколесили на такси не меньше получаса (почему-то мы взяли такси, а не поехали, как велено было, на метро): никто не знал улицы имени знаменитого французского художника, и только в каком-то быстро мы обнаружили ее на замусоленном плане в полуквартале от того места, вокруг которого колесили.

Во Франции, как я уже писал, не принято приглашать. А если уж в исключительных случаях приглашают к себе домой, то обставляют это с великой торжественностью, готовясь за много дней, долго и старательно отбирая приглашенных. Мадам Оби нарушила эти каноны. Все было очень просто.

Всего нас было шестеро — двое гостей и четверо хозяев: мадам Оби, ее дочь Кристиан, работающая на фабрике, сын Кристиан Жерар и племянник Франсуа. Мы сидели за круглым столом, пили вино, ели какие-то незатейливые, но вкусные вещи и чувствовали себя непринужденно, как у старых знакомых. Время от времени кто-нибудь из хозяев вставал и подкидывал в калорифер брикет: для парижан выдался сегодня невероятно морозный день — минус десять градусов, и хозяйка все беспокоилась, что мы мерзнем.

Никаких особо высоких проблем мы не решали, мальчики рассказывали о своем учении, Кристиан — о работе на фабрике. Собственно говоря, даже не рассказывали, а просто говорили друг другу, а заодно и нам, о каких-то последних своих событиях, происшествивших, волнениях. В меру говорили о дороговизне, об Алжире, о прекратившихся уже взрывах «пластик», в меру о нас, о Советском Союзе, о его достижениях, трудностях. Ни в чем — ни в разговорах, ни в поведении — не было ни-

чего нарочитого, ничего демонстративного (вот, мол, как мы хорошо живем или, наоборот, как плохо), ни в чем не было искусственности, преувеличенной вежливости или внимания — говорили как говорилось, держались как держится. Скажу откровенно: когда я ехал сюда, у меня было какое-то подсознательное (а может, и сознательное) желание специально ознакомиться с тем, как живет небогатая французская семья, какие у нее интересы, какие потребности. Да простят меня мадам Оби, и Кристиан, и Жерар с Франсуа, но это чисто профессиональное любопытство. Но я не смог задать ни одного «профессионального» вопроса: удивительная естественность и непринужденность этой «небогатой французской семьи» не позволили мне это сделать. Кстати, естественность, непринужденность и, главное, внутреннее достоинство в сочетании с веселостью и беззаботностью поразили меня еще в Викторе Ружэ — парижском электромонтере, том самом, который показывал мне свою «виллу» на берегу Сены. В этом молодом рабочем, чинившем пробки в богатом отеле, не было и тени заискивания, взгляда снизу вверх — он был самим собой и уважал себя. То же чувствовалось и в семье Оби. Да, многим представителям высшего света, многим так называемым интеллигентам, владельцам больших квартир и длинных машин не мешало бы перенять спокойное достоинство и врожденное изящество в отношении с людьми у мадам Оби — коридорной отеля «Лувр», широту интересов у Кристиан — фабричной работницы (она поразила меня количеством прочитанных книг) и неназойливую любознательность у двух шестнадцатилетних мальчишек — Жерара и Франсуа.

Я их больше не видел — ни Жерара, ни Франсуа. Месяца через три я получил от них письмо. От Жерара подлиннее, от Франсуа приписочка. Несколько теплых слов и от Кристиан. Жерар просит прислать ему русские книги по металлургии и какое-нибудь издание о советской молодежи. Ну и, конечно же, мечтает приехать в Советский Союз, спрашивает, как можно это организовать.

Приехать к нам в гости мечтают многие. Но особенно тронул меня Ника. Мы с ним «дружили» не более недели. Гуляли по Парижу, осматривали здание ЮНЕСКО, ездили вместе с ним и Аликом к моим друзьям в Севр, вместе бегали в поисках различных сувениров — зажигалок и шариковых карандашей — для москвичей и киевлян. Перед самым отъездом он приволок мне старый чемодан для книг, которыми я оброс в Париже, и заодно принес роскошный подарок «для кого-нибудь из молодых русских ребят, думаю, они обрадуются» — две пары изумительных, застиранных ковбойских штанов, в которых скачут на «белых гривах» камаргские гардианы, — узкие, в обтяжку, одна пара в мелкую клетку, а другая белая (вернее, была когда-то белой) с черными тесемками лампасов. Мой московский друг, четырнадцатилетний Павлик, увидев их, пришел в восторг и сразу же стал натягивать на себя. Увы, он оказался крупнее Ники и Алика, штаны трещали по швам, не хотели натягиваться, а потом оказалось, что их невозможно снять. Павлик решил в них спать, предвкушая эффект, который они произведут на следующий день в школе, но злые и ничего не понимающие в ковбойских делах родители почему-то воспротивились.

Рано утром 28 декабря Ника и Алик очень быстро и ловко упаковали мои чемоданы (даже дважды, так как в самую последнюю минуту выяснилось, что я потерял самую нужную справку, и пришлось все выворачивать наружу), потом снесли их вниз к машине и аккуратно всунули в багажник. Мы попрощались, а через месяц мой приятель привез из Парижа от Алика очень славную керамическую тарелочку, а от Ники пачку сигарет «голуаз» и письмо.

Вот несколько заключительных строк из него:

«Я больше не могу написать, потому что мрачные мысли начинают лезть в голову. Мне больно жить в Париже. Я сейчас плакаю. Все говорят, что стыдно плакать в моем возрасте, но мне не стыдно. Мне стыдно жить во Франции. Мое место не здесь, а у нас. Раньше, чем мы познакомились, у меня Родины не было. Теперь есть, от этого все труднее стало...

Посылаю папиросы (сигареты). Когда ты захочешь вспомнить обо мне, возьми одну «голуаз» и кури. Привет от Алика.

Ника».

Я уже не раз писал о русских за границей, о сложной судьбе людей, по различным причинам оказавшихся за пределами своей родины. В Париже мне пришлось часто с ними встречаться. В один из первых же дней мне предложили выступить в клубе «Жар-птица». В определенные дни клуб этот, почетным председателем которого является Николай Черкасов, арендует большой зал Восточного музея Гимэ, и там либо демонстрируются советские фильмы, либо устраивается встреча с кем-либо приехавшим из Советского Союза — артистом, режиссером, писателем.

Мне приходилось выступать перед различными аудиториями, но никогда еще не приходилось выступать перед эмигрантами. И должен сказать, что, выходя на большую, совершенно голую сцену, на которой сиротливо торчал микрофон на длинной ножке, я слегка волновался. Кто эти люди, что сидят передо мной? Их много, зал наполнен до последнего ряда. Больше пожилых, молодежи поменьше. В первом ряду внимательно глядящий на меня господин в пенсне, подтянутый, прилично одетый. Кто он такой? Лет ему семьдесят, никак не меньше. Значит, в семнадцатом году было лет двадцать пять. И был он, возможно, офицером, белым офицером, воевавшим с «товарищами». А может, и присяжным поверенным, которого не устроили новые порядки, — кто его знает? А сейчас? На шофера он не похож. Может, преподает где-нибудь русский язык... А кто вот тот человек, во втором ряду, моего возраста? У него простое, довольно приятное лицо, расстегнутый ворот, какой-то значок в петличке. В эту войну ему было лет тридцать. Воевал ли он? И на чьей стороне? А может, значок на его груди — значок Сопротивления? Может, он бежал из плена вместе с французскими партизанами, взрывал поезда, а потом... Бог ты мой, сколько передо мной биографий одна сложнее, запутаннее другой, сколько разбитых жизней, искалеченных душ, сколько князей и графов со звучными фамилиями (впрочем, вероятно, их уже немного) — есаулов и хорунжих, пересевших с коней на такси, сколько запуганных вражеской пропагандой перемещенных лиц, так называемых «дипи», сколько власовцев, раскаявшихся и нераскаявшихся, сколько рабочих завода «Рено», мечтающих о станке на заводе Лихачева, сколько молодых людей, собирающих деньги, чтоб подписаться на «Огонек», и сколько членов всяческих народно-трудовых союзов, заилийских и терских землячеств, братств кавалеров ордена святого Георгия!

И вот сидят они все в этом громадном зале, семидесяти- и двадцатилетние, бывшие москвичи, петербуржцы, ростовчане, кубанские и донские казаки, и смотрят на стоящего перед ними посреди пустой сцены человека, приехавшего из Москвы, и ждут, что же он им скажет, а он стоит перед ними и тоже думает, что же он им скажет? И начал он им говорить о Сталинграде, каким он был двадцать лет назад и каким стал сейчас, о Москве, о своем родном Киеве, о фронтовых друзьях, о новом поколении писателей, рожденных войной, о Солженицыне, о театре «Современник», о нашей молодежи...

Такой внимательной, такой тихой и так сосредоточенно слушающей аудитории я еще не встречал. Потом уже, заманив меня в какой-то закуток за сценой, устроители вечера говорили мне, что далеко не все из сидевших в зале так уж симпатизируют Советскому Союзу, и тем не менее никто из этой категории людей не позволил себе ни одного недружелюбного жеста, ни одного вопроса. Зато в закуточке вопросов было много. Они сыпались со всех сторон.

Я невольно вспомнил в тот вечер другую встречу, с другими русскими, в другой стране. Там в зале тоже стояла тишина, но передо мной сидели не печальные старики в пенсне и люди неизвестной мне профессии, а молодые вологодские, курские, орловские ребята в защитных гимнастерках, волею судеб тоже оказавшиеся далеко от своих домов, в незнакомой Германии. Сидели они тоже тихо (часть из них, скажем правду, слегка похрапывала после утомительного дня занятий), а потом бурно аплодировали — все-таки гость, нельзя не поблагодарить. А потом благодарили сидевшие за столом президиума начальники-командиры и заканчивали, как правило, словами: «А теперь, дорогой Виктор Пантелеймоныч (или Илларионыч, или Аполлоныч), не откажите откусать солдатских щец...» И хотя выступать мне приходилось по два, а то и по три раза в день, в различных полках и батальонах, отказываться никак нельзя было. И вот тут-то, в полковой или батальонной столовой, за длинным, покрытым клеенкой столом, уставленным тарелками с винегретом, капустой и огурцами, начал выливаться на бедного докладчика водопад вопросов, ничуть не меньший, чем здесь, в «Жар-птице». До чего же тоскует по родине русский человек, даже тот, который знает, что через год-два вернется домой. И как его интересуется все, что делается дома. И как радуется он каждому человеку, приехавшему оттуда, из России.

Рассказывая о своей встрече с эмигрантами в «Жар-птице», я заговорил вдруг о советских солдатах в Германии. Почему? Что может быть общего между теми и другими? Общего нет ничего. Но и те и другие — русские, и тех и других тянет на родину.

Сережа Здрок, два года прослуживший в Германии, к моменту нашего знакомства доживал там последние дни. Тосковал ужасно.

— Все о доме думаю,— говорил он.— Брожу и думаю. Там старики. Помочь им надо. И вообще... Другое тут все. И люди, и дома, и крыши. Собаки и те другие — шерсть на морде длинная, глаз не видно.

А вот Ника... Можно ли сказать, что вокруг него всё и все «другие»? Конечно, нет. Он самый настоящий парижанин. И родился во Франции, и является подданным ее, и любит Францию, а вот о России говорит «у нас», а не «у вас». И «плакает»...

И еще судьбы... Пятеро балалаечников в «русском» ресторане недалеко от бульвара Сен-Мишель. Поют преимущественно «Очи черные...» и другие песни дореволюционного репертуара. Сидящие в ресторане французы и иностранцы (русских мало) усиленно им аплодируют.

Для французов и приезжих туристов это экзотика («la balalaïka gusse») — такая же экзотика, как этажом ниже, где танцуют твист или что-то в этом роде в сопровождении бразильских гитар и индийских барабанов. Для меня же — это трагедия лишенной родины людей.

В перерыве один из балалаечников — немолодой, с усталым, гладко выбригым лицом — подошел к нашему столику.

— Вы из Москвы?

— Из Москвы.

Он помялся:

— Если у вас есть время... я хотел вас спросить. Очень сложный

вопрос... Может, вы мне поможете...— Он опять замылся.— Я хотел бы уехать отсюда, вернуться на родину. Это возможно?

Что я ему мог ответить?

С таким же вопросом подходили потом и другие. Только двое не задали этого вопроса — один француз (хотя тоже косоворотка и тоже «Очи черные...»), другой совсем молоденький, кудрявый, очень цыганистый. Он грустно смотрел на нас, а потом на ломаном русском языке спросил:

— Можно вам «Землянка» петь?

И запел «Землянку». Потом «Темную ночь». Пел хорошо, все в зале затихли. Слушали. И я слушал. «А до смерти четыре шага...» Самая любимая солдатская песня... Сколько раз слушал я ее, сколько раз пел. И в землянке, и в теплушке, и в госпитальной палате, а вот сейчас мысленно подпевал неведомому мне парню в шелковой придуманной косоворотке в «русском» ресторане, набитом французами, в центре Парижа, на бульваре Сен-Мишель.

Когда мы уходили, он подошел и, несколько смущаясь, спросил:

— Можно, я вам позвоню в отель? Меня зовут Марк Лутчек. Мне надо много поговорить.

Он несколько раз потом звонил, но все не заставлял меня...

И еще одна судьба. Тоже певец. Высокий, плечистый, в ладно сидящем фраке, самодовольный, эстрадно-развязный, дарящий улыбки направо и налево.

А потом он сидел за столиком, обхватив голову руками.

— Вы думаете, мне не стыдно? Не горько? Я знаю, кто я. Я — клоун. Смейся, паяц... А я ведь учился в Харьковской консерватории. И, говорят, неплохо учился. Потом угнали немцы. Мальчишкой еще. Да разве все расскажешь? Сейчас я здесь. Пою вот им. А на душе... Кончилась война, многие вернулись на родину. А я струсил, побоялся, прозевал время. Теперь присох, женился... Зарабатываю какие-то деньги. Может, даже больше, чем имел бы в России. Но не нужны они мне, не нужны... Ничего мне теперь не нужно...

Он плакал, а в двух шагах бойкая, вся в перстнях и браслетах пожилая дама объявляла хриплым голосом следующий номер:

— Известная исполнительница старинных русских и цыганских романсов, несравненная Антонина Зарянская. Поприветствуем ее...

Мне как-то неловко и больно было на них смотреть. И на него, и на несравненную Антонину Зарянскую. Но еще больнее видеть Михаила Чехова во второсортном американском фильме, Шаляпина, поющим Дон-Кихота в своем уже десятиразрядном фильме, читать последние рассказы Ивана Бунина...

Талант, оторванный от родины, гибнет. Ему нечем питаться. Тоска по дому, воспоминания о прошлом, ненависть к настоящему — это не лучшая питательная среда для художника. Гнев превращается в брюзжание, задачи в заботы, идейные споры в мелкую склоку, искусство в средство заработка. История, трудная, героическая, временами трагическая история твоего народа проходит мимо.

— Это неправда, — сказал мне на это один белоэмигрант. — Мы тоже история своего народа. Нас, русских, в рассеянии не так мало. Во всех концах света.

Я не стал спорить. Одна из ее страниц. Причем трагичных страниц. Но трагичных для них самих, а не для всего народа.

Это говорил мне Николай Петрович Петропавловский, бывший белый офицер, с которым я встретился в небольшом рыбацком городишке Гро-дю-Руа на Средиземном море.

В вечер нашего приезда мы с переводчицей Ольгой Леонидовной совершили небольшую прогулку по городу. Городок небольшой, с бухтой, превращающейся в канал, идущий дальше до Эг-Морт, с молом, двумя маяками и цепью вытянувшихся вдоль моря больших отелей, сейчас пустовавших — не сезон. К концу прогулки зашли в небольшой рыбацкий кабачок «Petit mousse» («Маленький юнга»). За столиками сидели рыбаки и гардианы в узких белых брюках, французские ковбои, охраняющие в бесконечных равнинах Камарг стада быков для арльских и нимских коррид, пили что-то очень слабенькое и играли в непонятные мне игры. От рыбаков мы узнали, что рано на рассвете они отправятся в море и к двенадцати часам вернутся. Ровно в двенадцать мы были уже в гавани. Друг за другом, накренившись от ветра, возвращались рыбацкие суда. Одно из них пришвартовалось как раз возле нас. Девяносто девять процентов людей любит фотографироваться. Рыбаки «Санта Марии» не оказались исключением. Я щелкнул несколько кадров. Все весело улыбались, держа в руках свой улов: каких-то каракатиц, камбалу и прочие «фрюи де мер» — «плоды моря», как говорят французы. Потом всей компанией двинулись в «Пти мусс». Один из рыбаков — немолодой уже, кряжистый, больше похожий на русского, чем на провансальца (кстати, провансальцы говорят по-французски с акцентом плохо знающего язык русских), оказывается, в 1919 году был в Одессе с восставшей потом французской эскадрой, и это нас сразу расположило друг к другу. Я взял пива, рыбаки — оранжад, и тут-то в дверях появился высокий сухощавый господин с авоськой в руках и длинным, как палка, батонном под мышкой. Одной ноги у него не было, он опирался на костыль.

— Это наш русский, — шепнул, наклонившись ко мне, «одессит». — Других русских здесь никогда не было, вы первый.

Высокий господин подошел к стойке. Лицо его было сурово и неприветливо.

— Здравствуйте, — сказал я ему по-русски.

Он вздрогнул и обернулся.

— А вы кто такой?

— Русский.

— Какой русский?

— Обыкновенный.

— Из Парижа?

— Нет, из Киева.

Он внимательно и недружелюбно смотрел на меня.

— Это неправда.

— Почему же неправда?

— А потому, что советских никогда сюда не пустят.

Я улыбнулся.

— Как видите, пустили.

— Не верю.

Я вынул из кармана справку на французском языке, выданную консульством на время поездки взамен паспорта. Он очень внимательно прочитал справку, вернул обратно.

— Невероятно...

Он подсел к нам. Замялся.

— Времени нет. Жена ждет. Обедать пора. Зашел только сигареты купить. А впрочем... — Он повернулся к хозяину: — Дай стакан белого. Жене пришлось не меньше часа прождать своего мужа.

Николай Пегрович Петропавловский в гражданскую войну воевал на стороне белых, против «товарищей». Он часто повторял это слово «товарищи», реже «большевики», потом перешел на «вы», «советские».

После гражданской попал в Африку, в иностранный легион. Там и ногу потерял. Теперь живет здесь с женой, получает небольшую пенсию. Есть дети. Уже взрослые. Но живут отдельно. Один сын — тут он слегка поморщился — вроде как коммунистом стал. Бывает же такое...

Судя по всему, человек он был недобрый, а может, нелегкая жизнь и скитания его озлобили. Россию он разлюбил, Францию не полюбил. Отрываясь от разговора со мной, он вступал в какие-то пререкания с рыбаками, обвинял их в лени, в желании только побольше заработать. Рыбаки только смеялись, по-видимому, уже привыкли к старику и его характеру.

В ходе разговора выяснилось, что, при всем неприятии им советских порядков, о которых он имел довольно отдаленное представление, кое-что он у нас все же приемлет. Воевали, например, неплохо, ну, и промышленность все-таки развили. Спутники, Гагарин...

На прощание он сказал, тяжело вздохнув:

— Нет, в России я уже никогда не буду. Мы не нужны друг другу. Ни я ей, ни она мне. Буду уже доживать свой век здесь, в Гро-дю-Руа, вот с этими вот лентяями вместе. В России мне нечего делать...— И, помолчав, добавил: — А вот русскую песню послушал бы, соскучился без нее. Все-таки лучше русской песни ничего на свете нет...— И махнул рукой. — Разве французы поймут? Вот поставить бы им сейчас пластинку — рты поразевали бы. А что, нет? Чего смотрите? Еще как поразевали бы...

Я обещал прислать пластинки. В «Пти мусс» есть турн-диск — проигрыватель, — пускай рыбаки и гардианы послушают «Стеньку Разина», «Дубинушку», «Катюшу», «Полюшко-поле...».

Записывая на бумажке свой адрес — «простите, визитными карточками не обзавелся, некому их давать», — Николай Петрович сказал:

— Прислали бы свою книжку, а? Хоть вы и советский, но воевали русские все-таки неплохо.

Мне стало вдруг жаль старика, как бывает жаль человека, у которого все позади. Хотя и позади-то ничего хорошего не было — одна злоба. Да и от злобы-то этой мало что осталось. Устал ненавидеть. А может, уже и не хочется. Так, тоска одна...

2

Привет тебе, царство солнца, окаймленное серебром Роны, фантастическое царство счастья и радости, Прованс, одним именем своим чарующий весь мир...

Мистраль.

Прованс — историческая провинция на Ю. Франции, на побережье Средиземного м., к В. от устья Роны... Площадь ок. 20 тыс. км². Население ок. 1,5 млн. чел. (1952)... Аграрно-индустриальный район.

БСЭ, том 34.

...Кроме того, Авиньон славится красотой своих женщин.

Брокгауз и Ефрон, том 1.

Для меня Прованс — это в первую очередь форт Сент-Андрэ. Я стою на самой вершине форта. Вокруг древние стены с узкими бойницами. У бойниц когда-то сидели люди с арбалетами, со стен лили на врагов кипящую смолу, над головой пролетали камни, пущенные с расстояния в двести метров баллистами и бомбардами. В средние века здесь творилось бог знает что — осады, войны, кровопролития. Сейчас — тишина.

Совершеннейшая тишина. Полаяла собака, когда мы вошли в ворота, выглянул из толстой башни привратник — и опять тишина. Я на самой вершине форта. Вокруг стены и башни, поросшие мхом. За стенами — Прованс. Как на ладони. Бескрайние квадраты возделанной земли. С одной стороны — северо-западной — эти квадраты защищены кипарисами. Кипарисы стоят в виде стен. И стены эти наклонены. Это мистраль их наклонил — царь ветров. В Провансе тридцать два ветра. Самый страшный — мистраль, он переворачивает даже вагоны. Квадраты полей, и кипарисы, и маленькие домики среди них, и вьющиеся дороги, и платаны, и оливы — все это тянется до горизонта. А на горизонте горы, зубчатые горы — Дантель де Монмирай. Сейчас они в легкой дымке. С другой стороны — Рона, над Роной — Авиньон. Отсюда он похож на театральный задник. На переднем плане, на крепостных стенах, увитых плющом, идет действие — поют арии, читают монологи, а на заднике средневековый город — замки, башни, колокольни. А над башнями бескрайнее, нежно-голубое, совсем не декабрьское небо. И вообще какой к черту это декабрь — тепло, даже жарко, и трава зеленая, и цветут какие-то желтенькие малюсенькие цветочки.

Покой. Тишина. Откуда-то, очень издалека, доносится колокольный звон. Вечерний звон... Но сейчас не вечер — сейчас яркий, солнечный декабрьский день. Трудно даже поверить, что три дня тому назад мы мерзли в Париже, потирали озябшие руки, подымали воротники. Носятся ласточки. В декабре — ласточки. А может, это не ласточки? Можно, конечно, спросить у Паустовского — он сидит в двадцати шагах от меня на ступенях часовни и тоже впитывает в себя Прованс, — но не хочется его тревожить, сейчас так тихо, хорошо...

Потом мы спускаемся по крутой улочке вниз, в Вильнев-лез-Авиньон. Она вьется, эта улочка, как уж, и вымощена громадными булыжниками, которым тоже пятьсот лет. Направо и налево крохотные замкнутые дворики, развешанное белье, увитые плющом стены. Серо-розовая круглая черепица, какая была когда-то и у нас в Крыму.

Вильнев-лез-Авиньон сейчас тих и провинциален, его посещают только туристы. В XIV веке «город кардиналов» переживал период своего расцвета. Так же, как и Авиньон. В Авиньоне жили папы, на другой стороне Роны, в Вильнев-лез-Авиньон, — кардиналы. Потом папы вернулись в Рим, но многочисленные монастыри продолжали вести свою беспечную, лишенную забот жизнь. Конец этому положила Великая французская революция. Сейчас от бывшего величия остались только свидетели его — замки, форты, мрачные дворцы и венчающая город квадратная массивная башня Филиппа Красивого.

В Авиньоне предполагалось пробыть один день, мы прожили три. Отель «Европа» возле городских ворот, ведущих к Роне, говорят, самый тихий и располагающий к отдыху во Франции. Только сверкающие розовыми и голубым кафелем ванны с обтекаемыми умывальниками и унитазами напоминают о XX веке — все остальное стареет тебя отвлечь от него. На стенах в золоченых рамах целуются маркизы и пастушки. У столов изящные изогнутые ножки «Луи-Каторз», ящики в шкафах мелодично поют, когда их выдвигаешь, и пахнут XVIII веком. Тихие лестницы освещены фонарями, снятыми со старинных карет. Людей не видно. Безмолвие. Только в разных концах бьют часы — в коридорах, на лестнице, внизу в вестибюле, на колокольне Нотр-Дам-дю-Дом или Отель де Виль на плас д'Орлож — площади Часов. Спать под этот тихий перезвон на широченных двуспальных кроватях одно блаженство — никаких снов. Впрочем, спится хорошо и потому, что целый день на ногах.

Вчера до поздней ночи мы бродили по берегу Роны. Стремительная, беспокойная река. По-русски она женского рода, по-французски муж-

ского — Le Rhone. Это ей больше подходит. Она неширока, но вся в сплетении русел, водоворотов, бурунов — в ней явно мужская мощь. Дно и берег у нее не песчаные, а из гальки, совсем такой, как на крымских пляжах. Для Франции Рона многоводна — вместе с Дюранс и другими потоками она кормит весь Прованс, но она своенравна и не всегда дружелюбна. Триста с чем-то лет тому назад, обидевшись за что-то на Авиньон, могучие ее волны снесли половину каменного моста Сен-Бенезет, соединявшего «город пап» с «городом кардиналов», и сейчас только три массивные арки недоуменно вонзаются в Рону, обрываясь на ее середине. Это знаменитый мост. О нем сложена песенка, которую поют все французы от мала до велика: «Sur le pont d'Avignon on y danse, on y danse...» — «На мосту Авиньона танцуют, танцуют...» Как у нас, говоря о Ташкенте, часто прибавляют «город хлебный», так во Франции не скажешь Авиньон, чтобы сразу же не подхватили: ««Sur le pont d'Avignon»».

Мы гуляем по берегу Роны. Усевшись на камень под ветвистым, тихо шумящим платаном, смотрим на противоположный берег. Там, как сказочное видение, озаренный лучами невидимых прожекторов, точно изнутри светится древний Авиньон. На черном ночном небе, пересыпанные мигающими от ветра огнями, сияют стены и башни папского дворца, шпили соборов Сен-Пьер, Сен-Дидье, Сент-Агриколь и самого высокого — Нотр-Дам-дю-Дом. Светятся парки и сады — раскидистые зонты вечнозеленых пиний и клубящиеся кроны безлистных сейчас платанов, точно нежное кружево, рисуются на черном небе. Только проносящиеся по набережной машины и холодный ртутный свет фонарей нового моста нарушают сказочность, неправдоподобность пейзажа.

Возвращаясь, делаем небольшой крюк, чтоб вдохнуть аромат ночных средневековых улочек, идем вдоль глухих городских стен, разговаривая шепотом, чтоб не спугнуть тишины и не привлечь внимания ночного сторожа из папской охраны, который с алебардой и фонарем, наверно, бродит где-то тут же...

— Я боюсь Авиньона, — еле слышно, наклонясь к самому уху, говорит обычно веселая и неунывающая Ольга Леонидовна. — Я боюсь его улиц, дворов, вот этих страшных, темных переходов. Мне почему-то всегда кажется, что оттуда должен выскочить человек с ножом. Тише... Вы не слышите шагов? Вон там, под этим сводом... Давайте подождем... Честное слово, я боюсь Авиньона. Это единственный город во Франции, где разрешено жить преступникам и убийцам. Не смейтесь, это так, уверяю вас, я знаю...

Возможно, это и так, но боюсь, что Ольга Леонидовна несколько спутала столетия. Действительно, в XIV веке, в период величия Авиньона, столица католического мира была средоточием не только духовенства, но и всякого сомнительного люда. В Авиньоне тогда не преследовались еретики, город назывался «землей приюта», и этим пользовались бежавшие из других городов разбойники, контрабандисты, фальшивомонетчики. Бичом тех лет были и «рутьеры» — шайки полубандитов-полусолдат, бесчинствовавших на больших дорогах и подступавших к самому Авиньону. Папы откупались от них благословением и деньгами.

В Авиньоне сейчас тысяч шестьдесят населения, в XIV веке было сто. Об авиньонском, или, как тогда говорили, вавилонском, пленении пап написаны десятки книг. Это одна из интереснейших страниц истории папства. С 1305 по 1377 год Авиньон был местом престола святого Петра на земле. Папа Бонифаций VIII в результате долгой борьбы французских королей с Ватиканом попал в плен к Филиппу IV Красивому, и в течение семидесяти двух лет на святом престоле восседали папы-французы. В 1378 году Григорий XI перенес папскую резиденцию обратно

в Рим, однако распри в среде высшего духовенства не прекращались, привели к «великому расколу», и в течение еще тридцати лет католическим миром правили одновременно двое (а с 1409 года даже трое) пап — в Риме и Авиньоне. Вражда между ними не прекращалась ни на секунду, один другого поперебой предавал анафеме, католический мир сотрясался от междоусобиц и, пожалуй, до сих пор не разобрался еще, кто же был настоящим папой, а кто антипапой...

Сейчас в папском дворце музей. В жизни своей я не видел здания более уродливого. Невероятных размеров, мрачное, нелепое, лишенное каких-либо пропорций, оно господствует над всем городом и если производит все-таки впечатление, то только масштабами и седой своей стариной. Строили его Бенедикт XII и Климент VI — один одну часть, другой другую. Утонченным вкусом ни один из этих пап не отличался, но нагнать страху на верных католиков высоченными глухими стенами и квадратными тяжелыми башнями они все же умудрились. Проходишь сейчас вдоль этих стен — и то как-то не по себе становится.

А вот Эг-Морт — город XIII века, построенный Людовиком Святым как порт для первых крестовых походов, — поразил меня своей архитектурной завершенностью и логикой. Собственно, даже не город, а крепость, стены, окружающие его. Конструктивизм XIII века, конструктивизм чистейшей воды! Имена строителей этих стен никому не известны, но если искать в мировой архитектуре пример практической целесообразности и архитектурной выразительности ее — лучшего образчика не найдешь. Цель сооружения ясна — не впустить врага в город. Для этого вокруг него построены стены и башни. Одна из них повыше и покрепче — с нее хорошо видно во все стороны, в ней жил король, томились пленные. Вокруг стен — ров, через ров — подъемные мосты. Внутри стен — город, плотно сбитая масса домов.

Стены и башни — вот и все. Солидно, на века, из грубого камня. Пять ворот — невысоких, стрельчатых, зажатых между спаренными круглыми башнями. Ни одной ненужной, лишней детали. Бойницы, амбразуры, окна, зубцы, небольшие каменные балконы на кронштейнах — все это для дела, для войны, для обороны, ничего для украшения. А красиво. Мрачно, пугающе, но красиво в своей ясности и целенаправленности. Изумителен угловой донжон — башня Констанс. Это громадный, гладкий, обтекаемый, круглый, с несколькими очень вытянутыми бойницами бункер. Именно бункер, другого слова я не нахожу. Из него сбоку, как будто пробившийся сквозь камень стебель, вырастает круглая с металлическим и решетчатым шатром башенка маяка. (Когда-то Эг-Морт, что значит по-провансальски Мертвые Воды, стоял на берегу моря, сейчас море отошло и к нему прорыт канал.) С городом донжон связан каменным трехарочным мостом. Лаконизм и законченность форм предельные. Построено это в XIII веке, шестьсот лет назад. Думал ли строитель о красоте? Вряд ли. Думал о прочности, о неприступности, а перед нами произведение искусства.

Такое же впечатление архитектурной завершенности — где ни прибавить, ни убавить — производит и старинное аббатство Монмажур в нескольких километрах от Арля. Величественное, из грубого желтоватобелого камня, с обязательной башней-донжоном, как необитаемый остров (а когда-то это действительно был остров среди непроходимого болота); окруженное кипарисами аббатство, сейчас пустынное, а когда-то пристанище нескольких десятков бенедиктинцев, одиноко стоит среди живописной, ван-гоговской долины и презрительно поглядывает с высоты своей тысячи лет на шелкающих фотоаппаратами туристов. И в этом гордом одиночестве — несравненная красота. Красота архитектуры отго-

родившихся от мира людей. Уловить сущность своей эпохи — главная заслуга художника. Безвестные мастера средневековья умели это делать. Умеем ли это мы?

Но вернемся в Эг-Морт и в нынешнее столетие. Задержимся там на несколько минут. Наша машина въезжает в главные ворота — Порт де ла Гардетт. И сразу же при въезде, на стене первого же дома, мы видим сделанную кем-то надпись очень большими черными буквами: «Освободите Эйхмана!» По сторонам две зловещие свастики...

Что это? Кто это написал? И почему никто не стер? Со дня окончания процесса прошло уже более полугодя, а надпись все красуется. Неужели она никого не возмущает — ни мэра, ни жителей этого маленького городишка на юге Франции?

На этот вопрос ответить нелегко. Я сам его себе задаю. Когда мы приехали во Францию, волна оасовского террора отхлынула, взрывы «пластик» прекратились, Алжир стал независимым. «Ультра» поняли свою несостоятельность, говорили нам французы, поняли, что не имеют поддержки в народе, вот и скрылись в глубоком подполье, молчат, пока бездействуют, ждут подходящего момента, какого-то изменения в обстановке. И вообще их не так уж много. Да, оасовцы скрылись в подполье, но надпись-то, требующая освобождения палача миллионов невинных людей, красовалась на самом видном месте — вот что меня поразило.

«О, в этом и есть трагедия сегодняшнего дня, — говорил мне один прогрессивный журналист. — Написали — и черт с ним, считает большинство, чего только на стенах не пишут. Одни пишут, другие не читают... Поверьте, пятьдесят процентов жителей маленького Эг-Морта отнюдь не сочувствуют авторам этой надписи, а сорок девять процентов просто не очень интересуются Эйхманом...»

Вообще — об аполитичности, о ненависти к лозунгам, недоверии к обещаниям, об инфляции слова нам во Франции говорили много.

Величие Франции! О нем много говорит Шарль де Голль, президент республики. «Или я, или хаос, — сказал он перед референдумом шестьдесят второго года, — или величие Франции, или анархия...» Большинство проголосовало за де Голля. Политическая неразбериха, ежемесячные смены кабинетов, повышение цен — все это смертельно надоело. Авось «генерал» наведет порядок — проголосуем-ка за него. И проголосовали. Но стало ли лучше?

Один француз, с которым я встретился уже в Советском Союзе, сказал по поводу этого:

— Франция сейчас слишком увлечена настоящим, забыла прошлое и не думает о будущем.

— Что значит увлечение настоящим? — спросил я.

— А то, что сытость успокаивает. А мы, в общем, сыты. Вы скажете мне, что не все одинаково. Согласен. Если б все было благополучно, рабочие не бастовали бы, не требовали повышения зарплаты. И все же, дорогой мой, Франция не думает о завтрашнем дне, не хочет — боится...

И еще один разговор. На этот раз с нашим, русским, советским, хорошо знающим Францию и недавно вернувшимся из Алжира.

— Вот вы говорите об Алжире, — сказал он мне, — о том, что после войны, стоившей стольких жизней, алжирцам удалось все-таки разрешить проблему независимости. Да, Алжир стал независимым. Но ведь экономически он еще слишком связан с Францией. Избавиться от этой зависимости не так-то легко. Нужно создать свою промышленность, воспитать специалистов на месте убежавших французов. И еще одна деталь. Десятки тысяч алжирцев уходили, да и сейчас уходят на заработки во Францию. Это самая дешевая рабочая сила. Ну и отношение

к ней соответственное... Война кончилась — это, конечно, хорошо, но сложного еще очень много.

Кстати, о самой дешевой рабочей силе и отношении к ней. В Париже много алжирцев, много негров — сенегальцев, малийцев, мальгашей, конголезцев. В большинстве своем, кроме как по цвету кожи, их и не отличишь от французов. Никакой дискриминации по отношению к ним не ощущаешь — равноправные граждане. Но вот в Гро-дю-Руа, маленьком рыбацком городишке на берегу Средиземного моря, меня поразила одна на первый взгляд малосущественная деталь, вернее, вскользь брошенная фраза.

Я рассказывал уже о двух рыбаках, с которыми там познакомился. Когда возник вопрос, куда же пойти, один из них сказал:

— Может, сюда зайдём? — и указал на раскрытые двери какого-то кабака, в котором было много народу.

Я пожал плечами: вам, мол, виднее.

— Ну его, — махнул рукой другой, — пойдем в «Пти мусс», здесь слишком много «pieds noirs».

Как потом выяснилось, «pieds noirs» — «черные ноги» — это кличка французов, выходцев из Алжира. Я далек от того, чтоб из этой случайно брошенной фразы делать далеко идущие выводы, и все-таки... Все-таки меня покорило.

Думаю, что Брокгауз и Ефрон все же несколько преувеличили достоинства авиньонских красавиц и явно недооценили арлезианок. Я это понял сразу же, как только мы вошли в крохотную, поразительно уютную таверну возле римской арены (она так и называется «Возле арены») в Арле. Именно там я понял, почему и Мистраль, и Додэ, и Гуно, и Бизе так равнодушны были к арлезианкам и не обходили их молчанием, как сделали это всеми уважаемые, но в чем-то, по-видимому, очень субъективные Брокгауз и Ефрон.

На подавшей нам милой девушке не было традиционного арлезианского костюма с кружевами и черной наколкой в волосах (увы, это можно увидеть сейчас только в музее Арлатэн), но чтобы быть настоящей арлезианкой, ей вполне хватало собственного обаяния и милой, естественной, ненавязчивой красоты.

Меня часто спрашивают, кто красивее — итальянки или француженки. А бог его знает. Арль когда-то был римским городом, сейчас он французский — иди разберись, кто кого красивее...

Арль — город маленький: в нем нет и сорока тысяч жителей. Но когда-то он был велик и знаменит. Завоевавшие Арль римляне превратили маленькое поселение на берегу Роны в крупный экономический центр. Как писал некий автор V века: «Все, что дает Восток, все ароматы Аравии, блеск Ассирии, плоды далекой Африки, все лучшее, что есть в прекрасной Испании и Галлии, можно найти на рынках Арля в любом количестве и того же качества, что и у себя на родине». Ткачи, золотых дел мастера, оружейники вели бойкую торговлю. Во все концы Европы экспортировалось знаменитое провансальское оливковое (отсюда «прованское») масло и черное густое вино с холмов Роны. Отцы города воздвигли Форум, построили громадную арену, античный театр, акведук длиной в семьдесят пять километров. Даже публичные отхожие места строились из мрамора. Город процветал. Арлю подчинилась Испания, подчинилась Бретань.

Нашествие варваров и сарацинов положило конец процветанию. Начался закат. Экс-ан-Прованс перехватил у Арля политическую власть, Марсель — экономическую. Город стал кормиться за счет туристов, руин и былого величия. Только в последние годы он опять воспрял: болотистое

устье Роны превратилось сейчас в рисовые поля, Арль стал «столицей риса».

Вот краткая история города, прожившего ни больше, ни меньше, как двадцать пять веков.

Авиньон, Арль, Ним — города отгремевшей славы. В этом величии прошлого свое обаяние, своя тихая задумчивость мудрых, многое перевидавших на своем веку стариков. «*Sic transit gloria mundi*», — говорят они на своем безмолвном языке камней, подобно нашему Новгороду, Владимиру, Суздалью, Ростову Великому. Впрочем, если говорить о сходстве — не историческом, а внешнем, — то Арль скорее напоминает наши южные города с их небольшими беленькими домиками из ракушечника или известняка, с черепичными крышами, акациями, платанами, со смуглыми лицами оужан, с оживленным говором. Если Марсель — это Одесса, Крым — Ривьера, Севастополь — Тулон, то Арль безусловно Херсон или Николаев.

Бродить по его улицам — одно наслаждение. За исключением Бульвар де Лисс и двух-трех не очень шумных центральных улиц с магазинами, на других его улицах тишина и покой. Идешь не торопясь по такой узенькой, мощенной камнем улочке — и вдруг перед тобой что-то большое, с арками, колоннами. Оказывается, это римская арена, та самая, где гибли когда-то гладиаторы, а теперь, во время летних коррид, камаргские быки. В средние века арена была крепостью, внутри ее овала лепился целый город с домами, улицами, даже церковью. Сейчас от этого города ничего не осталось, но стены арльского колизея сохранились. Тут нельзя не воздать хвалу реставраторам. Они не обновили арену, не сделали ее стены чистенькими и беленькими, а с великим тактом и вкусом восстановили их, искусственно создав патину времени, — новые, такие же обветренные, иссеченные дождями части здания ничем не отличаются от старых. Работа невероятно кропотливая, но результат поразительный.

Недалеко от арены — античный театр. Амфитеатр сохранился довольно хорошо, от сцены же и оркестры остались только две мраморные колонны и обломки стен, Форум полностью исчез — уцелело только название, которое носит зеленая уютная площадь с памятником поэту Мистрально, и кусок стены с пилястрами, вмонтированный сейчас в фасад гостиницы «Норд-Пинюс», в которой в свое время останавливались Мистраль, Виктор Гюго, Наполеон III, о чем говорят сверкающие медные дощечки на дверях номеров, а сейчас имели честь жить и мы, грешные.

Мы попали в Арль зимой, а не летом. Летом здесь на арене — с мая по сентябрь — устраиваются корриды. Родина боя быков — Испания, но на юге Франции, в Арле, Ниме и еще где-то поближе к испанской границе, это жестокое зрелище пользуется таким же почетом и любовью.

О тавромахиях — невероятно сложном искусстве раздражать быка, а затем одним ударом убивать его — мы знаем по романам Бласко Ибаньеса, Хемингуэя, картина Гойи и несколькими фильмам. Один из них, шедший у нас под названием «Тореадор», довольно точно, с большим количеством документальных кадров рассказывает о жизни знаменитого испанского матадора Прокуньи.

Искусство матадора — искусство смертельного риска. Мало довести до бешенства быка красной мулетой — надо это сделать на предельно близком расстоянии. Самый изящный пируэт матадора (вероника), сделанный на сантиметр дальше положенного от пронесшегося мимо рога быка, вызовет бурю негодования, сотни кожаных подушечек полетят в голову проштрафившегося матадора. Зато изящное спокойствие у самой морды разъяренного быка, ловкий прыжок в сторону и смертельный удар в загривок быка награждаются восторженным ревом тысяч темпе-

раментных глоток. В Испании, говорят, можно не знать Сервантеса или Лопе де Вега — тебе это не поставят в укор, — но никогда не простят, если ты спросишь, кто такой Манолетто или Домингэн — матадоры-классики, матадоры-кумиры.

Нет, не удалось нам повидать боя быков. Арена была пуста, быки для будущего сезона подрастали еще на бескрайних камаргских равнинах. Мы проходили с Паустовским мимо заколоченного пустого кафе неподалеку от нашего отеля и только вздыхали: через полгода оно будет заполнено самыми что ни на есть живыми тореадорами, подписывающими договоры, заключающими сделки, спорящими о достоинствах быков. Единственное, что нам удалось, это зайти и потоптаться у пустой стойки «тореадорского» бара при нашей гостинице. На стенах красовались голы «торро» с устрашающими рогами, всякие там мулеты и бандерильи, портреты выдающихся «передовиков корриды» и «мастеров эспады», но кругом было пусто. Мы с почтением пощупали рога быков и сфотографировались на их фоне.

Да, с корридой не повезло. Зато я познакомился с настоящими камаргскими гардианами — провансальскими ковбоями. Такое не всякому выпадет.

Камарг — пустынная, болотистая равнина в развилке двух Рон, Большой и Малой. В самой южной ее части, заливе Ваккарэ, — заповедник. Там живут розовые фламинго, бобры, ползают по песчаному берегу черепахи среди зарослей тамариска, финикийского можжевельника, среди цветущих весной полей нарцисса и асфоделий. Севернее Ваккарэ до самого Арля — болото, равнина. По ней-то и скачут на белых длиннохвостых лошадях (помните «Белую гриву» Ламорисса? Это и есть Камарг) лихие гардианы в широкополых шляпах. Они охраняют «манады», стада полудиких быков. «Naciono gardiano» — нация гардианов. Племя веселых, сильных и ловких ребят со своей романтикой, традициями, законами, преданиями.

О легендарных ковбоях дикого Запада мы, захлебываясь, читали еще в детстве, раскрыв рты и замерев от страха, следили за их погонями, скачками, перестрелками, драками в бесчисленных «Королевах лесов» и «Богинях джунглей» двадцатых годов. О французских ковбоях мы ничего не знали. И вот я за одним столиком с ними.

Сезару лет под тридцать, Клоду не больше девятнадцати. На них нет традиционных широкополых шляп, оба в беретах, но штаны, по всем правилам, белые, узкие, грязные, и полусапожки — низкие, до половины икры. Физиономии медные, обветренные. У Сезара белая полоска шрама на плохо выбритом подбородке — последствие стычки с быком во время «Курс де кокард», провансальской забавы: у быка надо сорвать кокарду, прикрепленную между его рогами. Оба держатся с величайшим достоинством, хотя обоих распирает от любопытства — для них советский человек такая же экзотика, как для меня гардиан. Говорит больше Сезар, Клод — удивительно красивый, стройный парнишка, неожиданно для провансальца светлый и голубоглазый — больше молчит, слушает и в грубовато-изящных манерах старается походить на Сезара.

Познакомились мы в Арле, на Бульвар де Лисс. Было довольно поздно. Я зашел в пустоватый уже ресторанчик, в котором мы недавно ужинали и приветливый хозяин которого обещал разыскать и подарить мне многокрасочную роскошную афишу прошлогоднего боя быков. Пока он искал, я пристроился к телевизору — какой-то автомобилист со страшной скоростью мчался по автостраде, накренившись на правый бок, на двух колесах. Рядом со мной кряхтели от восторга Сезар и Клод. Принесенный хозяином плакат познакомил нас.

— Зачем он вам?

- На память об Арле, о бое быков, который никогда не видал.
- Никогда не видали?
- Никогда.
- О-ла-ла, вот это да! Вы из Парижа?
- Чуть подальше.
- Из Бретани?
- Восточнее.
- Из Лотарингии?
- Еще восточнее... Из Москвы.

Недоумение и недоверие. Вытаскивается справка. Ее долго разглядывают, читают. Я роюсь в карманах, не найдется ли какой-нибудь значок. О, счастье, есть Гагарин.

— О! Га-га-рин! Формидабль! Манифик!

Веселый спор, кому он достанется. Вынимаются спички. Длинная у Клода — Гагарин ему. Зато спички, советские спички, — Сезару. На коробке нарисованы ульи и написано: «Выносите ульи поближе к дороге». Я перевожу надпись, но никак не могу объяснить, для чего нужны эти манипуляции с ульями. Все смеются. Приветливый хозяин объясняет: «L'ame slave» — славянская душа, загадочная славянская душа...

Ресторанчик закрывается, но хозяин ставит нам бутылку вина.

Мы пьем за Сталинград. Сезару было тогда девять лет, но он хорошо помнит, как немцы вывешивали в те дни траурные флаги. Отец его в войну был ранен, потом попал в плен. Сейчас ему пятьдесят лет, но с седлом не расстается, тоже гардиан. У них в роду все гардианы. У Клода тоже. Вот только старший его брат изменил — стал инженером. В Камарге увлеклись сейчас рисом, роют всякие каналы, вот Аристид и занимается этим.

Увлечения рисом ни Сезар, ни Клод не одобряют. Камарг есть Камарг: быки, белые гривы — это их страна. Куда деваться «манадам», когда везде понароют эти чертовы каналы? Приветливый хозяин подсел к столику — возражает, ссылаясь на экономические выгоды для всего края, приводит какие-то цифры.

К концу разговора застенчивый Клод оживляется. К сожалению, я почти ничего не понимаю — он говорит по-провансальски, — но когда на свет божий вылезают из бокового кармана кожаной куртки фотокарточки, все упрощается. Вот это мать — симпатичная, не старая еще женщина в очках; это отец — в большущем берете, когда служил в альпийских стрелках; это они все трое, это он, Клод, со своей невестой — стоят оба прямо, взявшись за руки, точь-в-точь как на наших провинциальных фотографиях; она — хорошенькая блондиночка в светлом полосатом платье, он в черном, совсем не идущем ему костюме с галстуком. Сезар хвалит невесту, а заодно и жениха. Клод сияет. Ему очень хочется что-нибудь мне подарить, но он не знает что. Берет, пояс, зажигалку? Не годится, старье.

Останавливается наконец на пестро раскрашенной открытке, приколотой над стойкой; на открытке — захватывающий эпизод из «Курс де кокард» — какой-то парень, спасаясь от преследующего его быка, прыгает через перегородку арены. Бык почти настиг его, рогом пропорол брюки.

— О, это Сезар! — смеется Клод, рисует на открытке стрелку, упирающуюся в зад прыгающему парню, и пишет: «Сезар!» Сезар рисует другую стрелку, упирающуюся в то же место у быка, и пишет: «А это Клод!» Оба хохочут, оба в восторге от своей шутки.

Потом мы прощаемся с хозяином и уходим. Сезар и Клод провожают меня до гостиницы. Как жаль, что я не могу поехать вместе с ними. Их хижина, по-провансальски «ма», совсем недалеко отсюда, возле Пати-

де-ла-Тринитэ, километрах в пяти от дороги в Сен-Мари-де-ла-Мер, куда мы завтра должны ехать. Вот где можно хорошо отдохнуть. Они бы все мне показали. И с быками познакомили бы. И с хорошими ребятами. Гардианы все ребята хорошие. Мне выдадут в собственное пользование Клотильду, самую спокойную из всех лошадей, и мы будем вместе гоняться за молодыми бычками, отделять их от «манад» и ставить на них клеймо. А в заливе Ваккарэ — мы туда тоже поедem — будем лежать среди зарослей лотоса, любоваться «летающими цветами» — фламинго — и набивать животы «буйябесом» — знаменитым провансальским супом из всяческой морской живности. А если мы попадем туда в первый день молодого месяца, мы можем увидеть, если только захотят духи, на дне залива сказочный античный город Анатилиа; а в таинственных лесах островка Риэж — маленького, живущего там очень веселого сатира... Одним словом, я не пожалею. Через два дня они закончат все свои дела в Арле и мы втроем двинем в их хижину возле Пати-де-ла-Тринитэ. Хижина маленькая, среди болота, но жить мы там будем припеваючи.

Мы долго трясем друг другу руки у входа в гостиницу, и я, конечно же, обещаю если не в этот раз, то в следующий свой приезд обязательно заехать к ним, в их маленькое «ма» возле Пати-де-ла-Тринитэ и пожить там месяц-два, а то и целых три...

Всю ночь ворочаясь на своей двупальной кровати, я носился с гардианским трезубцем — «фер» — в руках на белогривой Клотильде по камаргской равнине, отделял молодых бычков от стада и ставил на них клеймо.

На следующий день мы проехали мимо Пати-де-ла-Тринитэ. Хижины моих новых друзей я так и не увидел, но маленьких черных быков, настороженно глядевших на нас из-за кустов, мы с Паустовским все-таки сфотографировали, и я не сомневаюсь, что на одном из них было мое тавро.

3

Шумит ночной Марсель
В притоне «Трех бродяг»,
Там пьют матросы эль
И женщины с мужчинами
жуют табак...

(Популярная песенка двадцатых годов)

«Итак, мы в Марселе, дорогой читатель. Ты приехал сюда туристом, а может быть, и по делам, но, так или иначе, хочешь узнать наш город. Мы постараемся тебе помочь.

Без сомнения, ты уже разговаривал с марсельцами и они наговорили тебе кучу интересного и столько же ерунды. Конечно же, тебе уже рассказали о знаменитой сардинке, заткнувшей вход в Марсельский порт, и, конечно же, ты не поверил ни единому слову и принял это за обычный марсельский «трёп» (*une galéjade*). Ты видел фильмы Марселя Паньоля и, ступив на землю Марселя, уверен, что давно уже знаком с марсельцами, с этими беззаботными шутниками и хвастунами, и что где-нибудь в Старом порту обязательно встретишься с Мариусом, Оливом или Тэн-тэн, играющими в «пэтанк», и в перерыве между двумя партиями они расскажут тебе очередную забавную историю на своем марсельском жаргоне...

Я не хочу разочаровывать тебя, дорогой читатель, и не буду утверждать, что ты не встретишь в Марселе Мариуса или Олива, родных братьев легендарных героев «наших историй», но все же должен предупредить

дить тебя: если ты их встретишь, тебе повезет больше, чем мне, старому марсельцу, который, попав в Тараскон, так и не встретил Тартарена...»

Так по-марсельски живо и непринужденно начинается «Обращение к читателю» на первой странице путеводителя, который я купил в Старом порту Марселя, в том самом, где Мариус и Олив должны играть в неведомый мне «пэтанк». Дальше автор «обращения», называющий себя Мариусом из Марселя, развенчивает легенду о сардинке (на самом деле это был фрегат «Сардинка», бежавший из Тулона от английских пиратов и с пробоиной в борту застрявший при входе в марсельский Старый порт) и заканчивает свое «обращение» рассказом о некоем чужестранце-журналисте, «Марсельские истории» которого вызвали в 1925 году целую бурю в Марселе. Был организован даже клуб по борьбе с этими «историями». Председатель клуба выступил с речью, и цитаты из нее были расклеены в виде листовок по всему городу.

В чем же дело? Оказывается, журналист этот (фамилия его не называется), воспользовавшись гостеприимством марсельцев и услугами некоего архивиста, порылся в старых газетах и журналах, выудил оттуда кучу анекдотов и нелепых историй и сделал из всего этого сборник «Марсельских историй», старательно приперчив их марсельским жаргоном. С легкой руки этого журналиста, пишет Мариус, на страницы французской печати хлынул целый поток подобных «историй», и, хотя марсельцы ценят юмор и веселую шутку, все же... Одним словом, марсельцы обиделись.

Всю эту историю я рассказал в порядке некоего предостережения — и себе, и своим собратьям по перу. Когда пишешь о чужих странах, помни, всегда помни, что строки твои могут попасть на глаза читателей из этих стран, и самое обидное, если ты вольно или невольно уподобишься тому журналисту, о котором рассказал Мариус. А это, увы, еще случается...

Мой рассказ о Марселе будет краток. И не потому, что меня запугали расклеенные по стенам когда-то листовки, а потому, что в этом городе я был очень недолго.

Кто в свое время не мечтал о Марселе? Я тоже мечтал.

Кривые портовые улочки, полумрак, соленый запах моря, хриплые голоса, таверны, стук костей, идущие в обнимку горлающие моряки, такие сильные, смелые, грубые, верные в дружбе — море им по колено...

Я вспоминаю, как в двенадцать — тринадцать лет мы захлебывались Буссенаром и Жаколио. В определенном возрасте без экзотики не проживешь. Журнал, который мы тогда «издавали» (назывался он «Зуав», вышло четыре или пять номеров), заполнен был захватывающими повествованиями из жизни моряков, матадоров и браминов... Ничто и никогда я не писал с таким увлечением, как эти рассчитанные на много томов романы (я начал их штук пять, но дальше первой главы дело не шло), герои которых — Жаны, Франсуа, Джеки и Питеры — как на подбор были широкоплечи, мускулисты, шести футов ростом, с открытыми, честными лицами, готовые друг за друга (любви в этих романах не было) в огонь и воду.

Один из этих романов «Тайна острова Иф» начинался так:

«Марсель безмятежно спал. Теплая, южная ночь спустилась на город и обволокла безмолвный сейчас Старый порт и прилегающие к нему переулки. Тихо плескались волны и поскрипывали канаты на заснувших пакетботах и фрегатах. Многомиллионный город спал. Только в маленьком, забранном решеткой окошке форты святого Николая горел еще свет. Сквозь решетку можно было разглядеть сидящего за столом молодого офицера. Он что-то писал.

На колокольне собора святой Клотильды пробило три. Молодой офицер вздрогнул. Стоявший на столе фонарь осветил его благородное лицо с высоким, чистым лбом и упрямым подбородком.

«Осталось еще полторы минуты», — сказал он про себя и выдвинул ящик стола.

В это время в дверь кто-то постучал. Ловким движением офицер вынул из стола великолепный пистолет Лепаж с инкрустированной рукояткой и положил его себе на колени.

В дверь опять постучали.

— Войдите, — спокойно сказал офицер, сжимая в сильных пальцах рукоятку верного оружия.

Дверь открылась. Там стоял человек в черной маске...

Дальше между молодым офицером с высоким, чистым лбом и человеком в маске происходил разговор, из которого было ясно... Впрочем, ничего не было ясно — ни читателю, ни самому автору. После слов молодого офицера: «Ты заплатишься за это, грязный убийца!» — стояло: «Продолжение следует», которое так никогда и не последовало — в следующем номере «Зуава» начался новый роман — «Тайны браминов»¹.

Не помню уже, заглядывал ли я тогда в энциклопедический словарь, но, попав в Марсель, я выяснил, что форт святого Николая действительно существует (там сейчас расположен иностранный легион), а вот собора святой Клотильды обнаружить мне так и не удалось. Хорошо, что эти строки не попались на глаза Мариусу.

В Марсель мы приехали 20 декабря. Рано утром мы выехали из Гро-дю-Руа, поздно вечером были уже в Авиньоне. Всего проехали двести пятьдесят километров.

День был солнечный, поразительно теплый, даже жаркий, мы просто изнывали в своих пальто. В Москве в это время было двадцать градусов мороза, а здесь, на набережных Старого порта, все сидели за столиками на открытом воздухе, грелись на солнышке, попивали оранжад. В гавани тихо покачивались яхты. Какой-то парень, скинув рубашку и подставив декабрьскому солнцу загорелую спину, «драил медяшку». Небо было нежное, голубое, как в Крыму.

Увы, в Марселе мне не удалось побывать ни в одной таверне, ни в притоне «Трех бродяг». Я не завел дружбу ни с Мариусом, ни с Оливом, не выпил ни грамма эля, не побывал даже на острове Иф, тайны которого собирался когда-то разоблачить, — я просто бегал по городу и щелкал фотоаппаратом.

Фотоаппарат — это, конечно, бич. (У меня к тому же была и кинокамера.) Когда он болтается на шее, перестаешь быть нормальным человеком: ничего уже не воспринимаешь, ищешь только кадры.

Ко всему этому у меня порвался футляр камеры. В Париже я попытался его починить, но так и не нашел мастера, а за новый футляр на рю Риволи с меня запросили восемьдесят пять новых франков, что равноценно двум парам неплохих мужских туфель. Пришлось скрепить футляр двумя аптекарскими резинками, которые все время цеплялись за затвор и невероятно затрудняли перевод пленки. Одним словом, с двумя этими аппаратами, оттягивающими шею и плечи, где-то всегда забы-

¹ Через несколько дней в Париже у меня произошел любопытный разговор с таксистом. Он оказался русским, к тому же пишущим мемуары. Мы долго стояли с ним в автомобильном заторе где-то около площади Согласия, и вот там-то у нас завязался разговор на профессионально-литературные темы. В ходе этой беседы я вынужден был признаться, что за без малого сорок лет, прошедших со дня «Тайны острова Иф», моя писательская техника мало изменилась — приступая к диалогу своих героев, я никогда не знаю, чем он закончится.

ваемыми — то в кафе, то в машине, то на скамейке,— я порядком-таки намучился.

И все-таки фотоаппарат — это вещь. Придут сейчас друзья, вытащишь из стола толстую пачку фотографий — и опять перед тобой Старый порт с яхтами, и парень, торгующий замысловатыми раковинами, разложенными прямо на мостовой, и два молодых длинноволосых художника (один даже в пелерине), приспособившие свои в грубых мазках картины к фонарным столбам, и толстый марселец, которому надоело уже зазывать на свой катер, идущий к острову Иф,— вот он и разглядывает жирных голубей...

Но самые веселые, самые забавные, самые «марсельские» фотографии — это, конечно, дворы. Живописны они до того, что просто не веришь своим глазам. Неореалистический фильм. Развешанное белье, всякие ходы и переходы, лестницы с выщербленными ступенями, какие-то деревянные подпорки в виде аркбутанов, сквозь разрывы домов — крыши, крыши, тысячи громоздящихся друг на друга домов. И, конечно же, дети. Завидев фотоаппарат, они заставляли их фотографировать. Мамы не уступали детям. Одна, веселая, снялась даже с бутылкой в руке. Крик и хохот стоял невероятный. До чего же люди любят фотографироваться...

Потом мы забрались в вагончик невероятно крутого фуникулера (здесь он называется «ассансер»), поднялись к собору Нотр-Дам-де-ла-Гард, и оттуда, с высокого холма, я снимал раскинувшийся у наших ног город.

Я не знаю, откуда Марсель красивее — сверху вниз или снизу вверх. Когда я бегал с фотоаппаратом по набережной Старого порта, мне казалось, что снизу вверх. В гавани покачиваются такие стройные, такие изящные яхты и так красиво сквозь их переплетающиеся **мачты** рисуются колючий силуэт Нотр-Дам-де-ла-Гард. Я взбирался на какие-то тумбы, садился на корточки, прилаживался за столиками в открытых кафе, все выскивал кадры. А взобравшись на холм Нотр-Дам-де-ла-Гард, нашелкал оттуда целую пленку... Позади горы, впереди море. В море скала, острова. Вон и каменистый, с мрачными круглыми башнями Франциска I страшный Шато д'Иф — замок Иф, пристанище Железной Маски и графа Монте-Кристо. Если вы поедете туда, вам покажут даже камеры, в которых томились аббат Фариа и Эдмон Дантес. Но мы туда не попали, что поделаешь, посмотрели в подзорную трубу, и все... А внизу, у ног твоих,— город, большущий, расползшийся в разные стороны, карабкающийся на холмы, шумный, оживленный, второй город Франции по количеству населения. (Впрочем, как ни странно, но во Франции нет ни одного города, кроме Парижа, свыше миллиона, в Марселе только шестьсот шестьдесят тысяч — вдвое меньше, чем в Киеве.) Город вытянулся вдоль моря. В центре — Старый порт, небольшая, с узкой горловиной гавань, соблазвившая две тысячи пятьсот лет тому назад греков мореходов, основавших здесь свою колонию. До середины прошлого столетия Старый порт действительно был портом, сейчас же это место стоянки бесчисленного количества яхт и рыбацких суденышек, торговый же порт правее, растянулся на многие километры — пакгаузы, склады, краны и тьма пароходов. Налево от Старого порта пятикилометровая Променад-де-ла-Корниш — виллы и особняки, а по оси гавани прямая, как стрела, известная морякам всего мира, знаменитая Канебьер — главная улица Марселя. Когда-то на этом месте были болота, в средние века их осушили и засеяли коноплей; отсюда и нынешнее название — Канебьер (chenevières — по-французски конопляник).

За шесть веков до нашей эры Марсель назывался Массилия. Так прозвали его греки, основавшие здесь новую колонию. Потом он захвачен был римлянами, подвергался бесконечным нашествиям вестготов, остготов, бургундов, франков. Затем был городом-республикой, крупнейшим экономическим центром Прованса, в XV же веке подпал под власть французских королей. В годы французской революции стал на сторону восставшего народа и на весь мир прославился песней, к созданию которой не имел фактически никакого отношения. Сочинена она была в Страсбурге, в ночь с 25 на 26 апреля 1792 года военным инженером Руже де Лилем и называлась поначалу «Боевой песней Рейнской армии». В революционный же Париж ее принесли марсельские волонтеры, и с тех пор она стала называться «Гимном марсельцев», или «Марсельезой».

Вряд ли какая-нибудь песня пользовалась такой всенародной любовью и признанием. Зовущие в бой за свободу слова ее звучали при народном штурме Тюильрийского дворца 10 августа 1792 года, в июльские дни 1830-го, в февральскую революцию 1848-го, на баррикадах Парижской коммуны. В восьмидесятых — девяностых годах прошлого века она стала боевой песней русских революционеров. Дважды она во Франции была запрещена — во время Реставрации и Второй империи. Думаю, что во времена Петена, когда официальная геральдика заменила «Свободу, равенство и братство» на «Семью, труд, отчизну», ее тоже не очень-то рекомендовали петь.

За последние три столетия Марсель перенес два очень сильных потрясения — чуму 1720 года, унесшую около двух третей населения города, и разрушения последней войны. Город усиленно бомбили немцы, потом англо-американская авиация. Торговый порт был почти полностью уничтожен. Немцы затопили в нем двести тридцать кораблей. Пострадал и Старый порт, особенно северная его часть. Сейчас все восстановлено, следов войны не видно — Марсель опять стал крупнейшим торговым портом Франции и, если не ошибаюсь, четвертым по своим размерам в Западной Европе, после Лондона, Гамбурга и Ливерпуля.

Об архитектуре Марселя ничего особенного не скажешь. Город как город. Прямые улицы, большие дома, витрины, оживленные улицы. Живописность придают горы, холмы и море. В XIX веке отцами города, очевидно, очень любим был архитектор Эсперандье. Как в свое время в Киеве Городецкий, он понастроил в Марселе множество пышных, сплошь подражательных и эклектичных зданий в стиле московского или питерского «Елисея». Именно архитектору Эсперандье обязан Марсель и базиликой Нотр-Дам-де-ла-Гард, той самой, с эспланады которой мы никак не можем уйти.

Что-то эффектное в этой базилике, конечно, есть. Стоит высоко на горе, много лестниц, подпорных стен, сорокапятиметровая колокольня с венчающей ее позолоченной фигурой Богоматери, вокруг еще множество разных скульптур, но — в общем — марсельский Нотр-Дам может поспорить только с парижским Сакре-Кёр, помпезным собором на вершине Монматра, который истые парижане не очень-то жалуют. Что поделаешь, конец прошлого века отнюдь не был золотой порой в истории архитектуры...

Внутри собор интереснее. Но опять же не архитектурой, а теми трогательными и наивными знаками человеческой веры в сверхъестественное, которое так распространено в южных странах и особенно среди моряков. Нотр-Дам-де-ла-Гард — по-русски Богоматерь-охранительница. Есть у собора и другое название: *La Bonne Mere des Marseillais* — Добрая мать марсельцев. Марсельцы верят в чудодейственную силу

своей покровительницы и в знак благодарности за содеянные ею чудеса наделяют ее подарками. Подарки эти заполняют все внутреннее пространство церкви. На тоненьких тросах свешиваются из-под сводов сотни маленьких корабликов, великолепно сделанные копии различных фрегатов, шхун, сейнеров, рыболовецких траулеров, спасшихся в свое время от кораблекрушения. Есть здесь и торпедные катера, и эсминцы, даже крейсера, уцелевшие после сражений. Висит даже несколько крохотных танков, сделанных с завидным мастерством, десятка два истребителей, бомбардировщиков. А на стенах вместо икон, которых католическая церковь не признает, великое множество картин — маленьких, средних, больших, совсем простеньких рисунков, акварелей и громадных полотен в тяжелых золоченых рамах, живописующих драматические моменты борьбы человека с разбушевавшейся стихией. И у каждой табличка с благодарностью пресвятой деве Марии за спасение на воде, на море или в воздухе.

Мы вышли из собора. Где-то вверху ударили в колокола. Я поднял голову. Высоко над нами, сияя золотом, спокойно смотрела вдаль Добрая мать марсельцев. Кто ее автор — мне неизвестно: в путеводителе сказано только, что рост ее девять с половиной метров, а вес четыре тонны...

Перед тем как сесть в «ассансер», мы посмотрели еще в телескоп, рядом с которым на ножке стояла табличка с надписью: «Лучезарный город» Ле Корбюзье. Побывать в Марселе и не увидеть его — то же самое, что, посетив Каир, не посмотреть на пирамиды». Добираться было далеко (дом находится на южной окраине города, в конце бульвара Мишлэ) — пришлось ограничиться телескопом.

Сейчас этот гигантский восемнадцатизэтажный корпус, именуемый «Жилая единица» (единица «Лучезарного города»), а еще точнее «Жилая единица соответствующего размера», является гордостью и одной из главных достопримечательностей Марселя. В путеводителе так и сказано: «Здание это сквозь века пронесет память о гении его строителя». Но сколько мытарств, сколько издевательств перенес строитель его, пока плод двадцатипятилетних раздумий и теоретических обоснований не превратился в гордость Марселя. Ле Корбюзье, правда, мог уже давно привыкнуть к международным скандалам, связанным с его проектами, но все-таки нужно обладать железной выдержкой и упорством, чтобы преодолеть все преграды, которые стояли на его пути¹. За время строительства «Жилой единицы» (1945—1950) десять раз менялось правительство, семь различных министров градостроительства ставили под сомнение его стройку. Учитель Ле Корбюзье Перре подверг проект

¹ Мишель Рагон в своей очень интересной книге «О современной архитектуре» рассказывает о скандале в связи с конкурсом на Дворец Лиги наций в 1928 году. Дворец Лиги наций в Женеве явился результатом серии негодных комбинаций. Первая премия и права на осуществление были присуждены проекту Корбюзье. Но архитектор академик Лемарсье сделал заявление о том, что этот проект недействителен, так как вместо китайской туши он был вычерчен типографской краской. Тогда каждому из членов жюри было предоставлено право выдать по одной премии. Были отобраны девять проектов и среди них проект Ле Корбюзье, который опять собрал большинство голосов. Проект Ле Корбюзье был единственный, в котором стоимость строительства была ниже заданной — тринадцать миллионов франков. Самый дешевый академический проект предусматривал стоимость, равную двадцати семи миллионам франков. Чтобы отстранить Ле Корбюзье, Ассамблея увеличила ассигнования на пятьдесят процентов.

Все профессиональные организации протестовали против подобного разрыва контракта. В качестве арбитров были назначены пять посланников. Они также признали проект Ле Корбюзье лучшим. Наконец ему был противопоставлен проект некоего архитектора академика Нено, который выполнил свою работу, взяв за основу проект Ле Корбюзье. Это послужило поводом к новому скандалу. Ле Корбюзье обвинил Лигу наций в плагиате, но все эти демарши оказались безрезультатными.

полному разгрому. Комиссия по гигиене требовала сноса «Жилой единицы»... Президент Ордена врачей департамента Сены сделал официальное заявление о том, что шумы внутри здания будут способствовать душевным заболеваниям. Марсельцы прозвали его «сумасшедшим домом». Летом 1956 года пресса заговорила о фактах тяжелого нервного расстройства среди жителей «Жилой единицы»...

Сейчас — это гордость Марселя, дважды уже повторенная в других городах. Семь «жилых единиц» запроектированы для города Мо, что позволит разместить в них десять тысяч жителей. Это будет первый пример «лучезарного города».

Что же всех так пугало и возмущало в этой нашумевшей на весь мир еще до своего рождения «Единице»? Новаторство, ломка канонов — вот что!

Основная идея авторов проекта (Ле Корбюзье, Воженского и инженера Бодянского) — это «индивидуальная свобода в коллективной организации».

«Если верить народным референдумам,— пишет в своей книге Мишель Рагон,— то типом идеального жилища является маленькая вилла в маленьком саду, в маленьком пригороде, с маленькой женой и маленькими детьми. Соблазнительно, но вряд ли осуществимо.

А вот Ле Корбюзье попытался.

«Жилая единица» состоит из восемнадцати этажей и трехсот тридцати семи квартир на тысячу шестьсот человек. Каждая квартира так же автономна, как индивидуальный дом (все квартиры двухэтажные и полностью звукоизолированы), и в то же время жильцы получают полноценное коллективное обслуживание. Первого этажа в доме нет (значит, нет и сырости) — это столбы, на которых стоит здание. Восемнадцатый этаж — крыша-терраса. На ней беговая дорожка, гимнастический зал, солярий, кафетерий, плескательный бассейн для детей, бетонная горка и песок для игр. Тут же выход в детский сад. На остальных этажах шесть горизонтальных и четыре вертикальных (лифты) улицы. Одна из горизонтальных — торговая. Не выходя из дому, вы можете полностью «отовариться». Кругом «Единицы» парк. Она купается в воздухе, зелени и солнце. Из окон в одну сторону — горы, в другую — море... Действительно, есть от чего с ума сойти.

В телескоп мы видим только белый корпус среди зелени. У нас нет времени осмотреть его, мы и так уже опаздываем. А до чего хотелось бы походить по его улицам, заглянуть в какую-нибудь из квартир и самому оценить, насколько неудобна «недопустимая близость» соседей, как писали газеты 1950 года, или мучительно «трагическое одиночество», о котором пишут враги Ле Корбюзье сейчас.

Один мой приятель, когда я прочитал ему это место, рассмеялся: «Побойтесь бога, какое же тут новаторство. Я вот уже скоро тридцать лет живу в таком же доме. На углу Арбата и Смоленской. Те же коридоры-улицы, те же выходящие на эти улицы квартиры, и «гастроном» даже на первом этаже есть. И ничего особенно «лучезарного» я в этом не нахожу. Я даже понимаю этого президента Ордена врачей, который писал о каких-то там случаях нервного расстройства»...

Мой приятель шутил и в то же время был прав (у него была однокомнатная квартира без вида на море и горы, и курить нам приходилось выходить в коридор), но когда ему дали отдельную квартиру на Юго-Западе, он все-таки путем обменов остался в своей арбатской «единице», перебравшись на шестой этаж, и, хотя солярия и беговой дорожки у него до сих пор так и нет, зато появился вид на Москву-реку. Нет, очевидно, что-то соблазнительно даже в этом арбатском варианте «лучезарности» все-таки есть. И опять мой приятель выбил оружие из моих рук. «Просто

я призыв к этому «гастроному», — сказал он и посмотрел на часы: как раз кончился обеденный перерыв. — Может, сбегать? За здоровье Корбюзье. За приоритет над ним...»

Мы покидаем Марсель около шести часов вечера. Наш шофер Морис — спокойный, молчаливый, совсем не похожий на провансальца — начал уже слегка ворчать: настал самый час пик. Улицы были запружены до отказа, нам подолгу приходилось стоять на каких-то перекрестках. Солнце уже зашло, но по-прежнему было жарко. Бойкая марсельская ребятня бегала в одних клетчатых ковбойках, даже солидные, пожилые мсье несли свои пальто на руках. (Через несколько дней в Марселе выпал снег какой-то там толщины — об этом писали все газеты и приводили множество фотографий, в основном Старого порта с заснеженными яхтами.)

Мы долго выбирались из города — везде нас поджидали пробки. Перед нами ехал грузовик с солдатами. Молодые, веселые, в забавных своих синих беретах с ленточками, они на всех заторах с кем-то перекрикивались, смеялись, а один из них, смуглый, похожий на д'Артаньяна, каждый раз, когда мы впритык упирались в их машину, вынимал из-за пазухи клаксон и неистово дудел им в лицо нашему Морису. Морис ничуть не раздражался, а солдат покатывался от хохота. Мы тоже смеялись.

Я почему-то не могу равнодушно смотреть на солдат. Когда-то я сам ими командовал, и покрикивал на них, и ворчал, и бранился, а в чем-то немного завидовал (в том, чего не хватало мне, горожанину), и жалел их, и восхищался, а когда война кончилась и пришлось сбросить погоны, вдруг загрустил по ним. Мы всегда жили дружно и редко друг на друга обижались. Вот и стало грустно, когда остался вдруг один. И не один вроде — семья, друзья, — и все же один — нет твоего батальона... Теперь, когда мимо меня проходит какая-нибудь воинская часть, я всегда остававливаюсь и долго слежу за ней, шагающей посреди мостовой с обязательным сержантом сзади — в руке красный флажок или вечером фонарь. Вот они какие теперь, солдаты, все на подбор, один к одному, не то, что в войну.

А вот в этой машине перед нами французские солдаты. Я смотрю на них и думаю: чем они отличаются от наших? Внешне только формой — защитного цвета куртки с карманами, береты с эмблемой на боку. А так — такие же ребята: молодые, веселые, похожие немного на грузин — марсельцы все-таки. И ничем они не похожи на завоевателей, каких я видел в войну, — наглых, жестоких, самоуверенных, с засученными рукавами и расстегнутыми воротами. Вот остановится эта машина в каком-нибудь маленьком городишке или деревушке, и солдаты сразу рассыплются, и сразу же откуда-то возьмутся девушки и, конечно же, мальчишки: «А можно потрогать автомат?..»

Когда мне было четыре или пять лет, я тоже бегал за такими вот солдатами: они каждое утро проводили какие-то занятия возле нашего дома у парка Монсури, только тогда штаны и кепи у них были красные, а шинели голубые с отвернутыми лапами — и, конечно же, в перерывах они хватали нас, мальчишек, на руки и кололи плохо выбритыми щеками, и я был в восторге...

Где-то на самой окраине Марселя машина с солдатами свернула направо. «Д'Артаньян» на прощание подудел нам в свой клаксон, и машина скрылась за поворотом. А я невольно подумал: так вот они какие, эти солдаты, солдаты НАТО... Не дай бог что-нибудь произойдет, нажмет какой-нибудь сумасшедший кнопку — и вся эта смеющаяся, весело гудя-

шая сейчас в клаксон молодежь, которая меньше всего хочет вѣины... Но я тут же отогнал эту мысль от себя. Не хотелось думать, покидая Марсель, о войне. Не хотелось, не хочется в нее верить...

Полгода спустя в Москве я познакомился с солдатом НАТО. Вернее, бывшим солдатом. Здесь, в Москве, он был французским врачом, проходящим в порядке культурного обмена стажировку в одной из московских клиник. А несколько лет тому назад он был французским солдатом, затем младшим офицером и воевал в Алжире. Звали его Жан-Мари.

Их было двое — Жан-Мари и Коко. Оба врача. Оба приехали в Москву на полгода. Коко — небольшого роста, плотный, чернявый — член французской компартии. Жан-Мари — высокий, светлый, носатый, с голубыми глазами навывкате и волосами во все стороны. Похож скорее на скандинава, но увлекающийся, горячий. С Коко они друзья. Но вечно спорят, главным образом на общественные темы, спорят везде: на улице, в гостях, у себя в гостинице, иной раз всю ночь, до утра. «Научились у вас, у русских...»

Коко — врач. Но в первую очередь коммунист. Он интересуется всем: искусством, литературой, театром, — но социальное для него важнее всего, в том числе и в искусстве, литературе, театре. И в медицине тоже. Я вижу его в будущем любимцем рабочих окраин, «нашим Коко», как не могут не называть его будущие его пациенты, — отзывчивым, добрым, смелым и борцом, борцом не только с болезнями, но и за социальную справедливость.

Жан-Мари из аристократической семьи. Об отце своем не без иронии говорит: «Аристократ, реакционер, расист... Не верите? Честное слово. Таким и я в молодости был. Потом попал солдатом в Алжир. Тут все и произошло...»

Да, Алжир переломил Жан-Мари. Он увидел настоящую колониальную войну, увидел зверства, жестокости. У генерала Массю офицеры были на подбор. ОАС, «ультра» — это оттуда, от него. К местному населению никакой жалости. «Алжир должен быть французским!» Алжирцев — воюют они или не воюют — сгоняли за колючую проволоку, в концентрационные лагеря. В одном из таких лагерей Жан-Мари служил сначала солдатом-санитаром, затем врачом. Он собственными глазами видел, что делали с алжирцами. Нестерпимые условия вызывали болезни. Лечить не разрешали. Аспирин — и все! От любой болезни. За нарушение — трибунал.

Жан-Мари нарушил. Он лечил больных. Его судили. Осудили. Отсидел положенный срок. И опять стал лечить. Его перевели во Францию.

— О! Какой народ! Вы не представляете себе. Я влюбился в него! И они меня полюбили. Попадете в Алжир — обязательно спросите об Абдер-Аза. Вот спросите, спросите. Ну да, это они меня так прозвали. И плевал я на то (он сказал несколько грубее), что меня прогнали во Францию... Все равно я вернусь. Я им нужен. И они мне нужны. Я буду работать в Алжире, вот увидите...

Тут в спор всегда вступал Коко. Он понимает любовь Жан-Мари к алжирцам, но неужели он думает, что во Франции так уж все благополучно? Французов тоже надо лечить. Не обязательно же богачей, не обязательно кабинет на бульваре Сен-Жермен — сколько рабочих, сколько крестьян требуют медицинской помощи. Во Франции тоже надо вести борьбу — с шарлатанами, знахарями.

Жан-Мари не сдается: он все это прекрасно понимает, но в Алжире он нужнее. Коко пусть работает во Франции, а он вернется в Алжир. Все. Точка.

Сейчас Коко и Жан-Мари во Франции. Поступили в аспирантуру. Домой Жан-Мари летел через Киев. Один день мы провели вместе.

Когда я пришел к нему в гостиницу, он несколько смутился: «Простите, такой беспорядок». Чемоданы были раскрыты, все было вывернуто наружу.

— Это я ищу алжирские пленки. Впопыхах сунул куда-то и не могу найти. Хочу вам показать.

Он их наконец нашел — крохотные цветные диапозитивы. И сразу же загорелся:

— Вот это Алжир, центр города. И не скажешь, что Африка, правда? А это арабская часть, мусульманская... Это вот лагерь наш — видите, столбы, проволока... А это мои друзья, старик и старуха. Я их долго лечил от дизентерии. Они мне даже изредка пишут... И это друзья. Возле своего дома. На фото он очень живописен, не правда ли, но на самом деле... Это очень страшно — нищета, нищета... А это... Это убитые алжирцы. За полчаса до того как я их снял, они были еще живы... Нет, вы не представляете, какой это народ... Смелый, добрый, благородный и нищий, нищий. Ох, какой нищий... Сейчас Алжир стал независимым. Но как ему еще трудно. И долго будет трудно... В новом Алжире я не был, надо все видеть собственными глазами. А по газетам трудно судить. Многое непонятно. Сложно, сложно, очень сложно...

Когда Жан-Мари начинает говорить об Алжире, его надо перебивать: сам он никогда не остановится.

Я взял в руки лежавший на диване альбом — памятники русской архитектуры.

— О! Это мне друзья подарили. Я так им благодарен. Достали где-то эти старые альбомы и подарили. Тут и Суздаль, и Владимир, и Ростов, и Новгород... Лучший для меня подарок.

Ну, конечно же, и Коко и Жан-Мари приехали сюда поучиться у наших врачей — оба они невропатологи, — но самое главное не это, не медицина, самое главное — посмотреть нашу страну.

И тут Жан-Мари нас потряс. Он облазил всю Москву вдоль и поперек. И не только восторгался ее древними церквями и ансамблями, но проявил такие познания в русской архитектуре прошлого, что мне, бывшему архитектору, оставалось только краснеть.

— О! Манифик, манифик! Великолепно! Формидабль! Потрясающе!

И вот ему подарили альбомы Владимира, Суздаля, Ростова. Он был в восторге. Я, чтоб не отстать от москвичей, преподнес ему «Софию Киевскую». Это было не очень гуманно с моей стороны: мы потом еле-еле перетасили его чемоданы от такси до поезда — все это были книги.

Поезд на Будапешт отходил в двенадцать дня. Утро было свободно. Мы погуляли по городу. Опадали последние, ослепительно желтые листья кленов, под ногами шуршало, небо ясное, воздух чист и прозрачен. Чуть-чуть подмораживает. Мы бродили по Владимирской горке, смотрели на ставший вдруг полноводным Днепр, на затянувшиеся легкой дымкой дали, на дымящийся внизу Подол. И Жан-Мари все восторгался:

— Манифик! Формидабль!

Мы прошли мимо Андреевской церкви, Софийского собора (вчера он успел уже в одиночку его осмотреть), спустились вниз на Крещатик. Жан-Мари погрустнел:

— Я не хочу уезжать. Не хочу. Мне грустно. Мне очень грустно... Я не хочу с вами расставаться. Со всеми вами...

То была правда. Не французская галантность, а правда. Я видел, что ему не хочется уезжать. С открытой душой, со всей своей искренностью тянулся он к людям, с которыми здесь познакомился, сдружился. И радовался каждому новому знакомству. Как ребенок, радовался. И очень огорчался, когда кто-нибудь относился к нему с осторожностью,

видя в нем иностранца, начинал неумеренно расхваливать наши достижения или неуклюже скрывать недостатки.

— Зачем они это делают? — недоумевал он. — Ведь я все сам вижу. И хорошее вижу, и плохое. И интересует меня больше хорошее.

Жан-Мари не хотелось уезжать. Он радовался нашим успехам, видел наши трудности, наши заботы, многого не понимал, с чем-то не соглашался, но уезжать не хотел: он полюбил Россию, полюбил ее людей.

— Неужели это навсегда? Неужели не приеду? Туристом? Очень дорого. Невероятно дорого. И вообще это не то...

Мы расстались на перроне. Даже расцеловались. Вскочил он уже на ходу. Долго еще махал рукой.

Я рад, что познакомился с Жан-Мари. И не только потому, что он умный, веселый и обаятельный парень, а потому, что всем своим обликом, темпераментом, строем мыслей, своей честностью и благородством он укрепил во мне веру во Францию, во французский народ. Нет, настоящий француз не стреляет в алжирца — он ему помогает, он его лечит, будь даже отец этого француза «аристократом, реакционером и расистом». Генерал Массю и его парашютисты — это не Франция. Настоящая Франция, ее будущее — а я верю в него — это Жан-Мари, это Кокко — это люди широкого ума, горячего сердца и — без этого француз не будет французом — веселой, лукавой усмешки в глазах.

Поездка по Провансу подходила к концу. Еще один вечер в Авиньоне, в тихой гостинице с целующимися пастушками и маркизами на стенах, а утром мы уже мчались на север, в Париж.

За неделю мы все-таки кое-что повидали. В Сент-Мари-де-ла-Мер, излюбленном месте Ван-Гога (сюда он приезжал из Арля писать знаменитые свои барки), мы встретились со Средиземным морем. Встретило оно нас неприветливо — серое, недовольное, с ветром, срывающим с волн брызги. На берегу сохли сети, хлопало развешанное на веревках белье. Мы погуляли по пляжу, подняв воротники (а я, грешным делом, захватил плавки, думал выкупаться), и, осмотрев старинную церковь (надо же что-то осмотреть), через Камарг двинулись в Гро-дю-Руа, то самое, где в маленьком кабачке «Пти мусс» я познакомился со старым русским эмигрантом. Ночевали мы в совершенно пустом отеле — ни одного постояльца, кроме нас, — у самого моря; казалось даже, что брызги залетают в окно. В ресторане тоже никого. За окном завывал ветер, шумело море. Пожилая, молчаливая, с недоверчивой улыбкой хозяйка подавала нам блюда. Муж ее — гигант с каменным лицом, леденящим взглядом и такого размера руками, что невольно пробежал мороз по коже, — молча, не глядя на нас, стоял за стойкой. Иногда они о чем-то перешептывались. Всплыли в памяти вычитанные где-то в детстве истории про заброшенные харчевни и разбойников. Поднявшись к себе в номер, я долго не мог заснуть. Прислушивался к завыванию ветра и скрипящим ступеням ветхой лестницы. Вот откроется сейчас дверь и войдет хозяин. Я уже чувствовал железные его пальцы, сжимающие мое горло... Утром, когда мы прощались, оказалось, что у хозяина доверчивая, милая, совсем детская улыбка. К тому же выяснилось, что он коллекционер бабочек. С такими ручищами. Бывает же такое...

О Гро-дю-Руа наша Ольга Леонидовна говорила, что это маленький рыбацкий поселок. «Можно было бы, конечно, поехать в Монте-Карло, Ниццу, Монако, но мне показалось, что вам интереснее будет посмотреть рыбацкий поселок».

Наутро мы увидели, что в этом рыбацком поселке шесть или восемь гостиниц, из них четыре многоэтажных, в самом современном стиле,

построенные только в прошлом году. Все они сейчас пустовали — ждали сезона.

В таком же духе говорила Ольга Леонидовна и о маленькой провансальской деревушке Эгальер, в которой она обычно с детьми проводит лето. «О, это совсем глухая деревня. Типично провансальская. Туристские компании хотели превратить ее в одну из достопримечательностей Прованса, но население воспротивилось. Там тихо и заброшенно, вы сами увидите».

Когда мы приехали туда, мы обнаружили на главной улице штук десять или двенадцать легковых машин, а в маленькой, очень уютной таверне, где во второй комнате жарилось в камине на вертеле что-то вроде зайца, на стойке веером были разложены открытки с видами «глухой деревушки», а на столах стояли крохотные пепельницы с золотой надписью «На память об Эгальере». Радужные хозяева, конечно, тут же преподнесли нам по такой пепельничке. Кстати, таких и подобных ей пепельниц у меня накопилось великое множество — во Франции в гостиницах и ресторанах их охотно преподносят: «На память о нас, чтоб еще раз приехали»... А в одном ресторане, у m-me Луизетт на Блошином рынке в Париже, мне подарили даже столовый нож, который очень хорошо режет — в виде пилки. Дома на него теперь не нарадуются.

К слову, о туризме. У нас принято иронизировать над западным туризмом. В Швейцарии, мол, за год пребывает иностранцев раз в десять больше, чем во всей стране живет швейцарцев. Куда ни плюнь — отели, пансионы, указательные стрелки на всех языках. Страна, мол, только и живет и благоденствует благодаря этим туристам. Как Монте-Карло за счет игроков.

Я тоже не великий поклонник туристов как таковых. Громадные их толпы — все в темных очках, с фотоаппаратами и «беденкерами» — я видел на улицах Рима, в Ватикане, в залах Уффици, в Венеции, Помпее, на Капри. Саранча... Становится даже тоскливо... Но то, что эту саранчу умеют обслужить, создать все удобства, показать самое красивое (пусть ради денег, для бизнеса) — это факт.

Несколько лет тому назад я попал на озеро Севан. Это одно из красивейших мест Армении. Прозрачное, полное форели, высокогорное озеро, кругом горы, редкой чистоты воздух. Казалось бы, все создано для санаториев, домов отдыха, туристских лагерей, кемпингов. Ничего этого нет — берега пусты. Только на маленьком острове — сейчас, после постройки электростанции превратившемся в полуостров, — два миниатюрных дома отдыха человек на сто, не больше. Говорят, лучшего места, чем Севан, для лечения туберкулеза не найти, а вот все ездят в Алупку, Симеиз и сидят там друг у друга на головах.

Чтоб не возвращаться больше к туризму, несколько еще слов о путешественниках. Одно время у нас их почти совсем не было. Теперь их много. Одни получше, другие похуже. Когда-то, в незапамятные времена, были очень неплохие путеводители по Крыму и Кавказу Григория Москвича (его «Крым» лежит на самом почетном месте в ялтинском домике Чехова на письменном столе, рядом с «Врачебным справочником»), сейчас они стали библиографической редкостью. Во Франции наиболее популярен «Зеленый гид» Мишлэн (кстати, основная специальность этой фирмы — производство автомобильных покрышек). Серия эта состоит из недорогих (5.25 новых франков), превосходно изданных полиграфически, продолговатых (очень удобно помещающихся в кармане пиджака) зеленых книжечек с множеством сведений, очень подробными картами, планами и изящными, гравированными на стали иллюстрациями. Серия состоит из двадцати книжечек, охватывающих не только все департаменты

Франции, но и Швейцарию, Австрию, Италию, Алжир и Марокко. Каждый год «гиды» переиздаются, пополняясь новыми сведениями.

Итак, Прованс уже позади. Позади Марсель, и тихий Арль с пустующей сейчас ареной, и папский Авиньон, и раскопки древнего галло-римского города Гланум возле Сен-Реми (здесь я впервые ознакомился с римской картографией — большим планом города, высеченным прямо на мраморе; говорят, он очень помог при раскопках). Позади и знаменитое Ле Бо — поразительнейший уголок Прованса, о котором не могу не сказать несколько слов. Впрочем, «уголок» — это не то слово, это скорее остров, только омываемый не морем, а воздухом. Сейчас Ле Бо — это малюсенькая деревня со ста восьмьюдесятью жителями, прилепившаяся среди скал небольшого плато размером девятьсот на двести метров, отрога горной цепи Альпиль. Первое впечатление от этих скал — что они сделаны Густавом Дорэ. Только он мог такое придумать, больше никто — все эти каменные, иссеченные ветрами и дождями, фантастические зубчатые утесы, увенчанные руинами средневекового замка. Понять, как этот замок был построен, невозможно. Какими приспособлениями доставлялся по отвесным стенам на головокружительную высоту камень, как его там клали, кто и как, выражаясь нашим языком, рассчитывал эту массивную, не пробиваемую ядрами крепость да еще в XIII веке — одному богу ведомо. А вот построили и жили в нем могущественнейшие феодалы, сюзерены семидесяти двух окрестных городов и крепостей. Здесь, среди этих сказочных скал, жило «племя орлов и никогда вассалов», по выражению Мистралья, здесь с легкой руки прекрасной и доброй королевы Жанны красивейшие дамы Прованса выдавали премии на своем трибунале галантнейшим из галантных рыцарей и трубадуров, и благороднейшим из них награждался короной с павлиньими перьями и поцелуем красивейшей из дам. Правда, не всегда все кончалось так благополучно. Иной раз ревнивый владелец замка расправлялся с победителем турнира и вырванное из груди сердце его, как лучшее из блюд, преподносил даме своего сердца. Да, страсти роковые... Сейчас как-то все прошло. И в руинах замка, разрушенного Людовиком XIII, которому надоели строптивые и непокорные хозяева его, среди мрачных стен, свидетелей пышных и жестоких торжеств, гуляет сейчас только ветер да изредка заберется сюда со своей «пентакой» какой-нибудь турист из наиболее смелых и молодых.

Я не берусь описать вид, открывающийся с этих стен, когда-то ласкавший взгляд прекрасной королевы Жанны. «Манифик, формидабль!» — как сказали бы французы на моем месте.

Перед вами весь южный Прованс — от горной гряды Альпиль до Средиземного моря. В хорошую погоду можно, говорят, разглядеть Эг-Морт и Сент-Мари-де-ла-Мер. Ничего не скажешь, умели все-таки в средние века строить, умели и подходящие «площадки» находить.

Феодалов давно уже нет. Вместо них теперь туристы. От них зависит благосостояние ста восьмидесяти жителей деревушки. На средневековых узеньких улочках ее множество лавчонок, торгующих открытками, сувенирами и фото- и кинопленками: любителю пошелкать тут работы хватит. Но не только развалинами и скалами славится этот уголок — оказывается, такое прозаическое слово, как «бокситы», происходит именно от этого самого Ле Бо: в 1822 году именно здесь, в двух километрах на запад, в сторону Арля, были впервые обнаружены залежи минерала, давшего нам алюминий.

Видите, какие занятные вещи узнал и увидел я, попав в эту маленькую деревушку, полное название которой Ле-Бо-де-Прованс, находящуюся на полпути от римского города Гланум к знаменитой мельнице Альфонса Додэ. Что ни шаг, то история...

В середине декабря 1962 года в Гаврском порту на борту трансатлантика «Франс», отправлявшегося в Америку, ждали прибытия знатной пассажирки. День и час ее прибытия держался в секрете. Неизвестен был и маршрут, по которому она должна была прибыть. Все было окутано тайной. В самом центре корабля, где меньше всего ощущается качка, знатной пассажирке выделена была самая комфортабельная каюта М-79.

Встретить пассажирку явился в порт субпрефект Гавра в парадной форме в сопровождении двух взводов морской пехоты почетного караула.

В назначенный, но неизвестный журналистам час машина таинственной пассажирки, окруженная тремя броневиками и восемью мотоциклистами, подъехала к борту «Франс». Солдаты в белых перчатках взяли на караул. В окружении полицейских с автоматами в руках таинственная дама, которая всю дорогу загадочно улыбалась, не проронив при этом ни слова, со всеми положенными знаками внимания была препровождена в отведенную ей каюту. Вслед за ней последовало шесть ее телохранителей. Через несколько дней ее восторженно встречали в Америке...

Четыреста пятьдесят лет тому назад эта юная флорентийка была женой сеньора Франческо ди Бартоломео ди Заноби дель Джокондо. Звали ее Монна-Лиза. Леонардо да Винчи увековечил ее. И вот она впервые в своей жизни пересекала океан по приглашению Жаклин Кеннеди.

Вряд ли среди произведений искусств всего мира и всех эпох найдетcя портрет более известный, более популярный. Во время одного опроса, проведенного во Франции среди учащихся начальных школ, выяснилось, что две трети детей не имели представления ни об одной картине, кроме Джоконды. По другим сведениям, в Западной Европе людей, знающих Джоконду, в два раза больше, чем слышавших о Наполеоне.

Ни об одном полотне ни одного художника столько не писали, столько не спорили.

В 1911 году, когда Джоконда была выкрадена неизвестным злоумышленником из Лувра, о ней писали все газеты мира, на ее поиски были брошены все силы французской полиции. Найдена она была через два года в Италии. Похитителем оказался итальянец Винченцо Перуджиа, выкрававший ее, по его словам, из патриотических убеждений: она, мол, итальянка и должна жить в Италии. То, что она была продана Леонардо да Винчи французскому королю Франциску I за тысячу двести ливров (триста миллионов старых франков), его ничуть не интересовало. Сейчас эксперты оценивают картину в пятьдесят миллиардов старых франков, что на четыре миллиарда дороже самого современного лайнера «Франс», на котором Джоконда отправилась в свое путешествие.

Обо всем этом наперебой писали все газеты Парижа в те дни, когда мы там были. Из них я узнал несметное количество деталей и подробностей, доселе мне неизвестных. Узнал, что исследователи-врачи каким-то образом определили рост Монны-Лизы (1 м. 75 см.), другие еще более тонкие специалисты доказали, что прекрасная флорентийка, изображенная на портрете, находится в ожидании младенца; третьи, еще по каким-то признакам,— что она глуха, четвертые, что она, без всякого сомнения, страдала астмой, наконец пятые утверждали, что художнику позировала вовсе не женщина, а юный флорентийский паж... Узнал я и о том, что в 1957 году некий, очевидно сумасшедший, боливец запустил в Джоконду камнем и повредил ей руки (после чего картину защитили специальным не пробиваемым пулями стеклом), а другой одержимый, имя которого так и осталось неизвестным, в течение двадцати лет, с 1919 по 1939 год, ежедневно посещал Лувр и подолгу стоял перед портретом. Только война прекратила эти визиты...

И еще узнал я, что в мире существует двести копий знаменитой картины и что сто восемьдесят четыре из них сделал флорентийский художник Антонио Бэн. По его словам, он во всем следует традициям мэтра, кроме одной. Леонардо писал восковыми красками, Бэн же — масляными, что в семь раз (?) скорее. Но чтоб придать своему полотну «восковой» вид, он кладет его в печку к булочнику, чтобы образовались маленькие трещинки, придающие вид старины. Когда я это прочитал, мне стало почему-то немного страшно. Впрочем, взглянув на самодовольно-благополучную физиономию синьора Бэна в каком-то из журналов и узнав, что первую свою копию он написал в пятнадцать лет (сейчас ему шестьдесят восемь), я понял, что свой бизнес в жизни он сделал.

Переполненный всеми этими сведениями, я отправился в Лувр. В Большой галерее не было ни души, если не считать служительницы, уютно, совсем как в Эрмитаже, дремавшей на своем стуле. Джоконда мирно висела, не подозревая об ожидавших ее перипетиях, в золоченой раме на широком простенке между двумя окнами, обращенными к Сене.

Как всегда, когда встречаешься с великим произведением искусства, немного волнуешься. То ли боишься разочароваться, не уловить того, о чем столько читал и слышал, то ли сам факт, что вот стоишь перед чем-то великим, бессмертным, так сильно действует на тебя — не знаю. Вот так стоял я перед Джокондой... Стоишь и смотришь. И не хочется отходить. Почему? Поражен красотой? Но так ли уж она красива? Желтовато-матовое лицо, бесцветные губы, отсутствие бровей... Нет, все-таки красива. Но не это поражает. Глаза? Не разгаданная до сих пор улыбка? Руки? Возможно. Впрочем, нужно ли во всем этом разбираться? В конце концов мне так же безразлично, красивы ли черты лица у этой дамы, как и то, страдает ли она астмой или сколько в ней сантиметров роста. Я долго стоял перед Самофракийской Победой. Она неожиданно возникает перед тобой на широкой лестнице Дарю, озаренная лучами невидимых прожекторов, и кажется, вот-вот оторвется от земли, увлекая тебя за собой. Стоишь перед ней замороженный, и нет тебе никакого дела, что у скульптуры нет головы: ты не замечаешь этого... Помню, еще в детстве в «Ниве» я увидел фотографии конкурса, проведенного среди скульпторов на восстановление рук Венеры. Это было давно, но я до сих пор помню, что даже тогда, мальчишке, мне показалось это святотатством.

Нет, дело, очевидно, не только в красоте форм, не во внешней завершенности (вспомним опять же гробницу Медичей Микеланджело), а в самом духе произведения, умении проникнуть в существо вещи, в том, что и отличает искусство от неискусства.

Ле Корбюзье писал когда-то, что настоящее произведение искусства (речь шла об архитектуре) прекрасно и в своих развалинах. Парфенон, несмотря на разрушение, по-прежнему остался непревзойденным памятником архитектуры, а разрушенный дворец рококо не более как груда кирпича. Турецкие пушки не смогли убить Парфенон, они могли только повредить его, идея же, мысль, а значит, и красота его сохранились. Во дворце рококо все поверхностно, там и сохраняться нечему.

У Самофракийской Победы нет головы, но есть могучие крылья, порыв, торжество, упоение победой. Она точно парит над вами, зовет, увлекает... Венера Милосская лишена рук, торс ее весь чем-то иссечен, поврежден, но ты этого не замечаешь. Неведомые мастера древней Греции сумели создать и донести до нас сущность человеческой красоты, поэтому мы называем их гениями. И Леонардо да Винчи тоже... Может, потому Монна-Лиза и улыбается так загадочно, что она давно уже знает, а мы только пытаемся разгадать, в чем же секрет ее красоты...

В галерее Медичи — в том же крыле Лувра, что и Джоконда, — висят полотна Рубенса — двадцать одно полотно, воспевающие величие Марии Медичи, ее жизненный путь со дня рождения до смерти. Рубенс был великим художником, но как же все-таки меркнут эти грандиозные, многословные, шуршащие шелком, звенящие медью фанфар полотна перед скромным по своим размерам (77×55 см.) портретом прекрасной флорентийки...

Через три дня после моего посещения она уехала в Америку. Ее бережно сняли со стены, уложили со всеми предосторожностями вместе с нейлоновой, предохраняющей от влаги, рамой в специальный контейнер и, окружив телохранителями, отправили в Гавр¹.

«Если на корабле случится пожар или он пойдет ко дну, — сказал один из телохранителей журналистам, — нам приказано бросить «нее» за борт. Контейнер не утонет: он сделан плавучим. Я брошусь в море вслед за ним. Перед отъездом я ознакомился со всеми правами, действующими на море. Я знаю теперь, что находка в море принадлежит тому, кто ее найдет. Если я доберусь до контейнера, он послужит мне не только спасательным судном — он станет моей собственностью. Пятьдесят миллиардов франков! Это не каждый день случается».

Бедному телохранителю не повезло: так и не пришлось ему купаться в море. А путешественница опять дома, на своем простенке между двумя окнами, обращенными к Сене.

Путешествие по Франции подходит к концу. Пролетел целый месяц, а кажется, что три дня... А может быть, год.

На столе список того, что надо еще сделать. А времени уже нет. И рождество как раз подкатило. Сорвалась из-за этого поездка на шахту, сорвался и визит в небольшую деревушку под Парижем, где предполагалось встретиться с молодыми учителями. Не успел сходить в Музей Родена, в Люксембург. Не был ни в одном театре... Впрочем, вру: в театре я был. В Гранд-Опера, на «Фаусте».

В один из первых же дней милая, по-парижски легкая и веселая мадам Ланшон, «ведавшая» нами «по линии» министерства иностранных дел, прислала в изящном конверте билеты в оперу. Нарядившись поторжественнее и несколько побаиваясь, что отсутствие черного костюма может закрыть мне доступ в партер (со мною так же уже было в Италии), я за полчаса до начала был уже в театре. Раздевшись в полупустом почему-то гардеробе, мы не без трепета вступили в залитый огнями бесчисленных люстр зал, тот самый, где пели Шаляпин, Карузо, Батистини, где светские парижские львы лорнировали из своих лож знаменитых парижских красавиц. Да, сейчас я увижу парижский свет! Виконты и баронессы, мраморные плечи, жемчуга и бриллианты, черные фраки с розетками Почетного легиона, шорох вееров, ароматы утонченнейших духов... Я ощущал уже на своем затылке пренебрежительно-удивленные взгляды, осуждающие мои синие брюки и коричневый пиджак... Но — что это?.. Все сидят в пальто! В партере! В Гранд-Опера! Какой-то парень в кожаной шоферской куртке. Рядом с ним миловидная девушка в спортивном свитере. Возле меня пожилой господин в довольно потертом пальто: даже воротник не опустил, на улице прохладно... Где виконты, где баронессы?

Но вот погас свет, наступила тишина, взметнулся занавес и... мне не хочется обижать друзей-французов, но после второго акта я ушел.

¹ Пример Джоконды оказался заразительным. Год спустя вслед за ней отправилась в Нью-Йорк из собора святого Петра «Пьета» Микеланджело, а Венера Милосская еще дальше — в Токио.

Я давно уже не был в опере. (В последний раз, лет десять тому назад, я попал на «Царя Салтана», и больше всего меня поразила реакция публики, которая бурными аплодисментами встретила спасение Гвидона.) Сейчас я предпочитаю оперу слушать, а не видеть. «Фауст» на парижской сцене окончательно убедил меня в правильности этого решения.

Дело не в том даже, что опера в чистом, классическом своем виде, на мой взгляд, пережила самое себя (проблемы и идеи, занимающие нас сейчас, нашли в искусстве более подходящие для нашего времени средства выражения и воплощения), не в том, что нельзя уже сейчас писать стихи гекзаметром или строить Дворец культуры, подражая Парфенону (теперь это уже всем ясно), дело в другом (я смотрел все-таки «Фауста», а не современную оперу) — в самом страшном и губительном, что есть в искусстве,— в застое и косности.

В центре Европы во второй половине XX века на сцене Гранд-Опера перед нами воспроизводилось жалкое подражание знаменитой «Вампучке» из «Кривого зеркала». Ко всему безразличные, приклеенные к бородам статисты в назначенное время подымали и опускали руки, певцы ни на шаг не отступали от установившихся десятилетиями мизансцен, беспомощные по своему выполнению декорации тряслись и дрожали, когда вступал в действие балет. Вот ты мой, как живуч еще и неистребим театральный штамп! Сейчас, сегодня, в Париже, том самом Париже, который может высмеять все на свете...

Обо всем этом я думал, сидя в десятом ряду партера и сочувствуя Мефистофелю, которому так трудно было взгромоздить на бочку свои сто килограммов живого веса. Нет, не надо было мне ходить на «Фауста»...

Не надо было и в кино ходить. Обидно все-таки смотреть один из лучших французских фильмов «Хиросима — любовь моя» и ничего не понимать. А диалог, говорят, в этом фильме великолепный. Видал я и Габена в новом фильме, где он играет «тотошника» на скачках, и опять-таки ничего не понял. С горя я пошел на «Психо» Хичкока, а потом всю ночь не мог заснуть: мерещились заброшенные гостиницы, таинственные убийцы и окровавленные трупы в ваннах. Больше я в кино не ходил...

Нет, опять соврал, я был еще на «Красном шаре». Этим фильмом я и хочу закончить свои записки о Франции. Я не знаю фильма более поэтичного, умного и в то же время трогательного. Даже такие чудесные фильмы, как «Белая грива» и «Путешествие на воздушном шаре» того же режиссера Ламорисса, уступают «Красному шару».

Фильм коротенький — всего полчаса. Когда он кончается, хочется тут же, сейчас же посмотреть его опять, сначала. В фильме фактически два действующих лица — маленький мальчик (его играет сын режиссера) и красный шарик. Они познакомились на улице (мальчик снял его с фонаря, где шарик запутался) и подружились. Шарик полюбил мальчика, не отставал от него ни на шаг, летал за ним повсюду — провожал его в школу, ждал, когда кончатся занятия, летел вслед за автобусом, в котором ехал мальчик, а когда мальчика посадили в карцер, полетел вслед за злым учителем и пытался сбить с него шляпу. Один только раз шарик отдалился — это когда увидел другой шарик, синий, который несла маленькая девочка. Он попытался за ним поухаживать, но роман не удался: мальчик и девочка их разлучили. И еще один раз шарик ненадолго забыл о своем друге: на Блошином рынке он увидел зеркало. Ну как не полюбоваться на себя — такой он красивый, большой, красный, блестящий.

Кончается все очень грустно. Злые мальчишки хотят отнять шарик у мальчика. Начинается погоня. Я не знаю в мировом киноискусстве погони, которая так бы захватывала зрителя. С ужасом думаешь, что

шарик попадет в руки к мальчишкам. Он попадает, но мальчик спасает его. Увы, ненадолго, камень из рогатки убивает шарик. Шарик сжимается, выпускает воздух и тихо падает на землю. Дернулась в последний раз веревочка и затихла. Шарик умер...

И тут — о чудо! — к бедному нашему убитому горем мальчику слетаются вдруг все шарики Парижа. Вылетают из окон, из магазинов, вырываются из рук детей и летят, летят через весь город к убитому шарик, к нашему мальчику. И забирают нашего мальчика. И летит он над Парижем все выше, выше — гроздь разноцветных шаров и мальчик с ними. А мертвый шарик так и остался на мостовой. Увы, так и в жизни бывает.

Я рассказал содержание этого маленького, такого обаятельного и поэтичного фильма, но не смог передать дух его. Он очень французский. Этот дух — веселый, забавный, а в общем, грустный. Французы ведь не только весельчаки.

Мне очень жаль, что я не познакомился с Ламориссом. Это большой художник и, очевидно, очень хороший человек. Я поблагодарил бы его за его высокое искусство, пожал бы ему руку и в это рукопожатие постарался бы вложить всю свою любовь к французскому народу — веселому, задорному, чуть-чуть сентиментальному, иногда грустному, но всегда живому.



ИВАН ДРАЧ

★

БАЛЛАДА О ВЕДРЕ

С украинского

Я — форма из цинка. Мое содержанье —
Тяжелые шарики пыльной черешни,
Багряные зори на них задержались,
Теперь они дремлют во мне, захмелевши.

Я — форма. Мое содержание — груши,
Соперницы солнца, светильники сада,
Республики Соков заблудшие души,
В подол собирали их в ночь грушепада.

Я — форма,
Я — корпус,
Я — цинковый конус.
Мое содержанье от формы свободно,
Мечами моркови и дынями полнось
И ломкою желтой ботвой огородной.

Я — форма. И люди царят надо мною,
Мое содержанье в меня собирая.
Когда ж не наполнена плотью земною,
Я небом, я небом налита до края.

Перевел Ю. Даниэль.



ГАЛИНА ГАМПЕР

★

СТАРУХА

Смешная панама.
Ввалившийся рот.
Старуха упряма —
Лишь локоть снует.

Кончает этюд.
Отгоняет мальчишек.
Назавтра опять
Приезжает и пишет.

А дома запрячет
Под шкаф, разогнется,
О чем-то поплачет,
Потом улыбнется.

Поставит будильник,
Укутает спину:
«Ах, как бы к утру
Не опала осина...»

А груды этюдов
В пыли, точно в байке.
Отсюда их вынесут
Вместе с хозяйкой.

Была она «wunder»...
Давали ей грамоты...
И в двадцать писала
И бойко и грамотно,

И в тридцать — этюды...
А там уж и просесть...
А может быть, стоило
Просту бросить?..

А может **быть**, просто
Сестрой, счетоводом?..
Да пруд надо кончить,
Покуда погода.

И вроде выходит...
И снова и снова,
Как пьяная. бродит
У края лесного...

Будильник впивается
В спящее ухо.
Кряхтя, на этюды
Уходит старуха.

Ленинград.



ДЖОН ЧИВЕР

★

АНГЕЛ НА МОСТУ

Рассказ

Вы, наверно, видели мою матушку на катке в Рокфеллер-центре, где она скользит и кружится по льду, несмотря на свои семьдесят восемь лет. Она удивительно подвижна для своего возраста. С красной лентой в белых волосах, в короткой бархагной юбочке — тоже красной, в очках и в тельного цвета трико она прытко вальсирует с одним из тренеров катка. А я почему-то никак не могу примириться с этими ее танцами на льду. Зимой я стараюсь держаться подальше от стадионов Рокфеллера, и уж никакие силы не заставят меня войти в ресторан, выходящий окнами на каток. Однажды, когда мне пришлось проходить мимо, какой-то человек, подхватив меня под руку и указывая на мою матушку пальцем, воскликнул: «Нет, вы только посмотрите на эту сумасшедшую старуху!» Признаться, мне стало очень не по себе. Собственно говоря, мне следовало бы радоваться и благодарить судьбу за то, что моя матушка развлекается как может сама и не требует какого-то особенного внимания от меня. И тем не менее как бы мне хотелось, чтобы она нашла себе какой-нибудь иной, не столь эффектный, способ заполнять свой досуг! Когда я вижу какую-нибудь даму почтенного возраста, склонившуюся в грациозной позе над вазой с хризантемами или разливающую чай в гостиной, перед моим мысленным взором возникает образ моей матушки. Вырядившись, как молоденькая гардеробщица в ночном клубе, она кружится по льду в объятиях платного партнера — и это в самом центре огромного города, третьего в мире по величине!

Фигурному катанию матушка моя выучилась еще в Сент-Ботольфсе, маленьком городке Новой Англии, откуда мы все родом. Должно быть, нынешняя ее страсть к вальсам на льду — всего лишь символ ее приверженности к прошлому. Ибо с каждым годом она все острее тоскует по уходящему провинциальному миру своей юности. Здоровье у нее, как вы сами понимаете, железное, но всякие новшества она переносит с трудом. Однажды я было устроил ей поездку к родственникам в Толедо. Я привез ее на аэродром в Ньюарк. Зал ожидания, его сводчатый потолок, светящиеся рекламы, нескончаемое оглушительное танго, под звуки которого разыгрывались трогательные, а подчас и душераздирающие сцены прощания, — все это произвело на мою матушку впечатление довольно тягостное, и ньюаркский аэропорт, столь непохожий на железнодорожный вокзал в Сент-Ботольфсе, показался ей неприглядным и лишенным какого бы то ни было интереса. И в самом деле, таким ли должен быть фон для разлук и прощаний?

Полет откладывался, и нам предстояло провести еще целый час в зале ожидания. Я взглянул на мать: она вдруг осунулась и постарела. Через полчаса у нее началась одышка. Положив руку с растопыренными пальцами себе на грудь, она время от времени судорожно вздыхала, как человек, испытывающий острую боль. Лицо ее покраснело и пошло пятнами. Я делал вид, будто ничего не замечаю. Но вот наконец объявили посадку; матушка поднялась с места и воскликнула: «Вези меня домой! Если уж умирать, так не в летающей машине!» Я продал билет и повез свою матушку домой, на ее квартиру, а о случившемся припадке не рассказывал никому. Но эта капризная, или, если угодно, неврастеническая, боязнь авиационной катастрофы, которую испытывала моя мать, открыла мне глаза на многое: я увидел, как возрастает с годами число опасностей, подстерегающих ее на каждом шагу,— сколько их прибавилось, этих подводных рифов, этих хищных зверей, готовых ринуться на нее из засады! Как неожиданны, как причудливы пути, которые ей приходится выбирать теперь, когда границы мира раздвигаются все шире и шире, а самый мир этот становится все непонятнее и все неприемлемее для нее!

Мне в ту пору летать приходилось довольно часто. Дела требовали моего присутствия то в Риме, то в Нью-Йорке, то в Сан-Франциско, то в Лос-Анжелесе, и я, бывало, чуть ли не каждый месяц перелетал из одного города в другой. Летать мне нравилось. Нравилось любоваться свечением неба на огромных высотах. Мчаться с запада на восток и следить из окна самолета за тем, как ночь шагает по материку. Представлял себе, как женщины Нью-Йорка, накормив семью ужином, моют посуду, тогда как часы на моей руке показывают четыре по калифорнийскому времени и наша стюардесса вот уже второй раз предлагает желающим виски, джин или коктейль. К концу полета становится душновато. Вы устали. Золотая нить в обивке кресла ни с того ни с сего начинает царапать щеку, и вам на минуту кажется, что все вас забыли, забросили, и вы по-детски дуетесь на весь мир: все вам дико и все вам чужие. Разумеется, кое с кем из пассажиров вы перезнакомились, среди них оказались и приятные собеседники, и докучливые говоруны. Однако сколь ничтожны и прозаичны, в общем-то, дела, заставляющие нас взмывать над землей! Вон та старая дама летит через Северный полюс в Париж, чтобы вручить своей сестре банку телячьего студня. А ее сосед — коммивояжер и торгует стельками из синтетической кожи.

Однажды, когда я летел на запад (мы уже перемахнули через Скалистые горы, но до Лос-Анжелоса оставался час пути, и мы еще не начали снижаться и были взвешены на такой высоте, что потеряли уже всякое ощущение домов, городов и людей, над которыми пролетали), — однажды я увидел внизу слабое мерцание, пунктирную полоску света, подобную полоске береговых огней. Но в тех широтах никакого морского берега быть не могло, и я понимал, что так никогда и не узнаю, что означала эта светящаяся дуга — край ли пустыни, крутой обрыв или дорогу в горах? Таинственный свет этот, увиденный с такой высоты и на такой скорости, казалось, возвещал о возникновении нового мира и одновременно деликатно намекал на мою принадлежность к миру уходящему, на мой возраст, на мое неумение разбираться в том, что проходит у меня перед глазами. Это было приятное чувство без малейшей примеси горечи — я словно сам себя застиг врасплох на половине пути, где-то в среднем течении ручья, дальние колена которого, быть может, окажутся когда-нибудь доступными моим сыновьям.

Итак, я любил летать, и тревоги, одолевавшие мою матушку, были мне неведомы. Это моему старшему брату — ее первенцу и фавориту — суждено было унаследовать ее решимость, ее упрямство, ее столовое

серебро и — до некоторой степени — ее эксцентричный характер. Однажды вечером мой брат — а мы виделись с ним последний раз чуть ли не год назад, — однажды вечером он позвонил мне и попросился к обеду. Я с радостью позвал его к себе. В половине восьмого он снова позвонил: он был внизу (мы живем на одиннадцатом этаже) и просил меня спуститься. Я решил, что он хочет сказать мне что-то с глазу на глаз, но нет — как только мы встретились в вестибюле, он тотчас вошел со мной в лифт. Когда за нами закрылись дверцы кабины, я заметил те же симптомы страха, которые наблюдал у матери на аэродроме. На лбу у него выступила испарина, он дышал тяжело, словно запыхался от быстрого бега.

— Что с тобой? — спросил я.

— Я боюсь лифта, — печально сказал он.

— Но чего ты, собственно, боишься?

— Боюсь, как бы не обрушился дом.

Я засмеялся, и это, должно быть, было жестоко с моей стороны. Но уж очень смешной показалась мне картина, представшая перед моим мысленным взором: здания Нью-Йорка, как кегли, со стуком валяются друг на друга. Дело в том, что наши отношения издавна пронизывала взаимная зависть, и где-то в глубине души я считал, будто брат зарабатывает больше меня и будто у него вообще всего больше, чем у меня. И как ни огорчительно для меня было видеть его таким — униженным и несчастным, — приятное чувство превосходства невольно шевельнулось у меня в груди. Казалось, в подспудном соревновании, составлявшем смысл наших отношений, я вырвался на целую голову вперед. Он — старший, он — любимец, но сейчас, видя, как он мается в лифте, я думал о нем только одно: «Вот он, мой бедный братишка, измученный заботами и тревогами бытия». Прежде чем войти в комнаты, он был вынужден остановиться, чтобы перевести дух. Этот страх, по его словам, мучил его уже больше года. Он начал ходить к психиатру. Насколько я мог судить, особой пользы эти посещения ему не принесли. Все как будто прошло, как только он вышел из лифта: впрочем, я все-таки заметил, что он старается держаться подальше от окон. Когда он поднялся, чтобы уйти, я из любопытства вышел с ним на лестничную площадку. Лифт поравнялся с нашим этажом, брат повернулся ко мне и сказал:

— Боюсь, что придется спуститься по лестнице.

Не спеша мы прошли с ним все одиннадцать этажей. Он не отрывал руки от перил. Мы простились в вестибюле, я поднялся к себе на лифте и рассказал жене о последней причуде брата.

— Ему кажется, что дом вот-вот обвалится, — сказал я.

Узнав о страхах, обуревавших брата, жена, подобно мне, и удивлялась и огорчалась. Вместе с тем обоим нам его опасения казались ужасно забавными.

Но ничего забавного не было в том, что месяц спустя брату пришлось расстаться с фирмой, в которой он служил, — она переехала в новое здание на пятьдесят второй этаж. Чем он объяснил свой уход, я не знаю. Знаю только, что он проходил без работы целых полгода, пока ему не удалось подыскать себе место в конторе, расположенной на третьем этаже. Однажды в зимние сумерки я увидел его на перекрестке Медисон-авеню и Пятьдесят девятой улицы. Умный, воспитанный, прилично одетый, он стоял в толпе себе подобных и ждал, когда зажжется зеленый свет. А я подумал: «Сколько их здесь, таких же, как он, чудаков! Скольким из них приходится так же вот продираться сквозь дебри собственных нелепейших предрассудков, скольким из них улица, через которую им предстоит перейти, представляется бешеным потоком, а шофер, сидящий

за рулем приближающегося к перекрестку такси, грозным ангелом смерти!»

На земле брат чувствовал себя вполне хорошо. Как-то мы всей семьей поехали к нему на уик-энд в Нью-Джерси. Он был весел и здоров, и я ни о чем его не стал расспрашивать. В воскресенье вечером мы возвращались в Нью-Йорк. Подъезжая к мосту Джорджа Вашингтона, я увидел нависшую над городом грозовую тучу. Когда я въехал на мост, сильный порыв ветра ударил в машину, и я с трудом удержал баранку в руках. Мне вдруг показалось, что вся громадина моста качнулась под нами. Доехав до середины, я почувствовал, что мост начинает прогибаться. Я не имел никаких оснований сомневаться в прочности моста и вместе с тем был убежден, что еще минута — и он разломится надвое, сбросив в темную воду всю воскресную вереницу машин. Мысль о неминуемой катастрофе повергла меня в ужас. Ноги мои обмякли, и я бы, наверное, не мог затормозить машину в случае нужды. Я стал задыхаться, ловить воздух ртом. И — верный признак подскочившего давления — у меня помутилось в глазах.

У страха — я это давно заметил — имеется свой определенный ритм: в ту самую минуту, когда он достигает своего высшего напряжения, где-то у нас — в душе или в теле, не знаю — вдруг обнаруживается таинственный источник, в котором мы черпаем свежие силы для борьбы с этим чувством. Так и сейчас: когда мы перевалили через середину моста, мои агония и ужас стали понемногу утихать. Жена и дети все это время любовались грозой и, по-видимому, ничего не заметили. А я даже не знал, чего я боялся больше — того ли, что мост провалится, или что мои близкие заметят, что я этого боюсь?

Я стал припоминать все события минувших суток: быть может, какой-нибудь инцидент — разговор или сценка — дал нечаянный толчок моему страху, внушив мне нелепую мысль, будто порыв ветра способен сорвать и разрушить мост Джорджа Вашингтона? Но нет, мы провели очаровательный уик-энд, и моя придирчивая память не могла откопать ни одного эпизода, который мог бы дать повод к болезненной нервозности и тревоге. В середине недели мне понадобилось ехать в Олбани. Стояла ясная, безветренная погода. Но память о недавнем приступе была еще слишком свежа, и я поехал в объезд, вдоль восточного берега реки; где-то в районе Трои мне попался маленький старомодный мостик, который я и переехал без всяких неприятностей. Мне пришлось сделать унизительный крюк чуть ли не в пятнадцать миль — и все ради того, чтобы объехать какие-то дурацкие, невидимые глазу препятствия!

Возвращался я тем же маршрутом, а на другое утро пошел к своему врачу и сказал ему, что боюсь мостов. Он засмеялся.

— От кого я это слышу! — воскликнул он с издевкой. — Давайте-ка лучше возьмем себя в руки.

— Должно быть, это у нас в роду, — сказал я, — моя мать, например, боится самолетов, а брат не выносит лифта.

— Вашей матушке за семьдесят, — сказал доктор. — Это одна из замечательнейших женщин, каких мне доводилось встречать. Не сваливайте, пожалуйста, свои грехи на нее. Не надо раскисать, вот и все.

Больше ничего сказать мне он не мог, и я попросил его рекомендовать мне врача, практикующего психоанализ. Он не считал психоанализ за науку и сказал, что это будет напрасной тратой времени и денег, но, уступая чувству врачебного долга, он все же дал фамилию и адрес психотерапевта, который в свою очередь объяснил мне, что мой страх — всего лишь внешнее проявление потаенной тревоги, для выяснения источника которой мне придется проделать полный курс психоанализа. Для такого лечения у меня в самом деле не было ни времени, ни денег, а

главное — не было веры в метод психоанализа. И я сказал, что постараюсь как-нибудь справиться с собою сам.

Страдание страданию рознь, и, конечно же, мое страдание было не более чем блажью, но как было убедить в этом мое неразумное тело, мои сердце, легкие, печень? В детстве и юности у меня бывало всякое — и глубокие потрясения, и периоды безмятежного счастья. Так неужели моя сегодняшняя боязнь высоты — всего лишь отзвук этого прошлого? Я не мог примириться с мыслью, будто мою жизнью управляют какие-то неведомые силы, и решил послушать своего домашнего врача и попытаться взять себя в руки. Несколько дней спустя мне понадобилось поехать на аэродром Айдлуайлд. Я не стал нанимать такси, не сел в автобус, а поехал на своей машине сам. На мосту Триборо я чуть не лишился сознания. Прибыв в аэропорт, я заказал себе чашку кофе, но руки мои так дрожали, что я выплеснул все ее содержимое на стойку. Рядом со мной кто-то усмехнулся и заметил, что я, должно быть, провел бурную ночь. Не объяснять же ему, что вчера я лег рано, после дня, проведенного в совершеннейшей трезвости, и что я просто-напросто боюсь мостов?

В тот день под вечер я вылетел в Лос-Анжелос. Когда мы приземлились, мои часы показывали час ночи. По калифорнийскому времени было всего десять вечера. Я чувствовал себя усталым, взял такси и поехал сразу в гостиницу, в которой останавливался во все мои прежние приезды. Но почему-то я никак не мог уснуть. За окном в луче прожектора медленно вращалась монументальная статуя девушки — реклама ночного клуба в Лас-Вейгас. В два часа ночи прожектор выключается, но неугомонная статуя продолжает вращаться вокруг своей оси. Я ни разу не видел, чтобы она остановилась, и этой ночью, лежа без сна, я задумался: когда же ей смазывают ось и мою плечи? Я чувствовал к ней некоторую нежность — ведь она, как и я, не знала покоя. Я стал думать о ней, есть ли у нее семья, родные? Может, мать ее выступает на эстраде, а отец давно махнул на все рукой и смиренно водит себе автобусы на маршруте Уэст Пайко? Прямо против окон моего номера был ресторан; я увидел, как из него вывели пьяную женщину в собольей накидке и посадили в машину. Она дважды споткнулась и чуть не упала. Во всей сцене было что-то бесприютное и тревожное — этот сноп света из распахнувшейся двери ресторана, этот поздний, предрассветный час, эта пьяная женщина и ее озабоченный спутник... Откуда-то вынырнули две машины, помчались вдоль Западного бульвара и резко притормозили у светофора под моими окнами. Из каждой машины вывалились по три человека и принялись друг друга колошматить. Мне казалось, что я слышу, как трещат кости. Когда зажегся зеленый свет, они снова вскочили по машинам и помчались дальше. Подобно светящейся дуге, увиденной мною из окна самолета, драка эта, должно быть, тоже возвещала о зарождении некоего нового мира, но на этот раз — мира, в котором воцарилась жестокость и неурядица. И вдруг я вспомнил, что в четверг мне предстоит поездка в Сан-Франциско и что оттуда мне придется ехать через мост, соединяющий Сан-Франциско с Беркли, где меня ожидают к завтраку. «Надо будет взять такси в оба конца, — сказал я себе, — а машину, которую я беру напрокат для поездок по Сан-Франциско, оставить в гараже гостиницы». Снова и снова принимался я себя урезонивать: пора выкинуть из головы этот дурацкий страх, говорил я себе, будто мост подо мною может провалиться. Или в самом деле я — жертва какого-то сексуального вывиха? Жил я беспутно и легкомысленно, наслаждался жизнью без оглядки, но, быть может, в этом-то и таился секрет, до которого дано докопаться лишь специалисту по психоанализу? И моя приверженность наслаждениям — всего лишь уловка нечи-

стой совести, служащая для отвода глаз, между тем как на самом деле я питаю порочную страсть к своей престарелой родительнице, гарцующей по льду в своем конькобежном костюме?

В три часа утра, стоя перед окном, выходящим на Западный бульвар, я понял, что страх мой перед мостами — всего лишь форма, в которую вылился мой столь неловко скрываемый доселе ужас перед современной действительностью. Удивительное дело! Я бестрепетно проезжал через пригороды Толедо и Кливленда, мимо родины «польской сосиски», автомобильных кладбищ и павильонов, где торгуют неизменной булкой с котлетой, мимо всех этих унылых ансамблей архитектурного единообразия. Я делал вид, будто воскресная прогулка по Голливудскому бульвару способна доставить мне удовольствие. Я с готовностью восхищался зрелищем вечернего неба на бульваре Дохени и рядами растрепанных экспатрианток-пальм, на фоне этого неба напоминающих мокрые швабры. Я не оспаривал очарования Дулута и Ист-Сенеки — в конце концов, проезжая эти городишки, не обязательно оглядываться по сторонам! Я мирился с безобразием дороги, соединяющей Сан-Франциско и Пало Альто, — ведь это всего лишь попытка простых и честных людей найти себе место, пригодное для жилья. Таким же образом я пытался извинить Сан Педро и все побережье Южной Калифорнии. И вот почему-то единственным недостающим звеном в этой моей цепи смиренного и в высшей степени снисходительного приятия мира оказалась высота мостов! Все дело, видно, в том, что мне глубоко ненавистны и прямые наши автострады, и павильоны с котлетами. Экспатрированные пальмы и унылое однообразие жилых кварталов удручают меня несказанно. Неумолчная музыка на наших экспрессах каждый раз царапает мне душу. Я терпеть не могу изменений в привычном ландшафте. Неустроенность моих друзей и их беспорядное пьянство смущают меня не на шутку, и я прихожу в отчаяние от нечестных сделок, которые непрестанно совершаются вокруг меня. И так получилось, что всю глубину и горечь своего неприятия современности я осознал вдруг, в ту самую минуту, когда достиг высшей точки на мосту, и тогда же я понял всю силу своей тоски по иному миру — миру ясному, простому, отливающему всеми цветами радуги. Но не в моей власти изменить облик Западного бульвара. А куда он не изменится, я не могу вести машину по мосту, переброшенному через залив Сан-Франциско. Как быть? Вернуться в Сент-Ботольфс, облачиться в уютный старомодный пиджак и играть в криббедж с пожарниками? В моем родном городе был всего один мост, да и река была такая, что с одного ее берега на другой можно забросить камешек.

Я прибыл домой в субботу. Там я застал свою дочь — она приехала из школы на уик-энд. В воскресенье утром она попросила меня доставить ее обратно в Джерси. Ей хотелось поспеть к ранней обедне, которая начиналась в девять. Мы выехали в семь. Всю дорогу мы болтали и смеялись, так что я даже не заметил, как мы подъехали к мосту Джорджа Вашингтона. Я уже проехал по нему несколько ярдов, совершенно позабыв о своей слабости. И вдруг началось — на этот раз сразу, без всякой подготовки: обмякли ноги, наступила одышка, в глазах угрожающе потемнело. Я решил во что бы то ни стало скрыть все эти симптомы от дочери и благополучно миновал мост. Но чувствовал себя совершенно разбитым. Дочь, по-видимому, ничего не заметила. Я доставил ее в школу вовремя, поцеловал ее на прощанье и уехал.

О том, чтобы возвращаться через мост Вашингтона, я не мог и думать и решил сделать крюк в северном направлении — доехать до Найака и там пересечь Гудзон через мост Таппан Зи. Этот мост, насколько мне помнилось, был не очень крутым и казался более прочно припаян-

ным к обоим берегам реки, чем другие известные мне мосты. Я поехал по западному берегу Гудзона, вдоль бульвара, и мне вдруг пришло в голову, что не худо было бы как следует надышаться кислородом. Я открыл все окна в машине. Свежий воздух оказал свое благотворное воздействие. Впрочем, ненадолго. Понемногу меня снова начало покидать чувство реальности. Дорога и сама машина, в которой я ехал, казались призрачнее сна. Я вспомнил, что где-то здесь поблизости живут мои знакомые. «Не заехать ли, — подумал я, — не попросить ли у них стаканчик для бодрости?» Но было всего лишь начало десятого, и мне показалось неловким явиться к людям в столь ранний час, с места в карьер просить об угощении и объяснять, что я страшусь мостов. «Быть может, — сказал я себе, — мое душевное равновесие восстановится, если мне удастся с кем-нибудь перекинуться словом». Я остановился у бензиновой колонки и купил несколько литров горючего, но механик оказался сонным и неразговорчивым; а я... как мне было объяснить ему, что от его беседы, быть может, зависит моя жизнь?

Я уже приближался к мосту и мысленно прикидывал, какие можно будет принять меры на случай, если мне так и не удастся его переехать. На худой конец можно позвонить жене и попросить ее послать кого-нибудь за мной, но так уж сложились наши отношения, что я не смел уронить свое мужское достоинство в ее глазах, и, обнаружив перед женой такую слабость, я рисковал нанести нашему семейному благополучию серьезный ущерб. Можно было бы позвонить в гараж и попросить прислать шофера. Или просто поставить машину, дожждаться, когда в час дня откроются бары, и выпить виски. Но, на мою беду, у меня не оказалось при себе денег: я потратил последние на бензин. Делать было нечего, и я повернул в направлении к мосту.

Все симптомы — с удесyтеренной силой — возобновились, как только я въехал на мост: в легких не оставалось воздуха нисколько, словно кто-то выбил его могучим ударом кулака. Машина пошла зигзагами — я уже не мог управлять ни ею, ни собой. Мне все же удалось ее выровнять, отъехать на обочину и затормозить — ручным тормозом. Отчаянная тоска овладела мной. Если бы я страдал от несчастной любви, или был измучен жестокой болезнью, или пусть даже упилсь бы как свинья, я и то не был бы так жалок, как сейчас. Я вспомнил лицо брата, когда он поднимался в лифте, желтое, лоснящееся от пота. Вспомнил мать, ее красную юбочку и изящно поднятую ножку, когда она выделяет свои пируэты в объятиях инструктора, и мне представилось, что все мы, вся наша троица, — персонажи из какой-то горькой и не очень высокой трагедии, что бремя невзгод пригнуло нас, сделало отщепенцами рода человеческого. Да, жизнь не удалась, и ничего из того, что я так в ней ценил, уже не вернется ко мне никогда — ни небесно-голубая отвага, ни жизнерадостное здоровье, ни инстинктивная моя хватка и слабость. Все это ушло безвозвратно, и я окончу свои дни в городской лечебнице, в палате для душевнобольных, и буду там вопить, что рушатся мосты, что везде и всюду, во всем мире рушатся мосты.

К моей машине откуда-то подошла девушка, открыла дверцу и села на сиденье рядом со мной.

— Вот уж не думала, что кто-нибудь ради меня остановит на мосту машину! — сказала она.

В руках у нее был фибровый чемоданчик и — поверите ли? — маленькая арфа, обернутая в потрескавшуюся клеенку.

Ее прямые русые волосы со сверкающими там и сям совсем уже соломенными прядями были тщательно расчесаны и капюшоном ниспадали на плечи. Лицо у нее было круглое и веселое.

— На попутных машинах? — спросил я.

- Да.
- А это не опасно для такой молодой девушки?
- Нисколько.
- Вам много приходится странствовать?
- Все время. Я хожу из одного кафе в другое со своей арфой, пою...
- Что же вы поете?
- Да все больше народные песни. Ну, и всякую старину тоже — Персея, Доуленда. Но больше народное...

Я принес моей милой курочку
 Без костей, без костей...
 Рассказал моей милой басенку
 Без конца, без конца...
 Подарил своей милой дитяtko —
 Уа-уа, уа-уа...

Она пела все время, что мы ехали по мосту, конструкция которого казалась мне удивительно разумной, солидной и даже красивой, — так и чувствовалось, что изобретательные инженеры, ломая голову над его проектом, думали о том, чтобы облегчить мне жизнь; воды Гудзона, протекавшего под нами, были тихи и прелестны. Ко мне вернулось все — и голубая отвага, и жизнерадостное здоровье, и восторженная ясность духа. Девушка пела всю дорогу, пока не кончился мост. На восточном берегу реки она поблагодарила меня, простилась и вышла из машины. Я предложил довезти ее до места, но она только мотнула головой и пошла, я же поехал дальше по удивительному и прекрасному миру, восставшему из пепла и развалин. Когда я добрался до дому, я чуть было не позвонил брату, чтобы рассказать ему о своем приключении, — вдруг и у лифта найдется свой ангел? Я и позвонил бы, если бы не арфа — эта деталь сделала бы меня в его глазах смешным или даже безумным.

Хотелось бы сказать, что отныне я твердо верю в то, что милосердная судьба всегда пошлет мне помощь в беде, но я все же предпочитаю не искушать свое счастье и объезжаю мост Джорджа Вашингтона сто роною. Впрочем, через мосты Триборо и Таппан Зи я езжу совершенно свободно. Брат мой по-прежнему боится лифтов, а мать, несмотря на то, что у нее уже совсем почти не гнутся колени, все кружится и кружится по льду.

Перевела с английского Т. Литвинова.



ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

КУБАНЬ — ВОЛОГОДЧИНА

I

Лето 1963 года я прожил у Николая Афанасьевича Неудачного, председателя усть-лабинского колхоза имени Крупской. Точней, не у самого Неудачного (своего дома у него тогда еще не было), а у Ирины Гордеевны Левченко, по-хуторскому — Гордевушки, старой казачки, квартирной хозяйки председателя. Домик Гордевушки стоит на хуторе Железном, у пруда, под старой приметной белой шелковицей.

В тот год Усть-Лабинский район, инициатор всесоюзного соревнования за высокий урожай, не сходил с первых полос газет. Среди других газетчиков «на передний край битвы за хлеб» прислали и меня. Время от времени я наезжал в Тенгинскую, Ладожскую, в сам Усть-Лабинск, но больше жил в Железном.

Колхоз имени Крупской не знаменит, хотя показатели последних лет дают ему право на известность. Средний урожай пшеницы за шестилетие здесь превысил 36 центнеров на круг. В неблагоприятное лето 1964 года колхоз получил самый высокий намолот зерна среди хозяйств Кубани, да и, видимо, всей России — 39,7 центнера с гектара. На сто гектаров артель производит больше ста центнеров мяса, около пятисот центнеров молока, урожайность сахарной свеклы достигла четырехсот центнеров. Словом, колхоз богатый, гектар пашни приносит здесь в год больше четырехсот рублей дохода. Оплата человеко-дня составила в минувшем году 2 рубля 93 копейки плюс к тому килограмм зерна и пятьдесят граммов масла на каждый заработанный рубль.

Мало известен же он по ряду причин. Лежит в стороне от асфальга, особо эффективных строений и вообще новинок, годных для демонстрации в любое время года, здесь нет. В ряду богатых хозяйств этот колхоз — новичок, выскочка: за последние годы производство мяса возросло в четырнадцать раз, валовой надой поднялся в пятнадцать, намолот удвоился. Несомненно, сказывается и полное равнодушие председателя к шумихе, отвращение к показухе любого рода, а также те особенности его характера, что скорее дают основание считать его «хитрованом», чем стандартным передовиком.

Николай Афанасьевич — не казак, родом он из Львова, на Кубань приехал уже агрономом и до колхоза имени Крупской работал бригадиром в соседнем совхозе. Это важно, так как старых знакомств и связей среди хозяйственников у него не было, на ноги пришлось подниматься самому. Конечно же, начиналось с драных хомутов, общей безалаберности и ожины на полях, но говорить о том нет нужды, потому что драный хомут как символ трудного начала уже больше десяти лет кочует из очерка в очерк.

Гордевушка взяла холостого председателя на постой не без тайной корысти: будет топливо и даровой корм птице. Но обмисхурилась: жилец оказался не домовитым. Про хворост приходилось говорить трижды, корову же, когда колхозников заставили продать свой скот, он велел отвести в первый же день. Занятый хозяйством, председатель долгое время сохранял: собственный зажиток на студенческом уровне, мог откладывать с осени на осень покупку нового плаща.

Гордевушке нравилась двужильность Николая Афанасьевича, она почувствовала в нем хозяина и «зауважала» его. Снова стала вставать до света, заботилась по-матерински, гордилась им, ревниво ловила каждый отзыв на улице и всеми доступными средствами направляла общественное мнение в пользу своего Колечки. Не без ее усердия стал широко известен примечательный анекдот.

Перед уборкой приехал научный сотрудник из Ростова — хронометрировать день председателя колхоза. В первый вечер предупредил, что поднимется рано, наказал Неудачному не проспать. Встал в пять — председателя уже не было. На следующее утро вышел из горницы в четыре — Николай Афанасьевич уехал. Рассердился и приказал Гордеевне будить себя, когда встает хозяин. Несколько дней старушка расталкивала его в половине четвертого, он весь день клевал носом. Наконец раздраженно сказал председателю: хватит, никто не поверит, что можно работать девятнадцать часов в сутки, Неудачный просто надувает науку.

Последовало объяснение, ученому была предложена машина до станции. И тот как сел, так и уснул. По хутору было сообщено именно так: «Враз захрапел».

— А вот Колечка уже шесть годков день в день так встает, — комментировала Гордеевна утром, подавая нам суп. — Сколько он здоровья своего положил, другой бы уже загнулся. А разве ж люди понимают, разве ж ценят, что он и семьи-то из-за этого хозяйства не завел, все бобылем ходит!

Тирана была чистой пропагандой. Во-первых, провал ученого должен был сработать на авторитет ее Колечки. Во-вторых, нашему хуторскому дипломату было превосходно известно, что у Неудачного есть Мария, русая продавщица с хутора Буденного, что женится он, как только выстроит дом, и намек на одиночество был очередной попыткой поторопить со свадьбой.

Подняв отстающий колхоз, Неудачный, надо думать, уже совершил труднейшее в своей жизни дело, хотя еще молод — сейчас ему тридцать пять. Но в панегириках Николай Афанасьевич не нуждается, а я совсем не собираюсь идеализировать доброго своего приятеля. Он подчас бывает жестоким; прогульщик, пьяница или рохля, байбак — личные его враги, и председатель применяет штраф иногда и там, где хватило бы рисунка в стенгазете. Специалистам с ним трудно, потому что проверяет он гораздо чаще, чем доверяет. Он любит детей, готов битый час смотреть, как обедает детсад, наказывает нянькам кормить «косарей» хорошо, потому что «колхозу Спартаки нужны, а не пигалицы — ножки рогаликом». Но на игрушку разорить его невозможно. Он построил прекрасную каменную школу, потому что это нужно, выгодно, даст пользу — подростки не разбредутся по интернатам, но к клубам с их «танцами-шманцами» до сих пор был равнодушен, ибо в них баловство одно. Неудачный — хозяин с головы до пят, тем и интересен.

Как работает Неудачный, то есть как реализует то, что уже заложено в природно-экономических условиях кубанского хутора?

Любимое словцо Николая Афанасьевича — «грошенята». В личной жизни он сребролюбив ничуть не больше обычного, но считать колхозные «грошенята» умеет и держится делового правила: не зевать, когда в руки плывет, не терять копейки — она рубль бережет. Правило общее для всех председателей, но «не зевает» и «не теряет» Неудачный по-своему, по-кубански, во многом не так, как делают это его коллеги в нечерноземном центре или на северо-западе.

С неутолимым жадностью агроном Николай Афанасьевич приобретает трактора. К памятной лету шестьдесят третьего на 4200 гектарах пашни колхоза имени Крупской работало уже сорок тракторов — высокая даже для Кубани вооруженность гектара. Конечно, снабжение техникой — дело плановое, но председатель с хутора Железного использует и солидный счет в банке, и авторитет знаменитой Усть-Лабы. Узнав, что где-то в Адыгее стоит сиротинкой новый «Беларусь», Николай Афанасьевич потянул покой — всего на сутки: с покупкой трактора душевное равновесие вернулось.

Тем летом, перед самой косовицей, в колхоз заехал журналист из очень большой газеты. Председатель на всякий случай пожаловался на нехватку техники. Корреспондент и состав телеграмму на тракторный завод — душевную, политически выдержанную: идет богатырский урожай, инициаторы соревнования взяли перед всей страной

повышенное обязательство, а техники мало. Хлеборобы просят отгрузить хотя бы пять машин в счет будущего... Попытка не пытка, расход невелик. Но вскоре председателю вручили ответную депешу: в адрес колхоза отгружено пять тракторов, получить их на станции Усть-Лабинская — и пожелания.

Не мне хвалить или порицать Николая Афанасьевича за эту операцию. Важно другое: усть-лабинцам завод дал («считаем честью внести свой вклад» и т. д.), а обратиться с такой же просьбой заурядный вологодский, псковский, новгородский колхоз — последовал бы отказ. Впрочем, последним сразу не расплатиться за такую колонну.

Полгода назад в Железном появились еще три «вола» — три стосильных тягача специально для пахоты. Теперь в хозяйстве сорок девять тракторов, из них пятнадцать гусеничных. Сменная выработка на агрегат здесь высокая — поля просторны, чернозем глубок, ни болотца, ни камешка, агротехника превосходна. Зябь пашется в одну неделю, сев идет три-четыре дня, зерновые размещаются только по пропашным. Из пшениц высевается только «безостая-1», чудо селекции. около десяти центнеров прибавки на гектаре только за счет сорта.

Николай Афанасьевич иногда позволяет себе щегольнуть чистотой полей. Как-то мне было предложено пари: вот поле из-под «семечек», оно вспахано, по всем обычаям должна кое-где взойти падалица подсолнечника. Ну, так за каждый найденный росток он готов ставить пол-литра! В поле было гектаров восемьдесят, ходил я долго, нашел три ростка. Неудачный был раздосадован, похвалям моим не внимал.

Труд председателя Неудачного как организатора и руководителя гораздо производительней труда его коллеги из-под Великого Устюга, Торжка или Опочки. В колхозе девятьсот дворов, нужды в рабочих руках нет, экономика поднимается, как на свежих дрожжах, и председатель не тратит времени на подбор доярки, скотника, на споры-уговоры, на латанье всяческих дыр и поиски выхода из тяжелых положений. На заседания тратится здесь удивительно мало времени. Кстати, на правление не опаздывают. Когда-то председатель предложил штрафовать всякого опоздавшего — легонько, на пятерочку. Для первого раза задержался сам и демонстративно внес в кассу пять целковых. Порядок привился, денежная реформа сделала «петушок» штрафа чувствительным, и я повидал в Железном самых, должно быть, пунктуальных бригадиров в России, заведующих фермами точных, как хронометр.

Большую часть времени Неудачный занят именно организаторской работой, причем берет под контроль те источники «грошенят», что определяются особыми качествами продукции. Зеленый горошек, убранный вовремя и срочно доставленный на консервный завод, — это совсем не то же, что горох сухой. За центнер гибридной семенной кукурузы колхозу уплатят больше двадцати рублей, за центнер простых початков — пятерку. Если зерно «безостой» не потеряет стекловидности, если в нем норма клейковины, то пшеницу примут сильной, колхоз получит сорок процентов прибавки к обычной цене. Естественно «влечение» Неудачного к этим сорока процентам... Конечно, и у его северных коллег есть какие-то возможности выиграть на качестве: лен, например, льну рознь. И все ж культура «с тонкой кондицией», все ж учета качества продукции в закупочных ценах там несравнимо меньше.

Все культуры в колхозе имени Крупской дают чистый доход, но по рентабельности рекорд бьет подсолнечник. Неудачный как-то обронил в шутку:

— Разрешили бы — не только поля, все дороги засеял бы подсолнухом! Ведь вырастить центнер пшеницы стоит рубля полтора, получишь за него шесть тридцать. А центнер семечек колхозу обойдется рубля в два, а цена на него — пятнадцать рублей! Грошенята...

Николай Афанасьевич с уважением относится к плану закупок, выполняет все его пункты. Но правда в шутке та, что выручка за центнер семян подсолнечника в семь раз превышает себестоимость. Рентабельность неслыханная.

Достаток техники и людей позволяет Неудачному вести операции, пока немислимые для сибиряка или оренбуржца. Здесь в страду отделеют и особо отвозят к фермам половину. Это неплохой корм, почти не уступающий сену, если учесть, что при урожайности в четыре тонны уж центнер-то зерна на гектаре уйдет в мякину. Современ-

ные комбайны половы не отделяют, но переоборудование простое. А вот поставив в страду на отвязку саней с половой целую колонну тракторов — это доступно редкому хозяйству! Тысячи по полторы тонн мякины запасает колхоз в каждую уборку.

Это, пожалуй, самое простое из дел, где проявилось умение Неудачного не потерять копейку, — умение, стяжавшее ему славу хитрющего мужика. А есть и посложнее.

При таком парке тракторов ремонты в «Сельхозтехнике» были б разорительны. Поняв эту опасность, председатель стал самым спешным образом строить и оснащать собственную мастерскую. Каменное глазастое здание с хорошим набором станков и стенов влетело в копеечку, но сберегает столько, что скоро окупит себя.

С редким упорством уклонялся он от перехода на беспривязное содержание коров. Новый метод преподносился как панацея, как единственный путь поднять производство молока. Неудачный соглашался, что отказ от привязи несколько снизит затраты труда. Но ведь львиная доля в себестоимости центнера молока приходится не на оплату труда, а на корма. А беспривязное содержание не сократит, даже увеличит затраты кормов. Откуда ж быть выгоде? Колхоз обязали строить доильный зал с «елочкой», но строил его Неудачный с такой продуманной медлительностью, что и теперь, когда от беспривязного содержания почти всюду отказались, тот зал еще без крыши.

Впрочем, и тут хозяйская сметка Николая Афанасьевича смогла проявиться потому, что были экономические возможности. Достаток средств позволил построить мастерскую, а высокая оплата у доярок, достаток рабочих рук позволяли повременить с «елочкой». «Умна жена — как полна бочка пшена», — любит напоминать Гордевушка.

Что касается производительного труда Неудачного, то и у него много времени и энергии тратится непроизводительно. Председатель колхоза — добытчик. Как-то не принято писать об этом. Есть отделение «Сельхозтехники», чего ж еще? Руководитель колхоза должен хлеб растить, а не ходить с просьбами по большим кабинетам, не рыскать по всей области, привлекая к себе взгляды сотрудников ОБХСС. Все так, но, увы, сколько еще в понятии «председатель колхоза» от оборотистого доставалы, от предприимчивого снабженца! «Под лежач камень вода не течет», и агроном Неудачный, смертельно не любящий «цыганить», делать «гешефты», принужден разыскивать и добывать ценности широчайшего ассортимента — от шин и труб до строительного камня, от генераторов и мягкой кровли до леса-кругляка. Разница между Неудачным и северным его собратом разве только в географии доставания. Кубанец в материально-техническом самоснабжении обычно выходит за грани не только района, но и края, даже республики. Розовый туф, из которого построена школа в Железном, доставлен из Армении, кое-что из электрооборудования до переселения в колхоз уже отработало на шахтах Донбасса...

Особь статья — добывание кормов. Даже при чудесных урожаях колхоз имени Крупской не создал устойчивой кормовой базы. Но тут уже дело в причинах субъективных, в волевых решениях, не имеющих отношения ни к природно-экономическим условиям, ни к мастерству председателя. И если хорошие почвы и климат, достаток людей, техники, высокий уровень закупочных цен, дельное управление хозяйством — это двигатели экономики хутора Железного, то волевые решения — тормоза, значительно сдержавшие развитие и этой артели, и всего сельского хозяйства Кубани. Но о том позже.

Возвращались домой мы с Николаем Афанасьевичем затемно, Гордеевна кормила нас, приправляя ужин хуторскими новостями. В дождливые ночи Николай Афанасьевич уезжал повидать Марию, и тогда уж ничто не мешало старушке поговорить о ее Колечке.

Узнал я, что это Гордевушке хутор Железный обязан тем, что Неудачный до сих пор председателем. Райком задумал перевести Колечку в какой-то отстающий колхоз, а она не побоялась, достала бордовую шаль (старинная шаль, свадебный подарок супруга, была мне тут же показана) и поехала прямо к Пахомову. С Пахомовым они давние знакомые, он велел ей утереть слезы и сказал, что все образуется... В рассказе все точно, но есть одна частность: об опасности Гордеевна узнала после

того, как бюро райкома за отказ расстаться с колхозом имени Крупской объявило Неудачному выговор.

Узнал бы я много больше, если б не тот же недуг, что и у ростовского ученого: глаза слипались...

У Неудачного частенько бывали дела в районе, и он брал меня с собой в Усть-Лабинск.

Многолюдный, пропитанный солнцем, утопающий в садах Усть-Лабинск — типичнейший среди городков южной России. Как и его ровесники, лежащие на берегах Кубани, Лабы и Терека, он вырос из казачьей станицы и унаследовал от нее некоторую медлительность жизни, вездесущий дух жареных семечек и знание всеми всех.

Промышленность в южных городках невелика, никак не по населению. Став городами, бывшие станицы не торопились порвать с сельским укладом: до последних лет здесь почти каждый рабочий и служащий получал известный участок земли для огорода и кукурузы, почти в каждом дворе держали корову, свинью, стадо гусей, два-три выводка уток. Поэтому разговоры о дожде, о сенокосе, о добродетелях и пороках городских пастухов можно было слышать и в кабинетах райфо, и в потребсоюзе, и даже в отделении милиции.

Сложился круг хозяйственных обычаев. Город делился на секторы, каждый из них формировал свое стадо, коровьими делами заправлял выборный комитет. Председатель комитета имел в подчинении пастуха, иногда особого бычатника (до победы искусственного осеменения), договаривался с ближним колхозом о выпасах. У отца одного журналиста-кубанца до сих пор хранится печать с надписью: «Председатель коровьего стада».

За известную плату колхоз выделял для гурта одну-две клетки, обычно эту землю засеивали люцерной и злаковыми травами, используя частью как пастбище, частью как сенокос. Хозяйки обязывались продать в счет колхоза двести — триста литров молока в год, шло оно для детских учреждений, больниц, родильных домов. Нужно сказать, что вся трава в закустаренных поймах рек, в лесополосах, на обочинах и межах исправнейшим образом выкашивалась, а по производству продуктов на сто гектаров городские выпаса никогда не уступали колхозному уровню. Городок, считавший гурты на тысячи голов, был крупным производителем молока и мяса, кормил себя сам и немало поставлял на рынки.

В гостинице Лабинска до сих пор висит любопытное объявление:

Тариф за услуги

Ночлег в общежитии (1 койка) — 60 коп.
 Стоянка 1 головы крупного скота — 60 коп.
 » » мелкого скота — 30 коп.

Известное стирание грани между венцом созданья и бессловесной тварью — память о поре, когда двор гостиницы перед базарным днем бывал полным-полнехонек. Запрещение держать личный скот привело на этот двор тишину, а базары...

— Та нехай они скажутся, такие базары, глаза б их не видели! Семечек только и купишь, да, может, грузин мандаринов привезет. Вот годов семь назад были базары — да... Заходишь в ворота — слева худобу продают. Тут и мычит и мекает, петухи кричат, гуси тебя щиплют — покупай! А молочный ряд! Господи боже ж мой, и сладкое молоко, и кисляк, и ряженка румяная, и брынза, и сметана — ножом ее режь, и масло в капустном листе. Хотишь — тут кушай с булочкой, хотишь — до дому носи. И дешево, сказать — не поверите: рублей восемь кило говядины, на старые деньги, конечно. А какой фрукты, каких помидоров, и синеньких, и огурчиков малосольных в укропе понавезут, а сколько вина осенью! Пройдешь только по ряду, попробуешься — и потекла «Кубань, ты наша родина»... Та что, не правда, скажете?

Правда. Скупка коров помогла навести чистоту на заросших спорышом улицах, но превратила городок из производителя молока и мяса в потребителя. Еще б пол-

беды, если бы изъятие личного скота подняло производство животноводческих продуктов в общественном секторе. Но краевые организации, приложившие максимум энергии, чтоб и в «коровьей экспроприации» быть впереди всех, не сумели использовать громадное пополнение колхозных и совхозных гуртов. И это уж, несомненно, крупный экономический провал.

Теперь надуманные ограничения сняты. Но нужно время, нужна помощь рабочим, служащим, колхозникам, чтоб стереть следы глупейшей затеи.

В то лето Усть-Лабинск был уже полностью свободен от забот о скоте и огородах. Тем многолюднее стало на улице.

Замечательное это явление, улица южного городка! Она одновременно и клуб, и форум, и салон мод. Без теннистой улицы своей городок не жив, как не жив Краков без кавярни, Париж без бистро. Яркая, насмешливая, пижонистая и, в общем-то, миролюбивая, веселая толпа балакает, гуторит, говóрит (в зависимости от того, кем некогда основана станица), в ней смешаны поколения, интересы, вкусы, рядом с «болоньями», «бабеттами», «джинсами» еще увидишь полнометражные клеши, панбархатные платья, широконосые бежевые полуботинки, кепки-восьмиклинки почти без козырька. В разговорах касаются всего, но тема собственного житья-бытья остается главной. И поскольку из хозяйства остался только садочек, а летом положено думать о зиме, то понятно внимание, уделяемое консервной крышечке.

— А вы сколько банок жерделей закрутили?

— Та что там — «закрутили»... Только полсотни крышечек достали, да кум, спасибо, прислал из Крымска тридцать штук. Не разбежишься. Надо ж и на виноград оставить, и слива сей год рясная. А у вас как?

— А мы из Сухуми привезли сразу две сотни, пока еще крутим.

— Живут же люди!..

Подходит уборочная, а городская улица — нет, не редее! В хозяйства будут посылать только транспорт, рабочей силы не нужно. Ни на сезонную работу, ни по-стоянно. Перенаселенность, нужда в трудоемких производствах чувствуется в южных городках все сильнее. Что ж, край благодатный, вдобавок к рабочим рукам тут отличные дороги, достаток энергии, воды, и недалеко, видать, время, когда Усть-Лабински и просто Лабински начнут вырабатывать не только сахар и подсолнечное масло, но и синтетику, метизы, точные приборы. Пока же — в тесноте, да не в обиде: Кубань на свете одна, и охотников навсегда покинуть ее ради неуютных далеких просторов не слишком много.

Грандиозные на взгляд псковича или вологодца, обязательства усть-лабинцев на самом деле были приняты вполне разумно, с нужным запасом. Получить по 32 центнера зерновых с каждого гектара, продать государству 13,4 миллиона пудов хлеба было по силам. Средний намолот в предыдущем году уже составил 28 центнеров, под новый урожай была дана хорошая доза туков. Погода в цветение и налив стояла точно на заказ: утра росные, дни не слишком жаркие, закаты спокойные, без поlyingа, сулящего суховей. Урожай шел прекрасный.

Заявленный в обязательстве объем хлебосдачи — около пятнадцати центнеров с гектара — был высок, но давал надежду на прочные фуражные фонды. Усть-Лаба нуждалась в концентратах! Без мощной поддержки фуражом нельзя было остановить экстенсификацию животноводства, вернуть надои на уровень 1958 года, дать нормальные привесы. Разговоры о том, что в Усть-Лабе нет отстающих хозяйств, были правильны в отношении полеводства. Ведь в тот год удалось получить в среднем по управлению тридцать шесть центнеров пшеницы с гектара! Но, безусловно, отставала громадная отрасль экономики — животноводство. Большой хлеб 1963 года должен был многое исправить.

Кому приходилось видеть кубанского комбайнера на целине, тот согласится, что средний механизатор-казак обучен, подготовлен, вышколен лучше, чем средний сибирский. Тут сказывается, видимо, «естественный отбор»: при достатке народу штурвал комбайна доверяют, конечно же, лучшим хлеборобам. Но не на редком и сорном сибирском хлебе, не под ветрами и снежной крупой целинного сентября, а дома, в пол-

день года, на густоющей — полтысячи колосьев на метре — пшенице кубанский комбайнер по-настоящему проявляет себя.

Убирала Усть-Лаба по обыкновению, то есть выше всяких похвал. Рекордов было немного, за ними и не гнались, но намолот в тысячу центнеров на комбайн в сутки был обычным явлением. Так же стремительно шло выполнение обязательства по сдаче. Уже в первую неделю июля первая распубликованная в миллионах газет цифра — 13,4 миллиона пудов — была почти достигнута.

Но секретарю парткома Александру Афанасьевичу Пахомову было предложено: добавить к обязательству еще два миллиона. Он согласился. Важно было скорее отрапортовать, чтоб на рапорте и ответном поздравлении поставить точку заготовкам и хотя б кукурузу оставить на фураж.

В колхоз имени Крупской прислали колонну грузовиков, и Неудачному было предложено наладить поточный метод уборки, ясней говоря — возить зерно из-под комбайна прямо на элеватор, минуя ток. Шоферы работали лихо, кроме семян, в колхозе не оставалось ни бубочки, и Неудачный был мрачнее тучи.

— Смотри, какой хороший пылесос! Куда мне после него с фермами деваться? На токах хоть отходы были б... Ведь тысячи свиней, а супоросных еще сколько!

Усть-Лаба сдала и пятнадцать с половиной миллионов. Из крайкома позвонили: «Продолжать».

Семнадцать миллионов. «Продолжать».

В это время уже стало ясно, что Казахстан и Сибирь хлеба не дадут. Перед страной необычайно остро встала проблема хлеба. Дошли первые, еще неясные слухи о закупках за рубежом.

Девятнадцать. Фуража оставалось столько, что надо было сбрасывать поголовье. «Продолжать».

Двадцать. На элеваторы уходила кукуруза. Много свиней, поросят, птицы сдали... Как о замечательной победе крайком рапортовал: Кубань сдала в 1963 году 202 миллиона пудов зерна, десятую часть этого продала Усть-Лаба.

Но это не было победой. Ибо край сдал вместе с товарным зерном и тот хлеб, который должен был преобразоваться на фермах в молоко, мясо, яйца. Животноводству Кубани был нанесен серьезный урон.

Стараясь закрыть брешь в кормовой базе, Неудачный оставил в хозяйстве три тысячи тонн свеклы и тем сохранил свиноводство. Прорабатывали его за это своеволие, самоуправство, безобразие нещадно, он был «именинником» на множестве совещаний. Какой уж там передовик! Нарушитель государственной дисциплины — это будет точнее.

Еще зимой крайком объявил о новом, вовсе уж нереальном обязательстве на 1964 год — сдать 230—250 миллионов пудов зерна. Несомненно, сюда уже заранее включились концентраты. В Краснодаре смотрели на фураж, как на источник, откуда можно качать в любой год в нужных для престижа количествах. Именно для престижа, ибо лето показало, что в целом по стране год урожайный, а на Кубани, наоборот, сбор будет наверняка ниже прошлогоднего. Наперекор стихиям руководители края подтвердили намерение сдать 230 миллионов пудов, то есть оставить хозяйства вовсе без концентратов. Хорошо, что «фуражные заготовки» были в середине октября 1964 года прерваны. И все же многие хозяйства снова сильно пострадали.

Неудачный добился высшего урожая по Кубани: на двенадцать центнеров намолот в колхозе имени Крупской превысил среднюю урожайность Усть-Лабы. План поставок был перевыполнен, наконец-то свободнее стало и с концентратами: в амбарах лежала кукуруза. Впереди был год спокойной, разумной работы.

Николаю Афанасьевичу Неудачному предложили съездить в Соединенные Штаты Америки. Он согласился. Хутор Железный тревожился: как-никак два перелета через океан.

Но у Неудачного все обошлось хорошо. Много повидал, кое-что приглядел и для работы.

Вернувшись, председатель нашел пустые амбары. Фураж обязали сдать. Боясь падежа от бескормицы, правление ликвидировало три тысячи подсвинков и поросят.

Сверх всякого плана колхоз вывез 14 тысяч центнеров зерна. Если ему и прода-

дут столько же комбикормов, все равно на разнице в ценах он потеряет около 30 тысяч рублей. Но потери от перебоев в кормлении, от «борьбы за существование» коров и свиней будут гораздо большими.

Александр Афанасьевич Пахомов выслушал упреки председателя. Это был уже второй выговор. Первый Пахомов получил на бюро крайкома, когда отставал год спокойной работы. В протокол потом наказание не внесли, но это не так уж и важно.

Николай Афанасьевич переехал в новый дом, и мы с Пахомовым были на скромной его свадьбе. Нас встретила Мария, смущенная и счастливая. Гордевушка почтительно оглядывала полированную мебель, телевизор, холодильник, ванну с колонкой и хвалила, хвалила без усталости.

Наутро председатель, вырастивший высший урожай зерновых на Кубани, поехал добывать для свинофермы сухой жом.

Так обстоит дело с причинами субъективными.

II

В последние годы Кубань была, как говорилось, «всероссийским запевалой»: здесь рождалась инициатива за инициативой. Лозунг «Превратим Кубань в Шампань!» (имелось в виду развитие виноградарства) уступил место призыву «Перегоним Айову!». Вслед за обязательством произвести уже в 1963 году по 75 центнеров мяса на сто гектаров пашни краевые органы сообщили: Кубань борется за 40 центнеров пшеницы, за 50 центнеров кукурузы с каждого гектара посева и уже в 1964 году заготовит 230—250 миллионов пудов зерна.

Как ни противоречивы эти программы (Шампань не Айова, а высокий темп развития животноводства исключает рост товарности зернового хозяйства), они по отдельности воспринимались за пределами края как реальные, вполне посильные. Потому что хорошо известна исключительность природно-экономических условий Кубани. Потому что Кубани не с кем равняться.

Специалисты считают гектар кубанской пашни равным 2,11 условного среднероссийского гектара. Благодатный климат позволяет возделывать сотню разных культур, даже в относительно засушливый год тут собирают урожай зерна в двадцать и больше центнеров. На одного трудоспособного колхозника здесь приходится значительно меньше пашни, чем в даже густонаселенной Калининской области, и почти втрое меньше, чем в колхозах Западной Сибири. К «божьей благодати» прибавляется рукотворное плодородие: необычайно высока оснащенность кубанских хозяйств основными средствами производства, колхозы хорошо вооружены технически и располагают деньгами для постоянного обновления машин. Только в минувшем году на развитие производства колхозам и совхозам края был отпущен 221 миллион рублей. Каждый гектар классического чернозема получил в прошлом году 280 килограммов минеральных удобрений — в несколько раз больше, чем гектар вологодского, валдайского, псковского подзола.

Об исключительности условий Кубани, о полнокровности ее экономики позволяет судить таблица из сборника «Материальное стимулирование развития колхозного производства», изданного Академией наук СССР в 1963 году. Здесь показаны доходы колхозов Федерации по экономическим районам (в среднем за 1959—1961 годы, в рублях):

Районы	Валовой доход на 100 рублей всех затрат	Валовой доход на 100 человеко-дней	Чистый доход на 100 рублей затрат
РСФСР	84	258	46
Северо-Западный . .	60	155	22
Северо-Кавказский .	101	383	58

В следующие годы положение менялось в пользу крепких южных колхозов: продажа техники МТС благоприятно сказалась на их экономике, большую выгоду принесли достижения селекционной науки, создание мощной сахарной промышленности перевело на поля новую интенсивную культуру — сахарную свеклу.

И в крае действительно произошли заметные перемены. Повторим широко опубликованные показатели, в которых как бы подводятся итоги починов. К 1963 году продажа зерна была удвоена по сравнению с 1960 годом и достигла 202 миллионов пудов. Почти в пять раз, если сравнивать с 1957 годом, возросли посевы сахарной свеклы, удвоились, если считать от 1959 года, сборы винограда.

Эти данные выдавались за следствие умелого, инициативного руководства, высокого организаторского мастерства работников краевых органов.

Но если спокойно и мало-мальски основательно проанализировать истинные итоги сельской экономики Кубани за последние годы, то убедешься, что уровень руководства был крайне низок. Корабль, оснащенный прекрасными ветрилами, шел не без руля, нет. Но руль словно бы использовался только для крутых поворотов, а не для следования твердым курсом.

Конечно, если брать для анализа произвольные периоды, выгодные направления, как это делается в Краснодаре, то можно составить нужную для престижа мозаику. Но такой своевольный отсчет не даст ясной картины. Оговорим право оперировать цифрами последнего шестилетия. С 1959 года кубанские колхозы работают на своей технике, ликвидация МТС — заметная веха в их хозяйствовании. Период достаточно велик, чтоб исключить влияние колебаний погоды.

Прежде всего вызывает удивление главнейший из успехов — удвоение продажи зерна за 1960—1963 годы. Каким путем это достигнуто? Увеличением сборов? В том-то и дело, что нет. Средний урожай за последнее трехлетие ни на десятую центнера не поднялся над измолом предыдущих трех лет. Производство зерна в крае не достигло уровня 1958 года. В шестьдесят третьем собрано хлеба на 358 тысяч тонн меньше, чем в пятьдесят восьмом, заготовлено же на 961 тысячу тонн больше.

Растет не так сбор зерна, как его товарность. В 1960 году закупки составили 35 процентов к валовому сбору, а в год удвоения — уже 57 процентов. Можно ли преподнести как достижение изъятие из хозяйств того зерна, что должно было стать сырьем для развитой животноводческой индустрии? Памятный недород был несчастьем, несчастьем стала для хозяйств и сдача фуража. Другое дело, что в тяжкий год пойти на эту меру нужно было: ведь крупный южный порт Новороссийск впервые за свою историю не отгружал зерно за рубеж, а принимал его с чужих судов. Но тяжкий год — все же редкость, а вольности с фуражом допускались часто.

Не только в Краснодарском крае на фуражный сусек глядели в период хлебо-сдачи как на бездонный кладезь. Так было и в Заволжье и в Сибири. Операция считалась как бы заимствованием: сегодня сдадим, перевыполним план, а через месяц привезем с элеватора назад на фермы. К здоровой экономике эта операция так же не имеет отношения, как и сдача семян в былые годы. Ведь хозяйства, если и удавалось получить столько же концентратов, сколько было сдано фуража, платили весьма внушительные проценты за этот «заем». Минимальная разница в цене сданного и купленного фуража — три рубля на центнер. А транспортные расходы! А потери от перебоев в кормлении! Животное не может, подобно трактору, спокойно ждать, пока подвезут «горючее» — оно теряет в весе... Странно звучит в применении к такой практике разговор об «интересах государства». Председатель колхоза, охотно сдающий фураж до зерна, — примерный гражданин, он ставит интересы государства, народа превыше всего. А тот, кто всеми правдами и неправдами обеспечивает кормом свиноферму и птичник, — тот подчиняет интересы страны своим собственным, мелким, так сказать, и чуть ли не шкурным. Второму, «неправедному», стоит многих нервов, подчас строгого выговора сохранение каждой сотни тонн фуража, но уже через квартал эта сотня тонн идет в город беконом, тысячами яиц, говяжьими тушами. Передовик на час мается целый год и проклиная день, когда уступил, когда за первое место в сводке отдал и подлинный интерес государства, и выгоду своего колхоза.

Для руководителя хозяйства в слове «фураж» слилось очень многое. «Возьмут или оставят», «раскручивать поголовье или готовить сброс» — эти вопросы тревожат его до глубокой осени. И он уже отвык видеть в концентратах просто оборотные производственные фонды, ближайшую родню горючему, запчастям или химикатам. Ведь если нет солярки, то пахать нельзя. А если сданы концентраты, то план по мясу выполнять можно. Каким путем? Это уж его, руководителя, забота...

Пожалуй, эта проблема — последнее из серьезных наследий поры очковтирательств и показухи. Именно государственные интересы требуют, чтобы план производства животноводческих продуктов обеспечивался строго определенным количеством концентрированных кормов. Тогда можно спрашивать с руководителей за разумное использование фуража, взвыскивать за перерасход комбикорма, объявлять (и с полным правом!) нетерпимой, вредной для страны практикой, при которой на центнер свинины кормов затрачивается вдвое-втрое против научно обоснованных норм.

Называя в качестве нового обязательства 230—250 миллионов пудов, в крае отлично знали, что выручить может только фураж. Конечно, не становились бы краевые органы на этот путь, если б уверенно росли валовые сборы зерна. Но производство зерна колеблется, не достигая уровня 1958 года. Почему? Вопрос чрезвычайно сложный, заслуживающий специального анализа, и все же, если смотреть без предвзятости, можно отметить некоторые причины.

Ни об одной культуре столько не говорилось, не писалось, ни на одну не возлагали столько надежд, ни одна так не подходила, казалось, к условиям Кубани, как кукуруза. «Самая урожайная, наиболее интенсивная» — это, пожалуй, были скромнейшие из эпитетов, прилагаемых к ней. При расширении ее посевов почти до миллиона гектаров край исходил из превосходства початка над колосом, что подчеркнуто и в обязательстве (40 центнеров пшеницы, 50 центнеров кукурузы).

Но на чем основано это предпочтение? На многолетних данных практики? Или на рекордах отдельных звеньев, могущих подтвердить любую желаемую вещь? Познакомимся со средними пятилетними (1959—1963 годы) данными по краю, а также по группе северных (Кушевское управление) и центральных (Усть-Лабинское управление) хозяйств.

По краю средняя урожайность озимой пшеницы — 23,7 центнера, кукурузы — 20,2 центнера. В Кушевском управлении — соответственно 18,8 и 13,9 центнера. В Усть-Лабе сборы выше, но соотношение почти то же: 29,3 и 26,5 центнера. По краю на производство центнера пшеницы затрачено 0,13 человеко-дня, на центнер кукурузного зерна — 0,48 человеко-дня.

Кукуруза при засушливом кубанском лете ниже пшеницы по урожайности. А почему, собственно, должно быть наоборот? Давала бы она больше, чем колосовые, — и пришлось бы удивляться наивности станичников, занимавших ею в 1929 году только полмиллиона гектаров, а не полный миллион. В три с половиной раза початок дороже пшеницы по затратам труда. На севере края сборы кукурузы почти вдвое ниже, чем в центральных районах. Так в чем же она, исключительность?

Ставить под сомнение полезность кукурузы на юге смешно. Она давно уже завоевала себе авторитет. Любопытно заметить, что в языке казачьих соседей, кабардинцев, кукуруза называется «нартух», то есть «зерно нартов», былинных богатырей, кабардинских родичей Ильи, Добрыни и Микулы. Причем это — подлинное слово в языке, отнюдь не рекламная выдумка. Кукуруза — поставщик питательного зерна и сочного корма, отличный предшественник, безусловно повлиявший на подъем урожайности пшеницы. Но объявлять кукурузу «важнейшим резервом», «культурой изобилия», фетишизировать ее, отворачиваясь от видимых ее минусов, — это принимать «должное быть» за действительное. Может ли прийти пора, когда кубанская кукуруза обгонит пшеницу в урожаях? Не будем гадать. «Марксизм стоит на почве фактов, а не возможностей», — писал В. И. Ленин.

Такой же заданный, волюнтаристский подход был проявлен и к люцерне, суданке и ряду других кормовых культур. Разница лишь в том, что кукурузе на роду написано быть интенсивной, и виноват в низких урожаях, если они налицо, колхоз. Люцерна же заведомо «малопродуктивна», никто в этом не виновен, надо распахивать ее! Прав-

да, сотни примеров убеждают: при нормальном уходе люцерна дает на Кубани пять, шесть, даже восемь тонн сена с гектара, по кормовым единицам такой сбор не уступит урожаю зерновых, по содержанию протеина намного превышает его. Суданка вполне способна состязаться с кукурузой по зеленому корму, она нетрудоемка, хороша в зеленом конвейере, и во многих хозяйствах ее сеяли «подпольно», выдавая в отчетах за иную, «интенсивную» культуру.

Какое, однако, отношение имеют травы к зерновой проблеме? Да такое, что все взаимосвязано. «Если в хозяйстве вы делаете какое-нибудь существенное изменение, то оно всегда влияет на все отрасли его и во всем требует изменения», — писал известный агроном и публицист А. Н. Энгельгардт. В итоге «борьбы с травопольем» и бесконечных «пересмотров структуры» кормит скот летом стали в большой степени за счет озимых. Процент кормовых культур снижался, но платили за то недешево: на подкормку скашивались хлеба со многих тысяч гектаров. Зеленая масса пшеницы, ячменя — отнюдь не самый дешевый и питательный корм.

Впрочем, в зеленом конвейере и посевы озимых нужны, они рано дают корм, в экономных пределах разумны. Но когда вместо «и — и» говорится «или — или», когда доводы экономики заглушаются громогласными призывами, нажимом — тогда происходит вырождение идеи.

Мне приходилось писать об этом в газете. В письмах, в разговорах потом доводилось слышать упреки: «Да разве ж в Краснодаре рождались эти глупости? Ведь краевые органы лишь исполняли директивы. На них ведь жали, разве не ясно?»

Тут есть немалая доля правды. Хотя не отнимешь у краевых руководителей и того, что ими прикладывался максимум стараний, чтоб довести до конца заведомо абсурдную идею, что пренебрежение анализом, добросовестным опытом было введено в обычай, а волевые решения подменяли научно обоснованное хозяйствование.

Ярче всего, пожалуй, осветит истинное положение с «командой сверху» и краснодарской инициативностью такой пример.

Осенью 1963 года край получил почти удвоенную дозу туков. Ни для кого не было секретом, что этим самым обделили бедные почвы нечерноземья, сократив и без того их скудный минеральный рацион. Краевые организации, видимо, понимали ответственность перед страной, если печатно обещали «на тех же площадях, при том же количестве рабочей силы и техники собирать дополнительно 222 миллиона пудов зерна». Что, речь не шла именно о шестидесяти четвертом годе? Может быть. Но каждый рубль, затраченный на туки, было обещано вернуть четырьмя рублями чистого дохода.

«По ряду причин и в силу сложившихся осенью 1963 года погодных условий ожидаемой большой прибавки урожая в 1964 году большинство колхозов и совхозов края не получило», — сообщено минувшей осенью. На понятном языке цифр это значит: край снизил урожайность зерновых и зернобобовых ровно на пять центнеров. Конечно, во многом виновата погода, но сыграл роль и вышеупомянутый «ряд причин». С минеральными удобрениями обратились как с даровым, никому не нужным балластом, об элементарных требованиях агрохимии не было и помину. Под основную обработку (наиболее эффективный метод) была внесена лишь восьмая часть туков. Остальные были разбросаны как и куда попало, часто на снег. Самолеты, самодельные туковые рассеиватели, все средства были применены для исполнения краевой директивы — разбросать удобрения! Именно разбросать, а не внести куда и сколько выгодно. Грубо нарушалась требуемая пропорция между фосфором, азотом и калием. При подкормке отношение фосфорных удобрений к калийным должно составлять 150—180 процентов, внесено же было только 60 процентов фосфора.

Нельзя винить руководителей края в позднем и несбалансированном поступлении туков. Но возможность потерь бесчисленных вагонов удобрений, заключенная в причудах снабжения, была превращена в реальные потери. Понимая, что при осенней засухе, при удобрении заснеженных полей ждать большого толку от селитры и суперфосфата нечего, краснодарские руководители все же обязали рассеять все. Не потерять туки боялись они — боялись сорвать кампанию химизации. Тут и вся стратегия руковод-
ства.

Но самым правильным «зеркалом» хозяйствования все же считается работа молочных ферм. Надой на корову — это тот синтезирующий показатель, в котором непременно отразятся и плюсы, и затемненные минусы.

В крае пропагандировалось, что число коров за последние годы возросло на двести тысяч голов, а надой в 1964 году увеличен на 120 килограммов. Прирост общественного гурта, как уж говорилось, в основном вызван скупкой коров у рабочих, служащих, колхозников, причем много закупленного скота исчезло за воротами мясокомбинатов. Уже пятый год Кубань не выполняет государственных планов закупок молока (да и мяса). Задания по молоку не растут, даже снижаются, но еще сильнее снижается его производство: в расчете на сто гектаров в 1963 году его надоено на 34 центнера меньше, чем в 1959-м. (Производство мяса за анализируемый период осталось на месте.) В крае созданы условия, при которых даже это увеличение стада дало в итоге снижение надоев, удорожание молока, привело к экстенсификации молочного промысла. Подтвердим таблицей:

Годы	Поголовье (тысяч голов)	Валовой надой (тысяч тонн)	Надой на корову		Затраты на 1 центнер молока	
			в колхозах	в совхозах	человеко-дней	центнеров кормовых единиц
1959	304,5	662,8	2270	2757	1,5	1,43
1963	502	656,4	1486	1873	1,7	1,63

«Зеркало» говорит, таким образом, вовсе не о разумном, умелом хозяйствовании, а о чрезвычайном происшествии на фермах, о тяжелой беде, которую не прикрывать надо стдельными успехами, а назвать своим именем, осмыслить ее причины. Дело, конечно, в кормах. Обеспеченность скота кормом (в кормовых единицах на условную голову) в 1963 году была ровно вдвое ниже, чем в 1958-м. Что же за бури пронеслись над благодатной Кубанью?

— Одновременно с переводом скота на круглогодое стойловое содержание нас обязали резко сократить площади под кормовыми культурами, — говорит начальник Курганинского управления В. Ф. Литовченко. — Вместо двадцати пяти процентов пашни, как требуется при таком поголовье, мы использовали для нужд ферм лишь двенадцать процентов. Поэтому даже летом хороших коров приходилось держать на соломе.

— Не знаю, как можно так делать — в голове не укладывается, — диву дается бригадир фермы из Приморско-Ахтарска Д. Н. Кулаков. — Посеяна кукуруза на силос, ждем, что хоть осенью коров поддержим, ведь за лето исхудали. Против прежнего на шестьсот литров меньше доим. И вдруг — команда: силос не трогать, ждать, когда початок поспеет. Початок-то обломают, а сухие бодылки — в силосную яму. Какой же с них корм?

— Провозглашая пожнивные посевы мощным резервом, мы занимались самообманом, — замечает Б. Д. Кавешников, заместитель заведующего сельхозотделом крайкома. — Урожай с посевов по жнивью заранее учитывался в кормовом балансе, на деле же в три года из четырех они ничего, кроме износа машин и потери семян, не дают, так как в это время обычно стоит сушь.

— Кукурузный силос — хороший корм, — признает И. А. Тревога, кандидат наук, главный зоотехник одного из лучших хозяйств страны — племзавода «Венцы-Заря». — Но в крае насаждалась «силосная догма»: этот вид корма был провозглашен самым лучшим для всего года. Ничего общего с зоотехнической наукой это не имеет. Одностороннее кормление коров приводит к потере живого веса, к яловости. А нет телка — нет молока... В большей части хозяйств коровы не видели сена, кормовой свеклы, витаминной тыквы. Рационы стали бедны протеином, каротином, это и вызвало резкий спад продуктивности.

Нельзя сбрасывать со счета и перевод молочных гуртов на крупногрупповое беспривязное содержание с доением «елочкой». Ссылками на опыт западных фермеров доказывалось, что это — наиболее прогрессивный метод, обязательный для применения всюду. Но даже на теплой Кубани беспривязное содержание тяжело отразилось на надоях. От него стали постепенно отказываться, но в чем корень зла — многим неясно и поныне. Ведь не привязывает же, как говорят, своих коров заграничный фермер?

Позеоло себе привести отрывок из личного письма. Видный ученый-животновод профессор Павел Дмитриевич Пшеничный писал мне:

«Я еще не встречался с таким размахом очковтирательства, как это случилось с освещением «достоинств» беспривязного содержания дойных коров. Убытки материальные нанесены нашему молочному скотоводству очень большие...

Беспривязное содержание молочных коров не принято и не будет принято хозяйством не по организационным причинам, а из-за порочности самого метода: он приводит к увеличению затрат корма на единицу молока в полтора раза... Я побывал во многих хвалёных хозяйствах, подолгу там жила, иногда выполнял настоящую проверочную работу с документацией — и всегда находил не то, что писалось. Недавно побывал в шести хозяйствах с действующими карусельными установками. Оказалось, что на «каруселях» работают не по 3 человека, а минимум по 7—8, иногда до 14 человек. Удои на такой установке падают на 20—34 процента. Понятно становится, почему в США из 11 карусельных установок, работавших в 1929 году, осталось сейчас две, и те на фермах при кафе...

В 1929—1930 годах на Украине мы вели честную экспериментальную проверку этого метода в специально построенных трех крупных хозяйствах. Я сам страдал переоценкой этого способа, пришлось пережить горечь разочарования. Зато у меня создался иммунитет, не уступающий иммунитету после сыпного тифа, какой посетил меня весной 1920 года...»

Таким образом, «зеркало», пенять на которое нечего, показывает: резкое ухудшение молочного животноводства на Кубани — итог ненаучных экспериментов с кормовой базой.

Не будем подробно останавливаться на производстве мяса. Скажем лишь, что колхозы Кубани в среднем за три года затратили на центнер говядины 10,8, а на центнер свинины — 14,7 центнера кормовых единиц. (Для масштаба: «Венцы-Заря» затрачивают на центнер привеса свинины 5,4 центнера кормовых единиц, а по контрольным группам — даже 4 центнера.) Эти цифры — фокус, собирающий в себе все большие и малые безобразия, что творятся на фермах. Уже два года эхом хлебозаготовок становится «сброс» поросят: молодняк разбазаривается в пору, когда только начинает давать привесы. Чрезвычайно высокие затраты кормов говорят вовсе не о сытости, а о недокорме, о полуголодном существовании животных, о разорительных передержках скота.

Происходит это в крае, где великолепные кадры животноводов, где расположены прославленные скотоводческие хозяйства, дающие образцы научной организации дела, где рождаются впрямь умные, достойные быстрейшего распространения инициативы: В удивительно короткое время при сахарных заводах края созданы межколхозные базы откорма скота, они могут стать настоящими фабриками дешевого мяса. Опыт крупногруппового содержания свиноматок в совхозе «Ладожский» сулит значительный рост производительности труда в самом узком месте мясного конвейера... Громадные возможности подъема таит в себе животноводство края, и при нормальных условиях Кубань в минимальный срок вернет себе достойное место среди областей России.

Среди этих условий особенно важно разумное планирование. Госплан Федерации в своих заданиях словно узаконивал всякого рода крены корабля: если контрольные цифры по молоку при таком стаде ориентировали на экстенсивное хозяйствование, то задания по закупкам зерна были неоправданно, не по животноводству здешнему, большими. Да и не только по зерну. Собирая даже по 280 центнеров сахарной свеклы с гектара, многие колхозы не могли выполнить план поставок корней — так был он велик. И переход на планирование снизу при таком уровне заданий не решений: администрирование в посевных площадях можно заместить нажимом контрольной цифры.

Повышать плановое задание — вовсе не то же самое, что увеличивать производство. Пример Кубани убеждает, что волевое завышение планов как раз подрывает хозяйства.

«Нужно, чтобы уровень закупочных цен побуждал колхозы повышать производительность труда и снижать производственные затраты, так как основу повышения колхозных доходов составляет увеличение сельскохозяйственной продукции и снижение ее себестоимости», — говорится в Программе КПСС.

Высокая рентабельность хозяйства позволяет вкладывать значительные средства в технику, в химизацию, присоединять к естественному плодородию искусственное, создавая тот излишек дохода, что от интенсификации. Чтобы обеспечить равную оплату за равный труд в пределах одной зоны и одновременно стимулировать колхозы к новым вложениям, государство может изымать лишь часть избыточного дохода от интенсификации, оставляя большую ее долю в хозяйстве. Для этого служит система подоходного налога. Но дело в том, что облагался налогом не чистый, а валовой доход колхозов. Такой порядок был обременителен для хозяйств отстающих зон, ибо взимался налог и с убыточных колхозов, не возмещающих своих затрат. Это усугубляло их финансовые трудности.

Но переплата в одном месте возможна была лишь в том случае, если кому-то не доплачивалось. Кому же?

Можно было бы поговорить об экономике псковской земли. Председатель колхоза имени Пушкина Кирилл Степанович Степанов (артель расположена в Пушкинских горах, слова «Михайловское», «Тригорское», «Воронич» здесь звучат как названия бригад) рассказывал, что после ликвидации МТС деревни стали быстро безлюдеть, на поля напалзает кустарник. Урожай зерновых скверные — сам-три, а то и сам-два. Колхоз имени Пушкина — передовой. Здесь более или менее регулярно расплачиваются с людьми. А есть артели, где на трудодень получают по гривеннику, даже по пятаку. Там мужики находят выход в разных ремеслах.

Одни группируются во внутренние, так сказать, «колхозы» и делают колеса, потом продают их колхозам настоящим. Другие валенки катают, третьи идут плотничать, подчас уезжают далеко, а подчас берут подряды и в своих местах, поблизости — «от Опочки две верстоцки, еще в сторону скачок»...

Можно много тревожного рассказать о Калининской области. У самых истоков Волги бывший директор МТС, а ныне егерь Дмитрий Степанович Скобелев водил меня по полям, которые сам в молодости, будучи трактористом, отвоевал у леса. Сын знаменитого в этих местах председателя колхоза, Скобелев до войны был активным комсомольцем, дружил с Лизой Чайкиной. На фронте вырос до майора, в последний раз был ранен уже в Берлине. Отец его погиб в одну зиму с Чайкиной: утопил в проруби двух немцев и был насмерть забит сапогами. Ранения заставили Дмитрия Степановича уйти с руководящей работы, но от сельского хозяйства он не отошел. Весь год бродит с ружьем за плечами по лесам, охраняя дичь, и тяжело страдает, видя, как зарастает пашня, пустеют или вовсе исчезают деревни. Уже лоси днюют в чернолесье, что поднялось на раскорчеванных им участках. Уже старушки одни доживают век в некогда многолюдных деревнях Лопатино, Селище, Клин. Колхозы «Россия», «Дружба», «Свобода», закредитованные вконец, с арестованными счетами в Госбанке, подчас сдают продукты за другие, покрепче, сельхозартели, чтоб можно было снять потом деньги и уплатить своим животноводам...

Можно вести речь о Смоленщине и Новгородчине, о ярославской, владимирской, костромской земле, о любой из областей отстающего нечерноземного центра и северо-запада. Но чаще всего мне приходилось бывать на Вологодчине, о недугах ее сельскохозяйственной экономики я и хочу рассказать.

III

В середине прошлого декабря, теплого и пасмурного, измучившего всех гололедом, мы с Дмитрием Федоровичем поехали из Вологды в Белозерск. Дмитрию Федоровичу нужно было в леспромхозы (работает он в отделе лесной промышленности обкома), мне же выпала удобная оказия навестить знакомого председателя колхоза. Отправи-

лись через Кириллов, берегом длинного Кубенского озера, тем старинным богомольным путем, каким езживали в монастыри еще кроткие цари, включая Ивана Васильевича.

Шофер вел осторожно, боясь соскользнуть в кювет, «газик» не трясло, и Дмитрий Федорович, любитель вологодской истории, начитанный с периферийной основательностью, неторопливо объяснял, что мы видим окрест себя. Старые секретари райкомсов (а Дмитрий Федорович — кадровый секретарь, в обкоме недавно) мастера поездить, спутники они замечательные, нужно только слушать и слушаться их.

Ну, Молочное позади, теперь пойдут старые масляные деревни, они тянутся вдоль тракта до самой Шексны. Церкви в них строились большие, со шпильями на колокольнях. В шпилях этих — солдатская вытянутость, напряженность, тотчас, как взглянешь, думается о Николае Первом. Но Палкин с его вкусом тут ни при чем: церкви выросли позднее, уже на масляном промысле. Просто провинция донашивала ту архитектурную моду, от которой и вторая столица давно отказалась.

Не любопытно ли? Знаменитое вологодское масло, экстракт трав русского Севера, при рождении своем было названо «парижским»! Способ делать масло из топленых сливок открыл уроженец Череповца Н. В. Верещагин, ученый, брат известного живописца. Он же ради сбыта нового продукта пошел на рекламную хитрость: название должно было объяснить изысканный ореховый привкус, благородный аромат и цвет. Но смех в том, что масло в самом деле стал потреблять Париж! Правда, под маркой «датского», перекупщики действовали.

Открытие нового способа почти совпало с переворотом, который совершил сепаратор. Он загудел под Вологдой уже через два года после изобретения. Быстрым развитием вологодского маслоделия интересовался, писал о нем Ленин. В канун революции губерния уже насчитывала больше тысячи маслозаводов — маленьких, примитивных, но составляющих вместе нешуточную индустрию.

Да зачем далеко забираться? В двадцать сельмом году Вологодчина выработала триста тысяч пудов высококачественного масла. Теперь его выработывают раза в три меньше. Правда, товарного молока область дает столько, что его хватило бы на семьсот с лишним тысяч пудов масла. Просто города потребляют цельное молоко, тут и вся разгадка...

А вот и Усгь-Кубенское, кружевная столица. Здесь десятилетняя девочка — правая плетей, а в пятнадцать она уже и накидку и покрывало сплетет, сама себе заработает и на кино и на туфли. Видите, девушка с чемоданом «голосует»? Нет, это не студентка, и вовсе не к маме едет. То второй конкурент председателя колхоза едет портить ему трудовую дисциплину, ясней говоря — везет нитки, заказы на кружева, ей же плетей и готовое сдают.

Мы взяли «конкурента» с ее большим чемоданом. Девушка — звали ее Любой — и вправду ехала от кружевной фабрики собирать работу у надомниц. Она рассказала, что хорошая мастерица зарабатывает на выгодных образцах рублей пятьдесят—шестьдесят в месяц. В колхозе столько не получишь, и заказы от фабрики охотно брали бы все женщины, и старухи и молодые, только председатели колхозов не разрешают. Правления дают Любе списки, кому можно давать нитки и образцы. Это или нетрудоспособные, или хорошо работающие, выполняющие минимум трудней. Конечно, и у Любы и у женщин есть свои хитрости, им часто удается обходить препоны, за то Любу не терпят председатели и бригадиры. А что поделаешь — работа такая! Она и сама выросла в колхозе, после школы удалось уйти на фабрику, теперь она довольна, живет в общежитии, народу много, весело.

Я не спрашивал у Дмитрия Федоровича, кто первый конкурент у вологодского председателя. Спутник руководил лесной промышленностью области. Средний дневной заработок в леспрохозах — больше четырех рублей, средняя оплата человека-дня в вологодских колхозах — рубль тридцать семь копеек. И те из крепких, со специальностью, мужчин, что не ушли «на города», очень охотно меняют родную деревню на поселок леспрохоза. Недавний секретарь райкома сам натерпелся от этой конкуренции.

Ага, уже часовенки пошли, близится обитель преподобного Кирилла. Приходилось ли замечать, что северные русские святые — завзятые практики и реалисты? Не до испуганных бдений, не до умерщвления плоти — жизнь ставила задачи поважнее, превыше всего было дело. Приходил организатор на пустое место, раскручивал работу,

развивал сельское хозяйство и товарообмен, копил деньги, выколачивал ее, откуда можно и откуда нельзя, обогащал монастырь, заставляя считаться с ним. Хлопоты по своей канонизации перепоручал потомкам, они же заботились об антураже святости для крепкого дельца. Впрочем, и причисление к лику святых было серьезным экономическим мероприятием... Разворотливости, организаторскому мастерству Сергия Радонежского могли завидовать первейшие государственные мужи его времени. А разве не того же поля ягодой был и Кирилл Белозерский?

Человек с громадными связями, из рода Вельяминовых, он был прислан сюда через семнадцать лет после Куликовской битвы, в которой, кстати сказать, блестяще проявили себя белозерские ратники. Прибыл с объемистой кожаной сумкой, вроде те-перешней инкассаторской. В ней находилась сумма, избавившая его от трудностей первоначального накопления.

«Место же оно, иде же Кирилл вселися, бор бьяше велии и чаша и никому же от человек ту живушу. Место убо мало и кругло, но зело красно, всюду яко стеною окружено водами». Конечно, сочинитель подзагнул насчет безлюдности этих мест. Иначе как мог Кирилл так скоро окружить себя «братъицею»? Он пишет великому князю о своей «братъице», а себя тактично называет «чернищо»... Какая же тут безлюдность, если годовой доход основанного Кириллом предприятия дойдет до полумиллиона рублей — цифры и по более поздним временам космической. Это же все люди, работа... А место впрямь более, ничего не скажешь.

Нужно проехать почти весь бревенчатый Кириллов, чтобы увидеть будто из воды восставшую белую крепость. Она на самом берегу Сиверского озера. Дмитрий Федорович верно заметил: и не бывав тут ни разу, этот вид словно узнаешь. Это потому, считает он, что с детства всем помнится одно из чудес «Сказки о царе Салтане»:

В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами...

Самое реальное чудо сказки... Впрочем, Дмитрий Федорович, развивая забавляющую его мысль, постарался доказать, что и Кирилловы чудеса были столь же земными, носили экономический оттенок. Осмотрев граненую Сторожевую башню, чуть подточенную волнами Хлебную, Свиточную, монашеский комбинат бытового обслуживания, мы вошли в собор-музей. Пожилая женщина-гид, напирая в силу областного происхождения посетителей на антирелигиозную сторону вопроса, показала богатейшую экспозицию. Дмитрий Федорович, хитро подмигнув, подвел меня к фрескам о чудесах преподобного. Названия сюжетов, выведенные четким уставом, звучали, как пункты повестки дня: «О умножении хлеба во время глада», «О погашении пожара в монастыре», «О умножении вина служебного». В последнем, очевидно, нехватки не было: Иван Грозный пишет сюда свирепо-насмешливые циркуляры, чтоб сосланного Шереметева кормили похуже и не проносили ему в келью вина.

В бывшем монастыре сейчас школа глухонемых. Старушка гид похвалила их: ребята тихие, спокойные. Не чета тем, что иногда летом наезжают — с рюкзаками, гитарами, с маленькими такими приемниками. Теперь построен Волгобалт, обещают пустить целые пароходы со своими и даже заграничными туристами, вот будет колготы!

Переночевав в Кириллове, мы на позднем рассвете пешком, по ненадежному льду, перешли широченную после пуска канала Шексну и к полудню были уже в Белозерске.

Если Вологда — ровесница Москве, то Белозерск, пожалуй, — сверстник Смоленску. Во всяком случае свое 1100-летие город уже отметил, о чем свидетельствуют громадные белые цифры на скате земляного вала. Вал этот — сооружение удивительное: высокий, очень крутой, со сводами внутри, он, говорят, еще недавно, на памяти людей среднего поколения, скрывал от глаз горожан даже кресты собора, стоящего внутри.

А в последние годы сильно осел. Сюда, в Белозерск, Иван Грозный сослал новгород-

ский вечевой колокол, предварительно лишив его языка. Для белозерца нет никакого сомнения в том, что и легендарная библиотека царя Ивана Васильевича, которую искали по наивности под Кремлем, хранится здесь, а именно — под сводами северной части насыпи. Летом поросший гравой вал — любимое место прогулок. Июньские ночи здесь белы по-ленинградски, и бродить в светлых сумерках на уровне куполов, над домами, старым гостинным двором, над бульваром с белой сиренью, над простором Белого озера впрямь славно.

Есть тут и еще одно чудо. Когда я впервые попал сюда и под вечер пошел к озеру, меня ошеломило невероятное: по нижней улице шел пароход! Не по озеру — оно виднелось дальше, за буйными ветлами, а прямо по улице. Матросы с мостика шутили с разряженными девчатами. Это увидел я обводной канал.

Построенный в середине прошлого века для безопасности плавания (штормы на Белом озере сильные), он и сейчас служит сплавщикам. Канал пропах свежим деревом, в нем водятся некрупные темные окуни, и среди удильщиков увидишь подчас четырех-пятилетнего мальчонку: мать, должно быть, приглядывает за ним из окна.

Но в наш приезд Белозерск был сер, пасмурен. Недавно прошли дожди, снег почти стоял, на белой сирени, обманутые теплотой, набухли почки. Дмитрий Федорович бранил мягкую зиму: она мешала вывозке леса. Закусив в скверной здешней столовой, мы поехали в леспромхоз: Дмитрий Федорович — чтоб прояснить обстановку с планом, я — повидать Иванова.

Николай Николаевич Иванов стал известен внезапно — 7 марта 1964 года. На совещании в Москве было зачитано письмо свинаря колхоза «Родина», где секретарь парткома Белозерского производственного управления Н. Н. Иванов упрекался в головопашестве, администрировании: он принуждал косить на силос загубевшую рожь.

Доклад на совещании еще не был напечатан, когда Иванова вызвали в обком и сказали, что работу придется сменить. Николай Николаевич вины за собой не чувствовал: в колхозе «Родина» скошено на силос только девять гектаров ржи, получен хорший силос. Посев озимых на кормовые цели обком поддерживал; при уборке на силос с гектара получишь больше кормовых единиц, а продажа зерна при вологодской его себестоимости приносит одни убытки. Вины не чувствовал, но по тону понял: спорить нечего. Согласился работать председателем райисполкома в соседнем районе. Вылетел в новый район, познакомился с людьми, готовился принимать дела. Но тут поступили газеты с текстом доклада.

«Иванов Николай Николаевич — секретарь парткома Белозерского производственного управления, — прочитал он о себе, — родился в 1920 году, член КПСС с 1942 года, образование — 7 классов и областная партшкола.

Вот его послужной список: счетовод колхоза, секретарь сельсовета, председатель сельсовета, инструктор райисполкома, бухгалтер отдела социального обеспечения, инструктор сельхозотдела райкома партии, секретарь райкома, а затем парткома производственного управления. Кто же выдвигал такого человека на ответственный пост секретаря парткома производственного управления? Человек не подготовлен, сельского хозяйства не знает... Таких людей нельзя выдвигать на руководящую работу. Нельзя!»

Иванов прочитал, посмотрел карикатуру на себя — и отказался покинуть Белозерск. Потому что за пределами района не многие знали, что на него возведена напраслина.

Пленум парткома, на котором снимали его с работы, протекал очень бурно. Прежде всего возмутила ошибка, на которой держалось обвинение. Иванов родился и всю жизнь, если не считать армии и учебы, прожил в этом районе, уж тут-то знали, что за плечами у него вовсе не семилетка с областной школой, а десятилетка и Высшая партийная школа Ленинграда, дающая законченное высшее образование. С трибуны говорилось, что не Иванов администратор, администрируют те, что заставляют у Белого озера распахивать клевер, сеять кукурузу, а когда дело не идет, ищут виноватого.

Словом, Белозерск вовсе не хотел признавать, что корень экономических бед — только в причинах субъективных, только в том, что не нашли героя-руководителя, который бы пришел, увидел, победил. Не хотел партком взваливать на кого-то вину за бесплодность перестроек, за метанья в агростратегии, ибо при таком подходе не Иванов,

так Петров или Сидоров непременно должны были подпасть под удар. Дело принимало крутой оборот. Привезенный на место Иванова человек, поняв, что к чему, порывался встать и уйти.

Николай Николаевич попросил слова. Сельскохозяйственного образования у него в самом деле нет, это факт, спорить тут нечего, и будет больше пользы, если секретарем будет специалист.

Отчасти это соображение, а больше — предложение потребовать партийного расследования дела позволили приступить к голосованию. Иванова освободили, секретарем был избран С. В. Маряшин, председатель одного из лучших колхозов области. Особым пунктом записали в решении требование о партийном расследовании.

Правда, едва страсти поутихли, как пленум был собран заново, и пункт о расследовании вынудили отменить.

Иванов пошел работать в леспромхоз заместителем директора. Сильно сдал, на глазах постарел.

Крупного роста, черноволосый, сдержанный, Николай Николаевич встретил меня будто приветливо, но сразу дал понять, что старое поминать не к чему. Он теперь лесоруб, так тому и быть. И если ему эти полгода дались нелегко, то Маряшину, пожалуй, трудней было. И нужно отдать должное: новый секретарь завоевал уважение, расположил к себе председателей колхозов, он уж тут не варяг. Район переводым не стал, беды все те же, но не Маряшина винить: он всего себя отдает работе...

Человек, представленный всей стране как первопричина вологодских бед, превращенный в символ безграмотности, человек с фамилией, на которой вся Россия держится, сохранил гордость, беду перенес достойно. Убедиться в этом было отрудно.

Знакомого мне председателя колхоза зовут Борисом Кирилловичем Беляевым. Колхоз его «Мир» лежит километрах в семидесяти от Белозерска, рядом с лесопунктом «Визьмой», поэтому лесопромышленники проложили туда бетонную колею: две неширокие полосы из плит, ездить по которым надо с умением. Следующим утром Дмитрий Федорович с Ивановым направились в лесопункт, мы с Сергеем Владимировичем Маряшиным — к Беляеву. Путь был один.

Ехали лесом. Когда вдали показывался лесовоз, наши «газики» торопливо съезжали в сторону, освобождая колею. «МАЗ», несущийся с оберемком вековых сосен, могучий, оглушительно ревущий, неспособный быстро затормозить, — зрелище впечатляющее. Казалось, колея прогибалась, когда прокатывалась по ней эта воплощенная сила индустрии, особенно разительная в краю мелких почернелых деревень...

— Хороша машинка, а? — говорил довольный Дмитрий Федорович Маряшину. — Промышленность, брат, его величество рабочий класс... Умеем же работать, когда захотим!

— В Визьме вашей семьсот человек, так? — возражал Маряшин. — И все, между прочим, из колхоза «Мир». А в колхозе двухсот не осталось, теперь вот подали сто семьдесят заявлений о пенсии.

— Понимаю. А машина-то хороша.

— Хороша... А кусать вашей Визьме трижды в день нужно.

— А ты не попрекай, свой кусок Визьма сама зарабатывает, зеленое золото дает. Хороша, говорю, машинка.

— Хороша, только правая рука должна знать, что делает левая. А то придется в твою Визьму сухое молоко завозить. На хорошей машине...

Видно, этот разговор на остановке заставил Дмитрия Федоровича после своих дел приехать в колхоз. Пока же они с Ивановым свернули к ладному, новенькому поселку лесопункта, а мы по рытвинам и колдобинам лесной дороги тронули к деревне Климшин Бор, где центр колхоза «Мир», где живет и сам председатель.

Родом Борис Кириллович Беляев из деревни Аристово, она за Андозером, богатым рыбой. Повзрослев, он стал работать здесь секретарем сельсовета, пошел на выдвижение, вступил в партию, обзавелся семьей, потом был направлен на учебу в Вологду и наконец ранней весной шестьдесят четвертого года вернулся к родным пенатам уже председателем колхоза, объединяющего и опустелое Аристово, и две дюжины других деревень.

Кириллович (зову его так, как и колхозники) многим поступился. Зарплата его теперь меньше, чем на былой должности. Жена Александра Матвеевна, прежде работавшая продавщицей, теперь дома: не с кем оставить младшего, трехлетнего сына. Средний, шестиклассник Сережа, учится в визьменской школе, что за шесть километров от дома, уходит и приходит затемно. Старшая дочь на квартире живет, при школе. Говорю к тому, что Кирилловича никак не упрекнешь в недостатке энтузиазма и самоотверженности.

Председатель разворотлив, практичен, условия здешние знает. Приняв колхоз, он должен был заплатить людям. Молоко не шло — не было кормов, к весне тринадцать коров пало. Кириллович вспомнил о лещах Андозера. Собрав со всего колхоза человек тридцать мало-мальски крепкого народа, он в три дня поймал пять тонн рыбы, сдал ее в потребсоюз и выдал зарплату.

Он старается работать с взглядом вперед. Купил у соседей тридцать телок и шестьдесят коров, выбраковал старые и всякую калеку из своего стада. Приобрел в долгосрочный кредит четыре трактора, комбайн, генератор, сушилку и две сеялки. Своими силами колхоз очистил от камней восемьдесят гектаров пашни.

Кириллович не хуже южного хозяина понимает преимущества специализации. Убыточную свиноферму из десяти маток он ликвидировал, зато рассчитывает увеличить на сорок голов молочный гурт, от которого можно получать какой-то чистый доход. Сам он пользуется доверием в районе. В пору сенокоса соседние председатели не отказали ему в займе, Кириллович добыл десять тысяч рублей и уплатил косарям. Наконец работает тридцатисемилетний хозяин, не щадя сил и здоровья. Маряшин рассказывал, что осенью, в распутицу, Кириллович пригласил его пройтись по бригадам. Ходили по колено в грязи три дня, обошли же только шесть деревень. Секретарь парткома, мужчина крепкий, устал, дальше Беляев один ходил.

Яснее говоря, работник Кириллович дельный и добросовестный. Так что в субъективных причинах не найдешь объяснения для наших бедам колхоза.

Итог первого года работы Кирилловича — восемнадцать с половиной тысяч рублей убытка. Лен ожидаемого дохода не дал, сушь прихватила, а на него была вся надежда. От продажи зерна (урожайность — 5,9 центнера) колхоз понес убытки — по 7,5 рубля на каждом центнере. Выручка за молоко (производится его по 120 центнеров на сотню гектаров угодий) только покрывает затраты. Председателю сейчас позарез нужно 10 тысяч рублей, чтоб рассчитаться по гарантийной оплате — выдать 1 рубль 40 копеек на человеко-день в животноводстве и 80 копеек — в полеводстве. Кстати говоря, сумма подоходного налога, уплаченного убыточным колхозам, как раз и составила десять с небольшим тысяч рублей.

Кириллович шутя заметил, что он сейчас, как конник перед камнем, должен выбрать из грех дорог: или не возвращать банку аванс за лен, или не отдавать долг колхозам, зыручившим в сенокос, или просто подождать с оплатой колхозникам. Последний путь — гибельный. Имея под боком точную и щедрую в расчетах Визьму, обманывать нельзя. И так с доярками сушая беда. Сейчас одну группу коров доит секретарь сельсовета Мария Викторовна — у нее декретный отпуск, сына родила. Но это выход временный, отпуск к концу, а других здоровых женщин в той бригаде нет. Теперь же обязательно надо поднимать оплату и в полеводстве. Главная доходная отрасль — льноводство. Держится ленок заботами и хлопотами старушек, сыновья-дочери которых или в Визьме, или в Череповце, на металлургическом комбинате. С января начинает действовать закон о колхозных пенсиях, он даст старушке примерно те же деньги, что она добывала на льне. И если не заинтересовать пенсионерок лучшими, чем прежде, заработками и не уговорить к тому же, ленок осиротеет.

За год Кириллович разобрался со сложным земельным хозяйством и выработал свой твердый взгляд. Сельскохозяйственных угодий много — 3104 гектара, но сенокосы и выпасы заустарены, заболочены, засорены камнем. Считается, что в пашне 853 гектара, только 120 гектаров он не нашел — давно уж лесом заросли. А из оставшейся пашни 250 гектаров — «мелкий контур», клочки от полугектара до полугора гектаров, сильно засоренные камнями. Урожай на этих латочках ничтожен, чистого дохода от них не жди, а затраты на тракторную обработку громадны.

Летом мне довелось видеть, как пашется одно закаменное поле — чуть повыше деревеньки Замошье, километрах в десяти от центра колхоза. Крестьяне старинной монастырской деревни веками выбирали камень и складывали его в кучи. Между кучами создавалась полоса в пять-шесть проходов сохи. Сеяли вручную, убирали серпом. Теперь же среди серых пирамидок сновал трактор «Беларусь». В пахоте было что-то от циркового трюка. О качестве вспашки говорить не приходилось — главное было не разбить трактор. А сеять, убирать? Конечно же, вручную.

Но если полоска и чиста, надо ведь добраться до нее. Дороги в «Мире» фантастические. Я как-то сказал Кирилловичу, что его пути сообщения составлены из весенней алтайской распутицы, саянского бурелома и васюганских болот. Он принял этот «комплимент», только попросил не забыть валуны. Уже доставка комбайна СК-3 на поля бывой деревеньки Ярглоиды — свидетельство виртуозного мастерства механизаторов. А как перебрасывают комбайн в Перхлойду, я и теперь не могу понять.

Словом, контур мелкий, а разорение от него крупное. Кириллович убежден, что нужно менять способ использования этой земли: залужать клочки, создавать на них долгодетные культурные пастбища. Пусть корова сама собирает урожай меж валунов.

Но это значит — исключить лоскуты из пашни? Это значит — вносить удобрения под траву? Сергей Владимирович Маряшин не торопится одобрить эти задумки. Вернее, внутренне секретарь с этим давно согласен, но за потерю пашни и без того бьют, а удобрений и под зерновые не хватает.

Мы уже собирались в Мироново, когда перед отводом — жердевыми воротами, преграждающими въезд в каждую деревню, — встал «газик» Дмитрия Федоровича. Поехали вместе.

Заколоченная изба — явление на Вологодчине не редкое. Но когда хмурым зимним вечером видишь целые ряды заколоченных домов, когда ни шум ребят на ледяной горке, ни гармонь, ни частушка не нарушат тишины, становится сумно. Оставив машины, мы пошли к мироновской ферме.

Дмитрия Федоровича здесь покинуло то бодрое настроение, с каким он приехал.

— Охо-хо, Кириллович ты Белозерский, про тебя впрямь можно сказать, как про старца писано: «Никому от человек тут живушу»...

— Да нет, в Миронове с доярками нормально, — возразил председатель, — ферма укомплектована.

Ферма глубинной Вологодчины так же не похожа на южные комбинаты молока, как «мелкий контур» — на кубанские поля. В рубленом коровнике обычно двадцать — тридцать буренок, управляют с ними две доярки. Оборудовать здесь механическое доение невыгодно, низка отдача и от других затрат. Благо если свет проведут.

У меня на мироновской ферме есть знакомая, Анна Павловна Яковлева, цветущая, никогда не унывающая женщина. Мы дождались прихода Анны и напарницы ее Клавдии, потолковали с ними. У Анны неприятность: мужа ее, бригадира, Кириллович за пьянство снял с работы. Снял-то, в общем, правильно, никакого сладу с мужиком уже не было, да только от вил и топора он отвык, избаловался, теперь трудно ему, как бы в леспромхоз не подался. И еще забота: уже восемнадцать лет Анна на этой ферме, а выходного до сих пор ни разу не получала. Разве ж это правильно? Другие и в Белозерск ездят, и постирать-погладить могут днем, а она и в праздник с коровами — их ведь не бросишь. Тут Кириллович возразил: ведь ходили они с мужем на Октябрьскую в Рагозино, и стопочка была, и плясали даже. Анна махнула рукой — только часик и посидели...

Мы проехали по полям, и уже затемно Кириллович подвез нас к полуразрушенной церкви, стоящей на холме у Борков. В церкви горел свет, тарыхтел движок. В стене были прорублены широкие, чтоб трактору войти, ворота. В алтаре работал генератор, в притворе тускло блестел токарный станок. К изображениям Ильи-пророка и святого Василия были приколочены таблички с правилами техники безопасности. Это была механическая мастерская колхоза. На колокольне гомонили, устраиваясь на ночь, галки.

Кириллович заехал сказать Вене-электрику, чтоб не давал света на льносушилжу: она без присмотра, долго ль до пожара.

Выходя из церквушки, Дмитрий Федорович пошутил:

— Говорил же я, что вологодская божественность служит экономике. И Кириллу служила, и Кирилловича выручает.

Уж поздним вечером за самоваром мы, как говорится, подбивали итоги. Если и дальше только латать дыры, ставить подпорки и склеивать трещины, толку не будет. Дмитрий Федорович, глядя теперь уже чуть со стороны, судил резко и категорично. Рассказав о фресках в Кириллове, он заключил, что и от Кирилловича требуется целый цикл хозяйственных «чудес». Первое — «о умножении стад». Одновременно с этим — «о создании долголетних культурных пастбищ на землях мелкого контура». Затем — «о полной норме удобрений под все культуры». И в результате — «о уравнивании доходов колхозника и рабочего лесной промышленности».

Посмеявшись такой проповеди, мы стали прощаться.

IV

Колхоз «Мир» — отстающий, конечно, но уж никак не худший среди вологодских сельхозартелей. Всего в области 369 колхозов, из них считаются отстающими 114. Есть артели, где всего двадцать — тридцать трудоспособных.

Снова нужно подчеркнуть: уровень руководства сельским хозяйством области достаточно высок. Нелегко найти в России другой обком партии, где на такой же высоте, как в Вологде, стояла бы сельская статистика. Любопытно: ученые нередко обращаются за консультацией в обком. Не для того, чтоб «согласовать вопрос», а потому, что у руководства стоят коллеги-ученые. Секретарь обкома по сельскому хозяйству Петр Васильевич Мордвинцев многие годы работал директором в молочных совхозах, он кандидат наук, доцент, автор нескольких трудов по племенному и молочному делу. Заведует сельхозотделом молодой способный экономист Юрий Васильевич Седых, свою диссертацию о хозяйственном расчете он не столько писал, сколько делал, организовывал: на хозрасчет переведены сотни колхозных бригад. В обкоме особенно часто вспоминают, стараются сделать обязательным правилом ленинские слова: «Коммунист, не доказавший своего умения объединять и скромно направлять работу специалистов, входит в суть дела, изучая его детально, такой коммунист часто вреден».

Несмотря на то, что десятки тысяч гектаров лучшей земли отдавались под южанку-кукурузу, то есть несколько лет фактически пустовали, несмотря на распашку больших клеверных массивов, область сохранила кормовую базу. За последнее пятилетие закупки молока возросли со 194 тысяч тонн до 297 тысяч, мяса — с 29 до 50 тысяч тонн. Бережливей ведется хозяйство: в 1960 году на тысячу рублей продукции животноводства колхозы затрачивали 14,7 тонны кормовых единиц, в прошлом — уже 12,3 тонны. Стоимость годовой продукции на трудоспособного колхозника за пять лет возросла почти в 2 раза, а оплата труда поднялась за этот срок в 1,8 раза. На гектар угодий производится почти в 1,5 раза больше продуктов, чем в 1959 году.

Это при условии, что серьезной помощи колхозы Вологодчины не получали. Наоборот, продажа техники усложнила их финансовое положение. В 1953 году все производственные расходы на гектар пашни (включая оплату МТС деньгами) составили 6,7 рубля, а в 1963 году только на содержание техники (в расчете на гектар) затрачено 31 рубль. Выработка трактора на мелких и каменистых вологодских полях примерно в 2,5 раза ниже, чем в степях, и насыщенность техникой (1,33 условного трактора на сто гектаров пашни) пока мала. В среднем за три последних года гектар вологодского подзола получал по 83 килограмма минеральных удобрений (для сравнения напомним: кубанский гектар в прошлом году получил 280 килограммов).

Это при условии, что оплата труда все еще низка. За первое полугодие минувшего года вологодские колхозы выдали на человеко-день 1,37 рубля, кубанские — 2,75 рубля. Выработано же одним колхозником и там и тут одинаково — по 116 человеко-дней. Можно утверждать, что трудовая дисциплина в Вологде выше. Ведь средний возраст колхозника в этой области — сорок восемь с половиной лет. На каждого юношу-колхозника приходится десять человек старше шестидесяти лет. А пожилой чаще болеет. Кстати сказать, с мая по сентябрь в северных колхозах работает в полтора раза больше

народу, чем числится в трудоспособных: помогают подростки и приезжающие в отпуск горожане.

И вместе с тем экономика области недужит. Уже давно начались глубинные тягостные процессы, принесшие серьезные потери. С 1940 года число трудоспособных в колхозах сократилось вчетверо, почти на полмиллиона гектаров уменьшилась площадь пашни, под лесом и болотом исчезло около полутора миллионов гектаров лугов и пастбищ.

Можно многое объяснить последствиями войны. Можно указать — и это будет справедливо — на исторически сложившуюся раздробленность земледелия. Пахотные угодья Вологодчины лежат среди лесов, болот, озер, ледниковых отложений. Когда смотришь с самолета, поля глядятся салатными вкраплениями в густую зелень ельника. Средний размер пахотного участка — 2,1 гектара, сенокосного — 1,7 гектара, треть пашни даже из оставшейся переувлажнена, засорена валуном. Трудно в таких условиях сопротивляться натиску леса — ведь полеводство области создавалось сохой и для сохи, многие участки непригодны для тракторной обработки. Можно сказать о раздробленности животноводства, вызванной малыми размерами деревень. В среднем колхозе области — двадцать четыре деревни.

И все же этим не объяснишь, почему тает северная пашня, исчезают деревни. Природно-климатические различия не должны создавать различия в материальном уровне жизни.

Дело в том, что перемены минувшего десятилетия мало утешительного принесли колхозам северо-запада, а система закупочных цен проявляла себя здесь злой мачехой. Мы говорили о недоплате. Небольшая таблица позволит составить четкое представление о том, сколько же недоплачивалось вологодскому колхозу. Вот данные областного комитета партии о рентабельности продукции в сельхозартелях области в среднем за 1959—1963 годы:

Виды продукции	Себестоимость 1 центнера в рублях	Средняя реализационная цена 1 центнера в рублях	Чистый доход (или убыток) в процентах к себестоимости
Молоко	14,26	12,33*	— 13,5
Мясо	99,20	66,38	— 33,4
Шерсть	669,1	281,73	— 57,5
Зерно	13,79	7,25	— 47,5
Картофель	4,52	4,93	+ 9,1
Льноволокно	135,4	197,1	+ 45,4
Трестá	18,42	37,72	+ 105
Льносемена	42,3	50,9	+ 20,3

Чистый доход, как видим, давало только льноводство (денежная выручка от картофеля не составляла в доходах и одного процента). Высшая рентабельность у тресты — 105 процентов. Напомним, что рентабельность подсолнечника, клешевины, кориандра, гороха в последние годы на Кубани и в Ставрополье достигала 400—600 процентов. В 1963 году «северный шелк» дал вологодским колхозам 8,5 миллиона рублей чистого дохода. Зато убытки от молочного животноводства составили 14 миллионов рублей. Государственный план обязывал производить и убыточные продукты. Действующие цены не отвечали высоким, медленно снижаемым издержкам производства, и за 1959—1963 годы колхозы Вологодчины потерпели на продаже продуктов государству убыток в 56 миллионов рублей.

Почти половину поступлений колхозы области вынуждены были расходовать на оплату труда и пока не обеспечивали нужных отчислений в неделимые фонды. В первой половине минувшего года кубанские колхозы отложили в неделимые фонды 48 процен-

* В декабре 1964 года цена на молско повышена.

тов денежного дохода, вологодские — только 33 процента. Но и при этом поступления от колхоза в совокупном доходе вологодца составляли только 39 процентов, остальное давал приусадебный участок, разные другие приработки. Естественно, что и культурно-бытовое обслуживание сильно уступало кубанскому. Сельхозартели Краснодарского края затратили в первом полугодии 1964 года на жилищное и культурно-бытовое строительство в пять раз больше средств (в расчете на тысячу трудоспособных), чем колхозы Вологодчины, а строилось сейчас в южном крае школ в двенадцать раз, клубов и домов культуры — в шесть раз, детсадов и яслей — в десять раз больше, чем в северной области (при том же расчете).

Все сказанное не оправдывает, конечно, но в какой-то степени объясняет уход молодежи из вологодской деревни.

В колхозе у Кирилловича работает агрономом милая и толковая девушка — единственный специалист на все хозяйство. Но и она собирается уехать: не за кого выйти замуж, не коротать же век без своей семьи? И тут не до шуток. Агроном — правая рука Кирилловича.

Итак, не в одних «кадровых» причинах (хотя они немаловажны) нужно искать корни отставания деревни российского северо-запада. Корень — в причинах объективных. Экономический механизм, созданный для охраны принципа равной оплаты за равный труд, работал плохо, оставлял избыточный чистый доход в одних зонах и порождал убыточность хозяйств других зон.

Но одно повышение цен не обеспечит успеха, если не снизить разорительно высокую себестоимость продуктов в северо-западных колхозах. Возможности снижения издержек здесь очень велики. Мы волею-неволею повторим ход рассуждений Кирилловича, ибо мысли председателя поддерживают научные работники области, а если уж говорить совсем точно — Кириллович сам многое позаимствовал из статей и лекций.

Директивы «кукуруза вместо клевера», «не пасти, а кормить» принесли много вреда Вологодчине, единственная польза от них — окрепшее убеждение, что без клевера не обойтись, что пастбищное содержание — наимыгоднейший способ, то есть что отцы и деды дело свое знали. Понятно стремление руководителей расширять посевы привычного трилистника. Вопрос: что занимать под травы?

«Мелкий контур» по чистому доходу оценивается отрицательно. Урожай зерна здесь гораздо ниже средних. Эти десятки тысяч клочков — гири на ногах у колхозов. Но стоит изменить способ землепользования, превратить эти клочки в долголетние культурные пастбища — и земля начнет давать чистый доход.

В полчасе езды от Вологды, на опытной ферме «Дитятево», есть солидный участок «заброшенной» земли, который уже тридцать лет дает превосходные урожаи трав. Член-корреспондент ВАСХНИЛ А. С. Емельянов щедро удобряет опытные клетки — на гектар ежегодно вносится 5—6 центнеров минеральных удобрений. Зато за летние месяцы каждый гектар дает 4—5 тысяч кормовых единиц, в расчете на гектар культурного пастбища ферма производит за лето 45—50 центнеров молока. Летом библейски тучные коровы ходят по брюхо в траве.

Неудобно уже ссылаться на опыт Эстонии — столько раз писалось, что прибалты смотрят на луг как на высоко культурную площадь. Финляндия, перешагнувшая в производстве молока за тысячу центнеров на сотню гектаров угодий, тоже широко использует пастбище и вовсе не считает плуг началом всякой интенсификации.

Но Министерство производства и заготовок Федерации, прямо не запрещая использовать «мелкий контур» как плантации трав, требовало возмещать освоением новой земли любой залуженный участок. Во всяком случае вопрос сгавился прошлым летом так: «Что из пашни упало, то пропало», «интенсификация начинается с плуга», «принцип планирования снизу — это еще не самостоятельность в выборе методов землепользования»...

Что ж, отвоевывать пашню у леса — дело безусловно нужное. Но, заметим, и дорогое. Один рубль, вложенный в расчистку, — это максимум сотка нового подзола, пока еще бесплодного. Рубль же, вложенный в удобрения, возвращается на лугах тем же летом прибавкой 1,2—1,3 центнера кормовых единиц.

Разумеется, прогнивники залужения правы в тех случаях, когда речь идет о много-

людных, хорошо оснащенных хозяйствах. При среднем по Вологодской области «пахотном наделе» колхозника в 6,1 гектара колебания весьма значительны — от 3 до 20 гектаров. Целесообразность создания долгодетных культурных пастбищ растет вместе с «наделом». Спору нет, гектар, занятый интенсивной культурой (кормовой свеклой, картофелем, гибридом брюквы с кормовой капустой), почти наверняка даст больше кормовых единиц, чем самая густая трава. Но нужно соразмерять благие намерения с людскими и техническими ресурсами.

Стоит сказать, что во всех областях нечерноземья луговое хозяйство в последние годы запущено. Ведь в числе тех семи с половиной миллионов гектаров, что за восемь лет выпали здесь из производства, львиная доля приходится на сенокосы и пастбища. Сбор сена с естественных лугов не превышает семи центнеров с гектара, тогда как в 1937—1940 годах значительно большие площади давали в среднем по 9—10 центнеров сена. Расчеты Госплана Федерации показывают, что если довести заготовку сена до размеров сорокового года, то Россия на одной прибавке кормов может производить 9—10 миллионов тонн молока в год, то есть половину всего надоя 1964 года.

Запущенность луга обходится очень дорого. Колхозы и совхозы вынуждены из года в год увеличивать посевы кормовых, вытесняя зерновые. Доля кормовых культур в полевых севооборотах возросла с довоенного времени почти втрое и достигла в шестидесять третьем году 29,4 процента. За десять лет, начиная с пятидесяти третьего, посевная площадь Федерации возросла на 33,5 миллиона гектаров, но 21 миллион гектаров отдан под расширение посевов кормовых культур.

Конечно, не в одних пастбищах дело. Как бы ни плодородны были плантации трав, уровень производства знаменитого масла, состояние экономики колхозов будет зависеть от урожая на пашне.

Зерновое хозяйство области сильно отстает. Достаточно сказать, что урожайность сейчас такая же, как и полвека назад: 7,5 центнера с гектара. Она никак не отвечает возможностям этой земли и климата. По 20—25 центнеров зерна собирает известный в области колхоз «Родина». Двадцать центнеров — обычный сбор на полях опытной станции. Учхоз «Молочное» производит на каждые сто гектаров пашни 61,7 тонны зерна — это втрое выше среднеобластного показателя. Впрочем, эти лучшие данные проигрывают от сравнения с уровнем зернового дела в скандинавских странах. Применяв плодосмен и минеральные удобрения (80 килограммов действующего вещества на гектар), фермеры Швеции довели средний урожай зерна до 30 центнеров (кстати, здесь и сборы клеверного сена высоки — 39—43 центнера в среднем по стране). Процент зерновых в посевах у шведов выше, чем в Вологодской области. Характерно, что скандинавы отдают предпочтение традиционным на севере ячменю и овсу. В Швеции им отводятся 59 процентов площади зерновых, в Финляндии — 63 процента, Вологда же отдает им менее одной трети.

Основная причина низкой урожайности, это известно всем, — в тощей норме удобрений. Мы уже говорили, что гектар подзола в последнее время получал втрое меньше, чем гектар чернозема. Чтоб объяснить эту несуразицу, был рожден миф, будто почвы нечерноземья худо окупают химикаты. К истинной агрохимической науке выдумка эта не имеет ровно никакого отношения. Основоположник «науки удобрять» Дмитрий Николаевич Прянишников еще тридцать пять лет назад опубликовал статью «Резервный миллиард (Химизация земледелия нечерноземной полосы)», где четко и ясно изложил свой взгляд на проблему, куда прежде всего направлять туки:

«Если прежде расширение наших посевов шло к югу и юго-востоку, в сторону земель, не требующих удобрения, то теперь наибольший интерес представляет другое направление в расширении культурной площади, связанное с новым фактором — химизацией земледелия.

...дальше это продолжаться не может: в погоне за даровым плодородием мы оставили почти без культуры области, не знающие засухи, и не только заняли область сухого земледелия, но начинаем распахивать земли в областях, где земледелие является заведомо азартной игрой...

А если распахан уже весь чернозем, лежащий в полосе достаточного увлажнения, то нам телерь предстоит обратить внимание на тот климатический район и на те почвы,

на которых Западная Европа исключительно построила свое интенсивное хозяйство, а именно: на нечернозем, не знающий засухи и способный при удобрении давать устойчивые урожаи датского типа, т. е. 30 ц. зерна с гектара...»

Удивительно современные слова! Можно только горевать, что целых три с половиной десятилетия им не придавалось значения.

Развивать производство зерна необходимо, без фуражной базы Вологодчине не поднять надои до нормального в этих местах уровня в три тонны на корову, Финляндией уже достигнутого. В Вологодской области объемы закупок зерна мизерны (здесь продано государству меньше полутора миллионов пудов, столько обычно сдают два рядовых сибирских совхоза). Да и какой резон заготавливать в Белозерском, скажем, районе 770 тонн хлеба, если только на питание его расходуют здесь 7900 тонн в год? Переключить дешнее зерновое хозяйство на обслуживание молочных ферм — значит сделать молоко гораздо более рентабельным. И разве может идти в сравнение качество северного зерна с несравненными достоинствами масла «парижского», точнее — вологодского?

Бессчетное число проблем стоит перед колхозами северной стороны. Укрупнение ферм и мелиорация, борьба с кустарником и возрождение культуры корнеплодов, строительство дорог, электрификация, разукрупнение хозяйств... Известно — неотложных дел тем больше, чем беднее хозяин. И все же есть среди них главные. Приведение способов использования земли в соответствие с рабочей силой, техническими, денежными возможностями, специализация применительно к своим природно-экономическим условиям, правильный подбор культур — именно здесь лежат те десятки миллионов, что способны оздоровить экономику старинного и чудесного края.

* * *

Пышный Юг России, зеленый, задумчивый Север ее. На Лабе уже наливают чешню, когда в лесах за Шексной расцветает черемуха. У Неудачного вовсю звенит страда, а в белой ночи у Андозера только выходит из трубки первый колос ржи.

Кубань—Вологда.

Разрыв в экономике, разделяющий их, с годами все возрастал и к 1964 году достиг внушительных масштабов.

Эта статья была уже набрана, когда решения мартовского Пленума Центрального Комитета КПСС сняли остроту многих затронутых в ней моментов. В жизни партии и народа Пленум явился громадным событием, и значение его будет расти день ото дня.

Постановление «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР» положило конец администрированию, нарушениям экономических законов развития производства. Установление стабильных планов заготовок, повышение цен на продукцию земледелия и животноводства, укрепление материальной заинтересованности работников в результатах труда создают предпосылки для быстрого подъема сельского хозяйства в разных зонах страны.

«Все регулирующие государственные рычаги должны способствовать тому, чтобы колхозы и совхозы страны, имеющие различные возможности, были поставлены примерно в равные экономические условия развития»,—говорится в докладе товарища Л. И. Брежнева.

Одна дорога и у благодатного южного края, и у суровой северной стороны. Идти им рядом, рука об руку. Соразмеряя шаг.



ОТЕЦ И СЫН

(Документы из жизни семьи Маковских)

В газете «Советская авиация» 6 июля 1958 года было опубликовано письмо офицера запаса Василия Крикуна, озаглавленное «Легенда о подвиге». В письме рассказывалось о случае, происшедшем во время войны, когда советский летчик-истребитель, посадив самолет в расположении противника, взял на борт своего боевого товарища, совершившего вынужденную посадку, и сквозь завесу огня пробился к своим. «Много лет прошло с того времени,— писал В. Крикун,— уже как легенду передают сказ об этом эпизоде... Жаль только, что остались неизвестными имена летчиков».

В откликах на это письмо читатели А. Рыженков и А. Патрикеев рассказали о точно таком же случае, свидетелями которого они были. При этом они назвали фамилии летчиков. Вынужденную посадку совершил Кузнецов, а спас его — Маковский.

Я работал тогда в «Советской авиации» и получил задание подробно осветить этот факт на страницах газеты.

Нетрудно было установить, что летчик Спартак Иосифович Маковский, совершивший в январе 1944 года этот подвиг и вскоре удостоенный звания Героя Советского Союза, работает начальником аэроклуба в Свердловске. Я поехал в Свердловск и там из бесед с С. И. Маковским узнал не только подробности этого легендарного эпизода, но получил представление обо всем славном фронтовом пути героя.

Попутно мне стали известны по-своему не менее замечательные факты биографии отца героя — Иосифа Ивановича Маковского, красногвардейца и партизана в пору гражданской войны.

Собранные материалы, представляющие как бы символическую историю двух боевых поколений нашей революции, выходили за рамки газетного очерка и побудили меня к дальнейшим поискам, проверке, уточнению и дополнению материалов из жизни семьи Маковских. Я побывал в Запорожье, где проживает мать Спартака Иосифовича — Ефимия Анисимовна, ознакомился с документами, письмами, фотографиями. В течение длительного времени приобщал к этим материалам все, что мне давали разыскания в местных и центральных архивах, переписка и встречи с людьми, знавшими Маковских. По мере накопления и отбора документов я увидел, что они достаточно говорят сами за себя, и изложение всех этих фактов в литературной форме или, как часто говорят, в форме «документальной повести» могло бы повредить их непосредственной достоверности. Поэтому я предлагаю читателям «Нового мира» эти документы в подлинном виде — полностью или в выдержках,— расположив их в хронологическом порядке и сопроводив сивыми необходимыми подстрочными пояснениями.

И. Брайнин.

1895 — 1917

Из автобиографии Иосифа Ивановича Маковского¹

Маковский Иосиф Иванович родился в 1895 г. в с. Вознесенка, Александровского уезда, Екатеринославской губ., в настоящем Б. Запорожье, Днепропетровской обл. Отец мой крестьянин-бедняк, так как до революции имел одну лошадку ценой в 25 руб., корову, хату с одной комнаты, так как второй не мог достроить из-за отсутствия средств... Имел семью из девяти сыновей, две дочери, плюс мать и отец — всего тринадцать человек семьи.

Я сам рабочий, по профессии шофер-механик и электромонтер С уходом от отца в ученики в 1909 г. до империалистической войны работал учеником и чернорабочим

по указанным профессиям у частновладельцев г. Александровска и с. Вознесенки. В 1915 г. по мобилизации на войну взят...

В старой царской армии служил на Северном фронте, до февральской революции — рядовым, шофером-водителем автомашины. В период февральской революции вступил в Красную гвардию, где был тоже водителем бронемашин и пулеметчиком. Был ранен во время июльской демонстрации (большевиков) в Петрограде. В партию большевиков вступил и был утвержден в члены партии 17.III. 1917 г. парторганизацией 19-го армейского корпуса 5-й ДА² в Погулянке под г. Двинском...

В боях против Колчака³ и атамана Анненкова был захвачен указанными, закован в кандалы и посажен в тюрьму, в камеру-одиночку; 27.XI.1919 г. при отступлении белоколчаковцев был приколот штыками дувовско-анненковским истребительным отрядом. А Красная 5-я Армия, Карельский полк 26-й советской дивизии, меня извлекла из кучи поколотых тел 29.XI.1919 г., вылечила. Таким образом, вторую — новую и радостную — жизнь дала мне Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

...С 1921 г., после окончательного излечения ранений, работал на разных партийных и советских постах в запорожской парторганизации. На день составления настоящей произвольно краткой своей автобиографии работаю на Днепровском магниевом заводе исполняющим обязанности политрука ВВО и ППК⁴ завода.

Иосиф И. Маковский.

29.XI.38 г.

¹ Из полутора десятков автобиографий, написанных в разные годы И. И. Маковским, я привожу вначале именно эту, ибо ей суждено было стать напутствием для его сына Спартака, о чем еще будет речь впереди.

² Действующей армии.

³ Здесь и в некоторых последующих документах, относящихся к концу августа — первой половине ноября 1918 года, где говорится о борьбе против Колчака имеется в виду борьба против реакционного временного правительства Сибири, поскольку непосредственно диктатура Колчака была установлена несколько позже (18 ноября 1918 года).

⁴ Вооруженной вахтерской охраны и противопожарной команды.

Из письма Ивана Ивановича Маковского¹

После 1905 года отца начала преследовать царская жандармерия, подозревая за сочувствие социал-демократической партии... Отец переживал частые посещения жандармерии, которая сложила такую обстановку для нашей семьи, что отец решил выехать добровольно в далекую Сибирь, в Семипалатинскую область².

¹ Иван Иванович Маковский — брат Иосифа Ивановича, член КПСС, живет в пригороде Запорожья.

² В мае 1914 года семья Маковских переехала в Сибирь и поселилась в поселке Свободном, Белоцерковской волости, Павлодарского уезда.

Из письма Леонида Ивановича Маковского¹

Отец работал в Кичкасском каменном карьере рабочим-каменоломом, брат Иосиф и брат Иван (старший Иван) работали в своем селе Вознесенка в частновладельческой мастерской Донца Наума. Эта мастерская выпускала брички, тачанки, всякую домашнюю мебель. Иосиф работал столяром-колесником по изготовлению колес к ходам бричек и тачанок, к ним ящиков, а Иван — маляром по покраске всей этой утвари. И в этот период отец, Иосиф и Иван участвовали на рабочих собраниях — рабочих Екатеринбургских железнодорожных мастерских, заводов Мензиса, Бадовского и других предприятий, принадлежавших в те времена александровской буржуазии — немецким и другим колонистам. Эти собрания собирались нелегально в плавнях реки Днепр, омывающей город Александровск.

¹ Леонид Иванович Маковский — брат Иосифа Ивановича, член КПСС, умер в 1861 году.

1917 — 1920

Из личного дела красногвардейца И. И. Маковского

Вскоре после февральской революции я и еще один товарищ, некто т. Кузьмин, получили задание от фракции большевиков армейского комитета 5-й армии во что бы то ни стало объединить вокруг себя всех солдат своей части, сочувствующих большевикам, и организовать их в отряды военной Красной гвардии...¹.

¹ Рядовой «его императорского величества 67-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона» Иосиф Маковский успешно выполнил это первое партийное поручение: в дивизионе был создан отряд Красной гвардии, и Маковский возглавил его. Такие же отряды были созданы и в других частях 5-й армии. Активность большевистских агитаторов, к числу которых принадлежал и Маковский, особенно возросла летом семнадцатого года, когда Временное правительство решило бросить войска в наступление. Именно в те дни (а точнее — 23 июня 1917 года) верховный главнокомандующий Брусилов писал министру-председателю: «Главкосев (главнокомандующий Северным фронтом.— И. Б.) телеграфирует, что настроение на фронте 5-й армии очень скверное и благодаря агитации, идущей с тыла и главным образом из Петрограда, многие части отказываются занимать позиции и категорически высказываются против наступления. Во многих частях настроение крайне возбужденное, а в некоторых полках открыто заявляют, что для них, кроме Ленина, нет других авторитетов...»

Вскоре И. И. Маковский приехал в Петроград, участвовал в июльской демонстрации и, как он писал позднее в одном документе, «своей кровью облил Литейный мост».

Из анкеты И. И. Маковского

Подвергался ли репрессиям со стороны белобандитов? Когда, где и каким?

В 1917 году после июльской демонстрации, при Керенском, был заключен в Двинскую крепость как ленинец¹.

¹ В канун Октябрьской революции под нажимом возмущенных солдат И. И. Маковского освободили. В феврале 1918 года он был направлен в Сибирь во главе отряда особого назначения. Цель: борьба с контрреволюцией и помощь местным коммунистам в формировании органов советской власти.

Из личного дела красногвардейца И. И. Маковского

В мае 1918 года я был отрезан от отряда на пути из командировки восставшими казаками в Сибири и чехословаками. Пришлось остаться в подполье у белых эсеров и чехов до августа. 26 августа 1918 г. подняли мы восстание...¹.

¹ И. И. Маковский оказался к этому времени в селе Черный Дол под Славгородом, ставшим центром восстания. В ночь на 2 сентября 1918 года повстанцы разгромили белогвардейский гарнизон Славгорода и захватили власть. В одном из воззваний военно-революционного штаба к населению говорилось: «...Товарищи крестьяне и рабочие, по примеру восставших волостей, чувствовавших себя равноправными гражданами великой России, под первыми лучами новорожденной свободы призываем всех объединиться в одно целое, чтобы защищать и спасти нашу жизнь и великую свободную Россию. Шлите вооруженных и безоружных людей с вашим выборным для устройства крестьянско-рабочей власти».

Десятого сентября в Славгород нагрянули каратели. Маковскому удалось скрыться, но ненадолго.

Из письма К. В. Типалова¹

13 мая 1959 г.

Я живу в Павлодаре с 1910 года. Встретился с Маковским в 1918 году в Павлодарской тюрьме в царствование Колчака. Обвинение ему было предъявлено как большевику. В августе 1918 года в г. Славгороде вспыхнуло крестьянское восстание против колчаковской власти. Это восстание захватило и наш Павлодарский уезд. Маковский организовал повстанческий революционный штаб. Восстание было подавлено, а Маковский был схвачен и посажен в тюрьму, где в то время сидел и я. Меня обвиняли в том, что я в 1918 году служил в Красной гвардии и, когда в июле 1918 года белобандиты

напали на Павлодарский совдеп, защищал его с оружием в руках. Отряд Красной гвардии белыми был разгромлен, меня схватили и бросили в тюрьму.

Будучи в тюрьме, Маковский активно выступал перед сидевшими товарищами. Он твердо был убежден в правоте нашего дела, в том, что Красная Армия придет и что начатое нами дело восгоржествует.

27 ноября 1919 года под натиском Красной Армии колчаковские части начали отходить из Павлодара. Утром этого числа в тюрьму ворвался карательный отряд из войск генерала Дутова, который зверски расправился с более активными большевиками...

¹ Персональный пенсионер Климентий Васильевич Типалов живет в Павлодаре.

РСФСР
Павлодарский уездный
исполнительный комитет
Совета Р. К. и К. Д.
26 февраля 1921 г.
№ 1152
г. Павлодар

История о болезни, причиненной белым террором

Предъявитель сего тов. Маковский Иосиф Иванович, будучи начальником крестьянско-рабочего штаба повстанческой Красной Армии, в 1918 г. 26 августа руководивший с товарищами восстанием в Славгородском и Павлодарском уездах, захватившими в свои руки вышеозначенные два уезда. Это восстание было жесточайше подавлено отрядами Анненкова и Красильникова — главными карателями Сибирской учредилки. Тов. Маковский был пойман последними после двухмесячного преследования и заключен в Павлодарскую уездную тюрьму 7 ноября 1918 г.

Обвиняясь за вооруженное восстание и свержение белого правительства по ст. 100, 102, 108, за что последний просидел 13 месяцев в этой же тюрьме, до прихода совет. войск, и был зверски приколот отступающим дутовско-колчаковским отрядом 27 ноября 1919 г. штыками палачей в числе 35 жертв партийных и советских работников.

Тов. Маковский от 27 ноября пролежал в трупах до прихода советских войск. 29 ноября 19 г. был извлечен из трупов 26-й советской дивизией 5-й армии и привезен из тюрьмы в павлодарскую уездную больницу со следующими ранениями: 5 ран в грудь, из которых 4 с поранением легких (выход воздуха), одна рана в живот без повреждения брюшины, 6 ран в спину и бока, не считая ранения в ноги и руки.

Привезен был в сознании, на другой день пришел в бессознание. Повышение температуры — 39, образовался плеврит с левой стороны. Пролежал в больнице до 28 декабря 1919 г. Благодаря здоровой натуре выздоровел.

В настоящее время чувствует боль стреляющую в груди и спине, имеется боль в правой ноге, которая и до сего времени не приходит в свое прежнее состояние.

Что удостоверяется подписями и приложением советской и партийной печати.

Председатель Павлодарского исполкома

Бондарь-Диброва.

Председатель Павлодарского укома РКП

Пирожников.

Заведующий Павлодарским отделом здравоохранения

Данилов.

Зам. начальника Павлодарского политбюро

Панафидин.

Врач Павлодарской уездной больницы

Николаев.

Секретарь Павлодарского исполкома

Григор.

Из «Протокола 1-го Семипалатинского губернского съезда Советов рабочих, крестьянских, киргизских и казачьих депутатов, открывшегося 10 ноября 1920 года в г. Семипалатинске»¹

Продолжаются прения по продовольственному вопросу ...

Тов. Маковский призывает всех объединиться вокруг лозунга: во что бы то ни стало выполнить разверстку².

¹ Этот съезд, делегатом которого был И. И. Маковский, продолжался семь дней и обсудил десять важных и неотложных вопросов. Главный из них — «Продовольственная политика». Именно по этому вопросу и выступил в прениях делегат Маковский.

² «Губернский съезд из своей среды выделяет на продовольственную работу 20% всех делегатов», — говорится в резолюции съезда.

РСФСР
Семипалатинский губернский
Революционный Комитет
Президиум
18.XI. 1920 г.
г. Семипалатинск

Удостоверение

Предъявитель сего тов. Маковский, избранный делегатом на 1-м Семипалатинском губсъезде Советов на Всероссийский съезд Советов, возвращается к месту своего служения и обязан выехать на Всероссийский съезд с таким расчетом, чтобы прибыть в Омск¹ не позже 10 декабря с. г.

Всем советским и железнодорожным организациям предлагается оказывать ему при передвижении полное содействие, а также ему предоставляется право проезда в штабных и международных вагонах. Изложенное подписями и приложением печати удостоверяется.

Председатель (Подпись)
Секретарь (Подпись)

¹ Делегаты-сибиряки собирались в Омске для дальнейшего следования в Москву.

Запись рассказа жены Иосифа Ивановича — Ефимии Анисимовны Маковской

Декабрь 1958 г.

Приехал мой чоловік со съезда из Семипалатинска, день или два побыл с семьей и снова уехал куда-то. Редко видела я его в то время. Не оказалось Иосыпа дома и 27 ноября, когда у нас родился третий сын. Скажу честно — нелегко мне было, но не оставляли без внимания и помощи партийные товарищи Иосыпа Ивановича. Помню, через несколько дней после родов пришли они ко мне целой делегацией. Ну, поздравили, конечно, подарки на стол положили. Потом один из них говорит: «Перво-наперво надо новорожденному имя дать. Не придумала имя?» — «Нет, отвечаю, пока не решила, ла и как я одна, без чоловіка, решу это». Тогда тот, который начал разговор, и говорит: «Вот мы тут посоветовались в ячейке и подумали, не назвать ли вам сына Спартак-ком -- в честь одного большого героя, вождя рабов. Как, согласна, Анисимовна?» Я согласилась, хотя и сомневалась немножко, одобрит ли такое имя отец.

Когда Иосып Иванович, вернувшись домой, узнал о рождении сына и о том, что его назвали Спартак-ком, он сказал: «Здорово придумали! Так тому и быть.— И добавил:— Раз ячейка постановила, какой может быть разговор». Не успел он и сына как следует рассмотреть, а за ним уже заезжают: «Пора ехать, дорога дальняя». И он уехал в Москву¹.

¹ На второй же день после закрытия губернского съезда Советов Иосиф Иванович отправился в поездку по деревням и селам Павлодарского уезда. Беседовал с крестьянами о положении в стране, об их долге помочь хлебом центральным губерниям. 9 декабря он прибыл в Омск и оттуда отправился в Москву, на Всероссийский съезд Советов.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

8-й Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских
и казачьих депутатов

Анкетный лист

1. Фамилия, имя и отчество — *Маковский Иосиф Иванович.*
2. № делегатского билета — *438 С решающим голосом.*
3. Возраст — *25 лет.*
4. Национальность — *украинец.*
5. Какой партии Вы принадлежите или сочувствуете — *к Российской коммунистической.*
6. От какого Совета делегированы:
 - а) Губернского — *от губернского.*
 - б) Уездного.
 - в) Районного.
 - г) Волостного.
 - д) Сельского.
7. Как производились выборы:
 - а) От съезда — *от съезда губсоветов.*
 - б) От Совета.
 - в) От исполкома.
 - г) От ревкома.
 - д) От дивизии.
8. От какого количества избирателей — *от 125 000 населения.*
9. Участвовали ли Вы в предыдущих съездах Советов — в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м — *не участвовал.*
10. Какое образование получили — *общее¹.*
11. Какую советскую работу в настоящее время исполняете — *служу членом исполкома, исполняю больше всего партработу.*

12. Пострадали ли Вы от контрреволюции — *при Колчаке за восстание, поднятое мной в 1918 г. в Семипалатинской и Алтайской губерниях, был посажен в Павлодаре в тюрьму и просидел до прихода совет. войск 16 с половиной месяцев² и был приколот двенадцатью штыками, которые пронзили мое туловище насквозь, не считая штыковых ранений в руки и ноги, которыми, как оспой, осыпаны. Приколол дутовский отступающий карательный отряд 27 ноября 1919 г.*

19 декабря 1920 года.

Подпись — *Маковский.*

¹ Единственным учебным заведением, которое Маковский окончил, была четырехклассная школа в селе Вознесенка.

² Видимо, описка: Иосиф Иванович сидел в тюрьме около тринадцати месяцев.

РСФСР

Павлодарское политбюро
по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями
по должности
27 апреля 1921 г.
№ 1144
г. Павлодар

Удостоверение¹

Дано сие тов. Маковскому Иосифу Ивановичу в том, что он действительно был начальником штаба по свержению колчаковского правительства, за что был заключен в Павлодарскую уездную тюрьму, где и просидел все время правительства Колчака, и во время отступления белых в 1919 г. 27 ноября подвергался колке штыками. Излечившись от ран, тов. Маковский с 27 декабря 1919 г. находился на партийной и совет-

ской работе до 27 апреля 1921 года. Уволен вовсе от службы как инвалид — отправляется местным уисполкомом в Крым для излечения болезни, причиненной белым террором.

Что и удостоверяется подписями и приложением печати.

Зав. политбюро (Подпись)
Секретарь (Подпись)

¹ Этот документ был выдан И. И. Маковскому, когда он с семьей возвращался из Сибири на свою родину — в Александровск. Такой переезд был задуман еще летом двадцатого года (он был необходим Иосифу Ивановичу по состоянию здоровья). На съезде же в Москве, когда Маковский услышал слова Кржижановского о том, что около города Александровска будет строиться «крупнейшая гидроэлектрическая станция России», решение его окрепло. После двухмесячного лечения в Крыму Маковский обосновался в Александровске.

1921 — 1941

Выписка из учетного партийного документа о трудовой деятельности И. И. Маковского

Август 1921 г.— январь 1922 г.— секретарь уисполкома в Запорожье.
Февраль 1922 г.— май 1924 г.— директор животноводческого совхоза «Вербовое».
Июнь 1924 г.— сентябрь 1924 г.— село Жеребец, Запорожского округа, зав. агит-пропотделом.
Октябрь 1924 г.— июль 1926 г.— пом. директора 1-й районной труд. школы в с. Андреевка, Софиевского района.
Август 1926 г.— декабрь 1929 г.— инспектор наробраза РИКа в Запорожье.
Январь 1930 г.— апрель 1933 г.— пред. колхоза «Большевик», Запорожье.
Май 1933 г.— февраль 1935 г.— зав. спецотделом Магниевого завода.
Март 1935 г.— февраль 1936 г.— пчеловод в облпчеловодуправлении.
Март 1936 г.— сентябрь 1937 г.— кладовщик-инструментальщик на строительстве «Запорожстали».
Сентябрь 1937 г.— пом. нач. коммунального отдела Магниевого завода.

Из письма Е. А. Синченко¹

6 января 1965 г.

Помню, на партийно-хозяйственном активе обсуждались итоги работ по строительству ДМЗ² за 1934 год и задачи строителей и эксплуатационников в 1935 пусковом году. За 30 лет многое изгладилось из памяти об этом активе (первом для меня на той стройке), однако я хорошо запомнил выступление Иосифа Ивановича Маковского. Когда председательствующий объявил о выступлении тов. Маковского, в зале наступило оживление (видимо, актив уже знал оратора). Иосиф Иванович брал «быка за рога»... «Разве так нас учит партия решать важные задачи и преодолевать трудности. Чему же вас обучали в институтах, что вы так плохо строите?.. Цех электролиза и преобразовательную подстанцию не успели построить, как они развалились, народные деньги идут на ветер... Ответственность среди работников на стройке не в порядке». И в конце выступления внес предложение — производственную деятельность руководства строительством завода признать неудовлетворительной. После некоторого замешательства актив бурно отреагировал аплодисментами. Пришлось руководителю «Главалюминия», присутствовавшему на активе, сглаживать «острые углы» и убеждать актив, что «Главалюминий» примет необходимые меры...

В те времена (1935 год) бывшие красногвардейцы и красные партизаны один раз в неделю занимались в своем батальоне военными делами. Из нашей стройки мы втроем ездили на эти занятия (Маковский, Боденко и я). Десятикилометровый путь мы проделывали на тачанке. Эти поездки превращались во всесторонние дискуссии по всем вопросам, и особенно по вопросам практическим.

Однажды разговоры и обсуждения переросли в непримиримые разногласия, и тов. Маковский заявил, что он не верит партийности Боденко и будет о нем ставить

вопрос на парткоме. На парткоме «пожурили» старых коммунистов, и тем дело закончилось. 1937 год подтвердил правоту сомнений тов. Маковского. Не было почти ни одного партийного собрания, на котором бы Боденко не завязывал «узелков», и не было почти ни одного активного работника на заводе, не оклеветанного им...

¹ Емельян Андреевич Синченко — персональный пенсионер, член КПСС с 1928 года, бывший директор Днепровского магниевого завода, на котором И. И. Маковский работал в предвоенные годы и после войны.

² Днепровский магниевый завод.

Запорожский
металлокомбинат
«Запорожсталь»
Отдел кадров
27.XII.1937 г.
№ 33009

Удостоверение¹

Настоящим подтверждается, что гражданин Маковский С. И. работал учеником электромонтера с 26.X.36 г. Уволен по уходу на учебу.

Начальник отдела кадров (Подпись)

¹ Первый документ о трудовой деятельности сына И. И. Маковского — Спартака. Окончив семилетку, Спартак пошел работать на завод и одновременно стал учителем Запорожского аэроклуба. В конце 1937 года он поступил в Качинскую военную школу летчиков.

Выписка

из летно-строевой аттестации на курсанта Качинской краснознаменной авиационной школы им. Мясникова Маковского Спартака Иосифовича

23 января 1939 г.

Обучался на самолетах У-2, Р-5, И-5, И-15. Имеет общий налет на всех типах самолетов:

Вывозных посадок — 60. 15 часов 07 минут.

Самостоятельных посадок — 165. 28 часов 14 минут.

Контрольных посадок — 48. 11 часов 12 минут.

Боевое применение — посадок 14. 5 часов 12 минут...

Общее развитие среднее. Успеваемость по теоретическим предметам хорошая. Дисциплинирован хорошо, исполнительен. Трудолюбив. Много работает над повышением своих знаний. Общительный с товарищами. Строевая подготовка хорошая. Политически развит хорошо. Морально устойчив. Предан делу Коммунистической партии. Физически развит хорошо. Летает на самолетах Р-5, И-15, И-5 и в достаточной мере их освоил.

Материальную часть самолетов и моторов знает хорошо. Элементы полета выполняет: взлет отличный, маршрут строит заданный. Заход точный. Расчет в пределах 30 метров. Посадка отличная. Мелкие и глубокие виражи отлично. Боевой разворот хорошо. Штепор хорошо. Перевороты, бочки, иммельманы отлично.

Напутствие отца

Дорогой сын мой Спартак! Даю тебе свою крат. биографию¹, которая будет тебе заветом на всю твою жизнь для преданности партии Ленина.

Твой отец Маковский.

7.III.39 г.

¹ Это как раз та самая автобиография, с которой начата наша публикация. Читатель помнит, что она была написана 29 ноября 1938 года. И когда в первых числах марта тридцать девятого года в отчий дом на пути к месту службы заехал младший лейтенант Спартак Маковский, отец решил по-особому напутствовать его. Вот и пригодилась

биография. Потребовалось только немного дополнить ее (изменилась должность). И он дописывает: «А в настоящее время — плановиком-экономистом». И ставит новую дату: «7.III.39 г.». Потом наклеивает внизу небольшую свою фотокарточку и пишет во всю ширину листа черной тушью (как и полагается в важных документах) «напутствие». Некоторые буквы написаны прямо по фотокарточке, — она скреплена ими, как печатью.

С этой биографией отца Маковский и прибыл в дальневосточный авиационный гарнизон. Она прошла с ним через всю войну, он не расставался с нею до самого последнего времени. Сейчас этот примечательный документ находится в Запорожском областном музее.

Из рассказа бывшего командира звена полковника запаса Ф. А. Жевлакова

Бывало, во время учебного воздушного боя дашь такую перегрузку, что сам едва выдержишь ее, а он не сдается. Смотришь, как он летает, и душа радуется. Ему, конечно, я об этом не говорил. Помню, буксировал я однажды конус, и Маковский как-то уж очень быстро, прямо с ходу, отстрелялся. «Смотри, думаю, если в конусе ни одной пробоины нету, худо тебе будет». Когда проверили, оказалось, что упражнение выполнено отлично. И так бывало неоднократно. Молодой летчик быстро и уверенно входил в строй. Правда, горяч был...

(Газета «Советская авиация», 22 января 1959 года)

Из служебной характеристики (Из личного дела С. И. Маковского) 23 декабря 1939 г.

В части находится менее года, но освоил боевой самолет на отлично. Выполняет весь учебно-боевой комплекс до потолка самолета, отлично ведет воздушный бой. Как стрелок подготовлен отлично, по воздушным целям имеет 98% выполнения стрельб. По командирской учебе успеваемость хорошая. Над собой работает много. Лично дисциплинирован, вежлив и тактичен. Является образцом во всех отношениях.

Командир эскадрильи старший лейтенант Зимин.
Вр. военком эскадрильи ст. лейтенант Дороненко.

1941 — 1945

Красноармейский районный Совет депутатов трудящихся
и РК КП(б)У Запорожской обл. УССР

Удостоверение

Дано настоящее гражданину Маковскому И. И. с семьей из 2-х человек в том, что он действительно эвакуируется с семьей с прифронтовой местности в глубь страны Советского Союза — Орджоникидзевский край¹.

Просьба к советским и партийным организациям оказывать всемерное содействие.

Председатель райсовета (Подпись)
Секретарь РК КП(б)У (Подпись)

22.IX.41 г.

¹ Обстановка сложилась так, что в Орджоникидзевский край Иосиф Иванович не попал. Как сообщили из партийного архива Саратовского обкома КПСС, И. И. Маковский «прибыл из Запорожской области в с. Шилинг (Константиновка) — колхоз им. Щорса, Краснокутского района, Саратовской области». Секретарь Краснокутского райкома КПСС тов. Вондаренко в связи с этим пишет, что при нахождении в эвакуации И. И. Маковский «действительно работал в колхозе им. Щорса, возил норма для крупного рогатого скота. Дочь Маковского работала прицепщиком в тракторной бригаде колхоза им. Щорса. Жена, Ефимия Анисимовна, по состоянию здоровья не могла работать».

В первичную парторганизацию 48-го ИАП
от комсомольца младшего лейтенанта Маковского С. И.

Заявление

Настоящим прошу партийную организацию первого подразделения принять меня в кандидаты ВКП(б). В данной международной обстановке, когда германский империализм напал на нашу социалистическую Родину и весь советский народ поднялся на защиту своего отечества, хочу стать коммунистом, и если партия и правительство пошлют в бой с германским фашизмом, буду защищать свою Родину до последнего дыхания, до последней капли крови во имя полной победы над врагом единственного в мире социалистического государства.

С Программой и Уставом ВКП(б) знаком. Поручения парторганизации буду выполнять с честью.

5.10.41 г.

Маковский¹.

¹ В деле о приеме в партию С. И. Маковского имеются отметки: «Принят кандидатом в члены ВКП(б) 7 октября 1941 г.», «Принят членом ВКП(б) 26 октября 1942 г.».

Из письма Спартака Маковского отцу

15 декабря 1941 г.

...Получил от Вас долгожданное письмо, из которого узнал Ваше новое местонахождение и ту обстановку, в которой находитесь на новом местожительстве. Нет сомнения в том, что вы будете жить в таких условиях временно...

Папаша, в Покровском р-не (где вы останавливались) Вы говорили о защите молодой Республики в 1917 году и о защите своей соц. родины теперь от вероломно напавшего германского фашизма нами, то есть вашими сынами, то есть молодым поколением, которые защищают так, что приходится кидать свое место.

Папаша! Большая разница: 17-й год и 41-й год. Теперь идет война машин и моторов. Это война, которой история еще не видела. И вот в этой войне показывает образцы мужества, бесстрашия и умения наша славная Красная Армия и ее бойцы. Песня людоеда Гитлера спета, и его судьба уже предрешена: он будет вместе со своей сворой преступников, которые уничтожают миллионы людей, уничтожен, его армия будет разбита. В Запорожье мы еще встретимся все вместе!

Из аттестационного листа на присвоение младшему лейтенанту Маковскому очередного воинского звания

7 февраля 1942 г.

Хороший летчик-истребитель, летает днем и ночью грамотно. Воздушный бой ведет энергично и напористо. По воздушным и наземным целям стреляет хорошо. Звено сколочено и способно выполнить любое боевое задание.

Командир 48-го ИАП капитан Дорошенков¹.
Военком 48-го ИАП старший батальонный комиссар Емельченко.

¹ Подполковник запаса Дорошенков Александр Андрианович живет в Краснодаре.

Письмо Спартака Маковского отцу

26 апреля 1942 г. 22.00.

Папаша! Вы собираетесь идти в армию. Что ж, нужно еще отдавать долг перед своей Родиной.

Митин¹ адрес вы еще не разыскали, конечно, и навряд ли его найдете, 99,9% шансов на то, что он погреб в жестоких сражениях. Война есть война, и без жертв не бывает. Он долг перед Родиной выполнил с честью.

Я был бы рад, если бы сейчас послали меня на запад для участия в разгроме гитлеровской граб. армий, но здесь на востоке — тоже работа.

Что ж, тов. Маковский Иосиф Иванович, могу взять к себе в подчиненные, если Вас возьмут в армию.

Лейтенант Маковский.

¹ Дмитрий Маковский — старший брат Спартак. служил в 1941 году на границе в Белоруссии. Пропал без вести в первые дни войны.

Из письма Спартак Маковского сестре

12 июня 1942 г.

Клара! Ты пишешь, что скоро пойдешь в ряды Красной Армии. Да! Сейчас время такое, что Родина требует медработников, и нужно отдать ей свой долг.

В недалеком будущем настанет день, когда Красная Армия окончательно разгромит гитлеровскую граб. армию и снова будет реять Красное Знамя над нашими городами и селами, временно оккупированными фашистами.

Будет день, когда мы все снова встретимся в родном Запорожье, чтобы строить дальнейшую прекрасную жизнь.

Из автобиографии И. И. Маковского, написанной 21 марта 1944 года

В 1941 году с 1 января уволен по болезни и перешел на пенсию как персональный пенсионер — инвалид II группы и находился только на партработе при заводской парторганизации. С начала Отечественной войны и до 4 октября 1941 года был в народном ополчении начальником истребительного отряда по уничтожению парашютно-десантных диверсионных групп фашистско-немецкой армии. Был ранен на подступах к Запорожью при обороне. Эвакуирован в Сталинград, а потом — за Волгу на лечение. 25 июня 42 года по выздоровлении опять был направлен Краснокутским райвоенкоматом на передовую базу боепитания Сталинградского фронта. С разгромом немецко-фашистских оккупантов под Сталинградом и образованием Донского фронта база стала принадлежать последнему. После легкого ранения и тяжелой контузии на Северном Донце больным доставлен в село Константиновка, Краснокутского района, в госпиталь...

Из письма И. И. Маковского уполномоченному ЦК КП(б)У при Саратовском обкоме партии

Конец октября 1943 г.

В связи с началом освобождения Запорожской области и г. Б. Запорожье прошу отозвать меня и направить для работы по восстановлению партийных и советских организаций города и района ¹.

¹ Просьба И. И. Маковского была удовлетворена, и в начале декабря 1943 года он вернулся в Запорожье.

Из наградного листа

20 апреля 1943 г.¹ в районе Новороссийска тов. Маковский группой сопровождал наши штурмовики, находясь в скрывающей группе в количестве четырех самолетов. Встретив шесть самолетов противника типа Me-109, пытавшихся атаковать наши штурмовики, смело вступил с ними в бой. Предотвратив атаку наших штурмовиков, сам лично сбил один самолет противника. В воздушных боях смел и решителен. Решение принимает быстро. Является образцом для подчиненных. Дисциплинированный командир, волевой и энергичный, требовательный к себе и подчиненным...

Вывод: тов. Маковский С. И. достоин представления к правительственной награде — ордену Красное Знамя.

Командир 43-го ИАП майор Дорошенко.

3 мая 1943 г.

¹ Спартак Маковский прибыл на фронт 19 апреля 1943 года.

Выписка из приказа 3-му истребительному авиационному корпусу

6 мая 1943 г. № 03/Н. Действующая армия

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю:

орденом Отечественной войны I степени:

...4. Лейтенанта Маковского Спартака Иосифовича — командира эскадрильи 43-го истребительного авиационного полка.

Командир 3-го ИАК генерал-майор авиации Савицкий.

Из боевого донесения штаба 43-го истребительного авиационного полка

3 мая 1943 г. Аэродром Новотитаровская.

Лейтенант Маковский сбил один Ю-87 в 17.15—18.25 в районе севернее Гостагаевская. Самолет врезался в землю и сгорел.

Из боевого донесения штаба 43-го ИАП

5 мая 1943 г. Аэродром Новотитаровская.

Лейтенант Маковский в 12.35 на Н = 2.400 — 2.800 в районе 7—8 км. юго-западнее Крымская сбил один самолет Ю-88. Из экипажа выбросился парашютист. Самолет врезался в землю и сгорел.

Из «Боевого пути 43-го истребительного авиационного полка»

Среднего роста. Смуглый. Физически хорошо сложен. О себе рассказывает с неохотой.

— Легче сбить еще одного «мессера», чем рассказ вести о себе.

...Таков один из самых скромных, самых любимых летчиков — лейтенант Спартак Иосифович Маковский.

...Это было 8 мая 1943 года... Шестерка ЯКов патрулировала над линией фронта. Со стороны солнца показался неприятный узкий силуэт «мессершмитта». Меркулов¹ в паре со своим ведомым пошел на него в атаку. В это время на пару Меркулова напали два Ме-109. Остальные ЯКи, не замедлив, тоже вступили в бой.

Получилось так, что лейтенант Маковский остался один. Оглянувшись, он заметил Ме-109, заходивший в хвост его самолету. Раздумывать было некогда. Маковский делает крутой разворот и идет в лобовую...

...Самолеты приближались друг к другу. Противник, видимо, тоже был настойчив...

Еще секунда — и машины должны врезаться друг в друга. Но немец не устоял. Резким разворотом руля он пытался в последнее мгновение спасти свою жизнь и вырваться из смертоносной орбиты. Но напрасно... Наш истребитель, как пуля, со свистом пронесся вперед и правой плоскостью ударил по крылу едва успевшего чуть-чуть отвернуть в сторону фашистского самолета. Последний развалился в воздухе и беспорядочно рухнул на землю.

Часть плоскости нашего истребителя отвалилась. Маковский выровнял машину и стал уходить на свой аэродром. Но за ним погнался «мессершмитт», видимо наблюдавший поединок. Снова смертельная опасность нависла над героем. Но боевые друзья-летчики в трудную минуту помогли своему командиру. Первым заметил Ме-109 младший лейтенант Каширин², который ринулся на врага и отогнал его. Затем на помощь подошел младший лейтенант Меркулов, и они оба поочередно прикрывали Маковского.

Ему трудно было управлять машиной. Управление стало отказывать. Напрягая все силы, он все же хотел прийти к себе домой, но, не долетая 2 км. до своего аэродрома, Маковский вынужден был произвести посадку на фюзеляж.

Летчик невредим вышел из кабины... Переживания Маковского были необычны. Ведь он трижды в течение одного получаса находился на волоске от смерти: когда он совершал гаран, когда в хвост его самолета заходил «мессершмитт» и наконец когда он совершал посадку на поврежденной машине³.

Искусство и мастерство талантливого летчика спасли ему жизнь. Мысль о Каширине и Меркулове, спасших его от нападения противника, не покидала Маковского. Через некоторое время Маковский приехал на аэродром, где его с радостью встретили друзья. С чувством неподдельного волнения и глубокой признательности он расцеловал Каширина и Меркулова. Друзья и товарищи поздравляли бесстрашного летчика с победой, одержанной над врагом.

¹ Владимир Иванович Меркулов продолжает службу в Советской Армии. Ныне он генерал-майор авиации.

² Летчик Лукьян Дмитриевич Каширин погиб в бою 27 сентября 1943 года.

³ Утро 8 мая застало меня в прошлом году в семье Маковских, и я был немало удивлен, видя, как жена и мать подходили к Спартаку с поздравлениями по случаю дня его рождения. Мне было хорошо известно, что он родился в ноябре. Оказывается, день рождения Спартака отмечается в его семье два раза в год — 27 ноября (в этот день в 1920 году он родился) и 8 мая (в этот день в 1943 году он остался жив после тарана).

Из исторического формуляра 43-го истребительного авиаполка

9 мая 1943 г. Митинг в части, посвященный героической борьбе летчика лейтенанта Маковского. На митинге принят текст письма его родителям.

Из письма командира части родителям летчика Маковского

22 мая 1943 г.

Весь личный состав части гордится подвигами Вашего сына и Вами, воспитавшими такого сына...

В одном из последних воздушных боев, где Ваш сын таранил «мессершмитта», он доказал преимущества советского летчика перед немецким летчиком. Когда они встретились на встречных курсах, идя друг на друга в атаку, у Вашего сына нервы оказались крепче...

В этом таранном ударе и во всех остальных героических подвигах вложена величайшая, беспредельная любовь к родине и презрение к ненавистному врагу.

Поздравляем Вас с сыном-героем, желаем Вам здоровья и многих лет жизни.

Пишите нам по адресу: полевая почта 53838.

С почтением к Вам

командир части майор Дорошенко.

Из ответного письма родителей летчика Маковского командиру части

С неограниченной радостью и восторгом благодарим Вас, тов. Дорошенко, героев Вашей части и великую Красную Армию, рождающую героев...

Мстите врагу за поруганную советскую цветущую Украину и другие братские республики! За наши цветущие города, колхозы и заводы Украины, за социалистическое Запорожье, за святыню имени Ленина — Днепродзеськ! За слезы и кровь советских граждан!

Мы гордимся сыном-героем. Но эта гордость принадлежит и братским народам Советского Союза, Коммунистической партии, украинскому народу, давшему патриотов-героев своей социалистической родине.

С почтением к Вам

мать Спартака — Ефимия Анисимовна Маковская,
отец — Иосиф Иванович Маковский.

5 июля 1943 года.

Добавление И. И. Маковского к письму командиру части от 5 июля 1943 г.

По получении Вашего письма я лежал тяжело больным из-за разбушевавшихся ран прошлых лет и двух контузий Отечественной войны. Казалось, что к жизни нет возврата, но Ваше письмо меня окрылило, когда я смог его прослушать, и, как видите, оторвался от постели, продиктовал, хотя скромный, Вам ответ... и, как видите, уже сам написал Вам эту записку...

С коммунистическим приветом

член ВКП(б) с 1917 года И. Маковский.

Из наградного листа

8 мая 1943 г. при выполнении боевого задания по прикрытию наземных войск в районе Крымская в составе пары [Маковский] встретился с группой Ме-109 в количестве шести самолетов, с которыми вступил в бой и лично сбил Ме-109, который на глазах в воздухе загорелся и врезался в землю. Этого же дня в 17.30—18.00, выполняя боевое задание по прикрытию наземных войск в районе Крымская, встретился с группой Ме-109 в количестве четырех самолетов, с которыми смело вступил в бой. При ведении воздушного боя с Ме-109 на лобовых атаках в критический момент плоскостью своего самолета ударил по плоскости Ме-109, который после удара загорелся и развалился в воздухе по частям. Место падения и факт подтвердили наземные войска и летные экипажи. Самолет Маковского при этом имел повреждения — отбита правая плоскость в один метр. На подбитом самолете произвел посадку в двух километрах от аэродрома на фюзеляж.

За следующие 18 успешных боевых вылетов¹ и 5 сбитых самолетов противника, в числе их один таран, представляю ко второй правительственной награде — ордену Ленина.

11 мая 1943 г. Командир 43-го ИАП — майор Дорошенко.

Достоин награждения орденом Ленина.

24 мая 1943 г. Командир 278-й ИАД — полковник Лисин.

Достоин награждения орденом Красное Знамя.

Командир 3-го истребительного авиакорпуса генерал-майор авиации Савицкий.

31 мая 1943 г.

¹ До тарана Спартак Маковский сделал пятнадцать боевых вылетов и сбил четыре самолета противника.

Из приказа командующего 4-й воздушной армией генерал-лейтенанта авиации Вершинина

17 июня 1943 г.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю:

орденом Красное Знамя

...17. Лейтенанта Маковского Спартака Иосифовича — командира авиаэскадрильи 43-го истребительного авиационного полка.

Из письма летчика Спартака Маковского родителям

23 июня 1943 г.

Теперь я могу вам сообщить, где был и чем занимался. Ровно 2 месяца был на Северо-Кавказском фронте (на Кубани). За это время открыл грозный счет мести фа-

шистским мерзавцам — в жестоких воздушных боях сбил 7 вражеских самолетов с черными крестами. из них одного «мессершмитта-109» сбил лобовым тараном. Мой «ястребок» остался цел, а фашистский развалился в воздухе по частям и врезался в землю вместе с гансом.

Этот благородный счет мести я буду увеличивать до тех пор, пока руки мои будут способны управлять штурвалом боевой машины, а глаза — видеть землю.

Из оперативной сводки Совинформбюро за 4 января 1944 года

Группа наших летчиков под командованием старшего лейтенанта Маковского произвела вчера налет на один из аэродромов противника. Не доходя до цели, советские самолеты были встречены истребителями противника. В завязавшемся воздушном бою сбито 4 немецких самолета. Кроме того, сожжено 3 самолета противника из числа находившихся на аэродроме. Во время штурмовки вражеского аэродрома огнем зенитной артиллерии был подбит самолет летчика Кузнецова, и он произвел вынужденную посадку на территории противника. Советские летчики не оставили своего товарища. Командир группы приземлился рядом с подбитым самолетом, помог сжечь поврежденную машину и на своем самолете вывез Кузнецова на свой аэродром.

(«Правда», 5 января 1944 года)

Из «Боевого пути 43-го истребительного авиационного полка»

...Младший лейтенант Кузнецов произвел посадку на поле, 4 км. восточнее м. Лептиха, на территории, занятой противником. В момент посадки самолет загорелся.

Старший лейтенант Маковский прикрывал его посадку и наблюдал, как идущие рядом по дороге автомашины начали останавливаться и из них выбегали вражеские солдаты и спешили к месту посадки младшего лейтенанта Кузнецова. Отважный и проверенный в боях герой-летчик тов. Маковский (еще не было случая, чтобы он не выручил товарища в бою) решает спасти жизнь молодому, растущему бойцу-летчику, младшему лейтенанту Кузнецову и, рискуя собой, сажает рядом с горящим самолетом младшего лейтенанта Кузнецова свой самолет.

Вражеские солдаты, не поняв, в чем дело, уже совсем недалеко от наших героев подбегали все ближе и ближе, но огня не открывали. В это время младший лейтенант Кузнецов бросается в кабину самолета к старшему лейтенанту Маковскому, наступив одной ногой на плоскость, другой в кабину, а головой под передний фонарь. И, прижатый к борту одноместного самолета, тов. Маковский решительно дает газ и взлетает в воздух.

Враги открыли ураганный огонь из автоматов, но было уже поздно. Наши друзья-герои, ликуя, возвращались на свой аэродром и благополучно произвели посадку. Весь личный состав полка заметил еще в воздухе, что один из пришедших самолетов вызывает непонятное зрелище, везя что-то на борту. После посадки, когда ясно было видно, что на одном самолете прилетели двое, всем стало ясно, что старший лейтенант Маковский совершил новый героический подвиг.

Еще не успел и подрулить самолет старшего лейтенанта Маковского, как его окружила группа личного состава полка и, не дав подрулить до места, вынесла на руках из кабины боевых друзей. Младшего лейтенанта Кузнецова, получившего ушиб ноги, немедленно направили в санчасть, а героя-летчика старшего лейтенанта Маковского многие бросились обнимать и целовать и после чего долго качали и держали его на руках...

Маршал авиации Е. Я. Савицкий о летчике Спартаке Маковском

Это был талантливый летчик. И не просто летчик, а командир, организатор боя. Ему поручались наиболее ответственные и сложные задания. Нередко бывало, что я возглавлял общую группу, а он был ведущим одной из подгрупп. Неоднократно бывал

моим ведомым. Три или четыре вражеских самолета я сбил именно тогда, когда вылетал в паре с Маковским.

Припоминаю эпизод, когда он спас своего товарища. В тот день на штурмовку вражеских аэродромов вылетели две группы наших истребителей. Одну возглавлял я, вторую — Маковский. При возвращении с задания горючее у меня было на исходе, и я приземлился на аэродроме того полка, в котором служил Маковский. Вижу, люди чем-то обеспокоены. Оказалось, что все еще не вернулись Маковский и его ведомый, высказывались предположения, что они сбиты. А через несколько минут на подходе к аэродрому увидели самолет, который шел несколько необычно...

Незабываемая картина: летчики, техники, мотористы качают, затем на руках несут своего боевого товарища. В этом проявилось их восхищение доблестью офицера Маковского.

(Газета «Советская авиация», 31 января 1959 года)

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу Военно-Воздушных Сил Красной Армии

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

...31. Старшему лейтенанту Маковскому Спартаку Иосифовичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 13 апреля 1944 г.

Из «Боевого пути 43-го истребительного авиационного полка»

Две строфы из «Баллады о Спартаке Маковском», написанной сержантом Ю. Арановичем¹.

Пусть меня да не осудят:
Я ж не Пушкин, не Островский,
Не Руслан герой мой будет,
Наш герой — Спартак Маковский...

...Переменится и время,
Переменятся и люди,
Но дела твои пред всеми
Никогда мы не забудем!

¹ Юрий Викторович Аранович — ныне старший научный сотрудник Института сланцев в Коктла-Ярве (Эстонская ССР). «Баллада о Маковском», — пишет он, — мой первый и последний печатный опус. После войны я не стал литератором и не бомбардировал редакции рукописями, так как, к счастью, вовремя понял, что не отмечен поэтическим даром».

Из статьи майора В. Юрьева «Большевики в боях за Крым»

8 апреля на митинге, посвященном приказу о штурме Сиваша и Перекопа, Маковский и Джабидзе¹ заявили:

— В боях за Крым мы еще выше поднимем славу нашей части. Будем бить врага беспощадно, искать его всюду и уничтожать.

Свое большевистское слово они сдержали. Маковский за Крымскую операцию сбил 5 немецких самолетов, Джабидзе — 6...

...Однажды четверка истребителей, в составе которой были тт. Маковский и Джабидзе, встретила 20 немецких бомбардировщиков, прикрываемых 6 истребителями. Превосходство врага не испугало наших летчиков. Они навязали противнику бой.

Пара наших истребителей бросилась в атаку на шестерку ФВ-190 и сковала их боем. Маковский и Джабидзе в это время атаковали бомбардировщиков. Вдвоем они сбили 4 самолета противника и разогнали остальных.

(Армейская газета 8-й воздушной армии, 7 мая 1944 года)

¹ Джабидзе Давид Васильевич — майор запаса, Герой Советского Союза, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории КПСС Тбилисского государственного университета.

Из политдонесения зам. командира 43-го ИАП по политчасти начальнику политотдела 278-й ИАД

16 апреля 1945 года в день начала Берлинской операции, после того как была поставлена боевая задача, весь личный состав полка был собран на митинг, посвященный началу операции... Майор тов. Маковский от имени подразделения заверил, что весь состав — летчики и техники с честью выполнят задачу, оправдают доверие, оказанное Родиной и командованием. Поклялся перед лицом полка, перед Знаменем, что в боях личный состав умножит боевую славу полка.

Из оперативной сводки 43-го ИАСКП ¹

за 19 апреля 1945 г. Кенигсберг

В период 6.50—7.35 2 ЯК, ведущий майор Маковский, прикрывали наземные войска в заданном районе. Встреч с противником не было...

В период 10.55—11.35 4 ЯК, ведущий майор Маковский, прикрывали наземные войска в заданном районе... В районе Буков встретили 4 ФВ-190. Вели воздушный бой. Майор Лебедев² сбил 1 ФВ-190, который упал 2,5 км. севернее Буков. Подполковник Гулин³ сбил 1 ФВ-190, который упал 3 км. с.-зап. Буков. Вторую группу встретили — 4 ФВ-190 и 2 МЕ-109. Встретили в районе Кюстрин, вели бой. Майор Маковский сбил один МЕ-109, который упал 2 км. ю.-вост. Хайнердорф...

В период 13.05—14.00 4 ЯК, ведущий майор Маковский, прикрывали наземные войска в заданном районе...

В период 15.40—16.30 4 ЯК, ведущий майор Маковский, прикрывали наземные войска в заданном районе. В районе Штраусберг встретили 6 ФВ-190, вели бой. Маковский сбил 1 ФВ-190, который упал 2 км. западнее Шретцель. Конуков сбил 1 ФВ-190, который упал 3—4 км. сев. Штраусберг...

В период 17.05—18.00 4 ЯК, ведущий майор Маковский, прикрывали наземные войска в заданном районе. В районе Фюртентвальде встретили 2 группы до 18 ФВ-190. Вели воздушный бой безрезультатно, но группы разогнали и до переднего края не допустили...

В период 18.58—19.50 4 ЯК, ведущий майор Маковский, прикрывали наземные войска в заданном районе. В районе Претцель наблюдали 2 ФВ-190 выше на 1000 метров. Майор Маковский подбил одного, набирая высоту, но ФВ-190 со снижением ушли на запад.

¹ ИАСКП — истребительный авиационный Севастопольский краснознаменный полк.

² Семен Андриянович Лебедев — Герой Советского Союза, бывший штурман 43-го истребительного авиационного полка. Ныне полковник Лебедев — преподаватель Военно-воздушной академии.

³ Сергей Степанович Гулин — бывший заместитель командира 43-го истребительного авиаполка по политчасти. Сейчас подполковник запаса С. С. Гулин живет в Новороссийске.

Из оперативной сводки № 71 штаба 43-го ИАСКП

22.00. 29 апреля 1945 г. Олимпишесдорф

В период 8.50—9.30 два ЯК, ведущий майор Маковский, взлетели на разведку погоды и тут же были наведены на проходящий самолет противника. Атаковали парой... Сразу же был ранен Барченков... Летчик произвел вынужденную посадку на своем

аэродроме. Майор Маковский продолжал преследовать противника и сбил его в р-не 4 км. сев.-зап. Штраусберг, летчик выпрыгнул с парашютом и был взят наземными войсками в плен¹.

¹ Это был последний вражеский самолет, сбитый Маковским. Вылетавший в паре со Спартаком летчик Владимир Алексеевич Барченков живет сейчас в Москве

Из оперативных сводок видно, что 30 апреля, 1 и 2 мая Спартак Маковский вылетал на разведку и штурмовку.

Из оперативной сводки № 81 штаба 43-го ИАП

22.00.9 мая 1945 г.

В течение дня 9.5.45 весь личный состав полка отдыхал в честь окончания военных действий.

Из летной книжки С. И. Маковского

За период Отечественной войны на Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Белорусском фронтах произвел боевых вылетов:

днем — 216.

ночью — 2.

Всего — 218.

Накрытие наземных войск и объектов — 134.

На сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков — 34.

На штурмовку аэродромов противника — 7.

На штурмовку наземных войск и объектов — 13.

На свободную охоту — 10.

На разведку войск противника — 7.

На перехват самолетов противника — 13.

Провел воздушных боев 79, в результате которых сбил лично 23 самолета и в группе 2 самолета. Уничтожил на земле лично 5 самолетов и в группе 1 самолет.

Из письма П. П. Дмитренко¹

23 мая 1964 г.

Никогда не забуду нашей встречи в конце войны. Почти два года я был в лагере военнопленных. И вот в апреле сорок пятого года нас освободили. Это было в Германии... Мы проходили мимо какого-то аэродрома, и я, уж не знаю почему, спросил у дежурного, не здесь ли служит Маковский Спартак.

Дежурный посмотрел на меня — я был оборван и не походил на военного, — потом ответил, что командир эскадрильи Герой Советского Союза Спартак Маковский служит в этой части.

Я стоял и не мог говорить. Потом, придя в себя, попросил офицера, чтобы вызвали Маковского, и назвал себя. Минут через пять в проходной состоялась наша встреча после шестилетней разлуки. Спартак обнял меня, поцеловал, потом повел к себе на квартиру, дал умыться, накормил. Через некоторое время пришел Лебедев, и была у нас душевная беседа о прожитых годах...

¹ Петр Петрович Дмитренко — старый друг Спартака Маковского. Они вместе учились в Запорожском аэроклубе и в Качинской военной школе летчиков. В июле 1943 года Дмитренко был сбит в воздушном бою и попал в плен. Ныне П. П. Дмитренко — бригадир на Запорожском домостроительном комбинате.

Удостоверение

Предъявитель сего тов. Маковский И. И. командирится уполномоченным горкома КП(б)У и исполкома городского Совета депутатов трудящихся в подсобное хозяйство Магниевого завода для оказания помощи в проведении весеннего сева и организации массово-политической работы среди рабочих подсобного хозяйства.

Секретарь РК КП(б)У (Подпись) Председатель горисполкома (Подпись)
23.III.1945 г.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Комуністична партія (більшовиків) України
Запорізький обласний комітет
15.VIII.1945 р.

Командировочное удостоверение

Выдано тов. Маковскому Иосифу Ивановичу в том, что он командирован областным комитетом КП(б)У в Червоноармейский район для оказания помощи в проведении уборки урожая и выполнении плана хлебозаготовок.

Секретарь обкома КП(б)У Кириленко.

Выписка из приказа 43-му истребительному авиационному Севастопольскому краснознаменному ордену Кутузова полку

17 сентября 1945 г.

...§ 2

Полагать в краткосрочном отпуску командира авиаэскадрильи майора Маковского Спартака Иосифовича сроком на 45 суток¹.

¹ 26 сентября 1945 года Спартак прибыл в Запорожье. На следующий день должен был вернуться из командировки его отец — И. И. Маковский.

Из обвинительного заключения по делу об убийстве И. И. Маковского

Гражданин Маковский Иосиф Иванович, являясь уполномоченным Запорожского обкома КП(б)У по хлебозаготовкам в колхозе Карла Маркса Червоноармейского р-на, 27 сентября 1945 года вечером присутствовал на совещании Запорожской МТС в селе Софиевка, откуда в связи с истечением его полномочий в этот вечер должен был возвратиться в хутор Зеленый Червоноармейского района.

Ни в тот день, ни в последующие дни Маковский домой не возвратился, в связи с чем, по заявлению членов его семьи, были организованы поиски.

Из протокола осмотра места происшествия

1945 г., ноября м-ца, 14-го дня...

На 2-м поле колхоза «Большевик» Матвеевского с/Совета, Червоноармейского района, от хутора Зеленого в 800 метрах на северо-восток... на массиве, засеянном озимой пшеницей, была обнаружена разрытая часть почвы на 1 метр, откуда виднелись человеческие руки и обнаженная часть груди.

При раскопке почвы на 1 метр в ширину и 1,5 метра в длину, глубиной на 0,5 метра был обнаружен труп мужского пола. Голова трупа по плечи была завернута в синей шинели военного образца... Вокруг шеи по шинели был широкий пояс... На шее резаная рана до позвоночника... В левом карманчике гимнастерки обнаружены следующие документы: 1) паспорт серии «ШМ» № 573010 на имя Маковского Иосифа Ивановича... 4) Ком. удостов. Запорожского обкома КП(б)У в Красноармейский р-н от 15.VIII.45 г. с отметками о прибытии в р-н 16.VIII.45 г. и выбытии 28.IX.45 г... 10) письмо на имя Маковского Спартака...

Послание своему любимому сыну Спартаку Иосифовичу¹

25 сентября 1945 г.

В настоящему послании выражаю тебе свое родительское искреннее пожелание иметь навсегда счастье и восстановить на отлично свое здоровье. Страшные дни и годы пережили в битве двух миров: мира фашизма и мира коммунизма. Мы победили! Теперь надо тебе пожить настоящей жизнью человека. Поживи, сыну, и за меня, ты должен иметь больше счастья, ибо я такого не имел лишь потому, что на мой отрезок времени, начиная с 17-тилетнего времени моего возраста, и началась полоса кровопролитных войн и революций. И одни лишь тяжелые годы в моей жизни, что я не мог даже

распоряжаться сам собой. А это пока так есть и на сегодня, а годы мои уже 50 лет, жизнь тяжелые годы и времена списала. Так поживи же хоть ты. Для вас жизнь завоевали, и вы довершили нашу битву. Так живите же счастливо и радостно хоть вы!..

Я сейчас на хлебном фронте, и это каждый год 2—3 месяца. Тяжело... Ты понимаешь. Об этом — все.

...Скажите, когда все ж таки вы приедете в отпуск? Когда конец обещаниям?

Ждем, приезжайте.

Купи и привези лучшее охотничье ружье с патронами мне, 12 или 16 калибр, провитель для фото и радио[приемник].

Живы и здоровы все.

Маковский.

¹ На этом письме видны следы крови.

Из постановления начальника особой инспекции УНКВД Запорожской области майора Седышева о передаче дела об убийстве И. И. Маковского для дальнейшего расследования в отдел борьбы с бандитизмом

21 ноября 1945 г.

Следствием установлено, что Маковский И. И. является организатором колхоза «Большевик», активно вел борьбу с классовым врагом и с изменниками Родины после освобождения города Запорожье от немецких захватчиков, что дает также [основание] подозревать убийство Маковского как террористический акт на почве вражеской мести¹.

¹ К сожалению, убийцы Маковского не были найдены. Но следственные материалы и воспоминания друзей Маковского неоспоримо свидетельствуют о том, что убийство его — это месть тех, кого он разоблачал как пособников оккупантов и расхитителей народного добра.

Из протокола допроса свидетеля Мозгина Павла Петровича

Маковского Иосифа Ивановича я знал с 1937 года как бесменного депутата сельсовета, активного общественника, как члена партии. На каждом собрании и митинге Маковский Иосиф обязательно выступал с обвинением по адресу дезорганизаторов колхозного строя, лентяев и прогульщиков. Это мне запечатлелось как рядовому колхознику колхоза «Сечь», в котором я работал до войны 1941 года. Поближе я столкнулся с Маковским Иосифом Ивановичем, когда я стал председателем Магвеевского сельсовета, то есть с 29 июня 1944 года. Маковский Иосиф был депутатом сельсовета. В работе сельсовета Маковский принимал самую горячую деятельность и болел душой за колхозы, за поднятие материального благосостояния колхозников и ненавидел людей, чуждых советской власти.

1945 — 1965

Из письма Е. А. Синченко

6 января 1965 г.

...Мучительный месяц отпуска Спартака прошел, в семью Маковских пришло большое горе. Вместе с семьей переживал это горе и коллектив завода, и все, кто знал Иосифа Ивановича. С тяжелым чувством мы прощались со Спартаком, уезжавшим для выполнения своих воинских обязанностей...¹.

Коллектив завода похоронил Иосифа Ивановича, представителя старой ленинской гвардии, со всеми почестями. Трагически закончилась жизнь старого большевика.

Все грязное в нашем обществе — бывшие махновцы, раскулаченные, в ком еще тлел чад ненависти к советской власти, все, всплывшее на поверхность во время немецкой оккупации, все, на кого обрушивался с беспощадной непримиримостью старый большевик Маковский, после изгнания оккупантов притаились и ожидали возможности, чтобы отомстить ему... Выследили... Как бандиты с большой дороги, оборвали жизнь замечательного человека, коммуниста.

¹ 7 ноября 1945 года командир полка приказал «полагать налицо» возвратившегося из краткосрочного отпуска майора С. И. Маковского.

Из приказа председателя Свердловского областного комитета ДОСААФ № 117

Работая начальником Свердловского областного аэроклуба, тов. Маковский С. И. добился того, что клуб ежегодно выполнял и перевыполнял планы по подготовке авиационных спортсменов с хорошим качеством их обучения...

Аэроклуб занимает 1 место среди всех аэроклубов ДОСААФ СССР...

Из письма А. А. Маковской¹ своей подруге А. М. Митиной

2 февраля 1965 г.

У нас все по-прежнему. Сыновья уже совсем взрослые, комсомольцы. Гена работает на заводе и учится в одиннадцатом классе вечерней школы. Загрузил себя до предела. Умудряется еще ходить в самодеятельность, хочет научиться играть на кларнете. И на шоферских курсах хочет учиться. Говорит, в армии пригодится (он ведь в этом году призывается). Праздничным обедом отметили на днях его первую рабочую получку: он получил не как ученик, а уже как рабочий-разрядник. Распили бутылку шампанского, принесенную Геной. Отец поздравил, пожелал трудовых успехов. Боря после занятий остается в школе, а иногда ездит на завод, что-то там шлифует на станке. Приходит домой голодный, грязный, уплетает обед — и за занятия. Его мечта поступить в институт, стать кинооператором. Увлекается монтажами, в школе он фотокорреспондент.

¹ Анна Антоновна Маковская — жена Спартака Иосифовича, бывший авиационный диспетчер 3-го истребительного авиакорпуса, младший лейтенант в отставке.

Письмо В. Г. Кузнецова

Отвечаю на Ваш вопрос о Маковском.

Спартак Маковский — это человек, который в тяжелую минуту, рискуя своей жизнью, вырвал меня из лап фашистов. То, что произошло 3 января 1944 года, не изгладится из моей памяти никогда.

Маковский вывозил меня на самолете ЯК. Вы, наверно, представляете себе истребитель, в кабину которого только-только втискивается один летчик, а тут мы должны были поместиться вдвоем. Я был в таком положении, что почти полностью лишился Спартака обзора и, конечно, затруднил управление самолетом. И только его высокое мастерство и твердая воля помогли ему выйти из очень трудного положения.

Как только я почувствовал, что машина оторвалась от земли, ко мне пришла уверенность, что мы благополучно долетим до дому — до своего аэродрома. В нормальной обстановке расстояние от места моей вынужденной посадки до аэродрома, на котором базировался наш полк, летчик преодолел бы за 5—6 минут. А мы «болгались» в воздухе минут 20—25, потому что я мешал летчику сразу взять нужный курс. Эти минуты показались мне вечностью. Я с трудом удерживался на самолете: ведь большая часть моего тела была за бортом и встречный поток воздуха так и вытягивал меня из кабины. Но когда я, находясь «в изогнутом положении», увидел одним глазом, что рука летчика потянулась к крану выпуска шасси, у меня как бы прибавились силы: я понял, что до посадки — считанные секунды.

Наконец машина коснулась земли. Я с трудом вытащил из-под козырька кабины голову, оглянулся и увидел бегущих к нам боевых товарищей. В тот момент, когда меня снимали с самолета и укладывали на носилки (нога так онемела, что я не мог встать), я выразил Спартаку чувства горячей благодарности и назвал его своим вторым отцом.

Уже через несколько дней мы опять вместе с ним продолжали нашу боевую работу. И будучи ведомым Маковского, я не раз выручал его в трудную минуту воздушного боя¹.

В августе 1945 года мы расстались. И совершенно случайно встретились через двенадцать лет в Ялте. Это была не совсем приятная встреча. В жизни каждого человека могут быть срывы, был такой срыв и у меня как раз в тот период. Спартак с присущей

ему прямою высказал все, что он обо мне тогда думал, и добавил, что если и в следующий раз увидит меня таким, то не признает. Его слова сильно подействовали на меня. Я о многом передумал и хотя не сразу, но стал на правильный путь жизни.

И встреча, которая произошла у нас сегодня в Запорожье, на квартире у Спартака, была по-настоящему дружеской, братской.

Спартак Маковский — это такой человек, который и в боевой и в мирной обстановке никогда в трудную минуту не оставит товарища².

Виктор Кузнецов.

18.02.1965 г.

¹ Летчик В. Г. Кузнецов находился на фронте в составе 43-го истребительского авиаполка до конца войны, сбил несколько вражеских самолетов и был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени; в настоящее время он работает слесарем по ремонту вагонов на станции Мелитополь.

² О заслугах Спартака Маковского красноречиво говорят его боевые награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени, орден Александра Невского, орден Красной Звезды и восемь медалей. После войны С. И. Маковский служил некоторое время в родном полку, затем учился на высших летно-тактических курсах. После увольнения в 1958 году из армии по болезни жил в Свердловске. Работал в аэроклубе, потом — начальником грузового автохозяйства. В 1961 году переехал в Запорожье, где и работает сейчас главным механиком монтажного управления.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН

★

ПИСАТЕЛЬ, ЧИТАТЕЛЬ, КРИТИК

Статья первая

1

Ис античных ваз певца изображали с лирою в руке — и, немного поодаль, внимающих ему слушателей. В новые времена портреты писателей как бы перестали требовать в виде необходимого к себе дополнения — запечатленного во плоти образа читателя. Но незримо он всегда рядом.

Искусство по природе своей предполагает общение, более того — нечто вроде совместного творчества писателя и читателя. Когда художники уверяют нас, что они творят для одних себя, — они или красиво лгут, или добросовестно заблуждаются. Мало кому доставляет удовольствие диалог с самим собой. Моцарт говорил, что если бы ему дали лучший инструмент в Европе, но таких слушателей, которые ничего не захотят понять и не будут с ним вместе переживать то, что он играет, он не получит никакого удовлетворения от игры.

Это закон и для литературы. Многие крупные писатели свидетельствовали, как дорого для них соучастие читателя в акте творчества. «...Каждый пересоздает творение поэта по-своему, — писал Ибсен, — согласно своей индивидуальности украшает его, отделяет. Творят не только писатели, но и читатели; они — сотоварищи по творчеству; и часто читатель бывает больше поэтом, чем сам поэт». Последние слова нуждаются в примечании: Ибсен имеет в виду особо чуткого читателя, обладающего живой восприимчивостью и силой воображения. Но читатель-поэт существует столь же несомненно, как и читатель, глуховатый к искусству. И будет не прав тот из нас, кто зара-

нее решит, что великодушная похвала художника относится именно к нему. Разно бывает. Одно несомненно — без кровной связи писателя и читателя литература не живет.

Рядом с писателем и читателем мы находим обычно и третью фигуру — профессионального критика. Нельзя утверждать, что лицо это появилось в истории литературы столь же давно, как два первые, но само это занятие — оценки произведения искусства, посредничества между писателем и публикой — довольно древнего происхождения: именам благодушного Аристарха и придиричivого Зоила более двух тысяч лет.

Писатель, читатель и критик составляют, таким образом, некий литературный треугольник, все стороны которого взаимосвязаны в литературном процессе. Обычно это выражение служило для определения избитой любовной интриги, где действуют он, она и некто третий, мешающий первым двум. Нельзя ли переосмыслить этот старый термин?

2

Мне хотелось бы написать нечто вроде маленькой диссертации о взаимоотношениях писателя, читателя и критика. Но какой же уважающий себя диссертант может обойтись без истории вопроса...

Если мы оглянемся на прошлое отечественной литературы, то увидим, что читатель долгое время был персоной не слишком заметной. На поверхности литературной жизни чаще видны были двое — писатель и критик. Читатель же оставался как бы вели-

чиной неизвестной. Казалось, литература существует и без него, а между тем он неоспоримо присутствовал, да только мало давал о себе знать. К нему — «любезному читателю», «снисходительному читателю», «почтеннейшему читателю» — в стихах и прозе взывали авторы. от его лица вели речь кригики, его именем решались споры, а сам он до поры до времени пребывал безгласным сфинксом. В 1836 году Гоголь упрекал журналы в том, что их вовсе не занимали вопросы: «На какой степени образования стоит русская публика и что такое русская публика?»

Первые несомненные сведения о существовании читателя были получены в сороковых—шестидесятых годах прошлого века, в пору успехов русской демократической журналистики — «Отечественных записок» и «Современника». Именно в эту эпоху окончательно сформировался особый тип «толстого» литературного ежемесячника, надолго ставшего в русской жизни средоточием общественных, а не только литературных интересов, центром притяжения широких кругов читателей. Демократические журналы приобрели к чтению читателей разночинцев, они утвердили силу и авторитет критики, они же первыми признали в читателе реального участника литературного движения.

Постоянный читатель журнала, подписчик был фигурой совсем иной, чем прежний случайный читатель книг. Открывая каждый месяц свой журнал, он получал возможность следить за движением литературы, его начинала уже интересовать не одна беллетристика, но и научные статьи, и критика — словом, духовная жизнь общества в целом.

«Журналы наши находят себе подписчиков, и даже очень много: у одного журнала, говорят, было их некогда — давно уж — около пяти тысяч. Итак, у нас есть публика!» — торжествовал Белинский. Сейчас эти цифры кажутся немного смешными: «Современник» в лучшую пору имел 6800 подписчиков, а в заурядные годы едва набирал больше 2000. Но и эти тиражи считались огромными; они и в самом деле обозначили важную перемену. «Где есть публика, — развивал свою мысль Белинский, — там есть и общественное мнение, определенно произнесенное, есть род непосредственной критики, которая отделяет пшеницу от плевел, награждает истинное

достоинство, наказывает жалкую бездарность или дерзкое шарлаганство».

Именно с ростом нового читателя надо поставить в связь тот факт, что в эпоху Белинского и Чернышевского критика из третьестепенного рода литературы превратилась в глашатая и борца, в полноправного руководителя литературной жизни. Опиравшаяся на свою связь с новой «публикой», эта критика сама очень энергично воспитывала сознание читателя, заставляла его по-иному, чем прежде, относиться к книге, другое в ней видеть и по-новому соизмерять книгу с жизнью.

О росте нового читателя можно было судить по многим косвенным знакам: по увеличению подписки, по оживлению в книжных лавках, по толкам публики меж собою. Но как раз в эту пору появилось и еще одно — несомненнейшее — свидетельство общественно-литературного оживления: читательское письмо. Редакции журналов стали получать отклики своих читателей. Так, некресовский «Современник» в редакционном обращении 1849 года счел необходимым специально благодарить читателей за «несколько писем», присланных «разными лицами, изложившими свои замечания» о журнале за год. Еще ранее на свою переписку с читателями обратили внимание «Отечественные записки».

Любопытно, что и Фаддей Булгарин быстро уловил значение читательского письма как документа, обладающего гипнозом непосредственной достоверности. В начале сороковых годов он пробовал сфабриковать от имени читателей верноподданнические письма, пахнувшие доносом. «Отечественные записки» собирались ответить на это публикацией под названием: «Настоящие письма из провинции» (1843). В сохранившемся наброске предисловия В. Ф. Одоевский писал: «Редакция «Отечественных записок» и редакция «Литературной газеты» не знает, куда деваться от писем, получаемых ими из разных губерний: коллекция этих писем могла бы составить курьезную (первоначально: «любопытную») главу в истории нашей литературы, и мы готовы поделиться ими с предпринимателями публичных чтений о сем предмете»¹. За-

¹ Цитирую по книге В. И. Кулешова «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века». Издательство Московского университета. 1958, стр. 308.

думанная публикация так и не состоялась, но сам этот эпизод общественно-литературной борьбы достаточно характерен.

Читатель понимал не только куда писать, но и когда писать. Он оказался очень чутким барометром общественной погоды. По временам он проявлял недюжинную активность, охотился за книгами, рассуждал, писал в редакции письма, спорил, но стоило подуть ледяным ветрам реакции — как он погружался в апатию, становился неразборчивым в выборе книг и журналов и начисто не давал о себе знать, будто пропадал вовсе.

Щедрин, говоривший, что он только и любил в своей жизни, «что эту полуотвлеченную персону, которая называется читателем», в восьмидесятые годы тщетно зывал: «Где ты, русский читатель? откликнись!» Ему отвечало молчание. Значит ли это, что были годы, когда книги вообще не читали? Нет, пожалуй, читали, но читывали. В провинции ходко шли переводы Эмара и Монтепена, в моде были романы Ольги Шاپир, Северина, Летнева, сами имена которых прочно забыты даже историками литературы. Публика отдавала безусловное предпочтение романам «Жена» Вольского и «Граф Обезьянинов» Мещерского перед книгами Некрасова, Г. Успенского, Щедрина...

Библиограф Н. А. Рубакин оставил живописный портрет с натуры массового читателя «безгеройного» времени:

«Эти люди ищут в книге «приключений с героями», именно с героями, ни с кем другим. Такие читатели не редкость в любой библиотеке. Они приходят обыкновенно по праздникам или в будни по утрам и долго роются в каталоге, ищут заглавий пострашнее и позамысловатее («Полны руки роз, золота и крови», «С брачной постели на эшафот», «Три рода любви» и т. п.); они спрашивают одну книгу за другою, перелистывают ее, смотрят начало и конец — трагическая ли там развязка, смотрят, легок ли язык книги — много ли «черточек» (книги в разговорной форме предпочитают). Если на какой-либо странице попадает описание какого-либо «раздирающего» события — выстрел, кровь и т. п., — читатель берет книгу для прочтения»¹.

¹ Н. А. Рубакин. Этюды о русской читающей публике. Издательство О. Н. Поповой. СПб. 1895, стр. 132—133.

Читатель, подобный описанному здесь, существовал всегда, существует он, чего греха таить, и ныне. Но бывали времена, когда он начинал казаться господствующей, подавляющей силой. Так было в восьмидесятые годы прошлого века.

Это не значит, что у Щедрина и в эту пору упадка общественных интересов, застоя и безразличия не было своего читателя-друга. Даже оставаясь в сугубом меньшинстве, такой читатель жил, читал, думал и продолжал испытывать горячее сочувствие к «убежденной литературе». Но он был нем, безгласен и ничего не мог сделать для того, чтобы Щедрина и его соратникам по общественной борьбе жилось хоть капельку легче. «Покуда мнения читателя-друга, — писал Щедрин, — не будут приниматься в расчет на весах общественного сознания с тою же обязательностью, как и мнения прочих читательских категорий, до тех пор вопрос об удрученном положении убежденного писателя останется открытым».

Читатель-друг мог иной раз по удобному случаю высказать Щедрина личное сочувствие, но всякая возможность открытой, публичной поддержки была исключена. Зато читатели Щедрина из цензурного ведомства, придворных кругов и продажных газет, все эти победоносцевы, леонтьевы и катковы, имели беспрепятственную свободу швырять в него грязью, травить и преследовать, нередко ссылаясь на мнение общества и публики, той самой «публики», которая искала в книге «приключений с героями» и откладывала «Современную идиллию» ради «Графа Обезьянинова».

Вся история предреволюционной русской книги есть летопись героической борьбы передовой, демократической литературы с разлитым морем казенной беллетристики, псевдонародного лубка, бульварных романов, — борьбы за влияние на читателя, на его душу, за общественный характер его интересов.

3

Октябрьская революция была началом великого культурного переворота, изменившего отношение читателя к книге. Она породила новый тип читателя, пусть не слишком на первых порах развитого и образованного, но жадно ринувшегося к серьезной книге, штурмовавшего классику в дешевых изданиях Наркомпроса, ревниво следившего за первыми шагами молодой со-

ветской литературы. Этот читатель — крестьянин, рабочий, рабфаковец — не желал держать свое мнение о книге про себя, он стал предъявлять к автору свой счет, иное горячо поддерживать, иное отвергать, спрашивать и требовать ответа.

В первые годы советской власти началась работа по изучению мнений и интересов читателей. Библиотекари, журналисты, сельские учителя-энтузиасты вроде известного А. Топорова собирали суждения о книгах, устраивали свободные диспуты, проводили опросы и анкеты. После I Всесоюзного съезда библиотекарей Бюро печати ЦК РКП создало специальную комиссию по изучению читателей. В журнале «Красный библиотекарь» в первые годы его издания и в других печатных органах широко публиковалась статистика читательских мнений и их анализ. На мнение читателя, в свою очередь воспитывая и формируя его, опиралась лучшая часть критики двадцатых годов¹. Горький в своих статьях этого времени не устал цитировать и разбирать письма читателей.

Вся эта работа стала постепенно свертываться и окончательно замерла к середине тридцатых годов. Это не значит, что люди стали меньше читать и думать о прочитанном. Сам процесс распространения культуры вширь, завоевания масс книгой неостановимо продолжался. Но суждения читателей как-то меньше занимали теперь печать, а в литературной критике, также изрядно слинявшей и регламентированной в эту пору, появился некий абстрактный образ «нашего советского читателя», который с редким единодушием одно клеймил, а другим гордился, как то требовалось в данную минуту жизни. Идеология культа личности исключала возможность различных мнений даже в чисто эстетических вопросах. Да и могло ли быть иначе, если все более императивное значение приобретали отзывы о литературе одного-единственного читателя, который мог позволить себе самую неужи-

данную оценку, основанную часто на прихоти вкуса и, однако, немедленно поступающую в «золотой фонд» теории. «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте», — начертал он под влиянием бог весть какого настроения на тексте сказки молодого Горького — и все сникало перед этой лаконичной и не терпящей возражений рецензией. И вот уже начинали скрипеть перья критиков, ставивших Гёте на свое место.

Письма читателей в эту пору печатались редко, лишь по крайней нужде, и имели, так сказать, хорошо организованный характер. Читательское письмо появлялось на свет большей частью тогда, когда критика ухитрялась «проморгать» те или иные пороки произведения и поправить ее надлежало рядовому читателю. Если под письмом стояла подпись тракториста, сталевара или, на худой конец, фельдшерицы районной поликлиники — приговор той или иной книге был подписан: нельзя же было спорить с «мнением народным», а двух мнений среди читателей, считалось, не может и быть. Как-то не принималась в расчет возможность того, чтобы два тракториста или два сталевара заспорили между собою о книге. Понятно, что это мало способствовало заинтересованности читателя в делах литературы, непосредственности его отзывов.

Вспоминаю случай, рассказанный мне Марком Щегловым и происшедший с ним самим в его студенческие годы. Его позвали однажды в какой-то клуб, где должен был состояться вечер вопросов и ответов на литературные темы. Предполагалось, что читатели заранее в письменной форме передадут свои вопросы организаторам этого мероприятия. Когда в назначенный час он подошел к клубу, то увидел на закрытых дверях аккуратное объявление: «Вечер вопросов и ответов отменяется в связи с отсутствием вопросов».

— Неужели правда у людей уже нет вопросов и всем все ясно? — огорчился Щеглов.

Нет, вопросы, конечно, были, их было, может быть, даже слишком много, но беда заключалась в том, что обычно ответы, которые на них давались, были заранее известны и оттого никому не нужны.

Стоит ли удивляться, что читатель, словно потеряв силу собственного голоса, вяло следовал принятым в критике оценкам и чувствовал себя не слишком ответственным за то, как идут дела в литературе.

¹ Вяч. Полонский призывал к научной постановке изучения запросов и интересов читателей. В статье «О читателе и теории «иммунитета» он писал: «Проблема читателя является одновременно теоретической, затрагивающей важнейшие вопросы искусства, и глубочайше практической. Ей марксизм уделял мало внимания в прошлом, — он должен вплотную заняться ею в наше время» («Новый мир», № 8-9, 1929, стр. 276).

События последнего десятилетия, поворот, происшедший в жизни партии и страны после XX съезда КПСС, решительно отозвались и на взаимоотношения литературы с читателем. Читатель вместе с писателем снова почувствовал себя как бы строителем литературы. И теперь он имел на это, пожалуй, еще большее право, чем в первые годы революции. Ведь с тех пор произошли огромные перемены в самом культурном уровне масс.

Один из верных показателей — популярность журналов. Тиражи литературно-художественных журналов двадцатых годов нельзя и равнять с нынешними. В 1927 году «Новый мир» имел 28 тысяч подписчиков, «Октябрь» — 2,5 тысячи, «Красная новь» — 12 тысяч. Теперь же все крупнейшие ежемесячники выходят тиражами, превышающими сто тысяч экземпляров. «Итак, у нас есть публика!» — с куда большим основанием можем мы повторить слова Беллинского.

Но главное — в самом характере читателя наших дней. Дело не просто в том, что сейчас в нашей стране читают больше, чем когда-либо в прошлом: читают романы и стихи, классику и переводные книги, фантастику и детектив. На каждый род и вид литературы находится свой читатель, и я не рискну утверждать, что его выбор и вкусы всегда безупречны. Но все внятнее и громче голос любителя серьезной книги, внимательно следящего за всем новым в художественной литературе и легко отделившего зерно от паловы.

«Я ведь не просто «читаю в свободное время», нет, книги часть моей жизни», — пишет в редакцию «Нового мира» читательница Е. Осетрова из Тбилиси, и это в той или иной форме повторяется во множестве писем. «В годах 1913—1914 перед николаевской службой прочитал всех сыщиков американских, Ник Картера и проч., а сейчас лещу себя надеждой, что и настоящую литературу, т. е. не детектив, понимаю». Это слова из письма человека старшего поколения — Г. Иванова из Гатчины, приславшего дельный отзыв о произведениях Солженицына.

Заметим, что все прежние методы изучения читателя предполагали его пассивность в выражении своего мнения о книге: устраивались громкие чтки с последующим обсуждением прочитанного, раздавались анкеты, проводились опросы. Так поступали

энтузиасты изучения народного читателя вроде Х. Алчевской в прошлом веке, так было и у нас в первые годы советской власти.

Сейчас читатель не ждет, когда его спросят, что он думает о той или иной книге. Все чаще он требует слова сам, вмешивается в литературные споры и хочет участвовать в них наряду с профессиональной критикой как равный. Он много думает о прочитанном и без всякого внешнего понуждения пишет о своих впечатлениях в журналы и газеты.

Жаль, что у нас никто не занимается всерьез изучением читательских мнений по наиболее важным и острым литературным вопросам, что нет даже приблизительной статистики суждений читателей о книгах. Страницы «Института читательских интересов», печатавшиеся год назад в «Литературной газете», вряд ли могут идти в счет: читательские письма, напечатанные там, производили впечатление изрядно процеженных и дистиллированных — читатель будто нарочно избегал разговора о наиболее заметных и спорных произведениях, а если и касался их, то с той выглаженной, вплоть до газетного стиля, правильностью, от которой хоть караул кричи.

И все-таки лед тронулся. Мнение читателя вновь становится реальной силой в литературном процессе. Я уверен, что нам не долго ждать появления статей и книг, основанных на глубоком и объективном изучении психологии читателя. Нелишним было бы и издание переписки писателя с читателями, подобное той книге «Письма к писателю», какую некогда, воспользовавшись своей почтой, выпустил Зощенко; эта книга, как известно, встретила горячую поддержку Горького.

Я хочу внести посильную лепту в эту работу и представить некоторые материалы о взаимоотношениях читателя, писателя и критика.

Каждый год «Новый мир» получает несколько тысяч писем от своих читателей. Последние полтора-два года почта эта была обширной, как никогда. Что же побуждает читателя в конце долгого рабочего дня, отрывая время у отдыха и общения с близкими, садиться и писать письмо в редакцию? Какие вопросы занимают и трогают людей, приславших вот эти, вырванные из делового блокнота или ученической тетради, густо исписанные листки?

4

Скажем сначала, справедливости ради, о тех письмах, которые и сейчас в меньшинстве. Но которых пусть бы и вовсе не было. Это письма, что пишутся от нечего делать.

Гоголевский Петрушка, лакей Чичикова, имел обыкновение читать лежа в передней на тюфяке. Читал он больше ради самого процесса чтения, и оттого ему вовсе безразлично было, что окажется под рукой — роман о похождениях влюбленного героя, букварь или молитвенник: «если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался». Будь Петрушка немного потщеславнее, он мог бы, верно, на досуге сочинять отзывы о прочитанном и рассылать их издателям. Тогда их трудно было бы отличить от некоторых писем, что попадают и в нашей почте.

Есть разряд читателей, одержимых зудом общения с писателем, участия в литературных разговорах, о чем бы они ни велись. Такой читатель пишет письма в редакцию как обычное упражнение для своего пера — и это наименее интересные, холодные и случайные письма, с ученическим разбором произведения «по образам» или известными попреками автору:

Того-то вы не отразили.
Того-то не дали опять...

Более обширную и более симпатичную, на мой взгляд, категорию составляют те читатели, которые воспринимают произведение непосредственно, доверчиво, как простую вещь, и судят его, так сказать, с житейской, бытовой точки зрения. Их обычно очень занимает сам ход интриги («Вот ведь как оно в жизни бывает!») и сильно заботит развязка.

Автора романа «Тишина» забросали письмами: «Что будет с Асей? Как сложится судьба Сергея? Вернется ли домой его отец?» Читатель хочет, чтобы судьба положительных героев устраивалась благополучно, а прохвосты вроде Уварова, Быкова были непременно наказаны. Это естественное, понятное чувство — жажда справедливости. Но беда, если автор начнет подделываться под желания читателя — в теме ли, понравившейся и ставшей знакомой, или в разрешении сюжета.

Когда мы смотрим кино или читаем книгу, нам всегда втайне хочется, чтобы добродетель торжествовала здесь же, у нас на глазах, чтобы всему хищному, злему было

отмщение, чтобы возбужденное в нас негодующее чувство успокоилось, улеглось бы, а герои под занавес были живы-здоровы и счастливы. Писателю нужно мужество, чтобы на волне широкого успеха избежать соблазна успокоительного искусства.

Читатель, принимающий героев за живых, с реальной биографией людей и требующий от автора благополучного конца книги, сам по себе не так плох, и все же он стоит на начальной ступени читательской культуры. Вероятно, имея в виду прежде всего таких читателей, английский романист Грэм Грин сказал как-то: «Я не люблю писем читателей. Тот идеальный читатель, от которого писатель жаждет получить письмо, не пишет писем».

Сказано остро, но я берусь оспорить этот ядовитый афоризм. То есть, возможно, Грэм Грин и впрямь не получает таких писем, какие ему хотелось бы. Но этого нельзя сказать про нашу почту. Могу присягнуть, что к авторам журнала обращается и тот «идеальный» читатель, что всех дороже сердцу писателя, — читатель умный и тонко чувствующий искусство, с которым можно говорить обо всем с гарантией взаимопонимания.

Другое дело, что такой читатель не станет писать просто так, «для разгулки времени», со скуки марая бумагу. В нем развито чувство достоинства, он скромнен, неназойлив и счел бы недовким беспокоить редакцию и автора праздным изложением своих впечатлений. Если уж он сел за письмо — значит, что-то сильно тронуло, задело его.

Я должен поделиться здесь таким наблюдением: «идеальный» читатель, читатель-друг, чаще всего берется за перо тогда, когда вокруг книги, чем-то ему близкой (или, напротив, чуждой), возникает полемика и критика, по его мнению, как бы узурпирует права читателя в оценке произведения. Тут уж он считает своим долгом вмешаться, оспорить чью-то неправоту, высказать собственное понимание дела, а иногда просто сообщить автору о своей с ним солидарности. Надо ли говорить, какое значение имеет эта поддержка в иные минуты для писателя.

«Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие угодно себе похвалы в печати, — писал Достоевский. — Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, — как бы более правды, как бы более в самом деле», Вероятно, этот закон сохраняет

свою силу и поныне. Какому писателю не дорог непосредственный суд читателя?

«Идеальный» читатель, читатель высшего порядка, имеет, однако, в виду не одно свое непосредственное впечатление, но и общественную оценку книги, как она складывается в критике. Это новое в жизни литературы явление заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Есть своя отрадная сторона в том, что критику читают и учитывают ее. Другой вопрос — как на нее реагируют.

Критика по самой своей природе призвана быть представителем читателя, его депутатом в литературе и одновременно руководителем читательского мнения. Она получает от читателя мандат на высказывание от его имени. Но для того, чтобы отвечать обязанностям правомочного представителя публики, критик сам должен отражать умонастроения и интересы наиболее сознательной и широко думающей части читателей. Иначе читательский авангард начинает сомневаться в полномочиях критики.

В последнее время об этом заходит речь во многих письмах. Перелистаем же некоторые из них, не смущаясь прямою высказываний и не спеша поправить читателя, даже если что-то не понравится нам или покажется обидным для всего критического цеха.

«Моя профессия далека от литературоведения,— пишет М. Александрова из Ленинграда,— свободное время очень ограничено, и, признаюсь, я не очень часто читаю критические статьи. Надо сказать, что и читать их зачастую не хочется. Большая часть критиков представляется мне замурованной в какой-то башне (и даже не из слоновой кости) — настолько они далеки от того, что интеллект читателей неизмеримо вырос, что моральные и этические критерии среднего читателя много выше и чище, чем критерии этих критиков.

Вместо страстных проповедей в защиту настоящей литературы эти критики пичкают нас уныленькими догмами и бодренькими словечками, которые ничего, кроме злости и скуки, вызвать не могут».

А вот письмо В. Васильева из Краснодара: «Не могу похвастаться шибкой начитанностью и излишком времени для такого рода занятий, но часто безуспешно ищу хорошие статьи о волнующих книгах. Вот парадокс: критик обычно не идет дальше автора! Я это заметил еще с тех сладких минут, когда впервые прочел главу «Так это было»

и др. из поэмы А. Твардовского. Ждал-ждал — не было. Это неслыханно, противозачинственно, но критик пошел все больше осторожный и трусоватый».

И. Шеховцев из Харькова, военный инженер по профессии, с огорчением пишет, что, раскрывая толстые журналы, он привык встречать в отделе критики:

«А) либо литературно-критические пируэты, в которых можно найти все, что угодно — выпренность стиля, любованье слогом (ты только посмотри, читатель, как я владею языком, как варьрую!), неуправляемую логическую игривость, кроме одного — новой, интересной, свежей и самое главное определенной мысли.

б) либо осточертевшие ветры вульгарной социологии, творцы которой думают только об одном — «занять правильную позицию», и совершенно не думают о другом, о том, что занять правильную позицию — это только полдела (вторая половина дела состоит в том, чтобы это «занятие позиции» было доказательно, убедительно для читателя).

в) либо скучное отбытие дежурства на посту литературно-критической службы, где, конечно, читатель не находит для себя интересной мысли...»

Или еще письмо О. Ковалевской со станции Асбест Свердловской области. «Где у нас критика? — пишет она. — Где Белинские, которые принимали литературу кровью сердца, судили о ней с точки зрения интересов народа, его блага? Их нет. Безапелляционные приговоры, взаимные препирательства, ругань...»

Судя по этим письмам, отношения у читателей с критикой изрядно испорчены. Произошло слово «критика», читатель, конечно, разумеет в первую очередь не те солидные критические труды, монографии и теоретические статьи, которые принадлежат скорее к сфере литературоведения и пользуются заслуженной репутацией в кругу специалистов. Нет, речь идет о другом — о той газетно-журнальной рецензионной и «обзорной» критике, которая непосредственно обращена к читателю и по которой он невольно составляет представление о всем этом роде литературы.

Я не хочу этим сказать, что читатели не видят различий в способе рассуждений и характере деятельности конкретных авторов, работающих и в этой области. Талантливая, яркая, а главное — принципиальная, правди-

вая статья редко проходит незамеченной. Кстати, и большинство цитируемых здесь писем получено в поддержку тех или иных критических и полемических выступлений. Но содержащийся в них же общий счет к критике — довольно жестокий, а объяснение с ней крутое.

Тут есть предмет не для обиды — для раздумья. Критика поры культа личности оставила нам трудное наследство. Конечно, и в тридцатые — сороковые годы дело не стояло на месте, появлялись яркие и не потерявшие до сих пор своего значения статьи таких авторов, как, скажем, Е. Усиевич, В. Александров, но общий фон критики был безрадостным. Сам идейно-нравственный «климат» эпохи культа личности, мягко говоря, не благоприятствовал расцвету этого жанра. Идейный и культурный уровень критических статей и рецензий катастрофически падал, и были годы, когда усиленно приводимая к общему знаменателю критика почти начисто исчезла из толстых журналов. Постановление ЦК ВКП(б) 1940 года констатировало, что литературная критика и библиография «находятся в крайне запущенном состоянии».

Все последние годы наша критика, хоть и с трудом, свергала с себя вериги бесцветного догматического мышления, и было бы несправедливо не отдать должное этим ее усилиям. Нелегко было изжить и отбросить узкую догматику, проработочные навыки, фанфаронство и пустословие, привившиеся в литературной печати. Но читатель, вновь почувствовавший себя не посторонним литераторе, освободился от этих пут, пожалуй, естественнее, легче. Оттого такую досаду стала вызывать у него всякая инерция догматической мысли, безответственные восторги на пустом месте и рецидивы проработочного ремесла.

Эту главную причину недовольства читателя критикой иногда не замечали за другими, более частными. Говорили, например: критики пишут скучно, неинтересно, стандартно, не думают о занимательности своих статей и рецензий. Но известны попытки привлечь читателя экстравагантностью высказываний, небрежной разговорной манерой, имитирующей живость и непосредственность; критические статьи пробовали писать в виде «снов», «диалогов», «разговоров у камина...». Оказалось только, что в новой одежде банальная и шаблонная мысль не становится привлекательнее. Это, впрочем,

можно было бы предсказать и не ставя специального опыта. Барон Брамбеус писал куда кудрявее и «занимательнее» Белинского — но доброй славы себе не нажил. Энергию мысли, страсть, горячую убежденность нельзя купить никакими словесными ухищрениями.

Теперь из писем читателей мы узнаем, что их требования к критике куда серьезнее: они ждут от критика самостоятельной и определенной мысли, призывают его идти дальше автора, то есть свертать книгу с жизнью и проводить ту полезную работу, какую считали главной в критике революционные демократы, делавшие на основании картин, изображенных художником, выводы о явлениях и процессах самой жизни.

Вспоминая о деятельности Белинского и Добролюбова, о марксистской критике Воровского и Луначарского, читатель сетует на отсутствие ныне выдающихся критических талантов. «Где наши Белинские?» — таков обычный глас публики. Тут можно лишь вздохнуть и пожать плечами... Настоящий критический дар, говорят, встречается еще реже художественного. Куда хуже, что критика не удовлетворяет читателя и в той части, где его требования умеренны и бесспорны.

Авторитету критики никто не может повредить больше, чем она сама, когда она расхваливает слабые книги и предаёт поруганию талантливые.

«Я не имею никакого отношения к литературе, если говорить о моей профессии, — пишет В. Новогрудский (Полтава). — Но книга — мой хлеб насущный. Поверьте, что шелуха остается шелухой, как бы ее ни приукрашивали. А правдивая книга на десятки лет остается памятником и источником познания для миллионов людей». «Неужели не понимают, что наш читатель изменился? — спрашивает В. Жарский из Свердловска. — Он требует высокой культуры от произведений искусства, а не подделку и беллетристику. Бездарность порой лезет в каждую щель и еще кричит больше всех».

Увы, это так. Критика, доказывающая читателю, что дурная книга хороша, попросту не уважает его. Но ради него ли она хлопочет? Создавая дутые репутации, она поддерживает имена, а не книги, темы, а не идеи, и до искусства ей, в сущности, мало дела. Оттого в литературной жизни создаются условия, когда можно, не обладая и каплей таланта, а лишь сообразительностью

и усидчивостью, прослыть «художником слова» и издавать свои книги стотысячным тиражом хотя бы в издательстве «Советская Россия», прославившемся последнее время своей художественной невзыскательностью. Прискорбная сторона всего этого заключается еще и в том, что поощрение серости и бездарности деятельно способствует порче общественных вкусов: притупляется и исчезает чувство «эстетического стыда», которое, по словам Толстого, должна вызывать во всяком неиспорченном человеке художественная ложь.

Но дело не только в терпимости к плохому в литературе. Читатель сделал наблюдение, которому нельзя отказать в меткости: именно та часть критики, что так снисходительна к художественной бедности и безвкусице, особенно агрессивна в нападении на произведения, правдиво рисующие реальную сложность жизни, человеческих судеб и характеров. Всякий отход от шаблона, от нормативных правил и принятых образцов уже вызывает ее настороженность. Но почему проработке правдивых, талантливых книг читатель должен верить больше, чем пустым похвалам, расточаемым в пользу бездарности?

Критика столь часто расходилась с читателем в оценке явлений искусства, что ее выступления выработали у него своего рода иммунитет, защитную реакцию несколько неожиданного свойства. «Между прочим,— пишет преподаватель Одесского инженерно-строительного института С. Кудрявцев,— я пришел к довольно странному для себя правилу: я должен читать только те статьи и книги (разумеется, художественные, а не научные), которые подвергаются уничтожающей критике...» Ту же мысль, не сговариваясь, повторяют многие читатели. Д. Плоткина, медицинский работник из Саратова, пишет: «Критики, охаявая то или иное произведение, тем самым создают им популярность. «Ну, раз ругают — значит, интересно, надо почитать или посмотреть...» Это хорошая реклама. А если анонсируют: «Принимаются заявки на коллективный просмотр» — не ходи».

Вот так так! Критику называют компасом. Но читатели начинают пользоваться этим инструментом престранно: они уверенно ищут юг там, где стрелка указывает север.

Легко было бы, конечно, отнестись читателей, мнения которых приведены выше, к числу несознательных и пожуричь их за по-

верхностный вывод: право же, не все, что хвалится, хвалят зря, да и ругают не все понапрасну. Но куда больше занимает меня сейчас другое: как могло сложиться такое униженное и неловкое для критики положение, чтобы ее рекомендации имели, так сказать, обратную силу?

Бухгалтер Н. Черняев из поселка Талый Пермской области прочел в журнале повесть А. Кузнецова «У себя дома» и спешит написать в редакцию: «Автор прямо из жизни выхватил куски реального и подал в оригинальной форме читателям. Правда, есть там простые слова, «провинциализмы», но для нас, рядовых читателей-тружеников, это не вредит и даже ближе, лучше понятно. А вот критики могут наделать много неприятностей т. Кузнецову. Прошу по мере возможности не давать в обиду т. Кузнецова критикам».

На этот раз Н. Черняев волновался зря. Большая часть критики отнеслась к повести А. Кузнецова благосклонно. Но как же надо воспитать читателя, чтобы он заранее огорчился, ожидая критического разгрома понравившейся ему повести!

Нет, тут что-то не ладно. Выходит, что значительная часть критиков не столько руководит мнением читателей, сколько раздраживает их произвольностью своих оценок. Считается, что читатель открывает критическую статью, желая проверить свои впечатления и глубже понять книгу... Куда там, он боится за автора!

Может быть, картина взаимоотношений читателя и критика, вырисовывающаяся из этих писем, слишком мрачна? Может быть, читатель, однажды огорченный критикой, уже не хочет видеть никаких ее удач? Нет, мы говорили и готовы еще раз повторить, что он замечает эти удачи и отзывается о них в таких выражениях: «очень правдиво», «нет воды», «интересно», «заставляет думать», критик — «человек честный и не лицемер», «человек, смотрящий в корень, а не просто болтун и говорун».

Эти скромные похвалы кажутся нам очень важными. Они по-своему отражают представление читателя о тех качествах, без которых невозможен общественный и моральный авторитет критики. Читатель хочет иметь дело с критиком, который пусть иной раз увлечется, даже ошибется в своей оценке — кто гарантирован от промахов, — но относительно которого можно быть уверенным, что он не скажет ни слова против совести,

никогда не поступится правдой, партийными, гражданскими своими убеждениями в пользу «хитромудрой казуистики», как назвал в своем письме посторонние литературе соображения один читатель. «Может быть, я грубовато пишу, — извиняется он. — Но ведь я пишу письмо, а не статью, и я не писатель, а печник. Это одно. А другое — эта грубоватость вызывается реакцией на всех критиков, которые хотят и не хотят что-то сказать. Хотят вещи назвать своими именами, но страшно боятся. И они хоровают вокруг да около».

Коммунистическая идейность всегда связана в представлении читателя с прямоотой суждений и верностью правде жизни. Не отвлеченным умозрением, а живым, непосредственным чувством поверяет читатель свои впечатления от книги — правдива ли она, талантлива ли? И он бывает огорчен и обеспокоен, что именно эти качества меньше всего принимаются в расчет «хитромудрой казустикой», конструирующей отвлеченные идеалы и подсчитывающей, сколько граней жизни должен отразить автор в своем произведении.

Похоже, что читатель в некоторых отношениях перерос нашу критику. Во всяком случае он слишком часто отвергает ее помощь в истолковании произведения, предпочитая общаться с книгой лично, без посредников, составляя самостоятельное суждение о ней. Неужели в «литературном треугольнике» критик начинает играть незавидную роль «третьего лишнего»?

5

Да, читатель настроен к критике более чем скептически. Это не может не огорчать всякого мало-мальски причастного к этому делу литератора. Хотелось бы спорить, переубеждать читателя... но, признаюсь, мне обычно так легко понять его!

Вот попал к нему в руки рассказ И. Грековой «Дамский мастер». Рассказ — не роман, «малая форма», да и тема какая-то несолидная, «не на главном направлении», как любят говорить критики. Но только первую страницу перелистнул — и дальше захотелось читать: занятно, неожиданно как-то и жизнью пахнет.

Предмет таков, что тут житейского опыта никому не занимать статью. Кто из нас не томился в очереди в парикмахерской, не слышал этих праздных — в ожидании вызова — разговоров, унылых прений о «послед-

них» и «крайних», а потом, пройдя в зал и заняв свое место на удобном кресле перед зеркалом, кто не впадал в счастливые благодушные, утопая в ароматном чаду одколона, пудры и еще каких-то специй, покоряясь ловким рукам мастера и лишь изредка перекидываясь с ним ленивыми репликами? Но могло ли прийти в голову, что это достойно стать предметом искусства, что об этом будет интересно читать и человек в застиранном халате с ножницами и бритвой в руке, мелькающими перед самым твоим носом, окажется глубоко небезразличен тебе... Забавный этот малый — Виталий Плавников, такой молоденький, с хохолком на макушке, и такой серьезный, даже суровый, когда, как хирург перед операцией, он готовит свои инструменты и потом продельвает рискованные манипуляции над прической клиентки.

А его манера говорить! «Только, предупреждаю, для теперешнего времени эта завивка несовременна. Со своей стороны могу вам предложить химию». Или: «Этот вопрос у меня тоже подработан. Буду повышать себя в своем развитии, сдам за десятилетку...» И еще — в виде любезности при прощании: «Я тоже от вас почерпнул».

Читаешь — и улыбка не сходит с лица: «похоже!», «верно!», «так!». И где мы видели такого вот парнишку? Трудно сразу вспомнить, может быть, вовсе и не в парикмахерской, но можно ручаться, что он встречался нам, и не однажды.

Или другое лицо рассказа — Мария Владимировна Ковалева, директор научного института и постоянная клиентка Виталия. Мария Владимировна — с ее энергией и деловитостью, с милой прелестью стареющей женщины, с напускной грубоватостью и сердечной мягкостью, незащищенностью, она тоже отчего-то знакома нам, но знакома не по книгам, а внове. Читатель испытывает радость узнавания жизни — такое вот сам видел, таких людей знаю, а эти вот чувства Марии Владимировны помню по себе: тысячу раз переживал и это искушение бросить все прежнее и зажечь со следующего утра по-новому, и это чувство досады на самого себя, когда кажется, что сказал лишнее, «переговорил» и невольно обидел кого-то... А вместе с тем мы узнаем жизнь, какую никогда не жили, узнаем людей, что были знакомы нам только внешне, издали и теперь вдруг приблизились к нам.

«Дамский мастер» Грековой прочел после жены, — пишет читатель из одного зерно-

совхоза Курганской области.— Она у меня учительница, а я сам агроном средней руки. Жена молча отошла от рассказа. Но я, прочтя затем, молчать не мог. Спросил: «Понравился «Дамский мастер»?» — «Ничего». — «Только-то?!» Или я читаю слово за два, или жена два слова за одно...»

Трудно придумать более меткое и сжатое определение. В самом деле, слово за два идет лишь тогда, когда художественная речь глубока и емка. А уж два слова за одно — лишь при поспешном и поверхностном чтении. Агроном из Курганской области принадлежит, видимо, к числу «талантливых читателей», как называл это Маршак, а таких у нас немало по всем городам и весям, среди людей разных профессий и уровней образованности.

На рассказ И. Грековой горячо откликнулся В. Ларин из Баку.

«Прежде всего рассказ очень современный,— написал он в редакцию.— Его не слушаешь с другими. Это наш день, сегодняшний. Затем рассказ необычайно живой по изложению, но главное — потрясающе живой по образности... Мария Владимировна мне очень понравилась как человек, и не просто человек вообще, а сегодняшний хороший советский человек, хотя она и изменяет своей логике и звонит за Виталия на киностудию. Вот уж не думал, что меня так порадуют дамские парикмахерские будни!.. Чувствуется, что рассказ как будто написан на одном дыхании, а не замучен, как у некоторых. Но Виталий мне не понравился, хотя он схвачен верно».

Это отклик, так сказать, эмоциональный. Но есть и другие письма — с развернутым анализом, аргументацией, попытками своего истолкования образов и идей рассказа.

«Меня и тех, кому я читал рассказ,— пишет А. Рубайло из станицы Петровской Краснодарского края,— тронула история современного тупейного художника. Думаю, что в умении писателя дать «невидимые миру слезы» в манере сдержанной, приглушенной тональности больше всего сказывается его талант. Один из слушавших сказал также, что рассказ хорош тем, что до конца так и не догадаешься, куда ведется речь. Он имел в виду, что в рассказе нет той прозрачной логики развития и людей и событий, которая с самого начала повествования открывает их перспективу и делает ненужным чтение.

Замечательны эпизодические и второсте-

пенные участники описанных обстоятельств. Все они, плотно заселяя рассказ, всегда нужны. И написаны превосходно...

Но, странное дело, и мне и моим слушателям как-то не особенно понравилась Мария Владимировна. И посейчас как следует не пойму, в чем тут дело. Она умная, честная, прямая, добрая без сентиментальности. То ли тут виновата напускная мужественность, то ли чрезмерная, нарочитая старательность автора как бы исподволь открыт ее добрую, эмоциональную отзывчивость. Например, в сцене с плачущей Галей нам кажется ненужным это «Эх, горе женское...». Тут уместнее было бы содержательное умолчание. Какое? А это должен знать художник... Сложнее Виталий. Но и в нем переложено лишку. Не надо так много рассудочности. Белинский — это хорошо и верно, но такая надоедливая пунктуальность во всех мелочах... в нее как-то не верится, да она и не гармонирует с самой натурой этого хорошего мальчика...

Повторяю, рассказ замечателен. Если бы он был заурядным, то не стоило бы о нем и говорить. А то все те, с нашей точки зрения (а может быть, и ошибочной), мелкие погрешности, о которых мы говорим, так же досадны в нем, как пятнышки на какой-нибудь зеркальной поверхности. И просьба поверить, что письмо это полно самой искренней и теплой доброжелательности».

В доброжелательности автора письма невозможно сомневаться. И хотя, на наш взгляд, он далеко не во всем прав, радует сам уровень его рассуждений — вдумчивость, тонкая наблюдательность. Надо обладать незаурядным вкусом, чтобы подметить, скажем, несколько чужеродное в рассказе риторическое восклицание: «Эх, горе женское!» И вот что бросается в глаза — читателю из станицы Петровской словно бы ничего не стоит этот тон спокойной объективности и чуткой деликатности по отношению к автору, так трудно дающийся профессиональной критике. Он говорит то, что думает, но его суждения лишены самоуверенной безапелляционности. Это скорее размышление вслух.

Читателям, мнения которых мы привели, симпатичен талант И. Грековой. Пусть и в самом деле не все подробности рассказа безупречно художественны, а конец его кажется несколько скомканным, но мало кого оставит равнодушным живая свежесть впечатлений, естественность интонаций и, не

в последнюю очередь, умный юмор рассказчика, поднимающий его над невзгодами и огорчениями быта, над собственными слабостями... Читателям нравится новизна и жизненная сложность изображенных в «Дамском мастере» характеров. Но толкуют они их различно. Одному по душе Мария Владимировна и кажется неприятным Виталий, другой целиком сочувствует «хорошему мальчику», а к Марии Владимировне остается холоден.

В самом деле, как понимать директора института информационных машин Ковалеву? И что за человек Виталий Плавников? Сочувствует ему автор или посмеивается над ним? Вроде бы мысль рассказа нигде не сформулирована в тексте, не определена безусловно и категорически, так что остается простор для догадок¹. Но ведь при этом ни на минуту не исчезает уверенность, что И. Грекова «зацепила» что-то вполне реальное и прежде попадавшееся нам на глаза, только до сей поры не тронутое искусством. Значит, дело за тем, чтобы осознать характеры, изображенные писателем, как жизненное явление, понять их в их общественном значении и существенных связях и тем самым понять мысль автора — и жизнь, что стоит за нею.

Тут читатель доверчиво обращает свой взор к критике, ища у нее помощи и ответа. Да так и застывает в растерянности и недоумении. Оказывается, автор «Дамского мастера» жестоко обманул надежды, возлагавшиеся на него профессиональной критикой: «Увы, надежды не оправдываются, выстрел оказывается холостым! Выясняется, что предполагавшаяся многозначительность повествования ложна, что эскизы не стали картиной, а меткие психологические наброски не слились воедино, не воплотились в своеобразную индивидуальность героя. Живые штрихи рассказа не составили органической художественной концепции...» Все бы это еще полбеда, но, сделайте милость, посмотрите, какими героями соблазнился автор: «Молодые дамские парикмахеры — мещане, изучающие диалектический материализм, цивилизованные дамы-профессора,

которые духовно капитулируют перед своими парикмахерами!» В самом деле, получается что-то нехорошее — добро бы дамы капитулировали перед парикмахерами в плане вертикальной завивки и укладки феном, но духовно капитулировать — это уже пахнет идеологической уступкой! И критик огорчен, взволнован. «Где уж тут говорить о высоких моральных нормах?!» — сокрушается он.

Приведенные выше выдержки принадлежат перу Г. Бровмана («Литературная Россия», 4 сентября 1964 года). Я считал бы лишним еще раз обращаться к работам этого критика, которого мне пришлось уже однажды характеризовать как полемиста. Но меня вынуждает необходимость. Дело в том, что труды этого автора, не блеща индивидуальными особенностями, определяют некий средний уровень, создают общий фон критики. Иногда под статьями стоят другие подписи, а мне все кажется, что я читаю Бровмана. Он пишет неутомимо и много, обладая при этом даром безошибочно распознавать все мало-мальски свежее и талантливое в литературе в целях предания его поруганию и позору. Естественно, что он не обошел своим вниманием и «Дамского мастера». Иронически отозвавшись о крагкой рецензии Н. Соколовой, рекомендовавшей в «Литературной газете» рассказ читателям, Г. Бровман разобрал его в согласии со своей методологией. Для него Виталий не только «воинствующий обыватель», но, кроме того, и «художественно несостоятельный образ».

Герой не нравится критику, и он думает, что нехорош образ. Обычно эту ошибку объясняют на школьных уроках литературы. Хлестаков — малоприятный герой, но из этого не следует, что образ его художественно несостоятелен.

Столкнувшись с реальным жизненным характером, мало похожим на те, что уже знакомы по литературе, критик видит в этом непорядок и нарушение правил литературной благовоспитанности. Он досадует на отсутствие той «прозрачной логики» повествования, заранее предвещающей итоги, которая, по словам читателя, делает как раз ненужным чтение. Противоречия характера он относит к противоречивости исполнения и сердится на автора за свое нежелание понять его.

Но оставим в покое Г. Бровмана, тем более что на его «ортогональность» по отно-

¹ «Литературная Россия» 26 июня 1964 года поместила письмо читателя Л. Ильина, который и вовсе растерялся, не найдя, что можно было бы ему «перенять» у героев И. Грековой, и не определив вследствие этого, как вообще к ним следует относиться. «Догадывайся, как можешь» — озаглавлено его письмо.

шению к рассказу И. Грековой уже указал в своем квалифицированном отклике и Ф. Левин («Литературная Россия», 13 ноября 1964 года). Поищем лучше других попыток в критике объяснить нам идею рассказа И. Грековой, характеры его героев, и прежде всего самого «дамского мастера» — Виталия.

Такую попытку мы найдем в статье П. Пустовойта «В поисках деятельной личности» («Литературная Россия», 15 мая 1964 года). Название уже предопределяет подход критика к рассказу. «А вот смелый, но, к сожалению, малоэффективный поиск деятельной личности,— пишет он.— Скромный труженик, парикмахер Виталий Плавников (рассказ И. Грековой «Дамский мастер», «Новый мир», № 11, 1963) честен, наивен и даже чуть смешон со своим аскетическим «планом личного развития» и сугубо профессиональным взглядом на дамские прически. Автор, по-видимому, хотел показать, как в герое постепенно формируются черты настоящей активной личности, но допустил просчет, отъединив Плавникова от коллектива. В сфере труда герой внутренне собран, умеет сразу схватить все новое, в своем деле он артист. Но при всем своем отвращении к различным спекуляциям типа Матюниных он уходит от борьбы, покидая место своей работы. Нет, не получилось активной личности из Плавникова. Не получилось».

Вслушиваясь в этот монолог критика и вдруг узнаешь в его интонациях что-то знакомое. Где мы это только что слышали? «...Ваше выступление было слишком простое, без формулировок, и оно меня не удовлетворило. От вас, как руководителя учреждения, можно было ждать более глубокого анализа». Ба! Да это наш Виталий говорит, объясняясь с Марией Владимировной после вечера в институте, куда он ходил «изучать разные слои», хотя «в данных слоях... ничего интересного для себя не нашел». Редкий случай бессознательного заимствования, которому обрадовались бы любители изучать природу творчества по Фрейду. Минуем, однако, это странное совпадение и попробуем вникнуть в позицию критика по существу.

Автор статьи, как явствует из всего ее текста, рассматривает героев литературного произведения преимущественно с той точки зрения, могут ли они представить «пример,

достойный подражания». Если да, то произведение хорошо и автор молодец, если же нет — автор «допустил просчет» и труд его неудачен. Но располагает ли критик надежным способом определить, какой герой достоин служить «примером»? Несомненно. Для этого надо только узнать — насколько он активная, деятельная личность.

Ясность этих критериев привлекательна. Они решительно упрощают все дело критика. Несовершенство произведения доказывается как теорема: в Виталии «формируются черты настоящей активной личности», и этим он привлекателен, но из-за досадной непоследовательности автора герой недотягивает в этой своей активности и оттого не может служить примером. Следовательно, попытка автора «малоэффективна».

Вне пределов этого круга логики остается, правда, один небольшой вопрос: а что, если автор и не помышлял делать из своего героя «пример, достойный подражания»? И что, если активность Виталия — не безусловная добродетель? Но это предположение несет в себе такие неудобства для стройно воздвигнутой концепции, что было бы деликатнее обойти его совсем.

Всякая нормативная концепция не любит лишних вопросов. Она сильна своей самоценностью и глухой ко всему, кроме самой себя. Получается округло, складно, а там хоть трава не расти. Реальность жизни, изображенной писателем, сам текст произведения в этом случае — одна помеха.

Но, к счастью, если только произведение правдиво и художественно, никакие самые противоречивые толкования не убивают его. Герои продолжают жить своей жизнью в сознании читателей, огорчать, радовать, ужасать и смешить даже тогда, когда критика уже подписала им тот или иной приговор, объявила об их «несостоятельности» и смолкла в сознании исполненного долга. Так остается жить сам по себе и Виталий Плавников, и я почти вьвязь вижу, как он усмехается, слушая эти разговоры о себе и наблюдая за тем, сколько хлопот он доставил критикам своей не такой уж и сложной персоной. Неужто этот паренек лет восемнадцати, с острыми локтями, торчащими из рукавов парикмахерского халата, с темными глазами, горящими на бледном, диковатом лице, — «не то олененок, не то волчонок» — и впрямь такая загадка? Присмотримся еще раз к нему.

6

С первого взгляда в Виталии поражает независимость его манеры говорить и держаться, ранняя взрослость, немного забавная при его почти детской внешности. Но Виталий быстро отбивает охоту позабыться на его счет. За работой он суров, сосредоточен, начисто лишен желания заискивать перед клиентами. Даже чаевые он ухитряется брать с достоинством, без тени лакейства: ему не нравится, по его словам, «качество» этого заработка, но без него трудно прожить — и он как бы нехотя принимает «знаки благодарности» от своих клиентов. Было бы ханжеством укорять его за это. Тем более что, ближе узнавая вместе с Марией Владимировной Виталия, мы убеждаемся, что это человек от природы одаренный, настоящий художник в своем ремесле и работает он не за страх, а за совесть.

Виталий не терпит халтуры, ему противно «гнать план», и он много времени тратит на каждую операцию, даже рискуя нарваться на неприятности. Это черта настоящего профессионала, которому работа доставляет радость, приносит счастливое удовлетворение, тем более что Плавников из породы людей, всегда стремящихся в своей области быть первыми. И у него есть все основания рассчитывать на успех. Он неутомимо и бескорыстно экспериментирует, «проверяя на девушках свои теории» и терпеливо разъясняя более солидной клиентуре требования современности. «Наше время, — говорит он, — требует крупные бигуди, владение бритвой и щеткой, хмию, форму головы».

«Время требует» — постоянный рефрен в разговорах Виталия. Во всем быть на уровне требований времени, как он их понимает, — одна из главных его забот. И это не только в своей профессии. Он хочет чувствовать себя человеком вполне современным во всем — от покроя костюма до уровня своих знаний и общественных интересов. И при этом — никаких порицаемых излишеств в погоне за модой, бытующих в среде стилига и тунейдцев. Напротив, подчеркнутая порядочность, серьезность, уважительное отношение ко всякому знанию и образованию, столь непохожее на психологию недавних молодых героев нашей литературы, мальчишек из интеллигентных семей, едва вытерпевших годы за партией и бросившихся очертя голову в дальние края —

в поисках самостоятельной судьбы и романтики жизни.

Признаться, в благоговении Виталия перед теоретическим знанием есть что-то и слегка комическое. В благородной страсти к самообразованию он начинает изучать литературу с Белинского, намереваясь проштудировать его от первого до последнего тома. Он уже знает статью «Менцель, критик Гёте», но ничего не слышал о «Воине и мире». Такой ранний педантизм способен и посмешить и озадачить. Увлечение политической литературой, газетами и особенно радио, составляющего своего рода привилегию профессионального быта — в парикмахерских оно гудит над головой круглый день, — оставили также заметный след в его манере говорить и во всем образе мыслей. Недаром, удивляясь тому, как успешно воспитала Мария Владимировна своих сыновей, он спрашивает: «Вы проводили с ними беседы?» И даже на вечер отдыха он приходит не столько потанцевать, сколько «изучать слои».

Но немного смешной теоретизм разговоров Виталия не мешает ему быть человеком житейски цепким и практичным. Он хорошо знает цену жизненным благам, на чужое не посягнет, но и своего не уступит.

Мария Владимировна спрашивает его, почему он не хочет жить с родителями. «Нежелательно, — отвечает Виталий. — Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду не то чтобы пользоваться с их стороны поддержкой, но даже отдавать часть своего заработка отцу на вино, а это меня не удовлетворяет». Разве Виталий не прав? В простом житейском смысле его не в чем упрекнуть: он хочет жить самостоятельно и имеет на это право. Да и хорошо ли в самом деле поощрять пьянство? Но что-то неприятно задевает в слишком обдуманном и расчисленном поведении юного рационалиста.

Еще менее привлекательно выглядит Виталий в истории с Галей, которую так опрометчиво рекомендовала ему в качестве клиентки Мария Владимировна.

Приходя причисляться по назначенным дням к «дамскому мастеру», Галя сама не заметила, как влюбилась в него. Виталий не остался к этому равнодушен — он стал встречаться с девушкой, приглашать ее в кино и на танцы, пока дело не начало приобретать серьезный оборот. Тут наш герой поспешил отойти в сторону, и, когда отчаяв-

шаяся Галя попросила Марию Владимировну тайком разведать о его истинных чувствах, Виталий, нахмурясь, объяснил: «Я интересовался Галей как подходящим материалом для прически, у нее живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. Я пробовал на ней различные типы бигуди. А теперь я ее голову исчерпал, мне это уже неинтересно, я должен развиваться дальше...» Виталий немного лукавит, говоря, что дело только в волосе. «...Я еще не готов, чтобы расписаться,— ни по возрасту, ни экономически»,— поправляется он. И спокойно объясняет Марии Владимировне, что если бы еще у Гали была площадь, то это могло бы заинтересовать его, а приводить жену в свой угол он считает несолидным. Мария Владимировна — женщина, я бы сказал, без предубеждений и лишена старомодной сентиментальности, но и ее ошарашивает этот род откровенности.

Солидность, авторитет, материальная независимость — суть качества, которыми особенно дорожит молодой герой. Он мечтает о солидной клиентуре и с легким презрением относится к женщинам, которые не в той мере заняты собой, как некая «жена маршала» или врачиха, вернувшаяся из чужих краев и привезшая оттуда бигуди нового типа. В этом нет мелкой корысти, но лишь узко направленный профессиональный интерес. «Выбирая себе клиентуру,— говорит Виталий,— я всегда смотрю: могу ли я в данном случае почерпнуть для своего развития, а не то чтобы обслуживать сплошь и каждую». Мы вправе были бы расценить это как ненасытную жажду знаний и тягу к самосовершенствованию, столь привлекательную в молодом человеке. Но когда отношение к своему делу и к людям целиком укладывается в формулу «что я могу от них почерпнуть» — это уже не вызывает таких безусловных симпатий.

Виталий весь сосредоточен на напряженном самоутверждении. Хорошо это или плохо? Хорошо, что он ощутил себя личностью, что он знает цену своему мастерству и, как не часто бывает в «сфере обслуживания», легко культивирующей угодничество,— независим, даже горделив. Но похоже, что стремление утвердиться в жизни сильно обгоняет его духовное самосознание, недостаток которого он возмещает ворохом едва прожеванных формул и цитат.

«Я должен выдвигаться в своем разви-

тии, получать авторитет»,— говорит он Марии Владимировне, объясняя, почему он согласился стать секретарем комсомольской организации. На собрании молодой секретарь «заостряет вопрос» об авторитетности инструмента и культуре обслуживания — и добивается своей цели, «выигрывает в авторитете». Нет, Виталий не грубый карьерист и не хищник, и ему еще придется поплатиться за свое выступление, задевшее интересы влиятельного жулика Матюнина. Но любопытно, как легко уживаются в его характере самый отвлеченный газетный идеализм и сугубая житейская практичность.

Воинствующий мещанин? Но что прибавит нам этот ярлык? Мы привыкли, что мещанин печется лишь о своем покое, к делу относится с точки зрения грубой корысти, пренебрегает общественными интересами. Всего этого нет у Виталия. Он безупречен с точки зрения анкеты. Он активен? Да. Трудолобив? Несомненно. Политически грамотен? Еще бы. Любознателен? Да, да, да.

Все это вполне отвечает облику молодого человека нашего времени, как его иногда понимают. Критику, которого я выше цитировал, по душе пришлась активность Виталия, только ему ее еще не хватило. Однако тут какое-то недоразумение. Или я читаю одно слово за два или П. Пустовойт два слова за одно, но мне показалось, что активности у Виталия хоть отбавляй. Он не просто деятельный человек, по своей психологии это — маленький конквистадор, завоеватель жизни.

Даже в конце рассказа, где можно угледеть слабость героя, потерпевшего поражение в противоборстве с Матюниным, он все-таки не изменяет себе: сам устраивает свою судьбу, отказавшись от помощи Марии Владимировны и уйдя на завод слесарем. Жаль, конечно, что пропадет его редкий талант «дамского мастера». Но завод для него тоже лишь ступенька к будущему. И я не беспокоюсь за его дальнейшую судьбу, даже почти уверен, что он осуществит в конце концов свою мечту и предстанет перед изумленной Марией Владимировной в профессорской мантии преподавателя диамата, как он и говорил ей об этом. Таков уж его характер. Он хочет во всем быть обязанным только себе, чтобы потом не нести обязательств перед другими.

Можно спросить: как сложился такой характер, что благоприятствовало его появлению в жизни? И. Грекова помогает нам тут

лишь частными объяснениями, касающимися биографии героя. Ребенком он попал в детский дом и вдоволь хлебнул там несправедливости.

Но мальчишка растет и сам решает потребовать у жизни возмещения за полученные прежде от нее обиды. Старый инстинкт подсказывает ему, что для того, чтобы стать неуязвимым, надо считаться с интересами других людей лишь «постольку поскользку», а главное, быть в жизни захватчиком — захватчиком авторитета, положения, образования, комфорта и т. п., — тогда тебя будут уважать. Так складывается логика его практического поведения. Но ведь он живет, воспитывается в советском обществе, в советской школе. Значит, известные моральные нормы и для него обязательны. Рассудком он легко усваивает их, как усваивает и общую политграмоту, — в школе он был передовиком «по изучению текущего момента». Так он привыкает жить в двух измерениях — житейской практики и идеальных формул, оставаясь верным обоим даже без ущерба для своей искренности.

Вот почему при понятном сочувствии к молодому герою с нелегкой судьбой я не убежден, что надо приходить в восторг от его активности и ею, как высшей добродетелью, мерить воспитательное воздействие образа на читателя. Иные газетные прописи живут в полном ладу с надобностями личного эгоизма, оказывающими встречное влияние на общественную мораль. И в этом смысле психология юного парикмахера кажется мне не только наивной и смешной, но, пожалуй, немного и страшной.

Впрочем, может быть, такое восприятие индивидуально. «Для одного смешно, для другого — глупо. Для одного смешно, для другого — страшно». Это рассуждает Мария Владимировна после вечера в институте. Атракцион культурницы Зины — «охота на зайцев» с идиотизмом безобразных уродливых масок и унизительным чем-то весельем — и горячая, сбивчивая речь Марии Владимировны, прекратившей это веселье, речь, заставившая ее долго мучиться от раскаяния и стыда, — один из главных узлов сюжета. Зина ни в чем не виновата, она провела свою задачу вполне профессионально. Но был какой-то организованный идиотизм в этом «химическом веселье». И казалась отвратительно машинальной, искусственной вакханалия животного смеха, от которого, как в массовом психозе, никто не мог удер-

жаться.. Люди собрались вместе отдохнуть, они ждали вольного, умного веселья, а оказались в плену у стандартизированной и тупой забавы.

Мария Владимировна протестует так стихийно и рьяно, со всей нескладностью неожиданного порыва, потому что она, может быть, еще не осознав это умом, чувствует яростную внутреннюю вражду к этой власти бездуховности, автоматизма, претендующей на то, чтобы распоряжаться людьми и в минуту отдыха, веселья.

В рассказе И. Грековой Виталия трудно до конца понять без Марии Владимировны. Связь тут не только сюжетная (он причисляет ее, она его исподволь воспитывает). Мысль рассказа проясняется вполне лишь в сопоставлении этих двух фигур.

Мария Владимировна не представлена идеальным героем, автор откровенно отмечает ее слабости, ошибки, недовольство собой, маленькие компромиссы со своей совестью, когда, скажем, она, обманывая очередь, пробегает на кресло к Виталию. И все-таки прав читатель, написавший, что Мария Владимировна — «сегодняшний хороший советский человек».

Виталий гонится за современностью. Марии Владимировне это не нужно — она и так в своем времени своя. И дело не только в том, что она видный ученый, работающий в самой «модной» области науки — информационных машин, что она человек современной дисциплины мысли и научной складки. Самое привлекательное в Марии Владимировне — ее естественный органический интерес к жизни и людям, к тому, чем живет Галя, что думает Виталий, — к науке, к молодежи, ко всему. В этой стареющей женщине в очках не гаснет молодое чувство любопытства к окружающим — ей надо еще не только решить какую-то давно не дающуюся теоретическую задачу, а надо помогать людям, и танцевать, и веселиться, и жить полной жизнью, и быть понятной своим детям, и беспокоиться о судьбе Виталия. Активность Марии Владимировны человечна, благородна — она спорит с сухим рационализмом и практицизмом.

Но, может быть, это преимущество возраста и зрелого опыта? Виталий так еще юн, порой даже беззащитен, и, в сущности, он не отличился ни в чем особенно худом, разве что проявил себя немного черствым. Но если бы эти черты уходили с молодостью! Обычно бывает иначе: молодость цве-

тет эмоциональной отзывчивостью, нерасчетливым чувством благорасположения к людям — потом эти свойства легче растерять, чем приобрести заново.

Вот Виталию тоже не понравился вечер в институте и аттракцион с зайцами, но он осудил Марию Владимировну за то, что в ее речи не было достаточно точных формулировок и квалификации проступка культурницы Зины. Каким неожиданным ни показалось бы это сближение, но то механическое, шаблонное, что есть в стиле рассуждений самого Виталия, близко, родственно атмосфере неудавшегося вечера. Тут метки, следы сходных процессов.

Бездуховность, обычно связываемая с властью вещей, материального над человеком, склонна посягать и на утилитарное усвоение продуктов человеческого духа. Она научилась использовать в целях самоутверждения известную сумму гуманитарных знаний и почитаемых в обществе идей. Но можно проштудировать Белинского от первого до тринадцатого тома, быть в курсе новостей внутренней и внешней политики, научиться собирать механического робота — и остаться человеком бездуховным.

Потому что главное, что определяет личность, — это не такие ее свойства, как активность, воля, работоспособность или даже профессиональное мастерство, а то, чему все это служит, — исходный принцип, определяющий отношения человека с людьми и обществом. Самую кипучую энергию и самое обширное знание можно повернуть и так и этак, и мало ли примеров в истории и в частной жизни людей, когда все эти добрые свойства служили верную службу злу.

Нам дорога активность, жизнедеятельность, борьба — без них нет движения, перемен, нет и самой жизни. Но мы знаем, что у этих качеств есть опасная склонность к автономии. Беда, когда борьба и активность сами по себе становятся нравственным мерилом, оттесняя и заставляя забыть то, за что они велись, иначе сказать, становятся целью, а не средством. Реакционнейшие социальные теории опирались на культ воли, активности «сильного человека» и принципиально презирали любую «слабость», незащищенность, несчастье, личную беду как своего рода неполноценность.

Но со всем этим не по пути коммунистическому гуманизму. Для нас важна не активность сама по себе, а качество этой активности, ее человеческое и общественное,

ее революционное и гуманистическое содержание. Мы хотим, чтобы сильные помогали слабым, а не презирали их, чтобы несчастные стали счастливыми, а воля служила бы общему благу, а не формированию элиты «сильных личностей».

Вот на какие мысли наводит непритязательный по своей теме рассказ И. Грековой, который в этом смысле стоит «на главном направлении», на самом, может быть, главном направлении — воспитания коммунистической нравственности, морали нового человека.

Однако хотел ли автор сказать все это таким точно образом, как мы его поняли? Таков ли, в частности, для него Виталий, как и для нас? Не буду настаивать на этом. И. Грекова вовсе не «разоблачает» Виталия, она показывает нам его с юмором, даже симпатией, хоть и с нескрываемым изумлением перед иными его речами и поступками. Важно, однако, то, что перед нами тип молодого человека, еще не бытовавший в литературе и схваченный с такой художественной отчетливостью, что мы вправе разглядеть нравственные и общественные потенции этого характера. Ведь изображение писателя, если оно верно реальности, получает даже независимую от его начальных намерений силу. Все это, к сожалению, мало интересовало тех критиков, которые заранее решили, что Виталий должен быть активным героем или, на худой конец, воинствующим мещанином, и быстро разочаровались, как только выяснилось, что приготовленный костюм оказался герою не впору.

Читатели тоже разошлись в толковании рассказа. Но они — за редким исключением — не пытались ставить под сомнение художественную правду образов И. Грековой. Воспринимая рассказ непосредственно, они, быть может, не всегда верно формулировали свои впечатления, не все додумывали до конца, но во всяком случае не отгораживались от живой реальности нормативной предвзятостью, не требовали от автора того, что он и не собирался им предлагать.

То, что показано выше на скромном примере одного рассказа, можно было бы подтвердить многими другими подобными же эпизодами литературной практики, — к некоторым из них мы еще предполагаем вернуться. Но, остановившись столь подробно на рассказе И. Грековой, мы имели в виду

представить как бы модель довольно обычного в литературном обиходе соотношения критической и читательской оценки произведения с его, так сказать, «номинальным» содержанием. Этот опыт анализа вплотную подводит нас к истокам одного из главных недоразумений между читателями и критикой, сильно осложнивших отношения в «литературном треугольнике».

Пользуясь давно сложившимся условным представлением о читателе и его запросах, критика полагала, что кому-кому, а ей-то хорошо известно, чего ждет читатель от литературы, с какими требованиями подходит к роману, повести или рассказу. Считалось, например, что читатель больше всего дорожит в литературе тем, чтобы она давала «образцы для подражания», нечто такое, что можно было бы немедленно «перенять» у героев, внедрить в практику личного поведения. Долгое время такой подход был и в самом деле достаточно распространенным: читатели выражали желание, чтобы им показали людей, которым можно подражать, — и лучше, если ближе к их собственной профессии: бухгалтеры хотели читать об образцовых бухгалтерях, пожарные — о героях пожарниках и т. п.

Но с ростом эстетического уровня масс укоренившийся предрассудок начал терять свою силу. В наши дни огромная часть читателей понимает литературу не столь узко утилитарно, и свидетельством тому, в частности, письма о «Дамском мастере».

«Это новое в литературе, — пишут о рассказе И. Грековой инженер-механик И. Глушков и врач-хирург Н. Иванов из города Ижевска. — Реалистично, современно, смело и еще раз глубоко реалистично». Обратим внимание на то, какие слова находят читатели, чтобы указать на достоинства рассказа: реализм, правда — вот их первый критерий. И ни полслова упрека автору за то, что он не дал в Виталии образцов, пример для подражания.

Но дело не только в оценке частного произведения. Во многих письмах чувствуется настоящая глубина и зрелость самого подхода к литературе. Конечно, и сейчас далеко еще не редкость читатель, мягко говоря, отсталый, живущий то ли собственными глухими предрассудками, то ли повторяющий в своих суждениях о литературе такие зады схоластической критики, от которых сама она уже успела отказаться. Но этот вопрос — о читателе, плетущемся далеко в

хвосте критики, — имеет самостоятельный интерес, и я оставлю его до другого раза.

Пока же с оградным чувством хочу отметить, что у нас появился — и в немалом числе — читатель, которого прежде почти не принимала в расчет критика, читатель, признающий правду изображения, новизну и смелость характеров первыми и решающими для успеха произведения качествами. Такой читатель не станет приставать ко всем подряд литературным героям с любимым вопросом Виталия Плавникова: «А что я могу от тебя почерпнуть?» Он знает, что больше всего учит и вразумляет в искусстве правда жизни и та нераздельная с правдой высокая, гуманная точка зрения автора, до которой еще надо тянуться, поднимаясь порой над самим собою, будя в себе лучшие силы души — и оттого как бы в самом деле становясь чище, умнее, зорче.

Мы любим говорить, что литература в социалистическом обществе должна не просто развлекать и просвещать — она призвана служить целям идейно-нравственного воспитания. Так. Но чем воспитывает литература? Только ли наглядным образцом? Примером для подражания? Идеализацией тех качеств, какие следовало бы и нам перенять у героев?

Человеческой природе, несомненно, не чужда потребность подражания, и социальная педагогика издавна использует это наше свойство в воспитательных целях. Особенно увлеченно и легко подражают дети, подростки, юноши. Для любого человека, особенно в пору становления его сознания, пример героя любимой книги может оказаться заразительным и вдохновляющим в лучшем смысле слова: достаточно назвать имена Спартака, Рахметова, Овода, Корчагина — героев исключительной судьбы и высокого подвига.

Только к этому не сводится еще все дело литературы. Иначе в ней не нашлось бы места для таких ее творений, как «Евгений Онегин» и «Анна Каренина», «Жизнь Клима Самгина» и «Тихий Дон». В самом деле, чему может научиться у Анны наша комсомолка? Или кому, к примеру, подражать в эпосе Шолохова — не мятущемуся же Григорию Мелехову в конце концов? А между тем можно ли отрицать силу воспитательного действия этих книг?

Дурную службу литературе сослужила та часть критики, которая стала выдвигать критерий «подражания герою» как едва ли

не главную, не единственную проверку ценности любого произведения. И это оттого, что в критике до сих пор сильны традиции плоской дидактики, школярского подхода к искусству, школярского даже в прямом, лишнем иносказательности, смысле слова.

Я хорошо помню — и личный мой опыт, кажется, не исключение, — как в школьные годы учили нас разбору произведения «по образам», образов — «по чертам», видя в этом особый воспитательный смысл, и совсем не учили главному — понимать литературное произведение как художественное целое, «рожденное, а не сотворенное», согретое мыслью и чувством автора. Оттого нам ничего не стоило отшелкать наизусть перечень «черт» Онегина и Татьяны, а гуманная мысль пушкинского романа проплывала мимо. Оттого и в «Что делать?» Чернышевского нас больше занимал каталог высоких достоинств Рахметова, фигуры в художественном смысле достаточно условной, чем вся полнота проблем новой этики, философии, политики, быта, сделавшая эту книгу революционным евангелием шестидесятых годов.

Да, велико для читателя значение примера, но не важнее ли собственное понимание жизни, разбуженное автором хорошей книги, главное в которой всегда — вся целостность изображения и осмысления писателем действительности. Что и говорить, подражание идеальным образцам обладает своим неотъемлемым значением — подспорьем для созревающего сознания. Но ведь мы хотели бы воспитать не одну лишь готовность эмоционального порыва, основанного на том, что другие так делают, а прочное убеждение, основанное на самосознании, то есть на том, что я буду делать так-то независимо от того, как поступает тот или иной книжный герой.

Я уж не говорю о том простом условии, что читатель должен верить в такого героя как в несомненную реальность. Выскивание же идеальных «примеров», «образцов», тщательно отсеянных из противоречивой жизни, способно воспитать — если оно вообще способно воспитать кого-либо — скорее прекраснодушных мечтателей, чем сознательных строителей будущего, желающих знать жизнь такую, какова она есть, чтобы тем успешнее ее перестраивать.

В этом смысле и положительный герой способен обрести сколько-нибудь прочную силу влияния на умы и сердца лишь тогда, когда он является в книге не как запланированное критикой и обязательное для всякого автора лицо, нечто вроде штатного воспитателя читателей, а как открытие нового человеческого характера, воссозданного в органической связи со всем многообразием жизни — и на том нравственном, духовном уровне, когда без всякого понуждения он становится значительным для нас.

Над книгой, изображающей жизнь, как и над самой жизнью, люди все больше начинают раздумывать сами, и не дело литературы отучать их от этого плоской назидательностью. Хорошо сказал об этом в своем письме садовод И. Бычков из Каргопольского района Курганской области. Он обратился к писателям с призывом изображать жизнь правдиво, не приукрашивая и не очерняя ее, «но выводы и комментарии, — замстил он, — пусть делают сами читатели: жеванное чужим ртом есть противно». Сказано хоть и грубовато, но по существу.

Как разным возрастам, если взять жизнь отдельного человека, бывают свойственны разные запросы и заботы, так есть своя степень зрелости и у общественного самосознания в целом. В зрелых годах «идеальные» примеры и назидательные образцы не заменяют человеку всю полноту правды о жизни. И сегодняшний повзрослевший читатель хочет, чтобы литература помогала ему вглядываться и вдумываться в жизнь, в ее живую диалектику: человек, научившийся этому, никогда не растеряется перед трудностями и не будет сбит с толку.

Рост общественного самосознания и инициативы, характерный для всей нашей жизни последних лет, сказался, как мы могли убедиться, и на отношении читателя к литературе. «Народ стал зрячий, понимает что к чему» — так выразила эту мысль в своем письме читательница Зельма Лацис. Своей прямотой и правдивостью, глубиной понимания людей и процессов жизни советский художник самым непосредственным и успешным образом участвует в коммунистическом воспитании масс. Это должна в полной мере осознать и литературная критика, несущая высокую ответственность перед партией и народом.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМА А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

Публикуемые ниже письма А. В. Луначарского за 1920—1922 годы связаны с его деятельностью на посту народного комиссара по просвещению. Адресованы они, как правило, в правительственные инстанции (Совнарком, Наркомпуть, Рабоче-крестьянская инспекция) либо заместителю Луначарского по Наркомпросу. Официальный характер этих документов не мог не отразиться на их содержании и стиле. И все же, несмотря на это, письма А. В. Луначарского свободны от штампов «казенного» делопроизводства и сохраняют печать яркой индивидуальности автора.

Эти письма А. В. Луначарского, разумеется, не могут дать всестороннего отражения деятельности народного комиссара по просвещению или исчерпывающе осветить позицию автора по затронутым вопросам. Но нет никакого сомнения в том, что они расширяют наше представление о работе Луначарского, о литературном наследстве этого виднейшего деятеля советской культуры.

Особая ценность публикуемых писем обусловлена тем, что более половины из них (десять из восемнадцати) адресовано Владимиру Ильичу Ленину. Публикуемые документы обогащают Лениниану — сокровищницу материалов о жизни и деятельности В. И. Ленина, раскрывают интереснейшие страницы из истории строительства советской культуры.

Известно, что хранящиеся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма многочисленные документы (в том числе и письма), которые читал В. И. Ленин, в большинстве случаев сохранили следы его просмотра и размышлений. Здесь пометки на полях и в тексте, подчеркивания и подчеркивания, полемические и одобрительные замечания. На публикуемых письмах Луначарского нет пометок В. И. Ленина. Простые, деловые отношения, установившиеся между Лениным и Луначарским, позволяли им выяснять многие вопросы в разговорах по телефону. Такие разговоры происходили регулярно, по нескольку раз в неделю, а то и ежедневно. Ленин по-деловому высказывал Луначарскому свою точку зрения, оперативно решал текущие вопросы государственной важности, а в необходимых случаях незамедлительно ставил в известность Луначарского о том, что поднимаемые им вопросы нуждаются в коллективном обсуждении Совнаркомом или ЦК партии.

Из публикуемых документов мы вновь узнаем, насколько подробно и всесторонне был информирован В. И. Ленин о событиях культурной жизни страны и работе Наркомпроса, как глубоко, обстоятельно изучал он материалы и взвешивал факты, прежде чем принять окончательное решение по тому или иному из множества встававших перед ним вопросов культурного строительства.

В письмах Луначарского, посвященных на первый взгляд текущим делам Наркомпроса, затрагиваются по существу принципиальные вопросы культурной политики советской власти. В большинстве публикуемых документов красной нитью проходит ленинская забота о культурных ценностях, забота об условиях труда и жизни деятелей культуры.

В молодой Советской республике, окруженной со всех сторон врагами, не хватало оружия, боеприпасов и обмундирования для фронта, топлива и сырья для промышленности, не хватало хлеба и продовольствия для армии и рабочих. Ученые и работники искусств, учителя и библиотекари, разделяя невзгоды всего народа, голодали, жили в холодных, нетопленных домах.

О героической стойкости людей науки в то тяжелейшее время с глубоким уважением писал Горький академику А. П. Карпинскому: «Когда-нибудь кто-то напишет потрясающую книгу: «Русские ученые в первые годы Великой революции». Это будет удивительная книга о героизме, о мужестве, о непоколебимой преданности русских ученых своему делу, — делу обновления, облагораживания мира и России»¹.

Советское правительство и В. И. Ленин, движимые чувством гуманности и высоким пониманием государственных интересов, помогали творческой интеллигенции, забо-

¹ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 30, М. 1955, стр. 40.

тились о ней. Большую роль в проведении этой ленинской линии сыграли Луначарский и Горький. Луначарский видел свой гражданский, служебный и нравственный долг в том, чтобы сколько-нибудь облегчить тяжелые условия жизни деятелей культуры и искусства. Примеры этого мы находим в публикуемых документах (№№ 3, 4, 6, 8, 12).

Ленин чутко относился к просьбам Луначарского, внимательно рассматривал и поддерживал его предложения. Предложение Луначарского о переводе в Москву из Казани талантливого художника В. Н. Дени (документы № 3 и № 4) было принято Лениным. Благодаря вниманию Ленина, откликнувшегося на письмо Луначарского (документ № 6), К. С. Станиславскому были созданы благоприятные бытовые условия. Ленин незамедлительно откликнулся на предложение деятелей культуры (документ № 5) вернуть в Петроград художественные сокровища Эрмитажа и других музеев, а затем был инициатором финансирования ремонта Эрмитажа (документ № 14).

Некоторые из публикуемых писем А. В. Луначарского затрагивают очень острый вопрос жизни советского театра в 1921—1922 годах (документы №№ 9, 13, 16 и 17). Трудности перехода на рельсы новой экономической политики вызвали хотя и временное, но весьма резкое сокращение расходов на просвещение и культуру по общегосударственному бюджету. Это, естественно, отразилось и на финансировании театров. Засуха и голод в Поволжье вынуждали задуматься даже о закрытии первоклассных академических театров, содержание которых в тех условиях было крайне обременительно для государства.

Не первый раз Советскому правительству приходилось подробнейшим образом изучать все доводы «за» и «против» существования оперных театров с их огромным, дорогостоящим коллективом артистов (опера, балет) и оркестра. Известно, что топливные трудности зимы 1919 года резко поставили вопрос: быть или не быть Большому театру. При этом сторонники закрытия Большого театра считали его ненужным и чуть ли не чуждым народу. Тогда, зимой 1919 года, Ленин на заседании Совнаркома спас Большой театр, высказался за его сохранение, несмотря на топливный голод¹. Теперь, в 1921—1922 годах, Ленин сам потребовал вновь вернуться к вопросу о том, может ли советский бюджет выдержать финансирование оперных театров Москвы и Петрограда. Конечно, Ленин был далек от мысли, согласно которой оперные театры, и в частности Большой театр, не нужны советскому строю, принадлежат прошлому, не способны служить народу. Наоборот. Он считал их той частью культурного наследия, которая представляет большую ценность и должна быть использована в интересах трудящихся. Однако положение было критическим. Именно в это время В. И. Ленин говорил делегатам IV конгресса Коминтерна, что Советская республика поставлена в такие условия, что вынуждена экономить на всем, даже на школах².

Письма Луначарского (№№ 13, 16, 17) отражают его тревогу за судьбу театральной сети республики и Марининского (ныне имени С. М. Кирова) театра в Петрограде. С чувством глубокой признательности мы вспоминаем, что в условиях крайней напряженности сил, разрухи и голода Советское правительство сохранило оперные театры: советский народ переложил на свои плечи те трудности, которые были связаны с содержанием этих выдающихся культурных центров нашей родины.

Луначарский, разумеется, понимал, что необходимо экономней отпускать деньги на театры, он сам участвовал в многочисленных комиссиях и коллегиях, пересматривавших и сокращавших театральную сеть в 1921—1922 годах. Но это было связано для него с большими психологическими и моральными трудностями. «Две души живут у меня в груди,— писал Луначарский в РКИ Попову.— С одной стороны, мне очень хотелось бы сократить количество финансируемых театров, с другой стороны, театры умоляют взять их в число финансируемых...» «Две души» Луначарского отразили острые противоречия реальной исторической жизни, две противоположные потребности: необходимость всемерного сокращения расходов, экономии во всем — и желание сохранить и поддержать определенный уровень театральной культуры.

Справедливости ради нужно сказать, что финансовые затруднения Наркомпроса тех лет в театральном деле были связаны не только с общей обстановкой в стране. Давала себя знать и поразительная нераспорядительность в системе Наркомпроса, отсутствие надлежащего оперативного контроля над расходованием средств, ассигнуемых на театральные постановки и массовые зрелища. Показательным в этом отношении является письмо А. В. Луначарского Е. А. Литкенсу (июнь 1921 года), передающее запоздавшую тревогу о вопиющем перерасходе средств при постановке «Мистерии-буфф» В. Маяковского на немецком языке, подготовлявшейся для показа делегатам III конгресса Коминтерна³. Грубейшее нарушение финансовой дисциплины, допущенное в системе Наркомпроса, было замечено Совнаркомом.

Второго сентября 1921 года Ленин, просматривая докладную записку Наркомфина, возмутился тем, что «по смете Наркомпроса расход на содержание театров исчислен в

¹ Описание обсуждения этого вопроса на заседании Совнаркома дано П. Н. Лепешинским в его книге «На повороте». См. также в кн. «В. И. Ленин о литературе и искусстве» (изд. 2-е. М. 1960, стр. 645—646).

² См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 287.

³ См. ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, лл. 71—71 об.

29 миллиардов, а на высшие учебные заведения в 17 миллиардов». «Безобразия!!»¹ — заключил по этому поводу Владимир Ильич.

Письмо от 2 июля 1921 года (документ № 11), свидетельствует о известной уступчивости Луначарского по отношению к «левым» в искусстве, в частности в живописи. Луначарский пишет Ленину о некоем художнике Богданове, протестующем против засилия «левых» и требующем создания мастерских «чисто реалистического типа».

Луначарский сообщает Ленину в июле 1921 года, что важнейшие требования художников-реалистов «будут удовлетворены лишь с будущего осеннего сезона». Это обещание Луначарского служит признанием того факта, что до лета 1921 года в Москве даже важнейшие требования художников реалистического направления не были удовлетворены, встречали сопротивление «левых», стоявших у руководства художественного отдела Наркомпроса.

Как отмечалось выше, публикуемые письма относятся к 1920—1922 годам. Исключение составляет документ, заключающий публикацию, — письмо Луначарского от 5 января 1927 года, посланное в Институт В. И. Ленина в ответ на запрос, связанный с подготовкой к печати одного из ленинских документов (№ 18).

Здесь Луначарский вспоминает свою первую беседу с Лениным о монументальной пропаганде, об активном использовании искусства в целях воспитания и просвещения масс. Вскоре после этой беседы вопрос, поставленный Лениным, обсуждался Совнаркомом (в протоколе Совнаркома от 12 апреля 1918 года записано, что рассмотрен вопрос «Об уничтожении памятников царей и построении революционных памятников») и был принят декрет «О памятниках Республики»².

Письмо Луначарского напоминает нам о весне 1918 года — первой советской весне, — о замечательном ленинском декрете, который впервые поставил перед творческой интеллигенцией нашей страны великую задачу создания художественных произведений, «отражающих идеи и чувства революционной трудовой России», как ведущую задачу социалистического искусства.

Публикуемые документы хранятся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Центральном государственном архиве Октябрьской революции.

И. Смирнов.

¹ Ленинский сборник XXXV, стр. 275—276.

² См. «Декреты Советской власти», т. II, М., 1959, стр. 95—96.

1

Предсовнаркома тов. Ленину

[10 февраля 1920 г.]

Ввиду некоторого интереса, который Вы проявили относительно закрытого, а потом на некоторых основаниях вновь открытого Никитского театра, посылаю Вам протокол более или менее решающего заседания новых руководителей этого театра.

Думается, что все меры к благополучному разрешению вопроса и полному устранению капиталистического характера антрепризы приняты¹.

Нарком *А. Луначарский.*

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30907)

Дата письма устанавливается по регистрационным пометкам о его поступлении в Управление делами Совнаркома.

Протокол, который А. В. Луначарский направлял В. И. Ленину, имеется в фондах Центрального партийного архива.

¹ 29 декабря 1919 года Малый Совнарком вынес решение о закрытии Никитского театра в Москве («Оперетта Потопчиной»). Такой шаг был вызван тем, что органы государственного контроля установили, что в Никитском театре сохранились по существу частнособственнические отношения между труппой и фактическими владельцами театра. По ленинскому декрету «Об объединении театрального дела» (август 1919 года), означавшему национализацию театров, часть театров местного значения переходила на основы самоуправления. На первых порах этот переход театров в руки коллективов труппы оставлял щели для антрепренерства старого типа. Именно так случилось в московской оперетте.

Письмо Луначарского относится к тому периоду, когда Ленин внимательно взвешивал все «за» и «против» существования театра оперетты в Москве. Следы этих раздумий мы находим в опубликованных и неопубликованных документах В. И. Ленина (см. Ленинский сборник XXIV, стр. 298).

2

Предсовнаркома тов. В. И. Ленину

16 марта 1920 г.

В дополнение к заявлению Коллегии Наркомпроса, поданному в ЦК, Совнарком и ВЦИК в виде иллюстрации создающегося в настоящее время положения на местах, посылаю Вам резолюцию, вынесенную Псковской конференцией работников просвещения 27 января 1920 г.¹

Мною получен от Вас проект об антирелигиозной пропаганде т. Семенова. Этот т. Семенов передал такой проект мне, и мы обсудили его в Коллегии². Коллегии он показался неосновательным и вряд ли подлежащим осуществлению, но во всяком случае мы сделали то же самое, что и Вы, т. е. направили его в 8-й Отдел Наркомюста для отзыва. Думается, что все это пустяки и что борьба с церковью в дальнейшем может идти через еще более нормальную постановку школы. Никаких особых комиссариатов или подкомиссариатов, по моему мнению, совершенно не нужно. Это только навлекло бы на нас разные нарекания, не принесло бы никакой пользы, а может быть, даже в тех или других местах укрепило бы предрассудки, как якобы подвергающиеся гонению.

Кроме того, Вы прислали мне письмо молодого поэта Варакина. Должен сказать, что стихи его, которые он, очевидно, показывает, как образцы самых лучших своих, «достойных» Пушкина произведений, слабенькие, довольно бессодержательные и с внешней стороны просто гладкие, как пишет большинство гимназистов. Заносчивость же его превышает все меры, к тому же в конце он сам сознается, что психически нездоров. Поэтому я лично считаю, что откликаться на его просьбу не следует, — у меня есть немало молодых людей, гораздо более заслуживающих поддержки. Но, конечно, 6 тысяч денег пустые, и в моем распоряжении есть некоторый фонд, из которого я могу отпустить пособия молодым дарованиям. Если Вы найдете это нужным, я немедленно пошлю ему 6 тысяч. Лично же я никакого дарования, кроме дерзновения, в нем не нахожу.

Народный комиссар по просвещению *А. Луначарский.*

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30909)

¹ Заявления Коллегии Наркомпроса, о котором идет речь в письме А. В. Луначарского, в фондах Центрального партийного архива пока не обнаружено.

² Н. А. Семенов предлагал создать при Наркомпросе «Отдел по борьбе с предрассудками». В. И. Ленин направил письмо Семенова на отзыв А. В. Луначарскому и П. А. Красикову. П. А. Красиков, так же как и А. В. Луначарский, отрицательно отзывался о проекте Н. А. Семенова.

3

17 марта 1920 г.

Дорогой Владимир Ильич,

У нас с самого начала революции работает и до революции приобретший известность тов. Дени. Ему принадлежат лучшие плакаты, которыми мы пользовались в нашей агитации¹ [..]

Тов. Дени человек большой. Он жаждет продолжать и развернуть свою работу, может быть, не только в русском масштабе, но и в масштабе [интер]национальном. Талант его позволяет ему быть в этом отношении своеобразным выразителем наших идей. Некоторые его плакаты частью с текстом Демьяна Бедного уже в настоящее время перепечатаны, как я это видел, в иностранных журналах².

Ввиду его болезни необходимо создать ему сколько-нибудь сносные условия существования, за которые он безусловно сможет вознаградить нас прекрасными, очень острыми и меткими вещами.

Лично я лишен почти всякой возможности устроить это, так как дело идет, конечно, не о заказах, оплачиваемых деньгами, это я устроить мог бы, а о квартире и продовольствии здесь, в Москве, если желательно (а я думаю, что это очень желательно) удержать его именно здесь, в ближайшем соседстве Нарком-

проса, ЦК партии, КИДел и Центропечати, а равно агитационных органов Пура, которым всем он может быть очень полезен.

Итак, я просил бы Вас посодействовать мне, попросту дав мне соответствующую бумажку и позвонив к соответственным людям в следующих отношениях: в предоставлении т. Дени удобной и достаточно теплой комнаты в одном из советских домов или в Кремле, вообще, где окажется возможным, во-вторых, предоставлении ему права либо обедать в столовой народных комиссаров, либо получать достаточное количество продовольствия домой каким-нибудь способом. Повторяю, что т. Дени человек больной и что было бы крайне нерасчетливо поставить его в условия скудные.

Кроме того, т. Дени еще в прошлый свой приезд очень просил дать ему возможность побывать несколько раз на заседаниях Совнаркома для того, чтобы записать крохи с наших товарищей. Тов. Дени очень быстро, интересно ухватывает сходство, и несколько таких сеансов несомненно дали бы больше, чем все почему-то неудачные попытки создать наши портреты со стороны других художников.

Очень прошу Вас, Владимир Ильич, сообщить мне по телефону, что Вы можете сделать в помощь мне для того, чтобы мы могли приютить и дать возможность спокойно работать одному из наиболее искренних и талантливых наших друзей.

Крепко жму Вашу руку.

А. Луначарский.

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30910)

¹ Во времени написания письма А. В. Луначарского В. Н. Дени работал в Казани в агитационно-просветительном отделе Приволжского военного комиссариата.

² Какие именно плакаты В. Н. Дени имеет в виду А. В. Луначарский, установить не удалось. В наиболее полной библиографии работ В. Н. Дени, имеющейся в кандидатской диссертации И. А. Свиридовой («Творчество В. Н. Дени», 1958), учтено пять плакатов В. Н. Дени с текстом Д. Бедного, все относящиеся к 1919 году: «Антанта», «Незыблемая крепость», «Деникинская банда», «Капитал», «Паук и мухи».

О совместной работе Дени и Д. Бедного А. В. Луначарский впоследствии писал: «Тут есть много общего. И Дени и Демьян — мастера. У Демьяна чистейший русский язык. У Дени чистейший классический штрих. Оба они реалисты-психологи. Демьян правдив, поэтому его и понимают сотни тысяч рабочих и крестьян... И Дени реалист. Никаких в нем нет стилизаторских ломок вещей, никаких формальных подходов. Это действительно реалистическая карикатура» (см. М. И о ф ф е. Виктор Николаевич Дени. М.—Л. 1947, стр. 14).

4

27 марта 1920 г.

Дорогой Владимир Ильич,

Пересылаю Вам только что полученное мною письмо от художника Дени¹. Напоминаю Вам еще раз, что Дени выдающийся карикатурист и мастер плаката, создал лучшие советские плакаты, какие мы имеем.

Это большая сила для агитации. Необходимо позаботиться о нем. Он человек больной. Просит дать ему сколько-нибудь жилую квартиру и возможность обедать в столовой наркомов.

Мне кажется, что это необходимо нужно сделать, но, как я Вам уже писал, я этого сделать не могу [. . .] В порядке военном это легче всего разрешить такую вещь.

Наградой будет целый ряд эффектнейших пропагандистских работ².

Крепко жму Вашу руку.

А. Луначарский.

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30911)

¹ Письма художника В. Н. Дени, упоминаемого А. В. Луначарским, в фондах Центрального партийного архива ИМЛ не обнаружено.

² Много лет спустя в предисловии к альбому рисунков Дени Луначарский писал: «Я помню, как когда-то пришел он ко мне и показался очень молодым и очень больным и как говорил мне не без грусти, что ему надоело кропать своими карандашами то, что приемлемо для старого мира, что он приветствует революцию и хотел бы отныне посвящать свои силы ее делу. Так он и сделал. И теперь за ним уж десять лет талантливой службы на политическом фронте нашей революции» (см. альбом «Мы, наши друзья и наши враги в рисунках Дени». М.—Л. 1930, стр. 7).

Хлопоты Луначарского закончились успешно. В конце 1920 года Дени переезжает в Москву, а с 1921 года начинает сотрудничать в «Правде» при самой непосредственной помощи сестры Ленина — Марии Ильиничны Ульяновой (работавшей ответственным секретарем редакции). Здесь расцвел и возмужал дар одного из мастеров советской политической карикатуры. Впоследствии сам В. И. Дени признавал: «Мария Ильинична была моим творческим шефом и, можно сказать, воспитала во мне художника-бойца-правдиста. Я свято чту ее память» (см. И. А. Свиридова. Виктор Николаевич Дени. М. 1958, стр. 80).

5

Предсовнаркома В. И. Ленину

6 апреля 1920 г.

Прилагаю при сем довольно курьезное дело, на которое все-таки следует обратить внимание.

Наркомпросу понадобились шапирографические ленты. Отдел снабжения обратился в Центросоюз, который ответил, что в план распределения канцелярских принадлежностей шапирографические ленты не внесены. Тогда он обратился в Главпродукт, одно из должностных лиц которого собственноручно написал: «Можно отпустить за наличный расчет».

Как Вы знаете, покупка за наличный расчет в государственных предприятиях и кооперативах воспрещена, и мы не имеем никаких средств для такой оплаты. Так что тут явное недоразумение. Или должно быть предоставлено право покупать по ордерам Главпродукта за наличный расчет, или Главпродукту должно быть указано, что ставить такие условия совершенно неприлично и что оплата должна всегда производиться бухгалтерским путем.

Прилагаю при сем заявление относительно картин Эрмитажа, подписанное Горьким, Марром и целым рядом других лиц¹.

Крепко жму Вашу руку.

Нарком А. Луначарский.

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30913)

¹ Полный текст этого документа приводится ниже.

«В 1917 году, по распоряжению Временного правительства, приступлено было к эвакуации из Петрограда в Москву собраний Эрмитажа, Русского музея, Академии художеств и дворцов-музеев, причем предполагалось вывезти все предметы, имеющие художественную, научную или материальную стоимость. После государственного переворота 25 октября 1917 года дальнейший вывоз коллекций был приостановлен, и эвакуация таким образом не только не была закончена, но ни в одном из поименованных учреждений по разным причинам не была вывезена ни одна из намеченных категорий полностью.

Так, из Эрмитажа перевезено было в Москву около половины картин различных школ, часть собрания рисунков и гравюр, отдельные предметы из отделения средних веков, некоторые единичные экземпляры из отделения древностей, часть мюнц-кабинета, резные камни и часть архива и библиотеки.

Из Русского музея — часть рисунков и лишь небольшое количество картин и икон, подобранных исключительно по признаку малого размера и удобства упаковки, и отдельные части коллекций разных местностей и народностей из отдела этнографического. Из Академии художеств вывезено: часть картин, гравюр, рисунков, художественных изданий и несколько скульптур.

Из дворцов-музеев в Петрограде, Царском Селе, Гатчине и Петергофе вывезено некоторое количество картин и художественной мебели, составляющих части исторических ансамблей.

С осени 1917 года эвакуированные коллекции находятся в Москве в упакованном виде.

В 1919 году музеями и Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины постановлено было приступить к работам по обратной перевозке эвакуированных коллекций в Петроград, и с этой целью организован был транспорт, закончена вся подготовка, и только исключительно по причинам политического и военного характера реэвакуация была приостановлена.

В настоящее время обстоятельства изменились в том смысле, что нет уже никаких причин, могущих помешать осуществлению столь важного дела, и затруднения, которые будут неизбежно связаны с транспортом, могут быть устранены на практике путем надлежащей организации перевозки собраний по частям.

Резуакуация теперь же представляется делом совершенно необходимым прежде всего для восстановления двух крупнейших наших музеев, остающихся вот уже в течение почти трех лет в полуразрушенном состоянии в то время, как столь большая организационная работа в этих учреждениях уже сделана и они могли бы быть устроены в полном соответствии с лежащими на них культурно-просветительными, так и научными задачами. В настоящее время это является совершенно неотложным делом в связи с все развивающимися научными организациями Петрограда и необходимостью наших собраний памятников искусства и старины, имеющие мировое значение, привести в организованное и удобное для изучения состояние накануне возобновления международных сношений.

Советы Эрмитажа и Русского музея, полагая, что все работы по реэвакуации и реконструкции должны будут быть закончены в течение предстоящего лета, просят разрешения о безотлагательном возвращении в Петроград всех художественно-исторических и научных собраний, эвакуированных в 1917 году».

Далее следуют подписи членов советов Эрмитажа и Русского музея. Среди них М. Горький, академики А. Шахматов, С. Ольденбург, Н. Марр, директор Эрмитажа Р. Тройницкий, директор Русского музея А. Миллер и другие.

Ленин откликнулся на предложение Совета Эрмитажа и поддержал мысль о возвращении вывезенных еще до Октябрьской революции художественных сокровищ в музей Петрограда.

Двадцать третьего июня Совнарком принял решение о реэвакуации музейных ценностей после заключения мира с Финляндией. Вскоре после того, как был заключен мирный договор с Финляндией (октябрь 1920 года), началась подготовка к реэвакуации.

С исключительной организованностью специальные воинские команды под наблюдением музейных работников в течение двух ночей 16 и 18 ноября 1920 года погрузили и разгрузили два эшелона (811 тяжеловесных ящиков) ценнейшего груза. В Эрмитаж возвращались шедевры мировой живописи: картины Рембрандта, Рафаэля, Рубенса, Ван Дейка, Мурильо, уникальные коллекции монет и другие музейные редкости. Через десять дней, 28 ноября, был открыт для обозрения зал Рембрандта, а через тридцать дней были открыты все двадцать два зала картинной галереи Эрмитажа («Эрмитаж за десять лет. 1917—1927. Краткий отчет». Л. 1928, стр. 22 и 24).

6

**Председателю Совета Народных Комиссаров
тов. В. И. Ленину**

2 июля 1920 г.

Дорогой Владимир Ильич,

Руководитель Художественного театра Станиславский один из самых редких людей как в моральном отношении, так и в качестве несравненного художника.

Мне очень хочется всячески облегчить его положение. Я, конечно, добьюсь для него академического пайка (сейчас он продает свои последние брюки на Сухаревой), но меня гораздо больше огорчает то, что В. Д. Бонч-Бруевич выселяет его из дома, в котором он жил в течение очень долгого времени и с которым сроднился. Мне рассказывают, что Станиславский буквально плакал перед этой перспективой.

В свое время я обратился к Бонч-Бруевичу с просьбой отказаться от реквизиции квартиры Станиславского, но Владимир Дмитриевич, обычно столь мягкий, заявил мне, что он не может отказаться ввиду нужды автобазы.

Я все-таки думаю, что никакие нужды автобазы не могут оправдать этой культурно крайне непопулярной меры, которая заставляет и мое сердце поворачиваться, и вызовет очень большое недовольство против нас самой лучшей части интеллигенции, явится даже в некоторой степени каким-то европейским скандалом.

Мы в последнее время таких мер не принимали никогда.

Прилагаю при сем записку Станиславского, поданную им в Музейно-театральную комиссию при ТЕО¹. Конечно, я соответственное распоряжение дам, но у меня рука не поднимется на него до тех пор, пока я не сделаю все от меня зависящее, чтобы выселение было приостановлено, но так как категорически воспретить В. Д. Бонч-Бруевичу его действия я не могу, то поэтому я решил обратиться к Вашему авторитету².

Крепко жму Вашу руку.

А. Луначарский.

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30921)

¹ Записки К. С. Станиславского, упоминаемой А. В. Луначарским, в фондах ЦПА ИМЛ, ЦГАОР и Музея МХАТа не обнаружено. ТЕО — Театральный отдел Наркомпроса.

² Предложение В. Д. Бонч-Бруевича о реквизиции дома, в котором жил К. С. Станиславский, было отклонено. Квартира была закреплена за К. С. Станиславским, проживавшим в ней до конца своих дней. Ныне в этой квартире организован мемориальный музей.

7

5 ноября 1920 г.

Дорогой Владимир Ильич.

Посылаю Вам 4 билета на места для почетных гостей на мою пьесу «Народ». Если Вы будете сколько-нибудь свободны, то приходите посмотреть. Это не только первое представление первой моей серьезной пьесы (ибо за очень

серьезную я «Королевского брадобрея», которая когда-то Вам понравилась, не считая), но и первое во всей Европе представление чисто социалистической пьесы на большой сцене.

А. Луначарский.

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30928)

К письму было приложено приглашение от театра «Президиум и Местный комитет художественно-трудового коллектива работников театра «К. Незлобина» просит дорогого и глубокоуважаемого товарища Владимира Ильича Ленина пожаловать на первое представление пьесы А. В. Луначарского «Народ», в воскресенье 7-го ноября, в 7-мь час. вечера.

Центральная ложа

С товарищеским приветом Президиум. Местком».

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 32467)

Владимир Ильич не воспользовался приглашением. 7 ноября он был очень занят: вечером он присутствовал на заседании пленума Сокольнического районного Совета совместно с представителями фабрично-заводских комитетов и правлений предприятий.

8

В Государственное издательство тов. Мещерякову

21 июня 1921 г.

Дорогой товарищ.

В тарифном вопросе существует одна до крайности сложная и подлежащая скорейшему разрешению проблема, именно сведение творчества, т. е. производства резко квалифицированных продуктов к нормальному производству, определение, так сказать, если не рыночной цены, то социалистического эквивалента этого рода благ. Приблизиться к разрешению этой задачи необходимо потому, что, с одной стороны, художник имеет полное право на признание себя полезным производителем в обществе и требовать, чтобы в обмен на оказываемые им услуги к нему притекали продукты всякого другого рода труда, а во-вторых, потому, что здесь в этой области экономики чрезвычайно разнообразная квалификация, определяемая притом не только степенью подготовки, но и дарования, вплоть до гения, который необходимо с чрезвычайной тщательностью охранять как незаменимое сокровище и произведения которого приходится считать, так сказать, выпадающими из области и бесценными сокровищами, — проведение тарификации бесконечно сложно. Можно уклониться в сторону преступного синклицизма, который возможен в этой области квалификации. Вам известно, вероятно, что вся тарифная система ВЦСПС в настоящее время находится под ударом убийственной критики за недостаточное проведение разницы тарификации при разной квалификации труда. С другой стороны, можно впасть и в противоположность, в некоторый романтический идеализм. Вот почему я считаю определенным приобретением не только для нас, но и для европейских и американских стран, которые пойдут вслед за нами, тарифы художественной работы и по изобразительному искусству, выработанные целым рядом специалистов под общим руководством художника Меркулова.

Я подробно ознакомился с этим тарифом и если не могу назвать его прямо безукоризненным (достигнуть этого вообще невозможно), то все же был восхищен громадной тонкостью и многоценностью, с которой работа эта произведена, и к тому же внешнее ее выражение приведено в образцовый порядок. Сопровождающие эту работу таблицы и диаграммы заслуживают самой глубокой похвалы. Это одна из лучших работ в этой области, какую я знаю.

От Вас не ускользнет, товарищ, что работа эта, относясь к вопросам упорядочения социалистического общества, вместе с тем является также разрешением огромной важности культурно-социалистического вопроса. Поэтому-то я и решаюсь настаивать самым энергичным образом на напечатании этой работы в ближайшее время. О том же ходатайствует и Всерабис при поддержке ВЦСПС.

Если с Вашей стороны будет дано распоряжение об отпуске на это необходимой бумаги (нет надобности печатать в огромном количестве экземпляров) и если встретится затруднение со стороны Полиграфического отдела, — будьте любезны сообщить мне, т. к. у меня есть полная уверенность, что Полиграфический отдел в этом отношении самым любезным образом пойдет навстречу моему ходатайству¹.

Нарком по просвещению *Луначарский*.

(ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, лл. 68—68 об.)

Н. Л. Мещеряков возглавлял редакционную коллегию Госиздата.

¹ Рукописи труда художника Меркулова в архивохранилищах Москвы пока не обнаружено. В «Нижней летописи» за 1921 и 1922 годы книги, об издании которой хлопочет А. В. Луначарский, не значится.

9

Тов. Попову

[Вторая половина августа 1921 г.]

Дорогой товарищ.

Сообщаю Вам протоколы нашей комиссии. Должен Вам прямо сказать, что две души живут у меня в груди. С одной стороны, мне очень хотелось бы сократить количество финансируемых театров, с другой стороны, театры умоляют взять их в число финансируемых, это во-первых, а во-вторых — условия, в которые мы ставим вольные кооперативы, ужасны. Самые опытные антрепренеры, возрадовавшиеся было возрождению свободных театров, узнав условия, пали, так сказать, на колени и стали умолять о финансировании, ибо кто на эту барку не попадет, потонет в пучине морской.

Если [бы] Рабоче-крестьянская инспекция в этом отношении дала толчок, с одной стороны, к некоторому, хотя бы очень легкому, раскрепощению свободных театров (полного раскрепощения боюсь из-за губительной конкуренции государственным театрам), а с другой стороны, к сокращению финансирования государственных театров, то это было бы хорошо.

Постановление Президиума Московского Совета по театральному делу, в общем, считаю нелепым и буду против них бороться, но тенденция их сузить количество финансируемых театров — здоровая¹.

Пишу Вам это письмо конфиденциально, потому что не желаю сам оспаривать под моим же председательством принятого решения.

Но для того, чтобы Вы имели в виду, что отнюдь мне не будет неприятно, если у Вас другая точка зрения и что бороться против разумно и умеренно сформулированного поворота в несколько другом направлении, чем избранное Наркомпросом, я не буду.

С коммунистическим приветом.

Народный комиссар по просвещению.

(ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3335, л. 9)

И. Ф. Попов был управляющим инспекцией просвещения Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции.

¹ Имеется в виду постановление Президиума Моссовета от 15 августа 1921 года по докладу Московского отдела народного образования о театрах: «Все театры Москвы разделяются на две группы: советские и сдаваемые в аренду. В числе первых: Большой, Художественный, Малый, б. Незлобина, Комедия (Норш), Муз. драмы (Зимина), Теревсат (Никитский) и Летский в качестве центральных театров и, кроме того, районные театры: Рогожско-Симоновский, Замоскворецкий, Хамовнический, Краснопресненский, Баумановский, Сокольнический. Студии Грибоедовская, им. Горького, Шалапина, 3 и 4 Художественного театра и студия им. Чехова снимаются с госнабжения и могут только получать от Моск. упр. театрами субсидии. Все остальные театры сдаются в аренду и подлежат общему административному надзору МУТ» (см. А. М. Родионов. Материалы к истории театрального законодательства (Москва — период 1917—1927 гг.). В кн. «Театры Москвы 1917—1927. Статьи и материалы». Изд. Государственной академии художественных наук. М. 1928, стр. 106).

10

**Наркомпусть
т. Держинскому**

4 июня [1921 г.]

Дорогой Феликс Эдмундович.

У меня был разговор с Лениным относительно того, как быть с актерами разных ценных театров, которые, сколько ни распространяют слухов об их процветании, на самом деле очень устали и наголодались за эту зиму. Вы знаете, что в связи с этим возник и вопрос об отпуске 1-й студии за границу, который главным образом благодаря Вашему воздействию провалился. Владимир Ильич тогда категорически заявил мне, что можно отправить группы в провинцию, что будет полезно для нее и для них. Главным образом, сказал он, направляйте их в хлебные места и буквально прибавил: «Позаботьтесь, чтобы им не было отказано в передвижении». И несмотря на это, на первую же просьбу, когда я обратился к т. Фомину¹, я получил отказ. Я просил дать вагон Московской студии Малого театра, которую чрезвычайно радушно пригласил к себе Сибревком. Решительно все сделано, все формальности выполнены, дело только за вагоном. Тов. Фомин на моей просьбе написал: «В вагоне отказать и предоставить проехать в пассажирском поезде». Очевидно, т. Фомин совершенно не понимает, что значит поездка актеров, они должны вести кучу костюмов, некоторое количество бутафории и всякие сценические аксессуары. Правда, они едут без декораций и ввиду этого товарного вагона им не нужно. Но совершенно ясно, что в пассажирском вагоне труппа, отправляющаяся давать спектакли, проехать не может и никогда этого на свете не бывало. От одного вагона по железной дороге на Сибирь, да еще возвращающегося, ничего не станет. И я очень прошу Вас объяснить тов. Фомину, что он ставит меня в крайне неловкое положение. Ласковые слова Владимира Ильича о том, чтобы артисты обогрелись и подкормились бы за лето, были мною артистам переданы и при первом же случае я стукаюсь лбом о категорический отказ. Надеюсь, что Вы мне окажете эту услугу и в деликатной форме настаите на том, чтобы т. Фомин пересмотрел это решение.

Нарком по просвещению.

(ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, л. 51)

¹ В. В. Фомин работал заместителем народного комиссара путей сообщения.

11

**Председателю Совета Народных Комиссаров
тов. Ленину**

(Через Управление делами)

2 июля 1921 г.

Неким художником Богдановым передана Вам и разослана некоторым другим лицам записка относительно художественных мастерских. Дело об этих художественных мастерских мне прекрасно известно. Я наблюдаю за ходом рассмотрения вопроса о создании сепаратных мастерских чисто реалистического типа, самым ближайшим образом. Действительно, внутренняя борьба различных художественных направлений делает бесконечно трудным создание какой-либо объективной школы. Вопрос этот сложный. Я очень просил бы предоставить его разрешение Наркомпросу как таковому. С будущего осеннего сезона мы во всяком случае удовлетворим важнейшие требования художников-реалистов и пересмотрим самым тщательным образом и общие порядки художественных мастерских. Сведения, даваемые Богдановым, сплошь безобразно преувеличены и тенденциозны. За это время мне пришлось научиться не верить ни одному слову художников, когда они говорят друг о друге¹.

Нарком по просвещению *А. Луначарский.*

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30948)

¹ На полях письма имеется пометка управляющего делами Совнаркома Н. П. Горбунова: «Я записки Богданова не получал. Послать Л. А. Фотиевой, не попала ли эта за-»

писки непосредственно к Вя(адимиру) И(льичу) 5/VII-21». В журнале входящих бумаг СНК за 1921 год письмо художника Богданова не зарегистрировано, и подлинником этого документа Центральный партийный архив не располагает.

12

Тов. Литкенсу

27 сентября 1921 г.

Евграф Александрович.

Пожалуйста, поторопите там с выработкой проекта, который должен быть потом представлен мною и Наркомсобесом об организации фонда для поддержания стариков и инвалидов (а также оставшихся после них семейств), проявивших выдающуюся деятельность в области науки и искусства. Мне хотелось бы прибавить к этому также и право пользоваться этим фондом в исключительных случаях для поддержания особенно выдающихся, имеющих компетентные рекомендации молодых талантов. Очень прошу Вас предписать соответственным юридическим органам приготовить этот проект не позже, как в недельный срок. Случаи надобности все учащаются, Совнарком идет навстречу, с Собесом сговориться не представляется трудным, а дело топчется на месте.

Нарком по просвещению *А. Луначарский.*

(ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, л. 116)

13

Замнаркому тов. Литкенсу

30 сентября 1921 г.

Евграф Александрович.

Я сегодня беседовал с тов. Малиновской¹ и Плетневым, к сожалению в Вашем отсутствии, и в общих чертах познакомил их также с письмом тов. Аванесова². Тов. Аванесов предлагает в ближайшем будущем окончательно фиксировать как список финансируемых театров, так и сумму, которая на это должна быть положена. Суммы пока мы не касались и все относящееся к этому хотели бы обсудить в понедельник в 11 часов утра вместе с представителями Рабкрин и Наркомфина. Крайне желательно Ваше присутствие. Я надеюсь, что все можно будет сделать в один час. Сеть финансируемых театров рисуется сейчас в следующем виде: обязательные, несомненные театры Большой, Малый, Художественный со студиями, Детский, Студии Чехова и Горького, бывшие Мариинский и Александринский. Это, собственно говоря, вся система академических театров. Относительно Камерного театра дело обстоит так. Минимум, на котором и я абсолютно настаиваю,— это признание Камерного театра академическим и соответственной охраны его от всякого рода аренды, налогов и т. п. Но М. И. Калинин, который Вам, наверное, телефонировал, настоятельно требует и для Камерного театра субсидий в сто, сто пятьдесят миллионов в месяц и даже просил меня, что в случае если Наркомпрос откажется его финансировать, то Президиум ВЦИК найдет для него какие-нибудь средства. Последнюю комбинацию считаю вряд ли осуществимой, но думаю, что рекомендацию Михаила Ивановича надо принять во внимание. Студия Грибоедова и Габима под сомнением. Относительно второй должно быть последнее окончательное суждение Коллегии.

По Полит-Тео³ понадобится финансирование объединенных Масткомадрама и РСФСР и Поленовского дома. Театр Пролеткульта пойдет, конечно, из сметы Пролеткульта и областной красноармейский театр, который, по-видимому, не будет нуждаться в денежной поддержке. Московский Совет претендует на сумму для своего Детского театра, который, как Вам известно, сейчас лишился помещения, так что оказывается под вопросом. Один агитполитический театр и, может быть, один агитполитический театр в Петербурге, как финансируемые нами.

По провинции пока тов. Плетнев думает покрывать дефициты театров, признанных необходимыми в количестве около 219, таковая цифра может быть со

кращена. Тов. Плетнев и Малиновская к завтрашнему дню вычислят приблизительную сумму. Само собой разумеется, что при передвижности тарифа и цен суммы эти могут [быть] только приблизительные и обязательными как для Наркомфина, так и для театров только на ближайшее будущее.

Нарком по просвещению *Луначарский*.

(ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, л. 117—117 об.)

¹ Е. К. Малиновская была управляющей московскими государственными театрами и директором Большого театра. В. Ф. Плетнев заведовал художественным отделом главного политико-просветительного комитета (Главполитпросвета) Наркомпроса.

² В. А. Аванесов — заместитель народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции.

³ Полит-Тео — Театральный отдел Главполитпросвета.

14

Конфиденциально тов. Лнткенсу

13 октября 1921 г.

Евграф Александрович.

Приходит вещь вопиющая. Вы помните, что тов. Ленин предложил постановление, согласно которому Наркомпросу вменялось в обязанность в 24 часа внести в Малый Совнарком затребование сумм, необходимых для экстренного ремонта Эрмитажа, с выражением своего рода порицания, что мы не приняли для этого шагов раньше. Тогда мы этого не сделали на основании Вашего мне заявления, что деньги фактически уже посланы и что никаких дополнительных ассигнований нам в данном случае не нужно. Между тем тов. Ятманов¹ приехал сюда и опять заявляет, что ни копейки не получил. Если бы он пожелал довести это дело до сведения Владимира Ильича любым частным путем, то вышел бы настоящий скандал, и притом полностью заслуженный. Прошу Вас распорядиться немедленно выдать т. Ятманову наличными ту сумму денег, которая для этого ремонта окажется необходимой.

Нарком по просвещению *Луначарский*.

(ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, л. 127)

¹ Г. С. Ятманов был управляющим петроградскими музеями.

15

Замнаркому тов. Лнткенсу

17 января 1922 г.

[. . .] Григорий Степанович Ятманов обратился ко мне с тем, что при новой экономической политике получится огромная нелепица, а именно. Мы в течение четырех лет хранили за свой счет весьма значительное имущество частных коллекционеров в наших музеях и все время колебались относительно их национализации. Теперь владельцы начинают требовать «своего имущества» назад. Это вещь абсолютно недопустимая. Если мы не колеблясь национализировали древние и редкие инструменты, то тем более достоянием всего народа являются купленные крупной буржуазией и помещиками произведения искусства. Было бы смешно, если бы мы, национализировав огромнейшие коллекции Юсупова, Шереметева и др., в настоящее время почему-то роздали бы частным коллекционерам отдельные шедевры, как художественно-ценные, так и те, которые могут представлять собою валюту. Ввиду этого я распорядился представить для Малого Совета проект закона о национализации всего того имущества частных коллекционеров, которое находилось эти годы под охраной государства. Теперь Наталья Ивановна с величайшим ужасом и изумлением сообщает мне, что хранитель Третьяковской галереи Грабарь самовольно роздал большую часть этого имущества владельцам. Наталья Ивановна занята энергичным восстановлением порядка и возвращением вещей, но я прошу Вас очень понаблюдать за этим. Быть может, здесь надо будет пустить в ход более твердую руку, чем та, которой обладает Наталья Ивановна.

Нарком по просвещению *А. Луначарский*.

(ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, л. 165—165 об.)

16

Тов. Ленину

8 ноября 1922 г.

Дорогой Владимир Ильич.

Я очень прошу Вас, хотя бы и бегло, ознакомиться с прилагаемой книжкой, представляющей собою отчет о пятилетней работе петроградских государственных театров. К ним приложены и материалы, характеризующие необыкновенно широкое обслуживание этими театрами пролетариата¹.

В смысле этой близости к рабочему классу, а также экономному ведению дела петербургские театры стоят гораздо выше московских.

Конечно, театры столицы РСФСР безотносительно важнее, но мне особенно жалко губить петроградское дело, которое вызывало прямые восторги приезжавших иностранцев не только художественной стороной, но в особенности хозяйственной.

Сведения о чрезвычайно высоком уровне организационно-хозяйственной постановки может дать Вам заведующий отделом Рабкринна по делам Наркомпроса т. Попов, который сам расследовал это положение петроградских театров и отозвался о нем с величайшей похвалой. Комиссия с участием т. Колегаева уже, вероятно, начнет свои занятия в то время, как Вы получите это мое письмо². Я Вас прошу от всего сердца не препятствовать улаживанию этого дела в комиссии. Мы, наверное, найдем в конце концов выход, который даст государству серьезную экономию без закрытия двух главных театров Республики, которые мы продержали ценою больших жертв и для себя, и для артистов в течение самого трудного времени и закрытие которых произведет в среде сочувствующей нам мировой интеллигенции, а также во мнении о нас в более или менее нейтральной прессе и публике чрезвычайно невыгодное впечатление.

Нарком по просвещению *А. Луначарский.*

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30957)

¹ А. В. Луначарский называет «книжкой», по-видимому, рукописный, не дошедший до нас материал. В 1922 году и позднее никаких отчетов «о пятилетней работе петроградских государственных театров» типографским способом не издавалось. В театральной библиографии не зарегистрировано стеклюграфического или какого-либо иного издания подобной книги.

Приложения, о которых пишет А. В. Луначарский, имеются в фондах Центрального партийного архива. Они представляют собой извлечения из резолюций губернских конференций Союза работников искусств, выдержки из газет, а также доклад Комиссии по обследованию государственных академических театров Петрограда, представленный Петроградскому исполкому в мае 1922 года.

² Комиссия с участием Колегаева была образована в связи с постановлением Политбюро ЦК РКП(б) от 2 ноября 1921 года «Об академических театрах».

17

Спешно в собственные руки.

Владимиру Ильичу Ленину.

10 октября 1922 г.

Дорогой Владимир Ильич.

Мне все не удается лично переговорить с Вами, по крайней мере прочтите мое письмо и прилагаемый при сем крайне важный документ¹. Документ этот сразу покажет Вам, что далеко не я только стою за сохранение наших оперных театров. Вы увидите из него, что буквально все рабочее население Петрограда настолько дорожит Мариинским театром, сделавшимся почти исключительно рабочим театром, что закрытие его воспримет, как тяжелый удар. К Большому театру это относится в меньшей степени. Мы здесь меньше связаны с рабочими, но и здесь МГСПС, являющийся непосредственным нашим контрагентом, может вынести Вам положительный отзыв.

Я очень просил бы Вас, если у Вас в настоящее время, по состоянию Вашего здоровья и по течению дел, есть к этому возможность, все же дать мне личную беседу по этому вопросу и некоторым другим.

Вместе с тем я очень настаивал бы на том, чтобы Вы и Надежда Константиновна посетили в воскресенье в 1 час дня Большой театр, где будет повторен имевший громадный успех опыт революционного детского спектакля. Может быть, Вы, воочию увидев, что такое сохраненный мною и моими помощниками театр и как подвинулся он в направлении службы революции, сами поймете, с каким глубоким огорчением воспринимаем мы нынешнюю попытку задушить его.

Нарком по просвещению *А. Луначарский.*

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30958, л. 1)

¹ Полный текст этого документа приводится ниже.

**Центральному комитету Российской коммунистической партии
Всероссийскому Центральному исполнительному комитету
Совету Народных Комиссаров**

В Петрограде получены сведения о снятии с госсубсидии бывш. Марининского театра. Петроградский губернский комитет РКП(б), Петроградский губисполком и Петроградский губпрофсовет находят, что за 5 лет бывш. Марининский театр, отдававший 50% своей работы рабочим фабрик и заводов и предоставивший им за последний сезон 1921 г.—1922 г. 195 480 посещений, что посылая также своих артистов на фронты гражданской войны для культ-просветительной работы, заслуживает теперь сохранения и поддержки со стороны государства. Работники акад. театров сохранили строгую академическую школу, помогли Советской республике сохранить в неприкосновенности не только колоссальное имущество ак. театров, имеющее громадную материальную ценность, но и лучшие достижения мирового искусства, получившие чрезвычайное международное значение.

Та же строгая академическая школа в условиях нэпа служит для всего тео-искусства Сев.-Зап. области единственным сдерживающим началом на пути всеразрушающей безудержной халтуры.

На основании всего вышеизложенного настоящим ходатайствуем о сохранении гос. субсидии всем академическим театрам Петрограда, и в том числе бывш. Марининскому, тем более что дефицит, который дает Марининский театр в сравнении с заданиями, им выполняемыми, сравнительно невелик.

Закрытие бывшего Марининского театра поведет к окончательному распылению тех и без того немногочисленных серьезных артистических сил, которые в неизмерно тяжелых условиях удалось сохранить только благодаря действительно героической преданности своему делу работников этого театра. С закрытием бывш. Марининского театра Губпрофсовет в громадной степени лишится возможности давать здоровую пищу рабочим, а также для Губпрофсовета затруднится и общая работа по руководству работниками искусства.

Секретарь Петрогубкома РКП(б)
Председатель Петрогубисполкома
Секретарь Петрогубисполкома
Председатель Петрогубпрофсовета
Секретарь Петрогубпрофсовета
Ответственный секретарь Союза искусств

8/XI-1922 г.

Пуокр ПВО поддерживает настоящее ходатайство, т. к. б. Марининский театр в значительной степени обслуживал и красноармейские части.

НАПУОКР ПВО

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30958, л. 2)

18

В институт В. И. Ленина при ЦК ВКП

5 января 1927 г.

В ответ на Ваш запрос от 28/XII-26 г. сообщаю следующее. После выезда правительства из Ленинграда в Москву я, оставаясь в должности наркома по просвещению, проживал, однако, в Ленинграде согласно разрешения Владимира Ильича. Наркомпрос благодаря этому разбился, так сказать, на две части, ту, которая называлась Наркомпросом Союза Северных коммун и Наркомпрос РСФСР. Последним фактически управлял М. Н. Покровский. В важнейших вопросах он просил моей директивы, и я от времени до времени наезжал в Москву. Если не ошибаюсь, зимой 1918 г., незадолго до моего окончательного переезда в Москву, но не помню точно в каком месяце, Владимир Ильич вызвал меня к себе и завел со мною разговор о том, что он называл монументальной пропагандой. Содержание этого разговора могу передать более или менее точно. Директива его сводилась к следующему.

У вас имеется большое количество безработных художников, между тем их силы могли бы быть употреблены на хорошее дело, а именно на то, чтобы воздвигнуть целый ряд небольших памятников первоначально из гипса, а также гипсовых мемориальных досок и, наконец, монументальных надписей революционно-

го содержания. Праздники открытия этих памятников служили бы превосходным моментом пропаганды. На пьедесталах, бюстах, мемориальных досках и в монументальных надписях должны быть выражены в краткой, лапидарной форме революционные идеи или переданы главнейшие биографические факты, относящиеся к изображенному лицу.

К этой идее я отнесся с величайшим интересом, и тотчас же как в Москве, так и в Ленинграде мною собрано было совещание художников и розданы соответственные заказы¹. Платили мы мало, и памятники создавались первоначально из гипса. Первым памятником был как раз памятник Радищеву Шервуда. Поставлен он был на левом углу Зимнего дворца у набережной. В Ленинграде никакой заминки с дальнейшей постановкой памятников не было, и надо сказать, что большинство памятников было довольно ценно. Сюда относится памятник Лассалю, который потом был переделан в бронзовый и украшает и сейчас здание бывшей городской думы. Очень недурны были и другие памятники: Гарibaldi, Герцену, Шевченко. Хуже благодаря футуристическим претензиям был исполнен памятник Перовской у Николаевского вокзала. Я сам лично [...] открывал все эти памятники, произносил соответственные речи и т. д. В Москве дело пошло гораздо хуже. Памятники были в большинстве случаев неудачными, напр. знаменитые Маркс и Энгельс в чем-то вроде ванны, памятник, лично открытый Владимиром Ильичем, более приличный памятник Никитину, совсем странный памятник Бакунину, который пришлось сейчас же снять, и т. д. В Москве скульпторов было мало, искусство их ниже среднего, отзывчивость при грошевой оплате слабая. Зато в Москве удалось поставить хороший гранитный памятник Достоевскому, который был сделан скульптором Меркуровым еще до революции.

Весною (месяца точно назвать не могу) буря на Неве сбросила памятник Радищева, который разбился в куски. Стоявший неподалеку часовой, как мне потом докладывали, придя к коменданту Зимнего дворца, сделал такой колоритный доклад: «Товарищ Радищев, не выдержавши сильного ветра, упал и разбился»... К счастью, прекрасный бюст цел и нынче, т. е. другая его копия была воздвигнута в Москве и имеется сейчас в одном из московских скверов. Об этом факте мы послали телеграмму в Москву, и если не ошибаюсь, крушение памятника Радищева (напоминаю еще раз— гипсового) было оповещено в газетах. Так как к тому времени именно в Москве ничего не было еще сделано по монументальной пропаганде, хотя разговор Владимира Ильича происходил, насколько я помню, месяца за 4, а может быть, даже за 5 до исчезновения памятника Радищева, то вследствие этого Владимир Ильич и послал свою телеграмму не мне, а тов. Покровскому, что было совершенно естественно, ибо Владимир Ильич [...] знал, что монументальная пропаганда в Ленинграде сделала значительные успехи. Я думаю, что Михаил Николаевич, которому адресована была телеграмма, сможет установить то, чего не могу установить я, т. е. более или менее точных дат всех этих интересных событий. Телеграмма, конечно, должна находиться в архиве Михаила Николаевича или в архиве НКП.

Нарком по просвещению *А. Луначарский*.

(ЦПА ИМЛ)

Запрос Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б) был связан с подготовкой к печати телеграммы В. И. Ленина от 18 сентября 1918 года, адресованной А. В. Луначарскому и М. Н. Покровскому (см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 297).

¹ Здесь А. В. Луначарский ошибается. Собрание художников в Москве и Петрограде было проведено им не тотчас же вслед за беседой с В. И. Лениным, а значительно позднее, после принятия Совнаркомом декрета «О памятниках Республики» (12 апреля 1918 года), широко известного теперь как декрет о монументальной пропаганде.

В. И. Ленин резко критиковал А. В. Луначарского за медлительность в организации монументальной пропаганды.



ЖИИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

С. Львов. Верность традиции и верность себе.— **А. Турков.** Когда поэзия возвращается...— **Ф. Светов.** Детали и суть.— **З. Паперный.** Читательский марафон.— **Л. Полян.** Книга художника.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Давидович, С. Покровский. От глубокой древности до наших дней.— **Л. Иванов.** Необъективные обобщения.— **В. Твардовская.** Факсимильное издание «Колокола».— **И. Зынов.** Сохранить и умножить богатства природы.

Литература и искусство

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ И ВЕРНОСТЬ СЕБЕ

В. Богомолов. Зося. Рассказ. «Знамя», № 1, 1965.

Рассказ «Зося» написал В. Богомолов. Его вступление в литературу памятно читателям. Первый рассказ «Иван» был напечатан семь лет назад, но не забылся до сих пор, хотя после этого рассказа мы прочитали немало других значительных произведений о войне.

В новом рассказе много общего с «Иваном». Писатель снова дал своей вещи самое простое из возможных названий — имя. Такие названия были излюбленными в нашей классической литературе. И форма повествования снова избрана самая традиционная и, казалось бы, самая простая — воспоминания, написанные от первого лица. В «Зосе» голос повествователя звучит столь же естественно, как в «Иване». Словом, обе вещи — и давняя, и только что напечатанная — отмечены тем своеобразием, по которому их легко узнать, как вышедшие из-под одного пера. Но это то своеобразие, которое трудно анализировать. Композиция словно бы не найдена писателем, а подсказана самим ходом жизни, усилия художника неощутимы, хотя были они, без сомнения, очень значительными. Это не единственный путь, на котором современный прозаик может одержать победу, но, вероятно, один из

самых плодотворных и вместе с тем самых сложных и для того, кто пишет такой рассказ, и для того, кто хочет разобраться в его особенностях.

Даже сюжеты таких рассказов не извлекаются простым пересказом, а попытка рассмотреть по отдельности то, что принято называть художественными приемами, оказывается невозможной — в этой прозе они не одежда и даже не кожа. Они — плоть.

Оба рассказа написаны о войне. Но в «Иване» все внимание читателя сосредоточивалось на мальчике-солдате, на его горькой судьбе, великом мужестве и героической гибели. Повествователь там сознательно уходил в тень. Его собственная молодость рядом с детством Ивана казалась зрелостью, а его отважность, угадываемая в рассказе, рядом с тем, что делал Ваня, тоже отходила на второй план.

Главный герой нового рассказа — сам рассказчик. Он лирический герой этого произведения, если только можно применить этот термин к прозе столь объективного звучания.

При неглубоком чтении может показаться, что новый рассказ менее драматичен и потому менее значителен, чем «Иван». Там напряженнейшие обстоятельства, связан-

ные с уходом разведчика во вражеский тыл, здесь — затишье между боями. Там — герой гибнет, здесь — он всего лишь уведен силою военной необходимости от возможной, но несостоявшейся первой любви. Словом, в том рассказе — высокая трагедия военных лет, а здесь — словно бы лишь лирическая и бытовая интермедия. Наверное, не случайно в «Зосе» возникают те ноты, которые, судя по «Ивану», трудно было предположить у В. Богомолова, — ноты юмора.

Но, если вдуматься глубже, значительность и драматизм происходящего окажутся не меньше, чем в «Иване», идея нового рассказа не мельче, а лирические и порою иронические краски не снимают драматизма рассказа, но своеобразно выявляют его. Рассказ начинается так:

«...После месяца тяжелых наступательных боев — в лесах, по пескам и болотам, — после месяца нечеловеческого напряжения и сотен смертей, уже в Польше, под Белостоком, когда в обескровленных до предела батальонах остались считанные бойцы, нас под покровом ночи неожиданно сняли с передовой и отвели — для отдыха и пополнения в тылах фронта.

Так остатки нашего мотострелкового батальона оказались в небольшой и ничем, наверно, не примечательной польской деревушке Новы Двур.

Я проснулся лишь на вторые сутки, погожим июльским утром. Солнце уже поднялось, пахло медом и яблоками, царила удивительная тишина, и все было так необычно, что несколько секунд я оглядывался и соображал: что же произошло?.. Куда я попал?»

Герой рассказа, кроме своих обязанностей начальника штаба батальона, предусмотренных уставом, приказом и тем, что в батальоне были убиты и ранены почти все офицеры, заменял в бою пулеметчика, а потом дрался врукопашную в траншеях на захваченной высоте.

Теперь на отдыхе он наслаждается возможностью выспаться, выстирать пропитанное потом и кровью обмундирование, выкупаться.

Едва окунувшись в реку, он вдруг становится таким, каким война не позволяет ему быть — юношей, почти мальчишкой.

«...Я плывал и, ныряя с открытыми глазами, гонялся в прозрачной воде за стайками мальков и доставал со светлого песчаного дна раковины и камешки; самые из них

интересные и красивые я отобрал, решив, пока мы будем здесь находиться, составить небольшую коллекцию. Дома, в Подмоскovie, у меня хранился в сенцах целый сундук всяких необычных камешков и раковин — собирать их я пристрастился еще в раннем детстве».

Раннее детство упомянуто как бы в давно прошедшем времени, но, видно, было оно не таким уж далеким. Мы только что прочитали короткое описание отчаянной рукопашной («...когда кончились патроны, не осталось гранат и десятка три немцев ворвались на высоту в наши траншеи, я, ошалев от удара прикладом по каске и озверев, дрался врукопашную... с дюжим эссовцем, старавшимся — и довольно успешно — меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнемётчика чьей-то саперной лопатой»). И вдруг река с ничем не замутненной водой и камешками и еще томик стихов Есенина, найденный на развалинах дома в Могилеве и теперь завораживающий рассказчика своей музыкой и красками.

Прочитаны три начальные страницы, а герой уже вполне отделился от бумаги. Мы представляем его себе и в недавнем бою, и в его юности, которая кажется ему такой далекой...

Но тут же война суровым голосом строгого комбрига напоминает о себе, о многочисленных обязанностях начальника штаба, а вернее, адъютанта командира батальона, отведенного на отдых: охранение, отчетность, снабжение.

Одной обязанности никто не возлагал на героя рассказа — ни война, ни начальство. Никто не заставлял его всматриваться во все, что происходит вокруг, чтобы навсегда это запомнить.

Может быть, эту обязанность возложил на него будущее? Сам он тогда так, наверное, не подумал бы — слишком далеким оно казалось и слишком много невзятых высот было на пути к нему. И о самом будущем, которое могло ведь и не наступить для героя, автор тоже ничего не сказал впрямую. В его прозе такая фраза прозвучала бы слишком громко. Но все же именно будущее заставило героя глазами, кожей, ушами — всем существом запомнить, как пахнет, как окрашена, как звучит эта короткая боевая пауза со стрекотанием кузнечиков, с запахами травы, с перламутровым блеском на голубых крыльях стрекоз.. Летний день написан в рассказе так, что весь пейзаж видишь

как бы сквозь дрожание прогретого воздуха.

Вроде бы не вглядываясь нарочно, герой рассказа запоминает товарищей по батальону и крестьян польской деревни. Для сравнительно небольшой вещи здесь много действующих лиц — и у каждого человека свой голос, свои жесты, походка, привычки.

Ни единого слова нет в рассказе о том, что сила восприятия обострена пережитым и предстоящим. Но и без этих слов сила эта такова, что и жизнь природы, не зависящая от хода войны, и жизнь людей, на короткое время отключившихся от нее, пронизаны томительным ощущением предбоевого затишья. Чем явственнее передан запах травы и меда, чем осязательнее вес яблока в руке, чем заразительнее подробности приготовления к праздничному обеду, тем напряженнее это предчувствие.

Но особенно пронзительным становится оно, когда в рассказе появляется молоденькая полячка Зося.

Ее облик написан в рассказе так, что заставляет вспомнить известное прошлому веку, но ныне почти утраченное искусство словесного изображения женской красоты. Она появляется в первые столь стремительно, что мы вместе с рассказчиком едва успеваем разглядеть ее, но в этой живописи словом есть какой-то секрет, который делает уместными и вовсе не устаревшими такие, казалось бы старинные, слова: «Она появилась словно бы мимоходом и исчезла внезапно и неслышно, как сказочное видение».

Еще дважды и трижды по-иному освещенный, по-иному повернутый возникнет в рассказе портрет Зоси. Образ ее — простой, подвижный, светлый — проходит через весь рассказ. В ней и воспоминание о собственной юности, и предчувствие настоящей любви, которой еще не было, и тяготение ко всей красоте мира. Эту красоту заслонила война, чтобы в мгновение боевой паузы позволить ей промелькнуть видением прелестной девушки.

Но прежде чем герой рассказа успеет получить от Зоси первый и последний прощальный поцелуй и фотографию, где еще совсем детское лицо, а на обороте по-женски лукавая надпись (он получит ее тогда, когда даже на минуту нельзя будет задержаться в селе), прежде чем в эпилоге рассказа вновь возникнет, поднимется и разовьется тема Зоси, произойдет еще одно важное событие в жизни рассказчика...

На праздничном обеде лейтенант, только что занимавшийся боевой отчетностью, а до того дравшийся в жестоком рукопашном бою, предстанет перед своими товарищами, и перед Зосей, и перед нами таким, каким бывает очень юный человек, впервые оказавшийся за одним столом с девушкой, которая ему нравится. Тут будет все, как если бы не было войны: и ревность к тому, кто старше и опытнее, и сжванность, прорывающаяся внезапной бравадой, и опьянение, вызванное желанием скрыть, что пить не умеешь, и не к месту прочитанные стихи — словом, все то, что в такие годы кажется непоправимым. Юность не перестает быть юностью, даже если она в солдатской форме, и не перестает быть душевно ранимой, даже если уже узнала, что значат пулевые и осколочные раны...

Но эти превосходно написанные страницы остались бы страницами еще одного рассказа о войне и любви на войне, если бы не последующая глава, бросающая на все особый свет.

На следующее утро старшему адъютанту предстоит заполнить двести три похоронных.

«Исполненный великолепным каллиграфическим почерком образец, присланный из штаба в качестве эталона, лежал передо мною, все нужные сведения также имелись, и, приступая, я почему-то мельком подумал, что это простая механическая работа. несравнимо более легкая, чем составление неведомых мне отчетностей и донесений — как же, однако, я ошибался!»

Двести три человека погибли. Заполняя похоронные, герой рассказа не может уже ничего изменить в их судьбе. Но он не может думать о погибших лишь как о фамилиях, которые нужно вписать в готовый формуляр. Они живут в его памяти. Перед его внутренним взглядом возникает весь путь, пройденный батальоном, все рубежи, все заграждения и переправы, все обстоятельства их гибели. Он не только вспоминает, какими были при жизни и как погибли эти знакомые ему люди — его однополчане, его друзья. Заполняя на похоронных адреса их родных, он не может не думать о тех, кто эти письма получает.

А кругом по-прежнему июльский день, пахнущий яблоками и медом, и мимо по-прежнему пробегают Зося. «Поглощенный похоронными, я уже не смотрел ей вслед, как вчера; я вообще почти не поднимал глаз и если видел ее мельком, то лишь случайно,

непреднамеренно. Отвлекаться и обращать на нее внимание представлялось мне в то утро чуть ли не кощунственным неуважением к памяти погибших».

Вот здесь, как мне кажется, и возникает главная, глубинная тема рассказа. Нет, не только юностью героя и не только перерывом между боями, не только контрастом сражения и затишья вызвано обостренное восприятие всего окружающего. В нем живет та обнаженная совесть, которая и заставляет его стыдиться официального обращения в бланке похоронной «Г-ке» и заменять его человеческими словами «Дорогая Евдокия Васильевна» и заставляет его все время думать о тех, кто уже никогда не увидит красоты и счастья, слившихся для него в образе Зоси.

Герой рассказа очень уважает своего друга и командира Виктора Байкова — надежного товарища и смелого человека. Но вот третий уцелевший в батальоне офицер — сын ленинградского профессора Карев, завидуя тому, как уверенно ведет Байков себя с женщинами, говорит: «...Мы с вами слишком интеллигентны, чтобы пользоваться успехом... Никчемная интеллигентность... будь она трижды неладна!» И хотя герой рассказа во многом ощущает превосходство своего

более зрелого командира, он не спешит присоединиться к самобичеванию Карева, не спешит согласиться, что интеллигентность никчемна, хотя считает, что сам еще интеллигентом не стал.

«Я мог, конечно, разъяснить ему, что мой отец — потомственный рабочий, а мать — ткачиха, причем из бедной крестьянской семьи, и что сам я попал на войну со школьной скамьи, еще не успев стать интеллигентом, и что дело, по-видимому, в чем-то другом, но мне не хотелось говорить...»

Очень скоро, гораздо раньше, чем это предполагалось поначалу, батальон покинет деревню Новы Двур. Мы ничего не узнаем о том, какой будет дальнейшая судьба рассказчика. Но — хотя в рассказе и этого нигде не сказано впрямую — жажда добра и красоты, обостренная совестьливость, для которой за каждым официальным бланком встает человек с его недожитой жизнью, память о тех, кто погиб, этот пристальный интерес к тем людям, кто вокруг, и тем, кто далеко, — эта высокая человечность не делают его в бою слабее, как не сделали они слабее писателя В. Богомолова, когда ему нужно было написать свои мужественные рассказы о войне.

С. ЛЬВОВ.



КОГДА ПОЭЗИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ...

Тициан Табидзе. Стихотворения и поэмы. «Советский писатель». М.—Л. 1964. 330 стр.

Тициан Табидзе. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси. 1964. 298 стр.

Когда-то Тициан Табидзе, обращаясь к своему ближайшему другу и соратнику Паоло Яшвили, сказал горестные и, как оказалось, пророческие слова:

Мы близнецы во всем, везде, до гроба:
Грузинский полдень так же будет ярок,
Когда от песен мы погибнем оба.

Трагическая гибель обоих поэтов в тридцатых годах повлекла за собой и многолетнее замалчивание их творчества. Так вроде бы сбылось и другое предчувствие Табидзе:

...наши грезы время уничтожит,
Прах занесет. И лишь забвенья жди.
(«В Ананури»)

Но вот в последнее десятилетие к поэтам вернулось их доброе имя, а к стихам — печатная жизнь.

Две книги, о которых идет речь, — отнюдь не первое издание произведений Тициана Табидзе за эту пору (даже если говорить о русских переводах). Однако они представляются нам особенно примечательными, потому что во многом подводят итог проделанной работе по изучению и пропаганде творческого наследия поэта.

В самом деле, книга, изданная «Библиотекой поэта», уже по самому характеру этой серии должна была стать наиболее полным на русском языке собранием стихов Табидзе, снабженным подробной статьей (в сборнике их даже две — Симона Чиковани и Г. М. Цуриковой) и обстоятельными комментариями. Тбилисское же издательство бережно собрало очерки писателя о социалистическом строительстве на Кавказе, его литературно-критические статьи, посвящен-

ные не только грузинским литературе и искусству, но и выдающимся явлениям других культур. Особую ценность представляют в этой маленькой книге письма, которыми обменивался Табидзе с Есениным, Белым, Пастернаком, Заболоцким, Антокольским и другими.

И рассматривая эти сборники совокупно, нельзя не задуматься над схематичностью и неточностью тех воззрений на творчество поэта, которые существовали прежде, особенно в начале тридцатых годов.

«Раннее творчество Тициана Табидзе (1911—1921) безусловно отмечено печатью декаданса, однако неверно видеть в нем лишь подражательство русским и французским символистам»,— справедливо утверждает Г. М. Цурикова. И правда, пессимизм, трагическое мировосприятие, уход в прошлое были продиктованы поэту не только литературными пристрастиями, но и ощущением, поначалу довольно смутным, тягостной атмосферы реакции, национальной и социальной несправедливости, а затем и впечатлениями разразившейся мировой войны и интервенции. Образы смерти, кровавого разбоя, казни в ранних стихах Табидзе нередко восходят к реальным событиям, разворачивавшимся в Закавказье. Всплывающий в вышине, как бездыханный труп, месяц вызывает воспоминание о бесчисленных жертвах кровной мести и национальных, племенных раздоров. Вторжение интервентов в Батуми преобразует пейзаж родины: «Персики кровь источают, цветут, багровея!.. сгорбились горы...» Эльбрус и Казбек кажутся столбами эшафота, в каждой грузинской мелодии «реквием слышится».

Впоследствии Табидзе все более решительно отходит от настроений национальной исключительности, своеобразного мессианизма, являвшегося болезненной реакцией на века страданий и унижений. Он не может забыть трагедий, постигавших его родину:

Катились наземь купола твоих церквей
В те дни с плеч каменных, как головы
казненных.
(«Тбилиси»)

Но с той же болью говорит он теперь и о страданиях «чужого» народа — дагестанских горцев, храбро сражавшихся против царских войск. Память о расправе с восставшими превращает для поэта горные цепи в «окровавленные плахи». А в поэме «На

фронтах», рассказывая, как буржуазные партии натравили народы Закавказья друг на друга, как грузинское войско с песнями шло на армян, Табидзе выразительно охарактеризовал чуждость всего происходящего народным интересам:

Песни на грузинские
Не походили,
Их невидимый кто-то
Собирал,
Составлял...

Полон сострадания и участия нарисованный поэтом образ бродячего еврейского торговца:

Я со слезами уговариваю мать —
Не торговаться с этим бедняком,
Выкладывающим на лотке куски
Не мыла — сердца своего.

(«Еврейская мелодия»)

Кажется, что мытарства этого нищего Агасфера и его неимущих собратьев объединяются в сознании поэта с судьбами его собственных, в отчаянии покидавших родину соплеменников, которые также бродили «забытыми, задымленными» путями, часто меняя их:

...Так меняют
Лед на лбу страдальца госпитального.

(«Картлис цховреба»)

К началу тридцатых годов Тициан Табидзе все чаще задумывается над тем, чем его поэзия может участвовать в разворачивающемся вокруг строительстве новой жизни.

«Поэзию я начал «Городами Халдеи», обоняя запах дыма и копоти сожженных городов и погасших культур,— пишет он в очерке «Новая Колхида».— Сейчас я вижу социалистические города восходящего рабочего класса».

Он стремится отразить происходящее в очерках, в ряде стихов, в поэме «Рионпорт». Его явно привлекает эпическая форма, и в его словах о поэмах грузинского классика Важа Пшавела звучит добрая зависть к этому монументальному изображению народной жизни: «Все они связаны крепчайшими духовными нитями и напоминают прочный горный кряж».

Во вступительной статье Г. М. Цуриковой отмечается, что «поэзия не перестраивается тотчас вслед общественным переменам». Это утверждение не стоит возводить в канон, но оно верно по отношению ко многим

поэтам. У Тициана Табидзе есть строки, которые вспоминаешь, думая об этом:

Солнце незаметною киркою
Разбивает льдины ледников.
(«Восходит солнце, светает»)

Эту подспудную, не всегда заметную для невнимательного глаза работу нельзя было торопить. Между тем в стихах Табидзе слышатся отзвуки развертывавшихся вокруг его творчества баталий:

Кто про меня сказал: он в прошлом,
Песен не быть ему запевалой.
...Знаю, безжалостный критик хмыкает:
Ты, брат, тропы старые топчешь!
(«Автодор пустыни»)

В 1935 году, жалуясь другу на болезнь, поэт добавляет: «...К моей астме прибавилось еще другое горе, хотели взять под обстрел мою последнюю книгу стихов и порапповски проработать...»

И дело тут не столько в чьей-либо субъективной злонамеренности, сколько в давней рапповской подозрительности по отношению к лирике, подозрительности, нашедшей, несмотря на ликвидацию самого РАППа, известную питательную среду в обстановке культа личности. Благороднейшее стремление писателей и литературы вообще быть вместе с народом, жить его интересами софистически извращалось, оборачивалось неправомерным пренебрежением к разнообразным «личным и мелким» темам, хотя ведь и за ними стояла сложная и интересная человеческая, народная жизнь.

Не избежал этой путаницы и сам Табидзе. «Личные переживания потеряли интерес...» — утверждает он в очерке «Новая Колхида», а в некоторых стихах доходит до наивнейших выводов:

Прошли те времена, когда народ
Ценил сладчайший щебет в поднебесье,—
Теперь колес он ценит цепкий ход.
(«Друзья, старинный облысел Парнас...»)

В драматически напряженном стихотворении «Тбилисская ночь» поэт покаянно признается в своих лирических «грехах»:

Прости мне, если сердце залито
Еще слезами о заре весенней.
Я сам ревную к нищему за то,
Что он поет и плачет об Арсене.

Лирика снова резко противопоставлена здесь народному сказанию об Арсене, выступающему тут как эстетический идеал

поэта. Но, по счастью, поэт не сумел до конца «стать на горло собственной песне». Если в «Тбилисской ночи» он едва ли не с гневной иронией говорил о том, что лирическая песня «на что-то там надеяться старалась», и решительно осуждал себя за приверженность ей, то в «Поездке на Алагез» такая же внешне немудрящая песенка, похожая на воркованье голубей, песня о поездке за солью и о любви, обладает могучей силой воздействия на человеческую душу:

И соль-хрусталь и красота жены мне
Сдавили горло — слезы, хлынув сами.
Все сердце залили, как заливают ливни
Весеннюю Бердуджу с берегами.

И это половодье — не разрушительное, а целительное, плодотворное:

Мне чудилось, что в буйвола ярме я
На Алагезе песенном кочую
И ноши нет такой, что не посмею
Поднять на плечи, если захочу я.

Так верный поэтический инстинкт подсказывал Тициану Табидзе, что лирика — не «загнивающий плот», каким она казалась ему в «Тбилисской ночи», не старый, проржавевший корабль, который надо безжалостно разрезать автогенном, и что ей еще суждено большое плаванье.

И тот же инстинкт, чувство величайшей ответственности перед искусством и читателями дали поэту силу противостоять тем, кто торопил его, толкал к созданию литературных скороспелок.

Он жил в напряженном ожидании, радостно готовый открыть дверь новому слову: «Если не выскажешь новое слово, дверь оно силой снесет с косяка». И в то же время он не смел оделять читателя незрелыми плодами:

Пустое нетерпенье не предлог,
Чтоб мучить слух словами неживыми,
Как мучит матку бестолкв телок,
Ей стискивая высокошее вымя.
(«Лежу в Оршири мальчиком в жару...»)

И если в прошлом даже благожелательно настроенные к поэту критики часто, защищая его от нападков, стыдливой скороговоркой признавали, что поэт «оступался» в лирику, и ставили ему зато в заслугу стихи довольно декларативного свойства, то нынешний читатель сможет полной мерой оценить творчество Табидзе во всей его действительной сложности и противоречивости.

А. ТУРКОВ.

ДЕТАЛИ И СУТЬ

Юрий Нагибин. Далеко от войны. Повесть. «Советская Россия». М. 1964. 118 стр.

В повести Ю. Нагибина «Далеко от войны» немало точных и словно бы совершенно естественно возникающих подробностей. Острый взгляд писателя-профессионала отмечает детали, на первый взгляд как будто случайные, но помогающие нам представить и конкретность действия, и обстановку, и внутреннее состояние героев. Автор повести не оставляет без внимания такие, скажем, подробности: посетители столовой в рабочем поселке, прежде чем приступить к еде, «греют руки о жестяные мисочки», он слышит, как «однообразно и тоскливо» оскребывает ложка стенку и доньшко миски, замечает, что вилка сделана «из какого-то странного, мягкого и жирного металла...».

Наблюдательность, неоспоримая литературная культура автора привлекают читателей. Но поможет ли нам писатель разобраться в чем-то важном, что встает за мелочами, столь тщательно и любовно отмеченными?

Герой повести Ю. Нагибина — журналист, и, в сущности, главное, что волнует автора — это отношение героя к жизненной правде. Проблема, коротко говоря, сводится здесь к простой и конкретной формуле — писать о том, что видишь, или о том, что хотя и не отвечает натуре, но по тем или иным соображениям «требуется».

На первой странице повести заместитель главного редактора газеты, посылая молодого корреспондента в командировку в Волжск, говорит ему, что трудность его задачи не в том, чтобы «хорошо описать», как работает на кране героиня его будущего очерка, «для нас важнее другое: патристический порыв этой девушки». Как будто тут нет никакого противоречия: хорошо работать на кране и значит проявлять патристические чувства. Но редактор настаивает именно на том, что героиня очерка должна будет сама объяснить свой поступок «желанием в трудную годину испытаний принести наибольшую пользу любимой Родине». У редактора заранее готов штамп, и задание молодому журналисту сформулировано им строго и недвусмысленно.

Герой только что перенес контузию, после разговора с редактором, разволновавшись, чувствует «духовную задаленность». К тому же от этой командировки — первого со-

лидного поручения газеты — во многом зависит дальнейшая его судьба... Одним словом, конфликт, казалось бы, намечен.

Прибыв в Волжск, корреспондент знакомится с героиней своего будущего очерка, и мы понимаем: не так-то просто будет ему выполнить задание редактора. На него недоверчиво, даже враждебно глядят «тяжелые, хмуро-раскосые девичьи глаза с заведенными на виски уголками». Анна Серегина мрачна, неприветлива, не желает вступать ни в какие доверительные разговоры. Но корреспондент угадывает в ней душу «обиженную, а не злую», времени у него достаточно, чтобы «приручить» Серегину, он надеется услышать от нее «те слова», которых ждет редактор. Но как человек совестливый, он хочет, чтобы не он и не редактор писали за героиню, а чтобы она сама эти заранее подготовленные слова произнесла. Тогда он и поручение выполнит, а это для него очень важно, и вроде бы правду не нарушит.

На первых порах корреспонденту это не удастся. Серегина работает хорошо, но отношение к ней в порту неважное, она «несоюзная молодежь», «трудный товарищ», у нее незаконный ребенок... К тому же однажды явилась в клуб пьяная, устроила драку, попала в милицию. Одним словом, Анна Серегина, говоря словами корреспондента, совсем не героиня с плаката «Что ты сделал, чтобы догнать тех, у кого выше показатели?». В то же время комсорг участка, на котором Серегина работает, девушка добрая, но очень уж робкая, тихо — как бы не услышали другие — говорит корреспонденту, чтобы он плохому о Серегинной не верил: она «соль русской земли», инициатор движения среди грузчиков, работает безотказно, сверхурочно. Сама Серегина в конце концов рассказывает корреспонденту, что выпила она с горя, что над ней пьяной надругались — вот и ребенок...

Характер, о котором пишет Ю. Нагибин, нельзя считать открытием. Несколько лет назад появилась на сцене наших театров и наделала много шума героиня А. Володина Женька Шульженко, тоже не желавшая откровенничать с заезжим корреспондентом. Но если в браваре Женьки Шульженко, идущей от стеснительности, внутренней чисто-

ты, незащищенности и одновременно обостренной ранимости, была невозможность мириться со всякой фальшью и показухой, если для зрителя «Фабричной девчонки» было совершенно очевидно, как складывался такой характер, то браваду Анны Серегинной, при всей симпатии к ней, ничем не объяснишь, кроме как личной обидой и обстоятельствами только случайными...

Герой повести Ю. Нагибина пытается спорить с комсоргом порта, руганым самоуверенным Жориком, резко отрицательно относящимся к Серегинной: «Мы против того, чтобы подымать Серегину», «Работа не все. Есть еще моральный облик», «У Серегинной ребенок, как выражаются в порту, «нагульный», «незаконный». И корреспондент краснеет, боится, «уж не донесли ли Жорику о наших встречах с Анной». Его несогласие с обвинениями против Серегинной выражается только в том, что он уходит, не подав Жорику руки, и на улице у него вновь начинается приступ «духовной задавленности». После этого он уезжает из Волжска, так и не попрощавшись с Анной.

Как будет выглядеть в центральной газете очерк о знатной крановщице Анне Серегинной, осмелится ли наш герой вообще писать о ней после предупреждения Жорика, а если все-таки осмелится, то будет ли «подправлять» его редактор? Читатель может фантазировать сколько угодно — ответов на все эти вопросы в повести нет. Зато некоторые другие эпизоды повести дают дополнительный материал для решения общего вопроса: как и в каких пределах следует говорить правду.

Итак, присмотримся ко второй сюжетной линии повести «Далеко от войны». Приехав в Волжск, герой поселяется на квартире кассирши цирка и чуть ли не каждый вечер ходит в цирк по контрамаркам. А там как раз в разгаре чемпионат по французской борьбе. Ему это в новинку, и он с восторгом наблюдает, как выходят в параде-алле на арену эти «люди-гиганты», «переодаренные мускулатурой»: «мускулы играют у них даже под мышками, даже за ушами, между ребер», под их туго натянутой кожей непрестанно что-то шевелится, перекачивается, удлиняется и сокращается, «по-удавьи сворачивается в кольцо». Потом «бывший чемпион мира» представляет борцов: «Многokратный чемпион Хаджи-Абрек!», «Циклоп!.. Самый тяжелый из борцов!». «Ян Краузе, сильнейший из молодых борцов!», «Иван Пе-

рунов, лучший из молодых борцов!» А потом борцы «хрипят» в схватке, их широкие груди «ходят ходуном», они выказывают чудеса ловкости, изящества, воли и мужества, прием следует за приемом, хитроумные захваты, железные объятия, контрприемы, простой нельсон, тур де брас; побежденный прижимает ко лбу кулаки, выражая крайнюю степень отчаяния, победитель великодушно поддерживает соперника. Публика неистовствует: кричит, аплодирует, всхлипывает, стонет...

Наш герой всем этим потрясен, но он поразится еще больше, когда узнает, что «чемпионы» разыгрывают перед публикой заранее подготовленный спектакль. Он не может в это поверить, пока ему не случится познакомиться с самими «силачами» вне цирковой арены. Он узнает их в работах-пильщиках, «странно сочетающих преувеличенно-могучую статью с ленью и бессилием». «Чемпионы» подрабатывают пилкой дров, задыхаются, кряхтят и за то, что корреспондент берется им помогать, рассказывают ему о себе неожиданные вещи. У Вани Перунова, оказывается, вырезали желудок и шесть метров кишок, он еще до войны вышел на пенсию; Степан Разинс — сердечник, у Крыжака — ревматизм, Хаджи-Абрек на войне потерял два ребра. Какая, мол, тут может быть борьба: прижать всерьез и то боязно, надо суметь помочь «покарасивше в партер перевести», стараешься поделикатнее, а он все шепчет: «больно». Легко только с Яном Краузе работать — он здоров, «тренирует дружинников (не анахронизм ли — дружинники в годы войны? — Ф. С.) и милиционеров по самбо... И Циклоп — «самый тяжелый», который, если бы «по правде», мог «задавить любого», — объясняет вконец растерявшемуся корреспонденту: «Никакого жульничества... Не знаю, где честнее нашего дело поставлено. Все, мол, мы друг дружку знаем — «чего тут дурочку строить», главное — «публике зрелище дать». «Бороться нам вчистую, кто кого осилит — штука нехитрая. да подлая. — говорит Циклоп. — Говорю же, я всех кроме Жени Крысина могу передавить. От ума, от галанта? Нет, просто во мне весу больше осталось. Меня в армию по годам не взяли, и нет на мне ни ран, ни болезней. Нешто это справедливо?» Другое дело, когда выходит «Черная маска» — Перунов — в чем душа деркится, а «наши зрители — в большинстве инвалидная команда, им и лестно, что такой

вот хляк всех без разбору швыряет. Это им придает духу, бодрости, надежды...». И герой книги, глубоко растроганный, восклицает: «Какие вы все молодцы!.. Я обязательно напишу о вас и ваших товарищах!»

После этого, казалось бы, чего уж ходить в цирк — узнавай от Циклопа заранее, кто сегодня кого побьет, и все! Но корреспондент испытывает особое наслаждение посвященного, которому ведомо «тайное тайных», эта комедия становится ему особенно «близка», причем «как-то интимно, слезно»...

Может, и не стоило бы останавливаться подробно на всей этой старой цирковой кухне, тем более что в цирке может быть и допустим этот «нас возвышающий обман», но неожиданно в повести «Далеко от войны» именно он-то и приобретает уже не локальный — цирковой, — а, так сказать, всеобщий смысл, служит мериллом того, что справедливо, а что нет.

Герой повести делится своим открытием с друзьями, и все они реагируют по существу одинаково. «А может, неправильно называть это жульничеством? — размышляет собкор Саша.— В одном немецком романе герой помешался на том, что все в мире измерено ложной мерой, взвешено на фальшивых весах, все градусники врут, все часы показывают неверное время. Ну и пусть себе врут на здоровье! Мы-то живем, существуем в этом вранье, и не опаздываем на поезда, и покупаем штаны по мерке, а когда температура у нас за тридцать семь, нам дают бюллетени. И да здравствует цирковая борьба и дедушка Циклоп, пророк ее!..» Нет в обмане никакого жульничества, пусть себе врут на здоровье, мы-то живем! Анна Серегина, узнав, как на самом деле обстоит дело в цирке, проникается к борцам «еще большим уважением»: «Значит, у них все по справедливости,— умиленно говорит она.— Вот если бы все люди так жили!»

Конечно же, такое заботливое отношение борцов друг к другу трогательно, даже гуманно, к тому же перед нами действительно цирк — прежде всего зрелище и развлечение. Да и зритель в глубине души не верит все-душо обманывает, развлекается просто. Перед нами, говоря словами Достоевского, «деликатная взаимность вранья» и потому не будем хлопотать о правде здесь, на цирковой арене. Другое дело, когда законы цирка переносятся на живую жизнь, когда

возникает некая «философия» цирковой борьбы, подкрепляемая привычными словами об «относительности правды», приспособленными к любому, казалось бы даже верному, гуманному лозунгу... «Самая опасная ложь — это истины, слегка извращенные», — говорил один старый немецкий писатель.

Можно было бы, конечно, построже спросить героя повести «Далеко от войны» — молодого образованного человека, видимо, прекрасно знающего, что такое хорошо, что такое плохо, почему, коль он все это знает, не нашел он в себе силы бороться за судьбу Анны Серегинной с перестраховщиком Жориком, почему он позволил оглушить себя сомнительной «справедливостью» цирковой борьбы, согласившись с перенесением в жизнь ее законов? Но как-то неловко спрашивать всерьез человека с такой тонкой восприимчивостью к несправедливости и болезненной совестливостью, как-то неловко спрашивать об этом у несчастных калек-«чемпионов», устанавливающих по своему разумению меру правды и лжи, добра и зла, у обиженной Анны, защищающейся с помощью лжи от «людского» суда...

Удивительно только, что вся эта апология неправды — от осторожной уклончивости до грубого обмана — украшает повесть, написанную словно бы о том, что надо бороться за правду. Помните, она и началась с того, что герою предлагали несколько «подправить», «подукрасить» правду заранее готовым представлением о том, какой она должна быть, а он испытывал от этого состояние «духовной задавленности»? Как же произошел на наших глазах весь этот поразительный разлад между столь определенно провозглашенной мыслью и ее реальным воплощением в жизнь? Почему в конце концов таким несостоятельным оказался герой?

А между тем весь этот неожиданный нравственный перекокс, мне кажется, можно объяснить, стоит только внимательно присмотреться к тому, как повесть написана, на что тратится писателем и профессиональное умение, и художественное мастерство. Мы уже обращали внимание на многочисленные детали, точно замеченные и весьма умело использованные в повести «Далеко от войны». Они дают возможность представить себе внешнюю сторону событий, но поможет ли такая «живопись» понять происходящее? Можно отметить и завораживающую некоторых писателей модную интонацию —

с помощью «и»: «Вот так обстояло дело на сегодняшний день войны, а я ехал как фонбарон один в купе международного вагона и курил «Беломорканал», стряхивая пепел в три разные пепельницы, и для меня одного был весь этот бархат или плюш, и все выключатели, и отдельный туалет, и, наверное, мне еще дадут чаю в тяжелом подстаканнике и сухари в тонкой, туго рвущейся бумажке, и еду я не куда-нибудь, а в крупный волжский порт, где даже нет затемнения, и есть цирк, и билеты мне обеспечены, ходи хоть каждый день...» и т. д. Писатель настолько увлечен стремлением быть в русле модной стилистики, удивлять читателя ловко подме-

ченными деталями, он так очарован собственной умелостью, что начинает беспечно относиться к главному — к тому, что он хотел сказать, невольно пугается и начинает противоречить сам себе.

Когда писатель холодно-профессионально говорит о проблемах больших, серьезных, ждущих глубокого и уж никак не равнодушного раскрытия, удивительно ли, что он сползает к неприемлемой для подлинного искусства мысли о том, что правда если и нужна, то только в «разумных» пределах, что следует признать достоинство и права «лжи во спасение».

Ф. СВЕТОВ.



ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН

М. И. Х. Кочнев. Потрясение. Роман. «Советская Россия». М. 1964. 935 стр.

Перелистывая последнюю, девятьсот тридцать пятую страницу этого романа, испытываешь чувство глубокой читательской удовлетворенности, даже гордости. Ты дошел до конца, не остановился на полпути, у тебя хватило выдержки не сойти с дистанции.

Читателю-«спринтеру», предпочитающему короткие рассказы и новеллы, не под силу одолеть такую эпопею — он сразу же выдохнется. Но и любителю неторопливо-обстоятельных романов в конце концов становится невмоготу: так медленно, заторможенно, с какой-то особенной «вязкостью» движется повествование.

Скажем, начинается беседа двух героев. Они говорят, что называется, не думая ни о каком регламенте. Причем разговор вращается вокруг одного и того же. Иной читатель не вытерпит, да и перелистнет странички три-четыре сразу: может быть, дальше дело пойдет повеселее. Но напрасно: снова он сталкивается с теми же героями, которые по-прежнему беседуют о том же.

Автор рассказывает о людях одного колхоза. Подробнейшие биографии председателя колхоза Втора Снылча Секиры, агронома Никандра Кирпичева, колхозницы Павлы Соломкиной, их родных, друзей, знакомых выписываются на фоне многолетней борьбы травопольщиков и их противников, или, как они называют друг друга, «травоедов» и «удобренцев».

С одной стороны — сподвижник Вильямса и Костычева академик Кривничер, не гну-

шающийся в полемике и борьбе никакими средствами, его последователь агроном Кирпичев, соученик Кирпичева по Тимирязевской академии Шапкин, ловкий и беспринципный делец-карьерист. С другой — ярый противник травопольщиков Федос Закарайков, воевавший открыто и честно, ставший жертвой репрессий, продолжателем его дела академик Пластунов, идущая за ними молодежь.

Борьба длится долго. Обе стороны прибегают к довольно энергичным выражениям в полемике. Шапкин, например, называет противников Кривничера «зарвавшимися мракобесами в чепцах академиков». Кстати сказать, это выражение повторяется затем не раз. Академик Пластунов, со своей стороны, так отзывается о Кривничере: «Невдомек канцеляристу в чепце академика». В пылу спора никто даже не обращает внимания на то, что в «чепцах» академики никогда не ходили; но тут уже не до мелочей.

К концу романа Никандр Кирпичев, обожавший своего учителя Кривничера, начинает понимать бесплодность травополя, насаждавшегося «культурами» методами. Многие понял и председатель колхоза Секира. Привыкший все решать единолично, он теперь «как бы впервые сам про себя уяснил: чем больше он советуется с правлением, с колхозниками, тем у него получается лучше. слово его становится весомей и уважение к его слову больше, и чем яростней он

жмет на единоначалие без всякой к тому нужды, тем хуже результаты».

И Кирпичев, оказавшийся во власти травопольной доктрины, и самовластный Секира — оба они, каждый по-своему, связаны с эпохой культа. О тяжелых последствиях этой эпохи герои говорят не раз. Перед читателем проходят долгие, многостраничные споры, дискуссии, собрания. Верный своей монументально-эпопейной манере, автор старается ничего не упустить и воссоздает речи, мысли, выступления своих героев без какой бы то ни было «условности», с самой что ни на есть безусловной полнотой.

Эта нелюбовь писателя к отбору материала, тяготение к безграничной «шири» приводит не только к разрастанию книги — в столкновении многословно выраженных точек зрения теряется главная мысль.

Академик Пластунов пишет в книге о ядовитых семенах чертополоха, о «вредоносном и уродливом растении с ползучим корневищем» — так он образно называет культ личности. Но вот в споре с агрономом об эпохе культа заговорил Секира, партизан Отечественной войны: «О, друг мой, если бы партизаны или бы армия, если бы народ наш, если бы наша партия упали в те годы только на приказы генералиссимуса, не знаю, чем бы все кончилось... В годы войны партия, армия, народ в прямом смысле взяли судьбу страны, судьбу нашей революции в свои руки».

То культ личности — ядовитый чертополох, то он вроде бы и не имел значения.

Речи героев, высказывания, монологи растут, громоздятся, как льдины в ледоход, а иногда кажется, что «течение» романа меняется и читателя начинает относить в обратную сторону. Это можно сказать и о «травопольном» споре — он начинает обретать в романе какой-то хронически-затяжной характер; в круговороте двух противоположных точек зрения теряется итог.

Автору нельзя отказать в умении воссоздавать характерные черты героев, манеру вести себя. Тот же Секира — не просто еще один вариант администрирующего председателя колхоза, попирающего общественное мнение. «Самодержавство» соединяется в нем с бескорыстием, преданностью делу, совестью, которая просыпается каждый раз, когда он особенно зарвется.

Но в сложном, противоречивом рисунке этого характера много лишних штрихов,

натуралистических деталей, утомляющих подробностей.

Если, скажем, Секира беседует, автор считает долгом подробно описывать каждое его движение, позу: как он вертит головой, как обрывает зубами «саднящие заусеницы с большого пальца» (именно с большого, а не с какого-нибудь еще), как хмурит белевые брови и т. д. Он старается все обрисовать, воспроизвести с такой исчерпывающей обстоятельностью, что читателю уже ничего не надо «довоображать» — дай бог только удержать в памяти все эти штрихи и подробности.

Пожалуй, нагляднее всего выразились достоинства и недостатки романа «Потрясение» в языке. Автора никак не обвинишь в сухости, канцеляршине. Нет, ему ближе «буйный», живописный язык, богатый народными реченьями и пословицами. Однако и тут достоинства, словно лишённые внутреннего сдерживающего и контролирующего начала, начинают обращаться в свою противоположность.

Автор щедро пользуется и так называемыми «вульгаризмами», и «диалектизмами», и малоупотребительными в литературном языке словами. Что ж, это вполне естественно. Можно, правда, спорить о том, как лучше сказать: рассердился или «взлютился», недодумал или «недотумкал», толпились или «кучились», вцепился или «врепнулся», ел или «хрястал», научились или «наблоснились», зашумело или «загамело», сойтись или, как просто-душно предлагает Секира Павле, «соякшиться». Но никто не может отнять у автора право расцветивать свой язык и уж тем более речь героев колоритными, пускай даже редкостными, затейливыми словами и словечками.

Хуже другое: в романе, который как будто должен поразить стихийной мощью, «поволодем» языка и стиля, то и дело наталкиваешься на слова, как будто сочиненные «под народ».

«Шагистая Гликерия», «трудолюбница», «абстрактщина», «ты больно уж правдобривист», «руковод» — все это создает впечатление нарочитости, порой даже какой-то натужности.

Автор любит такие слова, как «разнотравье», «чернотропье», «звонкоголосье», поле у него «аржаное», цветы «духмяные», марево «разымчивое», квашня «вздымча-

тая», а жизнь, как говорит тот же Секира, «чистоструйная». Наверное, каждое из этих слов имеет право на существование, но в стремлении к языковому колориту писатель явно теряет чувство меры.

Однако эти слова, выражения — и народные, и «пол народ» — все это лишь одна языковая струя. Рядом с ней, то сливаясь и перемешиваясь, то расходясь, — другая, уже чисто литературная, подчеркнута литературная, сугубо литературная: «чарующе» вспыхивает закат, творится «изумительное световое волшебство», все причудливо сливается в «прекрасную симфонию чувств и желаний», в «гармонию светлых чувств и раздумий».

Никандр Кирпичев, приехав в город, слушает игру дочери на пианино. Об этом говорится так: «Из чудесного музыкального гнезда, повинувшись страстному сердцу и рукам пианистки, незримо стаями взлетели удивительной красоты и мощи обворожительные звуки вдохновенного творения... Кирпичев как бы сквозь магическое стекло увидел иной мир, воссозданный волшебством потрясающей мелодии; будто разноцветный небосвод, сотканный из стройных звуков, внезапно раскрылся над ним исполинским куполом, а грудь с каждым поющим тактом наливалась отвагой и силой...»

Так из стихии самой простонародной речи автор ввергается в стихию старательной сверхлитературности. Тут уж начинаются всякого рода «светльньи» и «сиянья».

Павла разговаривает с Кирпичевым, «рдеясь смуглыми, богатыми летним загаром щеками», у него при взгляде на нее глаза наливаются «сиянием, словно ведреное июньское небо», у Павлы глаза «с нечеловеческим свечением», «фосфорическим отблеском», они блестят, «как эти спелые черемуховые ягоды», зажжены «телесным пламенем от белого огня цветущих черемух».

И наконец третья струя, связанная с на-

учными спорами «удобренцев» и «травогло-тов».

Клава, соученица Никандра Кирпичева по Тимирязевке, так отзывается об их общем знакомом: «Шапкин — это, как говорится, высокоактивный продуцент определенных лет. Жизнедеятельный микроорганизм. Да, какие-то в недавнем прошлом общественные, что ли, дефолианты, десиканты, ингибиторы и активаторы способствовали росту этого микроорганизма, а он в свою очередь в те годы являлся десикантом и ингибитором, питательной средой для развития других таких же, только еще более мелких микросуществ, носителей провинциального вожлизма, эдаких смешных и жалких наполеончиков».

И Кирпичев в ответ на эту специализированную тираду произносит: «Здорово, Клава, ты подметила».

Таковы разные, не соединяющиеся друг с другом стиливые пласты романа. Пользуясь словообразованием Секиры, можно сказать, что языку не хватает «чистоструйности».

Очень уж пестра и мозаична ткань, где одновременно «гужуются», «кучкуются», «хрястают», причудливо сливаются в «волшебные симфонии» и «гармонии» да к тому же еще действуют «ингибиторы» и «активаторы».

Мы пишем обо всем этом вовсе не для того, чтобы отвадить читателя от знакомства с романом «Потрясение». Мы лишь хотим честно предупредить всякого, кто возьмется за эту объемистую, нелегкую и неровную книгу: пусть он знает, на что идет, отдаст себе отчет в гех трудностях, которые ему предстоит преодолеть.

Бывают бесталанные книги. Здесь же другой случай. Перед нами книга писателя опытного, не лишнего литературного умения. Но эта книга может быть названа расширенным изданием самой себя.

3. ПАПЕРНЫЙ.

★

КНИГА ХУДОЖНИКА

Ю. П и м е н о в. Необыкновенность обыкновенного. «Искусство». М. 1964 352 стр.

Эта книга — заметки художника о жизни и искусстве, о современности и современниках, о голосах времени, о многокра-сочности мира.

В лирических раздумьях автора, в его свободной, непринужденной беседе с читателем, казалось бы, нет сюжета и нет героя. Но чем больше сживаешься с книгой, чем

плотнее обступают тебя образы и мысли художника, тем ощутимее становятся и сюжет и герой этой книги. Сюжет ее — простая, обыденная и вместе с тем многообразная, сложная, всегда неожиданная, изменчивая жизнь, а герой ее — сам художник, беспокойный, тревожный, нетерпеливый, с острым, напряженным, только ему одному присущим взглядом.

Пафос — или то, что Белинский любил называть поэтической идеей книги, — это утверждение богатства реального мира, каждый раз заново открываемого искусством. «Зрительный зал, отраженный в концертном рояле, и запотевший стакан с холодным соком, мощный ковш экскаватора, ранние весенние цветы среди прошлогодних листьев — все приходит из жизни, ищет свой путь в образ. Здесь и лежит труднейшая работа искусства».

Разлад с историей, со своей эпохой — самая большая трагедия художника. Этой трагедии не знает Юрий Пименов — художник глубоко современный, остро чувствующий красоту своего времени, «энергичного сегодня».

Отблеск нового, современного лежит не только на его картинах, посвященных новой Москве с ее непрерывно движущимися границами, строящимися кварталами, не только на его портретах современников, зарисовках крепких, выносливых девушек с открытыми задорными лицами, в комбинезонах, испачканных штукатуркой, замазанных свежей краской. Поэзия ежедневной горячей жизни пронизывает и его подмосковные пейзажи, душевные, чистые и глубоко человеческие. Современны и его натюрморты. И вся книга художника, так же как его живопись, проникнута чувством новизны жизни, питающей подлинное искусство.

Писателю и художнику всегда легче увидеть поэзию прошлого, окутанного грустью воспоминаний, романтической дымкой, скрадывающей невидную и кажущуюся скучной повседневность. Труднее, много труднее открыть большую и сложную красоту привычного, обыденного, того, что окружает людей каждодневно, что скользит мимо сознания и проходит нередко не замеченным нами.

Искусство заключается в том, сказал Дидро, чтобы находить необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Эти слова приводит Паустовский, писатель по своему восприятию мира,

и в особенности русской природы, во многом близкий художнику Пименову.

Сила искусства Юрия Пименова — и в этом смысл его книги — в умении уловить и передать эту «необыкновенность обыкновенного», поэзию ускользающего сегодняшнего дня с его будничными, но по существу значительными приметами времени.

Для Пименова одно из мерил большого искусства, искусства образного, — это трудность его создания, трудность творческого акта, творческого процесса, всегда сопряженного и с муками и с сомнениями.

Книга Пименова с новой силой убеждает, что дорога художника — дорога трудная, дорога с ухабами. «Только трудом можно стереть след труда», — записывает в своем дневнике Роже Мартен дю Гар изречение художника Уистлера.

Воздушная легкость пушкинских строф, простота чеховских рассказов — «короче воробьиного носа», свободная манера карандашных рисунков Валентина Серова, «невесомость» танца Улановой, — это все кажущаяся легкость, достигаемая терпеливым, долгим, каждодневным трудом, стирающим его следы.

Пименов не только поэт — художник деятельного или задумчивого Подмосковья с его убегающими вдаль проселочными дорогами и широкими шоссе, заливыми лугами Москва-реки, с его заокскими далями. Пименов много ездил, «бродяжничал» по свету, многое видел за границами нашей страны. Все это отразилось и в его путевых блокнотах, в его картинах, запечатленное в слове («Несколько дней в Париже», «Античная и обыкновенная Греция», «Аэродромы и полеты», «Короткий рассказ о Лондоне», «Древняя и новая Индия» и другие).

Но и в незнакомом мире — среди древних камней греческих развалин, мрамора архитектурных руин, на набережной Сены с рядами ставших уже хрестоматийными букинистических лавок, среди «превосходных парков и плохих памятников» Лондона, на улицах-каналах Венеции, среди шумных базаров старого Дели, ночных европейских городов с россыпями огней — художника влечет прежде всего обыкновенное, простое. Его внимание привлекают и черноволосые смуглые мальчики в Афинах, и греческая школьница на Эгине с «трогательной чернильницей» и связкой учебных книг, и «нежные» молодые люди, расположившиеся на лондонской набережной, «похожие на моло-

дых людей во всем свете», и строительные рабочие с их энергичной походкой, и театральные швейки с балетными пачками на коленьях, и крестьянки с натруженными, рабочими руками — словом, тот хороший народ, который, по его словам, есть во всех странах, во всех уголках мира.

Не то, что разъединяет, а то, что связывает простых людей всего мира — «похожесть обыкновенных человеческих чувств и жизни», — вот что дороже всего художнику, очарованному поэзией обыкновенного.

Почти все сказанное в книге о живописи с таким же правом относится ко всем видам искусства, в частности к литературе.

Как и в станковых вещах, театральных декорациях, графике, так и в литературных произведениях нетерпим, с одной стороны, розовый лак, слашавая пошлость ремесленничества, вялый и бесцветный натурализм, традиционность (а не традиция), приводящая к эпигонству, так и, с другой стороны, легкая погоня за неверной, всегда изменчивой, непостоянной модой, искусственной формальной новизной.

Книга Юрия Пименова — это книга о большом искусстве реализма, о реализме «в своем высоком и чистом понимании», о реализме, практически неисчерпаемом, «имеющем безграничные возможности и безграничное развитие», не нуждающемся «даже ни в каких приставках «нео», так как реализм — это не понятие формы, а понятие внутренней сути жизни и искусства о жизни», внутренней правды художественного обобщения. Это не реализм, отлившийся в законченные, раз навсегда найденные формы, это реализм вечно обновляющийся, живой, движущийся, бегущий по неостывшим следам жизни, дышащий современностью и потому в каждую эпоху всегда новый, всегда неожиданный.

Пименов стремится за ординарным, незаметным, скромным увидеть внутренний смысл действительности, почувствовать скрывающийся за внешним большой и глубокий подтекст. В его творчестве есть что-то от реализма Чехова, реализма «простейшего случая» (определение это Г. Бялого), реализм каждого дня.

Книга, проиллюстрированная репродукциями с картин разных мастеров, в том числе и самого Пименова, включает много его зарисовок, лаконичных, острых, метко схваченных путевых набросков из блокнота, как бы подкрепляющих основные мысли автора.

Поразительно, насколько близка манера художника к стилю его письма. Будто рисунки и слова написаны одним пером. Идея художника о близости и перекличке разных видов искусств, взаимосвязанных, опирающихся друг на друга, получает в его книге наглядное воплощение.

Можно спорить с некоторыми положениями автора, можно не соглашаться, что «Не ждали» Репина сильнее волнует, чем «чистота мрамора Кановы» или «бронзовые строчки» Эредиа, можно досадовать на ряд повторений в этой живой, выверенной прозе, можно сетовать на порой утомительное перечисление имен хороших и разных художников, но нельзя не поддаться очарованию этой книги, написанной умным, зорким и пронизательным художником.

«Самый смысл искусства живописи, — объяснял К. Юон, — заключен уже в чудесном слове, его определяющем — «живопись», т. е. живое письмо, или письмо о живом». Этим даром «живого письма» и одновременно «письма о живом» обладает Пименов-художник и Пименов-литератор, автор книги «Необыкновенность обыкновенного».

Л. ПОЛЯК.

★

Политика и наука

ОТ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Краткая история СССР в двух частях. Часть первая. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1963. 536 стр. Часть вторая. От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней. «Наука». М.—Л. 1964. 632 стр.

На прочном фундаменте исторического материализма, на основе большого количества новых источников советские исследователи заново пересмотрели всю историю

нашей многонациональной страны, всех ее народов, выдвинули и разработали широкий круг проблем, которые не ставились и не могли ставиться буржуазной историографи-

ей в силу ее классово ограниченной и идеалистической методологии. Советская наука разоблачила, как антинаучные, произвольные противопоставления Востока Западу, вредные расовые, европоцентристские и им подобные буржуазные «теории», проникнутые духом колониализма, преодолела ошибочные тенденции умаления роли народных масс в развитии общества, попытки представить историю как результат деятельности царей, полководцев, выдающихся личностей.

Итоги этой деятельной, многогранной работы советских ученых, особенно плодотворной после XX съезда КПСС, освободившего науку от пут культа личности, обобщены в первой части «Краткой истории СССР». Она начинается с рассказа о важном историческом факте, установленном советскими учеными, что юг СССР — Закавказье, Средняя Азия и Причерноморье — входил в ту зону, где сотни тысяч лет назад произошло выделение человека из мира животных. Читатель знакомится со следами одного из древнейших в мире поселений — Сатани-дар (Холм Сатаны), открытого советскими археологами на территории Армении. Оно относится к шельскому времени — первой общепризнанной археологической эпохе.

Анализ произведений античных писателей и материалов археологии позволил авторам осветить замалчиваемые буржуазной историографией факты, что Урарту и некоторые другие рабовладельческие общества на территории юга СССР оказали существенное влияние на развитие мировой цивилизации.

Центральное место в книге справедливо отводится истории русского народа, ставшего, как раскрыто здесь, ядром, вокруг которого сложилось и упрочилось многонациональное Российское государство. Авторы показывают, что с выходом на политическую арену российского пролетариата русский народ сплотил в революционной борьбе трудящихся всех наций нашей необъятной страны.

Всесторонне и интересно выяснены в книге — в свете достижений советской исторической науки — коренные вопросы становления, развития и гибели феодальной формации. О сложности этой задачи можно судить уже по тому, что в дворянской и буржуазной историографии приобрел прочность предрассудка взгляд, будто бы Рос-

сия из-за специфики ее исторического развития не знала феодализма. Разработке проблем российского феодализма мешали и некоторые ошибочные концепции, имевшие хождение среди советских историков.

Опираясь на научную трактовку проблемы феодализма в России В. И. Лениным, показавшим, что феодальная формация в нашей стране существовала с IX века до шестидесятих годов XIX века, когда пало крепостное право, историки-марксисты исследовали основные этапы этого тысячелетия. И хотя по некоторым вопросам этой обширнейшей темы еще идет творческая дискуссия, главные аспекты проблемы советскими учеными выяснены.

На обширном фактическом материале авторы раскрыли, что могучая Киевская Русь возникла в результате закономерного развития производительных сил и производственных отношений восточнославянского общества. Они показали беспочвенность, научную несостоятельность писаний современных норманистов, тщетно пытающихся гальванизировать измышления дворянской и буржуазной историографии (от Карамзина до Ключевского) о «создании» Киевского государства варяжскими пришельцами.

Авторы преодолели связанные с культом личности субъективистские ошибки работ сороковых и первой половины пятидесятих годов, сводивших по сути дела историю Русского государства XV—XVIII веков к деятельности Ивана III, Ивана Грозного, Петра I и других правителей. Например, безудержно восхваляя реформы Грозного, некоторые историки замалчивали не только личные пороки этого зловещего царя, но также и тот факт, что острое опричнина — этого карательного аппарата, созданного Грозным, — было направлено против народных масс.

При освещении истории нерусских народов, вошедших в разное время в состав Российского государства, авторам удалось избежать односторонности, присущей многим прежним работам на эту тему, показать не только объективно прогрессивный характер присоединения каждого из этих народов к России, но и выявить реакционность колониальной политики царизма, помещиков и капиталистов.

В главах, рисующих Россию эпохи империализма, получил отражение материал широких дискуссий, проведенных во второй половине пятидесятих и в начале шестиде-

сятых годов советскими историками и экономистами по вопросам об объективных предпосылках социалистической революции в России, о природе российского империализма — в частности, о трактовке термина «военно-феодальный империализм», введенного в науку В. И. Лениным, — а также о роли иностранных капиталов в общественно-экономическом и политическом развитии страны, о том, была ли дореволюционная Россия полуколонией, о степени и характере развития в царской России государственно-монополистического капитализма.

Содержащийся в книге анализ классовых противоречий и битв в каждый из периодов дооктябрьской истории позволяет читателю проследить, как на протяжении почти двух веков росло и крепло революционное движение в России, как наша родина стала центром международного рабочего движения, как созданная Лениным партия большевиков подняла русских рабочих и крестьян, все угнетенные народы страны на борьбу против самодержавия, а затем — на победоносную социалистическую революцию.

Надо ли говорить, какое важное значение имеет научное обобщение и популяризация опыта социалистического и коммунистического строительства в СССР. Между тем до последнего времени это делалось плохо. В годы культа личности был канонизирован «Краткий курс истории ВКП(б)», в котором умалывалась роль советского народа, Коммунистической партии, В. И. Ленина в создании Советского государства и всемерно выпячивалась роль Сталина, который объявлялся единственным организатором победы в гражданской войне, творцом СССР, гениальным и непогрешимым руководителем, величайшим полководцем мира и т. п.

В рецензируемой работе подытожены достижения в изучении истории советского общества после XX съезда КПСС. Путь советского народа от завоевания власти рабочим классом до развернутого строительства коммунистического общества показан в них во всем его величии. Вместе с тем — поскольку советский народ впервые прокладывая дорогу к коммунизму, долгое время вел свою титаническую борьбу в одиночку, среди враждебного капиталистического окружения — в книгах показано, что путь этот не был гладким, спокойным, свободным от ошибок.

Читатель видит, что успех Октябрьского вооруженного восстания был обусловлен тем, что за большевиками шло большинство народа. Мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров потерпели крах потому, что от них отвернулся народ. Победа в гражданской войне была одержана и интервенты изгнаны благодаря тому, что на борьбу с ними по зову Коммунистической партии поднялись трудящиеся массы города и деревни, сплотившиеся вокруг рабочего класса. Шаг за шагом прослеживая трудный и сложный путь социалистического строительства, изучая ход Великой Отечественной войны и последующее развитие Советского Союза, авторы в поле своего зрения неизменно держат народ — этого подлинного творца истории.

В книгах ярко обрисована неустанная борьба за мир, которую Советское государство ведет с первого дня своего возникновения, отстаивая ленинский принцип мирного сосуществования государств с различными социальными системами.

Устанавливая периоды развития советского общества, авторы выделяют такие главные вехи, как переходный от капитализма период, построение развитого социалистического общества и наконец период развернутого коммунистического строительства. Индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства, построение материально-технической базы коммунизма показаны как необходимые этапы строительства коммунизма. Много места уделено не только развитию экономики и государства, но также культуры, искусства, литературы.

Отрадно видеть в книгах восстановление доброго имени многих виднейших деятелей, принадлежавших к старой ленинской гвардии, талантливых полководцев, выдвинутых народом. Вместе с тем в книгах выявлены ошибки Сталина и в ходе февральской буржуазно-демократической революции, и в дни Октябрьского вооруженного восстания, и в годы гражданской войны; рассказано о его ошибках в период образования СССР, во время коллективизации, о его роковых просчетах в начале Отечественной войны, о чарушениях законности, необоснованных репрессиях, отступлениях от ленинских норм партийной и советской жизни. При этом говорится о причинах и условиях возникновения культа личности Сталина. Культ личности был обусловлен рядом причин, но он не вытекал с необходимостью из закономер-

ного хода развития социалистического общества, он был чужд программным началам Коммунистической партии. Именно поэтому он не смог изменить природу советского строя и должен был быть неизбежно развенчан и осужден.

Авторы подробно и всесторонне освещают историю СССР в последнее десятилетие. Здесь перед ними были немалые трудности в оценке значения реорганизации управления промышленностью и сельским хозяйством, а также перестройки партийных и советских органов, которые были проведены в последние годы. В их распоряжении не имелось достаточно данных для оценки опыта этой перестройки. Теперь, в свете решений октябрьского и ноябрьского Пленумов ЦК КПСС (1964 года), когда партия, изучив этот опыт, осудила отход от ленинского принципа построения партийных и советских органов по территориально-производственному принципу, ясна вся беспочвенность и непродуманность этой перестройки.

Книги, названные в подзаголовке этой статьи,— показатель успехов советской исторической науки в создании обобщающих трудов, в которых широкий читатель

может найти научное освещение исторического пути и опыта советского народа.

Этот общий вывод не означает, что рецензируемая работа лишена недочетов. «Краткая история СССР», несомненно, представляла бы еще большую ценность, не будь в некоторых ее главах преобладания описательности. Закономерности развития советского общества, особенно в период развернутого строительства коммунизма, выражены иногда недостаточно рельефно. В меньшей степени этот упрек можно отнести и к некоторым главам вышедшей недавно книги «История СССР. Эпоха социализма».

В первой части «Краткой истории СССР» нет необходимой четкости в изложении истории российского абсолютизма. Получается, будто бы абсолютизм — это одно, а самодержавие — другое, хотя это синонимы.

Но это частности. В целом же советские и зарубежные читатели получили содержательный и интересный труд по истории нашей родины.

**А. ДАВИДОВИЧ,
С. ПОКРОВСКИЙ.**

★

НЕОБЪЕКТИВНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Л. А. Анохина, М. Н. Шмелева. Культура и быт колхозников Калининской области. «Наука». М. 1964. 354 стр.

Название этой книги вызвало в памяти многое, сразу повеяло чем-то родным и близким: Калининская область — моя родина. Листаю книгу, кое-что читаю, рассматриваю иллюстрации... Сколько знакомых названий сел и деревень! Да что там сколько! Почти все знакомо! Значит, надо читать по порядку, с первой страницы. И не потому, что книга о родных местах. Как-то не приходилось мне встречать подобные исследования культуры и быта нашей деревни.

В предисловии авторы отмечают, что делают попытку выявить сущность новых явлений, которые характерны для современной колхозной деревни. А выбор Калининской области как объекта изучения определился тем, что она и в экономическом и в культурном отношении типична для центральных областей России. И это, конечно, правильно. Но вот...

Авторы предупреждают, что основным объектом исследования были четыре колхо-

за, совершенно безлесных. А ведь Калининская область характерна залесенностью. И еще важное замечание авторов: «Эти колхозы — крупные, экономически крепкие, растущие хозяйства, типичные для своих районов».

Короче говоря, за основу изучения взяты лучшие хозяйства не характерных для области районов. Это уже настораживало... Почему только лучшие? Или такую именно цель и ставили авторы — изучить самые лучшие? Но нет же! Речь идет о культуре и быте колхозников области, типичной для большой зоны России.

Но приступим к чтению книги.

Вот она — не так уж далекая старина: конец прошлого и начало нашего века. Малоземелье, но очень-то веселые урожаи. Свои обычаи, свои обряды, свои беды, свои маленькие радости. Авторы словно ведут тебя по деревням и полям, напоминают о прошлом.

Много любопытного подмечено авторами и в жизни современной калининской деревни: прослежены пути, по которым шли изменения в быту и культуре крестьян, в экономике жизни. Коллективное хозяйство во многом изменило труд и быт сельского населения. Люди стали поголовно грамотными, образование в семь классов для многих юношей и девушек теперь уже не образование. А как сильно пополнился отряд сельской интеллигенции за счет учителей, агрономов, механизаторов, медицинских работников! Много, очень много перемен за короткий исторический срок!

Сходные перемены произошли, конечно, и в любой другой области нашей страны. Однако в книге нашлось место для показа и конкретных особенностей Калининщины.

Но что такое?.. Читаю, перечитываю... Вроде бы знакомо, но что-то не очень подходит на мой родные места. Кое-что даже не узнаю, хотя в последние годы изрядно побродил в том краю, наблюдал, беседовал с жителями. И поселки вроде бы не совсем такие, как на иллюстрациях в книге, и электричество ведь далеко еще не во всех деревнях, а душ для колхозников и доярок на животноводческих фермах — явление чрезвычайно редкое.

А вот и совсем уж не то... В колхозе «Смычка» Вышневолоцкого района между деревнями Сеньково и Богатково возник новый ряд домов. Колхозники говорят, что они уже «потеряли счет новым домам». Но ведь не могли так сказать колхозники. Не могли! Ведь пальцев рук хватило бы для подсчета построенных здесь новых домов.

Фальшь небольшая, но после нее начинаешь сомневаться и в других фактах. Научным работникам надо очень тщательно верить то, о чем они пишут. Если они были в колхозе «Смычка», то могли убедиться, что новых домов там появилось куда меньше, чем убавилось старых.

Много места в книге отводится проблемам этого края. Но некоторые выводы не всегда отвечают действительности. Хорошо известно, что почти во всех колхозах области проблема номер один — кадры. В большинстве колхозов людей маловато, поэтому они не успевают своевременно обрабатывать поля, запаздывают с уборкой урожая, что влечет большой недобор продукции.

Авторы же этой книги пришли к выводу, что проблема кадров уже отпала. Они так и пишут: «Сейчас, как правило, остро не-

достатка кадров в колхозах уже нет. И если несколько лет назад колхозники с большим интересом подсчитывали, сколько людей возвратилось в деревню из армии или пришло из города, то теперь этот вопрос уже утрачивает свою злободневность».

Странный вывод. Думается, что девять председателей колхозов из каждых десяти не согласятся с ним. Да вот и председатель Калининского облисполкома Ф. Казнов в статье, опубликованной «Советской Рос- сией» 25 июля 1964 года, отмечает, что только на уборку льна колхозы области должны ежедневно посылать 178 тысяч рабочих, но в растениеводстве занято всего 111 тысяч. А ведь люди в этот период нужны и на других работах в полеводстве. Так что вопрос с кадрами для колхозов Калининской области остается еще очень злободневным.

Анализируя экономику, авторы оказались в плену шаблонных установок, шаблонного планирования, имевших место в последние годы. А ведь ученым так не полагалось бы...

С удивлением узнаешь, что колхозы области снимают урожай зерновых от восьми до двадцати пяти центнеров с гектара. Но ведь в целом по области, как это видно из опубликованных в печати сведений, они не всегда достигают и восьми центнеров — где уж тут говорить о двадцати пяти.

Авторы утверждают, что урожаи картофеля, оказывается, колеблются от ста пятидесяти до двухсот восьмидесяти центнеров с гектара. А ведь в действительности-то не снимают и половины названного (см. справочники Статистического управления при Совете Министров РСФСР).

А вот еще: «Несмотря на сравнительно хорошие урожаи клевера (до 35—40 центнеров сухого сена с 1 га), их посевы не могли решить кормовую проблему...»

Авторы умиляются, что посевы клеверов резко сократились, зато посевы кукурузы увеличились во много раз и занимают уже 94 000 гектаров. А ведь читать такое грустно. Если бы авторы действительно беседовали по этим вопросам с колхозниками, вникли бы хоть немного в экономику хозяйства, то они, наверное, не пошли бы на поводу шаблона. Могу «порадовать» их: уже в 1963 году, когда книга только писалась, колхозы Калининской области ровно наполовину сократили посевы кукурузы. А в 1964 году, когда книга была завершена,

большинство хозяйств совершенно отказалось от посевов кукурузы и сахарной свеклы. В целом по области в 1964 году кукурузой было засеяно всего лишь 4200 гектаров.

И еще об одном несогласии с авторами хотелось бы сказать. В книге во многих местах усиленно подчеркивается, что труд и быт колхозников Калининщины мало чем отличается от городского, что, мол, с введением денежной оплаты быт колхозной семьи еще более приблизился к быту горожан. И наконец «...насушенные вопросы материального благополучия для подавляющего большинства колхозных семей можно считать решенными».

Авторы, надо думать, хорошо знают, что в реальной-то жизни все это далеко не так. Нет сомнения в большом прогрессе культуры и быта колхозного села Калининщины, но нет оснований утверждать, что вопросы материального благополучия там уже решены...

И вот книга прочтена. Кое-чем ты доволен. Но все равно остаешься убежден, что такие книги очень нужны, что они сыграют значительную воспитательную роль,

помогут лучше осмыслить нашу сегодняшнюю жизнь.

Но почему тебя все же не покидает чувство некоторой неудовлетворенности? Вероятно, авторы добросовестно собирали факты. Свели в таблички данные подворных опросов. Но беда, думается, в том, что кругозор был ими искусственно сужен, для наблюдений были выбраны не типичные районы и хозяйства Калининской области, в результате обобщения оказались не совсем объективны.

Если бы авторы расширили круг наблюдений, они увидели бы, например, в соседнем с Бежецким Бологовском районе много нового для них, увидели бы и отстающие колхозы и деревни. И, наверное, им захотелось бы пораздумать о причинах столь неравного развития отдельных сел соседних районов одной области, что никак нельзя признать нормальным в нашей советской действительности.

Для подобного рода работ нужно больше наблюдений, сопоставлений, тогда и обобщения будут более глубокими, жизненными.

Л. ИВАНОВ.



ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «КОЛОКОЛА»

«Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Вольная русская типография. 1857—1867. Лондон—Женева. Факсимильное издание в двенадцати выпусках. М. 1962—1964.

Вышло в свет факсимильное издание «Колокола» — первой русской бесцензурной газеты, редакторами и издателями которой были А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Впервые полностью переизданы ставшие библиографической редкостью все 245 номеров «Колокола», выпущенные за десять лет его существования (вып. I—IX), а также приложения к нему — листки «Под суд!» и «Общее вече» (вып. X). Составлены указатели (в том числе впервые — предметный указатель), облегчающие пользование изданием (вып. XI и XII).

Научное значение этого издания велико. Оно делает возможным широкое изучение «Колокола» — газеты, отражавшей многообразные стороны русской жизни в течение десятилетия, насыщенного политическими и революционными событиями. Как самостоятельная тема «Колокол» не изучался и до сих пор, по словам академика М. В. Нечкиной, «живет как частная тема преимущественно в главах герценовской (только!) биографии или как отдел истории русской журналистики».

Безусловно, одним из существенных препятствий к изучению «Колокола» была трудность доступа к этому источнику, имевшегося лишь в основных архивных хранилищах Москвы и Ленинграда.

Но вряд ли только этим можно объяснить создавшееся в историографии «Колокола» положение. Не совсем помогают этому объяснению и те причины, которые называет в предисловии к настоящему изданию академик М. В. Нечкина — «и тормозящее воздействие концепции М. Н. Покровского, и недооценку Герцена, Огарева и их «Колокола» в первые полтора-два десятилетия существования советской исторической науки, и многое другое...»

Очевидно все-таки, что для периода сороковых — пятидесятых годов отсутствие глубоких обобщающих работ о «Колоколе»

объясняется не столько влиянием Покровского или недооценкой Герцена, сколько «многим другим».

Некоторые соображения по этому поводу хотелось бы высказать.

Еще лет пятнадцать—двадцать тому назад в нашей исторической науке были темы, изучение которых находилось как бы под запретом или во всяком случае могло идти лишь в направлении резко отрицательных оценок, данных Сталиным. Такой темой, к примеру, было революционное народничество семидесятых—восьмидесятых годов XIX века.

Революционное движение шестидесятых годов не принадлежало к их числу. Революционеры-шестидесятники имели исключительное право перед последующим революционным поколением именоваться предшественниками пролетарской партии в России. Трудно назвать область истории, где в тот период исследование шло бы более интенсивно, где было бы защищено такое количество диссертаций, посвященных революционерам-демократам шестидесятых годов, в том числе и Герцену,— их экономическим, политическим, философским, историческим, педагогическим и прочим взглядам. Большой приток исследовательских сил сам по себе дал результаты. В разработке проблем революционного наследия шестидесятых годов были достигнуты успехи — окончательно развенчаны либеральная концепция движения, а также концепция Покровского с ее нигилистическим отношением к революционным традициям прошлого, утверждена революционно-демократическая сущность движения шестидесятников, их противоположность либерализму. Но в этой, казалось бы, особенно благоприятной области исследования не могли не сказаться оценки и положения, господствовавшие в то время в исторической науке как официальные, некоторые общие тенденции в ней.

Исключительность положения революционеров шестидесятых годов как предшественников социал-демократии обосновывалась не только принижением роли их последователей — народников семидесятых — восьмидесятых годов, но и определенным искусственным возвышением их самих над движением разночинского периода.

Справедливо подчеркивая революционно-демократическую сущность движения шестидесятых годов, историки в то же время

обедняли его характеристику в целом, раскрывая ее только с точки зрения этих двух слов — «революционность» и «демократизм». Не то чтобы все остальное — не подходившее под это определение — замалчивалось или отрицалось. Нет, оно просто объявлялось второстепенным, несущественным и, следовательно, не нуждающимся в серьезном анализе. Так было, например, с утопическим социализмом, который в идеологии революционеров-разночинцев неразрывно сливался с демократизмом. В то время утопический социализм принято было рассматривать как определенную слабость во взглядах революционеров, как отступление от революционного демократизма. Признавая вслед за Лениным, что социалистические идеи служили лишь формой выражения реальных стремлений крестьянства к уничтожению феодально-крепостнических пережитков, исследователи не учитывали того, что форма эта не была пассивной, что она активно воздействовала на демократическое содержание. Круг вопросов исследования общественного движения шестидесятых годов чрезвычайно сужался, обеднялась его тематика. Невозможно представить себе какой-нибудь наш исторический журнал, скажем, за 1948 или 1951 год, который напечатал бы статью, где анализировались бы анархистские иллюзии Герцена, их место в его политической программе... Или очерк о взаимоотношениях Герцена и Бакунина, раскрывающий не только принципиальные отличия, но и точки соприкосновения во взглядах этих деятелей разночинского периода движения.

Все это не могло способствовать постановке широких задач исследования и стремлению рассмотреть движение шестидесятых годов во всех его проявлениях, в его внутренних связях с последующим периодом освободительной борьбы.

Вот почему, думается, тема «Колокола» — так, как ее ставит сейчас академик М. В. Нечкина, «Колокола» как отражения реальной русской жизни во всем ее многообразии и противоречиях — не могла в то время воплотиться в исследовании. Ведь это означало бы отказ от определенного схематизма, односторонности в подходе к революционно-демократическому движению, неизбежно означало бы выдвижение ряда новых вопросов, которыми не принято было в то время заниматься

Исследователи, затрагивавшие тему «Ко-

колокола», большей частью трактовали его как орган чистого революционного демократизма. Чистого — в смысле очищенного от утопического социализма, от всего народнического. Характеристика «Колокола» в книгах Д. И. Чеснокова, Я. Эльсберга в основном ограничивается изложением его политической программы, его отношением к крестьянской реформе. Что же касается социалистических идей, то они объявляются несущественными. Так, Я. Эльсберг, сбрасывая со счета теоретические статьи Герцена об общинном социализме, утверждал, что в «Колоколе» «народническую утопию разрабатывал Огарев». «Разумеется, — утверждал автор, — сила и влияние «Колокола» определялись не народническим прожектерством Огарева, а сильной, энергичной, смелой публицистической речью Герцена...» По словам Б. П. Козьмина, относящимся, правда, к раннему периоду издания газеты, Герцен избегал касаться на страницах «Колокола» теории «русского социализма».

В очерке о «Колоколе» (в книге об истории журналистики) А. Г. Дементьев, хотя и признает важное место в «Колоколе» идей утопического социализма, заявляет, вполне в духе времени, что сила и значение «Колокола» «не в идеализации русской общины и учении о самобытности исторического развития России, а в тех практических требованиях, которые были облечены в форму «русского социализма». Здесь тот же отрыв формы от содержания, противопоставление их. Спрашивается, были бы эти «практические требования» «Колокола» столь последовательны и радикальны, не будучи облеченными в форму «русского социализма»?

Недооценка проблемы крестьянского социализма в идеологии революционных демократов шестидесятых годов, невнимание к нему укоренились довольно прочно. Об этом, в частности, свидетельствует и предисловие к настоящему изданию.

Показывая, какие широкие возможности открывает для исследователя научное издание «Колокола», академик М. В. Нечкина называет много тем, ждущих своей разработки. Однако их перечень говорит, что автор выдвинутую им самим проблему отражения «Колоколом» русской действительности пятидесятых — шестидесятых годов сводит к отражению революционной ситуации в этот период. Выдвигая вопросы практической революционной борьбы вплоть до таких, как отражение «Колоколом» «недо-

вольства в Финляндии», предисловие обходит вниманием проблемы идеологии. В нем даже не упоминается, как тема, еще ждущая исследования, проблема формирования русского крестьянского утопического социализма... А ведь речь идет о «Колоколе» — газете, в которой ее редакторы и издатели видели «прежде всего орган русского социализма».

А представления «Колокола» о судьбах капитализма в России? А понимание роли народных масс? А проблема политической борьбы и государства в его трактовке? Исследование того, как даются в «Колоколе» эти вопросы, намного обогатило и освежило бы наши представления об этом этапе борьбы, о ее соотношении с последующим движением семидесятых—восьмидесятых годов прошлого века.

В предисловии убедительно показывается ценность и многогранность «Колокола» как источника. Историк, экономист, литературовед, юрист, журналист — все они найдут в «Колоколе» «нечто созвучное своим интересам».

Думается, что «Колокол» может быть не только материалом для исследования, но и книгой, способной рассказать современному читателю много любопытного.

Трудно представить, чтобы газета, в свое время так много значившая в жизни целого поколения, проникавшая, несмотря на все запреты и преследования, и в самые глухие углы России, и в Зимний дворец, — чтобы такая газета ничего не сказала бы людям иного времени, не вызвала бы у них каких-либо жизненных ассоциаций... Слишком близки нам «основные догматы» «Колокола» — «везде, во всем, всегда быть со стороны воли — против насилия, со стороны разума — против предрассудков, со стороны науки — против изуверства, со стороны развивающихся народов — против отстающих правительств».

Это правда, что круг любителей исторического чтения у нас не так велик. Но объясняется это — в значительной степени — не потерей интереса к истории, а недостатками той исторической литературы, которой может пользоваться широкий читатель — и литературы научно-популярной, и исторической беллетристики. Ее уровень — в смысле постановки научных задач и литературного изложения — зачастую много ниже, чем это нужно для удовлетворения запро-

сов современного читателя. А нужно для этого многое — соединение в авторе таланта исследователя с популяризаторскими и литературными способностями.

Но даже если бы современный читатель располагал в изобилии историческими книгами, сочетавшими научность с художественным изложением, они не заменили бы ему прикосновения к живой истории. А «Колокол» — кусок такой истории, кусок русской жизни с ее главными проблемами, муками одиночества передовых людей, будивших и наконец разбудивших общество.

Публицистика «Колокола» — это особый вид литературы, где историческая достоверность, идейная насыщенность сочетаются с эмоциональным художественным изложением.

Просматривать «Колокол», читать его будет интересно всем, кто любит книги и не безразличен к истории.

Конечно, не все в «Колоколе» будет равноценно интересно читателю-неспециалисту, и вряд ли он станет читать его подряд как роман. Очевидно, многие перелистают, не останавливаясь, экономические статьи Н. П. Огарева, статьи Искандера (Герцена), посвященные общинному социализму и другим теоретическим вопросам (правда, большинство последних, написанных в неприужденной форме писем к друзьям или противникам, воспринимаются легко).

Но внимание тех, кто возьмет в руки выпуски «Колокола», непременно привлечет блестяще изложенная хроника революционных событий тех лет — рассказы о крестьянских волнениях, студенческих беспорядках, восстании в Польше. Не уступая лучшим образцам исторической беллетристики, эти страницы «Колокола» богаты размышлениями, дающими возможность понять духовные устремления передового поколения той эпохи.

Для самого широкого читателя интересны будут и опубликованные в «Колоколе» очерки мемуарного и биографического характера — такие, как о декабристах, артисте М. Шепкине, художнике А. Иванове, Гарибальди, Чернышевском и многих других замечательных людях того времени.

А сколько сатирических портретов властью имущих дал «Колокол»! Впервые в русской печати он публично назвал подлинные имена всех этих министров, генерал-губернаторов, обер-полицмейстеров — подлецов, угод-

ников, взяточников и казнокрадов. Герцен не просто «разоблачал», как принято теперь говорить, — он убивал словом, и этого слова боялись всемогущие правители тогдашней России.

Вряд ли кто пропустит и такой постоянный отдел «Колокола», как «Смесь». Краткие документальные (составленные на основании писем из России) истории, говорящие обо всем «дряхло, отжившем, безобразном, раболепном, невежественном в России», на похороны которого звал «Колокол» всех живых. Перед читателем предстанет крепостная Русь, ее тени в пореформенном обществе. Сущность самодержавно-крепостнического строя с его насилием, злоупотреблениями властью станет для него яснее, чем если бы он познакомился с некоторыми специальными научными работами на эту тему.

В «Смесь» попадали самые разные случаи современной русской жизни. Вот «Колокол» рассказывает о судьбе Анны Янсон — эстонской девушки, которую нужда толкнула в публичный дом. Протесты Анны, не желавшей смириться со своим положением, ее стремление вырваться на волю привели к тому, что власти объявили ее сумасшедшей и поместили в смиренный дом. Там, так и не найдя защиты, она погибла от тифозной горячки.

А вот история двух крепостных — скрипача и виолончелиста — по-видимому, двух незаурядных музыкальных дарований. После их концерта в Москве о них с восторгом писала французская газета «Debats». Однако выкупить их на волю не удалось: помещику для его дочерей нужны были учителя музыки.

Написанные сжато, но энергично и выразительно, эпизоды «Смеси» являются теми живыми штрихами, без которых нельзя увидеть, почувствовать картину русской жизни того времени.

Листая «Колокол» сейчас, спустя столетие с его издания, читатель не раз поразится свежести его публицистики, многие идеи которой звучат очень современно. Раздумья о значении свободного слова, о роли писателя и общественного деятеля, об ответственности каждого члена общества за все, что в нем происходит, — это и многое другое читается иногда с таким чувством, как будто Герцен и Огарев наши современники. Вот, например, что написал Герцен в

своем «Ответе русской даме», призывавшей его не вмешиваться в борьбу, так как Россия и без него сама справится со своими бедами. «Что такое сама, — спрашивает он. — Да разве вы, я, все проснувшееся, все говорящее, все недовольное... не принадлежит к этой самости. не составляет ее сводной личности? Разве она не нами развивается, разве не мы ею развиты?»

Это современное звучание многих положений «Колокола» не удивительно. Он весь

был устремлен вперед. Его редакторы видели в нем орган «юной России, России будущего и надежд».

Исторические журналы, очевидно, дадут подробный разбор и оценку работы исследователей, подготовивших это издание. Здесь же хотелось высказать лишь несколько мыслей о современном научном и литературно-общественном значении его.

В. ТВАРДОВСКАЯ.



СОХРАНИТЬ И УМНОЖИТЬ БОГАТСТВА ПРИРОДЫ

Осетровые южных морей Советского Союза (Биология, промысел, воспроизводство). Труды Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. Сборник 1. 411 стр. Сборник 2. 240 стр. Сборник 3. 269 стр. «Пищевая промышленность». М. 1964.

В тридцати трех статьях сборников подводятся итоги большой работы по изучению биологии осетровых рыб, их промысла, существующих в настоящее время запасов, биотехники разведения осетровой молоди на специальных заводах.

По форме изложения и при тираже в одну тысячу экземпляров сборник едва ли будет доступен массовому читателю. Именно по этой причине и следует информировать общество о содержании сборника, потому что проблема сохранения рыб из семейства осетровых — белуги, осетра, севрюги, шипа, стерляди — не безразлична для широкого круга домашних хозяек и едоков.

Говоря о судьбах осетровых рыб, приятнее было бы сослаться на какую-либо более популярную книгу, но, увы, таких не имеется. Научная литература на эту тему велика: в приложенном к сборнику библиографическом справочнике указано 1598 работ, но почти все они предназначены для узкого круга специалистов.

У нас напечатано множество увлекательных книг (главным образом переводных) о всякой заморской экзотике: природе Бразилии, Африки, Австралии, о ловле диких зверей для зоопарков, об аквалангистах, коралловых рифах, осьминогах и каракатицах, о том, как у Коморских островов был пойман «старина четвероног», и о том, как «рыбы поют в Укаяли», и о том, что «у крокодила есть друзья». Но наше внимание равнодушно скользит мимо того,

что находится неподалеку, добывается пока что миллионами пудов и подается на сковородке к обеденному столу. Такие вещи считаются будничными и неинтересными.

А осетровые рыбы и впрямь чудо природы. В мезозойскую эру, сто миллионов лет назад, они существовали рядом с динозаврами, птеродактилями и бронтозаврами. Все гигантские ящеры давным-давно вымерли, не перенеся смены геологических эпох, и только скелеты их стоят в палеонтологических музеях, напоминая нам об изменчивости форм жизни на нашей планете. А осетры не разделили судьбы своих сверстников, стойко перенесли все потрясения: они живут по сию пору, обладают крепким здоровьем и достаточной жизнеспособностью, успешно конкурируя с костистыми рыбами.

Но представители древнего племени уцелели не везде. Наиболее богаты осетровыми рыбами Каспий и Азовское море. Природа создала здесь исключительно благоприятное сочетание богатейших морских пастбищ с удобными нерестовыми реками (Волга, Кура, Урал, Дон). На хорошо прогреваемых солнцем морских мелководьях с превеликим множеством донных червячков, рачков, моллюсков и мелких рыбешек осетровые живут постоянно и нагуливают килограммы, а в голодную реку идут метать икру и производить потомство.

В других водоемах земного шара осетровые водятся в малом числе или не встречаются вовсе. Такого осетрового стада, как в наших южных морях, нет нигде в мире.

Но и на наше осетровое стадо надвинулась беда. Настолько она серьезна, что тридцать лет назад, когда стали известны проекты постройки электростанций на Волге, Куре и на Дону, никто из ихтиологов не мог с уверенностью сказать, продлится ли существование древнего и знатного рыбьего семейства или пресечется у нас на глазах.

Дело в том, что белуги, осетры, севрюги и шипы не могут отвыкнуть от хождений в реки. Их икра может развиваться только в пресной воде, и обязательно — текучей.

Если вы не забыли из геометрии, как вычисляется поверхность шара и его объем, то вы знаете, что чем меньше шарик, тем больше поверхности приходится на единицу объема, и наоборот. По этой причине маленькая икринка карася имеет выгодное соотношение поверхности к объему, ей легче дышать, она нетребовательна к содержанию кислорода в воде и успешно развивается в стоячем пруду. У осетровых икра значительно крупнее, ей труднее дышать, она нуждается в постоянном притоке свежей воды. Поэтому осетры мечут икру на гальку при быстром течении; икринки приклеиваются к камням и остаются на одном месте, постоянно омываемые текучей водой, покамест из них не выклюнутся личинки. Боже упаси выметать икру на какой-либо другой грунт — ее снесет в ил, и там она неминуемо погибнет. Если осетры не найдут гальки — тогда икротетания не происходит, икра в теле рыбы рассасывается.

В низовьях Волги в русле лежит ил да песок. Зато много галечников под высоким правым берегом на протяжении от Жигулей до Волгограда. Туда и ходили осетровые.

Для того, чтобы преодолеть тысячи километров против встречного течения, нужен большой запас сил. В соответствии с этим выработалось строение тела. Осетровые — крупные рыбы с объемистыми мышцами и большим запасом жира, который в походе служит горючим.

Дальность ходьбы зависит от размеров тела. Великан-рыба белуга ходила в Жигули, осетры — к Саратову и Хвалынску, севрюга — к Волгограду и Камышину.

В тридцатых годах, как только возникли проекты постройки гидроэлектростанций с плотинами и стоячими водохранилищами, стало ясно, что осетровым рыбам ходить больше не придется; они потеряют возможность размножаться, и сохранить стадо можно только путем искусственного разведения в низовьях рек. Дабы не столкнуться лицом к лицу с совершившимся печальным фактом вымирания рыб, наши ученые-ихтиологи и рыбоводы-практики тогда же начали исследовательскую и экспериментаторскую работу. Насколько широко и энергичны были поиски, видно из того, что за последние тридцать лет было опубликовано более тысячи двухсот научных трудов (книг и статей) об осетровых рыбах и технике их искусственного разведения.

Сразу же встретились препятствия. Икра осетровых созревает к моменту прихода на нерестилища. Приплывет белуга в Жигули — тогда и станет икра годной для оплодотворения, а поймашь белугу в Астрахани — икра у нее незрелая, ее можно солить, перерабатывать на зернистую или на паюс, подавать к столу в виде закуски; оплодотворять же незрелую икру и закладывать в инкубатор столь же бесполезно, как пытаться вывести живую рыбку из свицовой дробы или гречневой крупы.

Вопрос разрешился методом гипофизарных инъекций, разработанным профессором Н. Л. Гербильским и его учениками. Подкожное впрыскивание препарата гипофиза — придатка головного мозга, взятого у рыб той же породы, вызывает созревание икры и молок в течение одних суток.

Усовершенствованы методы инкубации икры, разработана биотехника выращивания жизнестойкой осетровой молодежи.

Справедливость требует наконец сказать, что наши осетроводы работали в труднейших условиях, при скудных ассигнованиях и с никудышным инвентарем. Не избалованы они и общественным вниманием: имена наших осетроводов известны только в своем узком кругу. Ведь они занимались ликвидацией отрицательных последствий промышленного строительства, а в те годы говорить о подобном считалось излишним.

Пишущему эти строки приводилось бывать на экспериментальных осетроводческих станциях в довоенное и послевоенное время. Не было там ни жилья, ни сносного оборудования, всегда пользовались

самодельной аппаратурой, всегда там что-либо привязано веревочкой, шатается и скрипит. Примером могут служить хотя бы ранние образцы инкубатора, изобретенного П. С. Ющенко.

При всем том достигнуты неплохие результаты. Теоретические основы осетроводства можно считать прочными. Они позволяют вести дело в промышленных, заводских масштабах. «Таким образом,— как отмечается в одной из статей сборника,— в настоящее время имеется полная возможность независимо от климатических и иных условий выращивать молоди осетровых рыб столько, сколько ее необходимо для водоема».

К сожалению, практика отстает от теории и возможности до сих пор не до конца используются. В период экспериментальных поисков много было энтузиазма, мало материально-технического снабжения. Да и по сию пору отстает материально-техническая база. Осетровые заводы строились с запозданием. И особенно это чувствуется на Дону.

В статье А. Гунько и В. Наумова (сборник 2-й) сообщается: после перекрытия Дона Цимлянской плотиной в 1952 году прекратился нерест белуги и осетра; естественное размножение севрюги продолжалось, но в плохих условиях и с малыми результатами; за все истекшее время только два года (1953 и 1960) были урожайными и дали более или менее заметный приплод севрюги.

«В этих условиях единственной возможностью сохранения и увеличения запасов осетровых была организация промышленного разведения их.

Однако план строительства необходимого количества рыбоводных предприятий не был выполнен. Первый завод по выращиванию молоди осетровых полностью вступил в строй только в 1957 г., а второй — в 1958 г., т. е. через 4—5 лет после того, как практически прекратилось естественное размножение осетра и белуги. Следовательно, с 1952 по 1956 г. в море молодь осетра и белуги практически не поступала... С 1956 г. начала поступать молодь осетровых, выращиваемая на осетроводных заводах. Но отсутствие опыта в строительстве и эксплуатации таких уникальных предприятий... и другие организационные причины не позволили заводам быстро до-

стичь проектных показателей» (сборник 2-й, стр. 213).

В первые шесть лет работы донские заводы не освоили полного цикла выращивания молоди, в погоне за количеством ограничивались начальной стадией и выпускали в реку хилых недоростков весом в полграмма. Эффективность такой работы ничтожна, потому что слабеньких крошек проглатывает любая встречная тварь. «Выпускать в водоем молодь весом менее 1,5 грамма недопустимо. Средний вес выращиваемой молоди должен быть доведен в самом ближайшем будущем по крайней мере до 3 граммов» (сборник 3-й, стр. 169).

Таким образом, запасы Азовского моря в течение десяти лет или вовсе не пополнялись, или пополнялись слабо.

Осетры созревают и возвращаются с моря в реку в возрасте двенадцати — четырнадцати лет. До настоящего времени в Дон входили и вылавливались рыбы, родившиеся до 1952 года. Сейчас они заканчиваются, настает пора поколений, родившихся в 1952 году и позже. К сказанному считаю лишним что-либо добавлять: читатель сам в состоянии дать прогнозы уловов в Азовском бассейне на ближайшее десятилетие.

Была ли возможность раньше построить заводы на Дону и быстрее устранить «организационные причины»? По-видимому, да. Первый завод на Куре пущен в эксплуатацию в 1953 году, на Волге — в 1955 году. Работают куринские и волжские заводы лучше, выпускают крупненьких и более жизнестойких осетрят, белужат и севрюжат. Стало быть, можно было поторопиться и на Дону.

Говорится это не в укор и без намерения найти виноватых, а для ликвидации слишком уж беззаботного отношения к растрате уникальных богатств наших водоемов.

К моменту сдачи сборника в печать работало пять осетровых заводов на Волге, четыре — на Куре, два — на Дону. В 1963 году выпущено тридцать три с половиной миллиона молоди. Это обеспечит промысловый возврат в двести тридцать пять тысяч центнеров. Но этого недостаточно. Задача ведь не сводится к тому, чтобы поддержать запасы на нынешнем не особо высоком уровне. Из статьи Е. А. Яблонской (сборник 2-й) видно, что существующее стадо осетровых выедает только малую часть рачков, червячков и моллюсков. Кор-

мовая база позволяет иметь стадо, обеспечивающее годовой улов осетровых на Каспии в пятьсот тысяч центнеров и сто пятьдесят тысяч в Азовском море. Вот это и есть норма, этого и надо достигнуть. Не зря же было сказано, что в нашей власти выпускать столько молоди, сколько нужно для каждого водоема.

Надо строить и строить!

Для осетрового завода не требуются ни грандиозные здания, ни сложные машины. Осетровый завод — это водокачка и сотня гектаров каналов, бассейнов, прудов. Его постройка — рытье земли и немного бетона. Стоит современный завод полтора миллиона рублей.

Разведение осетров — новая, непривычная для нас, но самая выгодная отрасль животноводства. Уход за осетрятами требуется только в первые месяцы жизни, а потом рыбки уходят в море: осетры на двенадцать — четырнадцать лет, белуга на пятнадцать — двадцать, и никакой о них не надо иметь заботы, не нужен пастух, рыбы сами возвратятся в родимую реку. Начиная со второго года жизни естественная гибель ничтожна. Центнер промышленного возврата обойдется в 10—12 рублей, а стоит центнер (сметните, почему черная икра!) по самым скромным оценкам 250 рублей. Где, в какой другой отрасли животноводства найдете такое соотношение между затратой и продуктом?

В сборниках рассматриваются еще две важные проблемы: естественный нерест и необходимость рационального промысла.

При ловле бычка, тарани, воibly попадает в сети незрелый осетровый молодняк. Корусти от него никакой, зря угасают многообещающие жизни. Несем мы из-за этого прилова большие потери в поголовье осетровых рыб, и надо такой беспорядок по возможности устранить.

Речной период жизни и естественный нерест надо сохранить не столько для размножения молоди, сколько для создания крепкого маточного стада. Осетры — рыбы с многократным нерестом в течение жизни. Отнерестившиеся осетровые скатываются в море и лет через пяток снова возвращаются

на повторный нерест, при этом с каждым разом они становятся все более и более возмужалыми, сильными рыбинами с более крупной икрой. Из таких крупных рыб и отбираются производители на рыбообразовательных заводах, нельзя основывать рыбообразовательные на «новобранцах-перворазниках».

С заводов рыбы живыми не возвращаются. Там у самок вспарывают животы и берут созревшую икру. Получение икры от живых рыб имело бы большое значение, но ничего путного пока не достигнуто, хотя, разумеется, опыты надо продолжать.

Единственный путь к сохранению разновозрастного стада производителей — естественный нерест. Поэтому не следует застраивать реки гидроэлектростанциями вплоть до самого устья. Низовые участки надо сохранить для жизни рыб, чтобы какая-то часть, отнерестившись, могла возвратиться в море.

Да и вообще нельзя отнять у осетровых речной период жизни, иначе начнет меняться самая их природа и станет угасать система наследственных инстинктов.

С точки зрения рыбного хозяйства, нецелесообразна постройка Нижне-Волжской ГЭС.

В настоящее время ниже Волгоградской плотины имеется 250 гектаров нерестилищ вместе с камнем, просыпанным в реку при постройке гидроэлектростанции и укреплении берегов. Мало! Следует подсыпать камня в подходящих местах, где быстрое течение не дает оседать илу.

Намечался завод камня чуть ли не с Кавказа. Можно взять ближе. А работа не очень дорогая: экскаватор, самосвал, баржа.

Таково, в общих чертах, содержание сборника. Независимо от той или иной оценки, я не решаюсь рекомендовать его массовому читателю. Прочтут ли? Не станет ли скучно? Обращаюсь к литераторам с призывом побывать на рыбообразовательных заводах, присмотреться, все понять и рассказать впечатляющими словами. Научно-популярная и очерковая литература очень нужна.

И. ЗЫКОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

С. С. ХРОМОВ. По заданию Ленина. Деятельность Ф. Э. Дзержинского в Сибири. Издательство Московского университета. М. 1964. 158 стр.

В стихотворении В. Маяковского «Моя речь на Генуэзской конференции» есть строки, обращенные на Запад и полные гнева: «Вонзите в Волгу ваше зрение: разве этот голодный ад, разве это мужицкое разорение — не хвост от ваших войн и блокад?» Интервенция и блокада, а вслед за тем страшные засухи 1920 и 1921 годов повлекли за собою голод, охвативший не только Поволжье. Тридцать четыре губернии страны с населением до тридцати миллионов человек были поражены неурожаем. В это крайне тяжелое для молодой республики время Центральный Комитет партии направил в Сибирь специальную экспедицию за хлебом и продовольствием. Ее возглавил в качестве уполномоченного ВЦИК и СТО председатель ВЧК, нарком путей сообщения и нарком внутренних дел Ф. Э. Дзержинский. Это была кандидатура, предложенная В. И. Лениным.

Задание партии и правительства было выполнено. Страна получила несколько миллионов пудов семян, мяса, рыбы и других продуктов. Достигнутые экспедицией результаты имели огромное не только хозяйственное, но и политическое значение. Недаром 7 февраля 1922 года Дзержинский писал из Сибири жене: «Сибирский хлеб и семена для весеннего сева — это наше спасение и наша опора в Генуе».

Интересно и поучительно узнать, как же добилась экспедиция столь разительного успеха, как действовал в сложных условиях того времени Ф. Э. Дзержинский, выполняя задание Ленина. Документы убедительно показывают, как председатель ВЧК, одно имя которого наводило трепет на врагов, наряду с организационными мерами по очистке сибирских дорог от случайных и вредных элементов, приложил немало усилий, чтобы решительно улучшить работу партийных и профсоюзных организаций Сибири, считая именно это главным условием победы. Более того, Дзержинский оказывает постоянную помощь работе культурно-просветительных учреждений, придает особое важное значение печати, мобилизует внимание местных газет на выполнение задания партии и правительства. Автор отмечает

бережное отношение Дзержинского к товарищам, его постоянную заботу о них.

С. Хромов использовал большой архивный материал для того, чтобы не только детально проследить за всей деятельностью Дзержинского в Сибири, но и показать подлинно ленинский стиль его работы.

Л. Давыдова.

★

МОДИБО КЕЙТА. Речи и выступления. Перевод с французского. «Прогресс». М. 1964. 256 стр.

Модибо Кейта — выдающийся политический деятель новой Африки, учитель по образованию и специальности — с юношеских лет активно участвовал в национально-освободительной борьбе. Аресты, тюрьма, ссылка в отдаленные районы Сахары не поколебали его решимости бороться с колонизаторами.

В 1960 году Французский Судан исчез с карты Африки. Возникла Республика Мали. Французский Судан был одной из самых отсталых колоний «черного континента». Эта отсталость особенно остро поставила перед народом и ее лидерами вопрос вопросов: какой избрать путь развития? К чести руководителей и рядовых граждан Республики Мали, они одними из первых в Африке сделали выбор в пользу некапиталистического пути, в пользу социализма.

М. Кейта подчеркивает, что, несмотря на большие трудности (почти полная неграмотность населения, отсутствие рабочего класса), за несколько лет независимости достигнуто больше, чем за многие десятилетия «цивилизаторской миссии» колонизаторов. Так, например, за первый год организована новая администрация, простой и гибкий судебный аппарат, расширены права женщин, создается новая система просвещения, начато создание национальной высшей школы, достигнуты успехи в области здравоохранения.

Сложна идейная жизнь молодого государства. Здесь, как говорят в ряде стран Африки, сделан «двойственный выбор»: ислам и социализм. Этот выбор, по мнению лидеров таких стран, как Мали, Алжир, ОАР, является единственно реальным. М. Кейта разоблачает тех, кто запугивает малийцев «безбожным коммунизмом».

С удовлетворением воспринимает малийский народ успехи своей молодой республики на международной арене. С трибуны ООН ее посланцы неоднократно разоблачали империалистов. Мали активно борется за африканское единство, за подлинную независимость Конго; республика солидарна с борьбой лумумбистов.

Один из принципов внешней политики республики — дружба с Советским Союзом. Советские люди с симпатией следят за успехами Мали, разделяя оптимизм, выраженный поэтом Сида Ихийя Диалло в стихотворении «Социализм»:

В конце пути, мы знаем, счастье ждет:
социализм счастливым сделал труд!
Рабочие, крестьяне, весь народ
ему присягу верности дают.

Книга Модибо Кейта подтверждает, что поэт правильно выразил мнение пробудившегося к самостоятельной жизни народа.

Л. Клецкий,
кандидат исторических наук.

Ленинград.

★

Л. ВИЗЕН. Хосе Марти. Хроника жизни повстанца. «Молодая гвардия». М. 1964. 304 стр.

Это первая книга советского автора о Хосе Марти. Она написана с любовью и пафосом, живо и увлекательно. Образ Марти дан ярко, на богатом историческом фоне. Мы видим Испанию, страны Латинской Америки и США того времени глазами политэмигранта-революционера. Марти — прозорливый политик и оратор, философ и публицист, педагог и критик, поэт и драматург. Автор показывает многогранную одаренность этого замечательного человека, его глубокую образованность и широту интересов. Нашим читателям будет любопытно узнать, что Марти был знаком с творчеством Пушкина и написал об этом «гиганте», как он называл поэта, восторженную статью. Но, разумеется, главное место автор отводит Марти — революционеру и патриоту, неутомимому борцу за национальное освобождение родины, за права и достоинство людей, независимо от расовых различий и происхождения. С любовью писал Марти о трудолюбивом американском народе и его прогрессивных деятелях. Вместе с тем он с возмущением говорит о захватнических устремлениях Соединенных Штатов, «превращающих в рабов целые народности, урезающих или обкрадывающих соседние страны».

«Я жил в недрах этого чудовища и знаю его нутро; в руках моих праща Давида», — писал Марти накануне своей смерти. И праща его поражала как «кулачных бойцов» в политике, которые «покупают красноречие и влияние... и ведут за собой под узду законодательство, как хорошо обезженную лошадь», так и тех «представителей народа», которые «погрязли в темных делах и бесчестной наживе».

Разнообразный материал, приведенный в книге — статьи, письма, дневники, — свиде-

тельствует о том, что Хосе Марти правильно оценивал острые классовые столкновения в США. Однако автор не закрывает глаза на ограниченность мировоззрения Марти, который, несмотря на то, что был знаком с передовыми идеями мирового рабочего движения, знал и ценил Маркса, — все же не стал социалистом, хотя и ставил перед собой задачу коренных социальных преобразований на Кубе.

Е. Городецкая.

★

БАРРИ СТЭВИС. Человек, который никогда не умирал. Записки о Джо Хилле и его времени. «Мысль». М. 1964. 143 стр.

Трудным был для рабочего движения США 1914 год. Кризис в промышленности, необычайно высокая безработица, мировая война и крах II Интернационала ослабили силы пролетариата. В классовой борьбе наметился спад. Монополистическая буржуазия воспользовалась отступлением рабочих и обрушилась на них, мстя за недавние поражения. Профсоюзы, их вожди и активисты подверглись гонениям. Особо жестоко преследовалось бэвое профсоюзное объединение «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ). Тысячи «убобли» — так звали членов ИРМ — были заключены в тюрьму, многие убиты.

Среди погибших был тридцатитрехлетний Джо Хилл, обвиненный в убийстве бакалейщика. И хотя суд не смог доказать виновности Хилла, его приговорили к смерти только за то, что он был агитатором ИРМ и организатором многих стачек в штате Юта. 19 ноября 1915 года залп в тюремном дворе оборвал его жизнь. Джозеф Хиллстром, таково его полное имя, боец ИРМ, погиб. Но остался жить Джо Хилл — поэт, автор песен и гимнов американских рабочих. Он был «человеком, который никогда не умирал».

Так и назвал свою книгу о Хилле американский прогрессивный драматург и публицист Б. Стэвис. Этот небольшой документальный очерк насыщен богатым фактическим материалом. Автор прослеживает «биографию» всех известных песен Хилла, распевавшихся в то время в Америке, Англии, Австралии. И сейчас не потеряли свою остроту некоторые из них, например, остроумная сатира на штрейкбрехера — песня о Кэйси Джонсе.

Как справедливо замечает автор, Хилл сегодня для многих стал легендой: «миф вытеснил человека». На страницах книги Стэвиса Хилл вновь становится человеком, «как живой с живыми говоря». Молодой, увлекающийся, добрый и мягкий, романтик, любящий стихи, цветы и детей. И в то же время — стойкий боец, непримиримый к врагам, «профсоюзный организатор с головы до пят», думающий и перед смертью не о себе, но об организации, готовый ради нее пожертвовать своей жизнью. «Не плачьте обо мне. Организуйте!» — вот последний привет Хилла товарищам по борьбе.

Б. Козенко.

Саратов.

ПОЭТЫ КРУЖКА Н. В. СТАНКЕВИЧА. Н. В. Станкевич, В. И. Красов, К. С. Аксаков, И. П. Ключников. «Советский писатель» («Библиотека поэта. Большая серия»). М.—Л. 1964. 617 стр.

Члены кружка Станкевича не считали себя профессиональными поэтами. Стихи были частью их духовной жизни так же, как философские диспуты, лекции любимых профессоров Московского университета, дружеские беседы. Эта неповторимая атмосфера оказала, как известно, огромное влияние на формирование Белинского, Кольцова, Грановского, Тургенева и других замечательных деятелей русской культуры.

Предметом поэзии кружка была внутренняя жизнь человека, «пламенные, искренние беседы души с самим собою». Это прежде всего мир чувств, нежных, грустных, мечтательных, не лишенных некоторой экзальтации, но это и биемые мысли, ищущей, крепнущей, становящейся.

Своеобразен облик каждого из представленных в книге поэтов.

Самоуглубленность, рефлексия, напряженные поиски цельного миросозерцания характерны для Станкевича. Романтическим восприятием природы и народного быта проникнута поэзия К. Аксакова.

Более значительна в художественном отношении элегическая лирика В. Красова. Непосредственно выливается из-под пера его грустная дума о современном поколении:

Хоть и кровь кипит, у нас силы есть,
А мы отжили, хоть в могилу несть.
Лишь в одном у нас нет сомнения,
Мы — несчастное поколение.

Стихи И. Ключникова, по словам Белинского, «отличаются чувством скорбным, страдальческим, болезненным... иногда пленительными поэтическими образами». Некоторые из них сохраняют свое художественное значение и поныне.

Я не люблю тебя: мне суждено судьбою,
Не полюбивши, разлюбить.
Я не люблю тебя: больной моей душой
Я никого не буду здесь любить...
Я не люблю тебя, но, люблю другую,
Я презирал бы горько сам себя,
И, как безумный, я и плачу и тоскую
И все о том, что не люблю тебя!..

В 1830—1840-е годы, когда в русской литературе проза, казалось бы, активно вытесняла поэзию, поэты кружка Станкевича продолжали традицию философской романтической лирики Веневитинова, Баратынского, Лермонтова, неизбежно обогащая ее новыми чертами. Строки Станкевича

И станешь жизнью повсюдной,
И все наполнится тобой,—

стихи о «необъятности природы» и «образе вселенной» заставляют вспомнить о круге поэтических идей Тютчева. Яснее становится, на каком идейно-литературном фоне поднялось это могучее явление.

Во вступительной статье С. Машинского воссоздается история кружка Станкевича, воскрешается, по словам Чернышевского, «этот благороднейший и чистейший эпизод истории русской литературы».

М. Бойко.

ТАО ЮАНЬ-МИН. Лирика. Перевод с китайского Л. Эйлина. «Художественная литература». М. 1964. 152 стр.

Есть одно сильное, тревожное чувство, которое нередко возникает у читателя, в той или иной мере причастного к сочинительству,— у читателя древней поэзии Греции или Китая, Рима, Индии, Персии. Боже ты мой! — восклицает такой читатель и сочинитель.— К чему старания, когда все уже было известно раньше, «все собраны плоды в саду познания», как некогда сокрушался Фирдоуси?

«Значит, слов этих старых до сих пор еще правда жива»,— как бы отвечает нам поэт глубокой древности Тао Юань-мин, но при этом добавляет:

Значит, жизнь человека
состоит из игры превращений
И в конце ее должен
возвратиться он в небытие.

Мы не можем согласиться с последним замечанием, мы спорим мысленно с тем, кто сказал эти слова, но, споря с ним, мы утверждаем его в нашем сердце, потому что с тем, что мертво, не спорят — спорят с живым.

Академик В. М. Алексеев сказал о Тао Юань-мине, родившемся, как полагают, в 365 году, что он «первый освободил поэзию от придворных связей и общественно-исповедных кастовых обязательств». Поэтому, высказав свое соображение академик, он сыграл «в поэзии Китая роль нашего Пушкина».

Нам, неспециалистам, следует поверить ученому на слово. Во всяком случае одна важная особенность может дать основание для сближения поэзии Тао Юань-мина с поэзией Пушкина. Эта особенность заключается в том, что художник поднимает обыденность, повседневность до высот поэзии, вернее, обнаруживает вечное чудо поэзии в примелькавшейся, казалось бы, повседневности. Если говорить о Тао Юань-мине, то у него поэзией стала повседневность крестьянской жизни. Поэт рассказывает нам о деревенском быте, о том, как землепашцы проходят, «стену трав раздвигая».

И, встречая соседа,
мы не попусту судим да рядим,
Речь о тутах заводим,
как растет конопля, говорим...
Я все время в боязни:
вдруг да иней, да снег на посевы —
И конец моим всходам,
и закроет все дикий бурьян!

Тао Юань-мин вошел в поэзию Китая как «человек полей».

По происхождению он принадлежал к чиновничьему сословию, но род его обеднел, и «человеком полей» поэт стал в силу обстоятельства. Деревенская жизнь для него не является чем-то с детства привычным, естественным — поэт увидел в крестьянском труде возможность искупления, возможность стать достойным человеком. «Вот взял я мотыгу и рад крестьянским заботам»,— простолюдно делится с нами поэт своей радостью, и мы верим, что это не пу-

стые слова, они выстраданы всей предшествующей им жизнью. Рисуя предметы крестьянского обихода, явления сельской жизни, поэт в действительности не ставит себе целью сделать всего лишь удачную зарисовку или даже законченную картину: рисуя, он спорит с тем, что ему кажется плохим, и ведет нас к тому, что считает хорошим.

В последнее время принято противопоставлять поэтический перевод переводу так называемому научному, точному. Для такого противопоставления нет оснований. Как и явление оригинальной литературы, перевод становится поэтичным только тогда, когда он есть художественное исследование жизни, той жизни, которая отражена в подлиннике.

Среди немногих настоящих мастеров переводческого искусства Л. Эйдлин занимает прочное место именно потому, что ему верить, — верить его словарю, его живым интонациям, изящной точности его стихотворного рисунка. Когда-то он порадовал нас превосходными переводами из более позднего китайского поэта Бо Цзюй-и. Стихи Тао Юань-мина, созданные сотни лет назад, сейчас в переводе Л. Эйдлина волнуют нас и вызывают множество мыслей.

С. Липкин.

★

В. КАРДИН. Судья по имени Время. О герое советской драмы. «Искусство». М. 1964. 202 стр.

В кратком вступлении к своей книге В. Кардин довольно четко формулирует задачу, которую он пытается решить: как человек, выражающий тенденции времени, становится героем реалистической драмы.

Под этим углом зрения критик рассматривает полувековой путь отечественной драмы, отнюдь не претендуя, впрочем, на исчерпывающую полноту историко-литературного обзора. Его небольшая, но емкая книга заставляет читателя пристально взглянуть в героев произведений, созданных самыми различными драматургами.

Время формирует характер, оно как бы запечатлевается в судьбах людских. Первые годы революции — «Мистерия-буфф» Маяковского. «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, драмы Вс. Вишневского, К. Тренева, Вс. Иванова, Б. Лавренева (глава «Даешь власть Советской!»). Годы нэпа — галерея характеров, нарисованных Б. Ромашовым, В. Киришом, А. Файко... В. Кардин вспоминает образы энтузиастов — «людей партии, людей дела», созданные в тридцатые годы А. Афиногеновым, В. Катаевым, Н. Погодиным, А. Корнейчуком, Л. Леоновым.

В главе «По ложному следу», посвященной некоторым произведениям послевоенного периода («Московский характер» А. Софронова, «Закон чести» А. Штейна, «Когда ломаются копыта» Н. Погодина и другие), автор критически рассмотрел ложные попытки подмены реальных характеров

и конфликтов — сконструированными по заданным схемам и трафаретам. Критик убедительно показал, что неизбежным следствием «художественной приближенности» является нравственное осуждение героя драмы, его ходоульная выпренности.

Глава «В дальнюю дорогу» посвящена поискам молодого героя наших дней в пьесах А. Арбузова, В. Розова, А. Володина, а последняя «Живой с живыми» — ленинской теме в драматургии Н. Погодина, Д. Зорина, В. Михайлова. В этих двух главах с особой силой звучит основная мысль автора, его стремление «сиять заставить заново» вечно живые, немеркнущие этические идеалы революции.

С. Коротная.

★

А. М. АРГО. Десятая муза (Непереводимость и всепереводимость). «Советская Россия». М. 1964. 88 стр.

В старом переводе Гамлет спрашивает могильщика: «А на какой земле помешался принц?» И ему в ответ: «На датской земле, на которой я тридцать лет могильщиком». Так или в этом духе было во множестве прежних переводов. В наше время это место у Шекспира переведено по-новому, вернее так, как должно было звучать давным-давно: «А на какой почве помешался принц?» Ответ: «На датской почве». Замена слова «земля» словом «почва» открыло внутренний смысл диалога. Верное слово вызвало к жизни дремавшие до толе ассоциативные связи. Буквалистский перевод информировал об иноязычном тексте, поэтический перевод открыл глубину этого текста и сделал его достоянием родной литературы.

Книга А. Арго, из которой взят этот пример, названа «Десятая муза». Название весомое. К девяти известным музам древние забыли добавить десятую, вобравшую в себя многие лучшие качества старших сестер. У музы перевода даже в пределах мифологической семьи не самая счастливая судьба. Но без нее, без этой десятой музы, народы перестали бы понимать друг друга.

В этой небольшой, но емкой книжке показана непрекращающаяся работа русских авторов над воссозданием образов мировой литературы. На сопоставлении разных переводов «Перчатки» Шиллера, «Сосны» и «Двух гренадеров» Гейне, «Ночной песни странника» Гёте, вступительных строк поэмы Руставели, «Слова о полку Игореве» и некоторых других произведений Арго показывается удачи и просчеты тех или иных переводчиков, анализирует попытки и судит результаты. Это сличение очень убедительно и наглядно. Особо говорит автор книги о переводе стихов, предназначенных для пения, о передаче так называемых «говорящих фамилий», содержащих определенную характеристику персонажей, о транскрипции названий и т. д.

Но книга Арго интересна не только наблюдениями практика, но и теоретическими выводами. Арго показывает высокую сте-

пень творческой изобретательности и выдумки в процессе воссоздания оригинала в стихии другого языка. Сколько нужно уметь, знать, перепробовать, передумать, чтобы «в переводе не чувствовалось перевода». На все сто процентов адекватных оригиналу переводов не бывает, поэтому мы принимаем максимально приближенные к оригиналу решения. Иными словами: между оригиналом и переводом есть зазор, некоторое расстояние — такое же, как, скажем, между абсолютной и относительной истиной в философии.

Итак, зачем при наличии старого (или старых) нужен новый перевод? Оригинал может и не устареть, перевод же стареет. Старее по языку, психологической наполненности, технике стиха. Новое поколение по-новому прочитывает старого поэта. Пастернак не только по-новому перевел «Гамлета» и «Фауста», он по-новому их прочитал. Новое время, новое прочтение открывают и новые возможности в старом оригинале. Нет нужды приводить здесь перечень наших переводческих удач и имена мастеров. Об успехах советской школы художественного перевода может сказать и такой человек, как Бернард Шоу. На вопрос, почему Шекспир не пользуется у себя на родине такой популярностью, как в Советском Союзе, он ответил: «Тут нет ничего удивительного. В Англии он идет в подлинниках, а в России — в переводах лучших русских поэтов». Надо иметь в виду, что язык шекспировских времен весьма далек от современной английской литературной речи. Но даже с такой поправкой реплика великого ирландца — не просто парадокс. Это и похвала труду наших русских переводчиков.

Лев Озеров.

★

ЖАК СТЕФЕН АЛЕКСИС. *Деревья-музыканты. Перевод с французского. Роман. «Художественная литература». 1964. 312 стр.*

Герои романа «Деревья-музыканты», который принадлежит перу выдающегося гаитянского писателя и патриота Жака Стефена Алексиса, живут в мире, где все одухотворено: растения, воды, камни, земля, животные. Языческое мироощущение гаитянского крестьянина — в каждое мгновение и на каждом шагу — связано с землей. В нее негр-гаитянин вкладывает все свои силы и из нее эти силы черпает. Поэтому так остро и многокрасочно воспринимает он любые оттенки его бытия, и в каждом оттенке для него открывается целый мир, глубокий и таинственный.

Лучшие страницы романа Жака Стефена Алексиса отданы описанию ежедневного быта родного народа, его труду, праздникам.

обрядам, обычаям, ритуалам. В сочной колоритности этих картин — не только особое свойство таланта писателя, любящего живописать плоть жизни, но и кровная особенность бытия его народа, описание которого немисливо вне этих густых, изобильных красок. Поэтому молодые крестьянки в романе Алексиса идут «крупным размерным шагом, оставляя за собой запах свежей травы и фруктов, а зубы их сверкают во рту, как перламутровые зернышки в спелых плодах гойявы».

Но в романе есть точная дата — XX век, вторая его половина, когда на коренных жителей совершается планомерное и беспощадное наступление американских монополий, когда под флагом экономического процветания и высшей цивилизации осуществляется насильственное разрушение материального и духовного бытия народа. История этого разрушения и составляет драматическую линию романа, с ней связана и судьба трех братьев-отступников Осменов, каждый из которых погубил себя, став на сторону тех, кто пошел против родного народа. Озверевший от честолюбия Эдгар разрушал хижины, отнимал землю — и его убили. Диожен стал католическим священником и также насильственно разрушал языческие водуистские святилища — это свело его с ума, даже его собственное сознание не смогло выдержать этого скороспелого «просветительства». Третий брат Карл, «гуляка праздный» и поэт, предпочел творчеству разумную политическую карьеру и перестал существовать как художник. Каждый был казнен той казнью и по тому закону, который был им погран.

Есть в романе два характера, два образа, в сопоставлении которых Жак Стефен Алексис ищет решение, выход. Верховный жрец Буа-д'Орм Летиро — старый, мудрый и светлый. Он обладает тончайшим знанием людей. Но наступающему американизму Буа-д'Орм может противопоставить только могущество богов, лоасов, которые — он верит — не дадут исчезнуть хижинам гаитян.

Юному Гонаибо, который связан с землей и природой не менее прочно, чем Буа-д'Орм, сила старца кажется слишком пассивной, оборонительной и потому недостаточной. Он не верит, что лоасы спасут Гаити. Спасти может только восставший гаитянин, пробудившийся человек. В самом конце романа Гонаибо говорит: «Постепенно мы проникаем в тайны тех богов, которые нас еще угнетают. Не надо бояться ни одной силы в мире!..»

Победит ли Гонаибо — об этом еще не сказано, последние страницы романа рассказывают только о первом его шаге.

И. Борисова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

- К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин.** О научном коммунизме 480 стр. Цена 75 к.
В. И. Ленин о коммунистической нравственности. 280 стр. Цена 50 к.
А. Белобородов. Ратный подвиг. 112 стр. Цена 10 к.
Л. Корнилов. Останутся в памяти. Документальная повесть. 128 стр. Цена 13 к.
Н. Кулаков. 250 дней в огне. 128 стр. Цена 13 к.
Мера мужества. Очерки. 576 стр. Цена 1 р. 5 к.
В. Нелаев. Павел Дыбенко. 80 стр. Цена 8 к.
В. Снастин. Коммунизм и личность. 64 стр. Цена 8 к.
Ю. Трушин. Загадка «Трешера». 64 стр. Цена 6 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

СССР. Административно-территориальное деление союзных республик. Справочник. 640 стр. Цена 2 р.

«МЫСЛЬ»

- Л. Абалкин.** Планомерное развитие и пропорции мирового социалистического хозяйства. 137 стр. Цена 45 к.
С. Анисимов. Нравственный прогресс и религия. 182 стр. Цена 92 к.
И. Бьерре. Затерянный мир Калахари. Перевод с английского. 190 стр. Цена 53 к.
М. Бунжевич. От Падуна до Стрелки. 126 стр. Цена 19 к.
Л. Бычков. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 454 стр. Цена 1 р. 46 к.
История экономических учений. 477 стр. Цена 1 р. 64 к.
С. Ледовский, Б. Патык. Государственно-монополистический капитализм в Австрии (После второй мировой войны). 141 стр. Цена 46 к.
В. Мартынов. Коммунистическая партия в борьбе за упрочение и развитие социалистического общества. Усиление обороноспособности страны (1937 г.— июнь 1941 года). 175 стр. Цена 21 к.
Опыт и методика конкретных социологических исследований. 356 стр. Цена 1 р. 20 к.
М. Петросян. Гуманизм. 334 стр. Цена 1 р. 8 к.
Н. Полещук. Основные вопросы экономики топливно-энергетической базы СССР. 132 стр. Цена 20 к.
Современное международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение. 391 стр. Цена 74 к.
М. Сонин. Актуальные проблемы использования рабочей силы в СССР. 300 стр. Цена 1 р. 8 к.
Б. Талалаев. Источники накопления в народном хозяйстве СССР. 174 стр. Цена 26 к.
Г. Францов. Исторические пути социальной мысли. 557 стр. Цена 1 р. 54 к.
Д. Юм. Сочинения В двух томах. Том I. 844 стр. Цена 2 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Н. Дементьев.** Чужие близнецы. Повесть. 128 стр. Цена 14 к.
Вс. Иванов. Эдесская святыня. Роман. 152 стр. Цена 18 к.
Т. Касымбеков. Хочу быть человеком. Повесть. Перевод с киргизского. 144 стр. Цена 22 к.
О. Кожухова. Ранний снег. Роман. 360 стр. Цена 74 к.
А. Кюрчайлы. Позови меня Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского. 88 стр. Цена 13 к.
П. Малдревский. Пьесы. 332 стр. Цена 91 к.
М. Николаева. Черная кошка. Повесть. Перевод с чувашского. 228 стр. Цена 36 к.
Е. Носов. Где просыпается солнце. Повесть и рассказы. 284 стр. Цена 54 к.
А. Письменный. Большие мосты. Роман. 484 стр. Цена 92 к.
А. Розен. Последние две недели. Роман. 316 стр. Цена 57 к.
М. Слуцкис. Лестница в небо. Роман. Перевод с литовского. 304 стр. Цена 60 к.
И. Соколов-Микитов. По морям и лесам. Повести, рассказы, записи давних лет, воспоминания. 612 стр. Цена 1 р. 25 к.
Ю. Чепурин. Драммы. 628 стр. Цена 1 р. 70 к.
А. Явич. Жизнь и подвиги Родиона Аникеева. Роман. 456 стр. Цена 84 к.
Г. Яковицкий. Размолвка. Повесть. 284 стр. Цена 43 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- И. Горбунов.** Избранное. 403 стр. Цена 70 к.
А. Граши. Деревья меняют листву. Лирика. 1934—1964. Перевод с армянского. 328 стр. Цена 42 к.
Н. Калитин. «Голосует сердце...» О поэме В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин». 152 стр. Цена 22 к.
Д. Кугультинов. Стихи. Перевод с калмыцкого. 247 стр. Цена 38 к.
Г. Леберехт. Дворцы Вассаров. Роман. 632 стр. Цена 1 р. 26 к.
С. Наровчатов. Стихи. 256 стр. Цена 44 к.
В. Переверзев. У истоков русского реалистического романа. 216 стр. Цена 46 к.
Рассказы о Ленине. 224 стр. Цена 34 к.
Румынские баллады и дойны. 184 стр. Цена 22 к.
А. де Сент-Экзюпери. Сочинения. Перевод с французского. 696 стр. Цена 2 р.
Ф. Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. Роман. Перевод с английского. 180 стр. Цена 46 к.
У. Фолкнер. Особняк. Роман. Перевод с английского. 448 стр. Цена 1 р. 34 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- И. Ботвинник.** Две повести. 160 стр. Цена 17 к.
В. Герцфельде. Барвинок. Удивительные встречи и наблюдения жизнерадостного сироты. Перевод с немецкого. 272 стр. Цена 52 к.
О. Горчаков. В гостях у дяди Сэма. 224 стр. Цена 48 к.

В. Канивец. Кармалюк. 208 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 45 к.
В. Лунашевич. Зеленый океан. Повести и рассказы. 351 стр. Цена 66 к.
Г. Метельский. Чистые Дубравы. Повести и рассказы. 256 стр. Цена 51 к.
И. Можейко. Аун Сан. Биография народного героя Бирмы. 240 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 53 к.
Н. Муравьева. Беранже. 318 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 64 к.
Планета Целина. Сборник. 160 стр. Цена 25 к.
Притяжение. Сборник стихов. 400 стр. Цена 60 к.
В. Санин. Остров Веселых Робинзонов. Юристическая повесть и рассказы. 351 стр. Цена 51 к.

«МУЗЫКА»

Н. Владыкина-Бачинская. П. И. Чайковский. 196 стр. Цена 54 к.
Д. Житомирский. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества. 880 стр. Цена 2 р. 8 к.
Г. Коган. Ферруччо Бузони. 190 стр. Цена 51 к.
А. Лившиц. Жизнь за Родину свою. Очерки о композиторах и музыковедах, погибших в Великую Отечественную войну. 334 стр. Цена 92 к.
Е. Павлов. Панчо Владигеров. Очерк жизни и творчества. Перевод с болгарского. 150 стр. Цена 32 к.
Р. Роллан. Жизнь Бетховена. Перевод с французского. 96 стр. Цена 18 к.
Ф. Шопен. Письма. 712 стр. Цена 2 р. 56 к.

«НАУКА»

Р. Авербух. Революция и национально-освободительная борьба в Венгрии. 1848—1849. 407 стр. Цена 1 р. 50 к.
Архив А. М. Горького. Том 10. М. Горький и советская печать. Кн. 2. 502 стр. Цена 1 р. 56 к.
Ш. Богина. Иммиграция в США накануне и в период гражданской войны. 1850—1865 гг. 251 стр. Цена 82 к.
Ю. Бромлей. Становление феодализма в Хорватии (К изучению процесса классообразования у славян). 407 стр. Цена 1 р. 59 к.
В глубь атома. Сборник статей. 392 стр. Цена 58 к.
П. Ванулов, Е. Горчаков, Ю. Логачев. Радиационные пояса Земли по исследованиям на советских искусственных спутниках и космических ракетах в 1957—1959 гг. 115 стр. Цена 60 к.
В. Виноградова. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1. А—Г. 199 стр. Цена 72 к.
Внешнеполитические проблемы современности. Ответ зарубежным авторам. 253 стр. Цена 77 к.

Б. Кузнецов. Беседы о теории относительности. 223 стр. Цена 33 к.
К. Малаховский. Колониализм в Океании. 72 стр. Цена 24 к.
Г. Матвеева, П. Старицина. Народная демократия и строительство социализма в МНР. 198 стр. Цена 64 к.
И. Мечников. Этюды оптимизма. 339 стр. Цена 1 р. 17 к.
Морфологическая типология и проблема классификации языков (Материалы дискуссии). 303 стр. Цена 1 р. 29 к.
Новейшая история Африки. 499 стр. Цена 2 р. 13 к.
О. Подобедова. Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания. 334 стр. Цена 2 р. 82 к.
Радиохимические методы определения микроэлементов. Сборник статей. 204 стр. Цена 1 р. 23 к.
Д. Редер. Мифы и легенды древнего Двуречья. 120 стр. Цена 28 к.
Славянский фольклор и историческая действительность. Сборник статей. 327 стр. Цена 1 р. 37 к.
Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Том 1. 471 стр. Цена 2 р. 26 к.
А. Формозов. Каменный век и энеолит Прикубанья. 160 стр. Цена 1 р.
В. Червинский. В стране кенгуру и эму. 166 стр. Цена 45 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Арн. Васильев. Вопросы больше нет... Роман. 232 стр. Цена 39 к.
Л. Иванов, А. Сомах. На меридиане нового дня. 160 стр. Цена 38 к.
З. Ногач, С. Оборский. Поезда идут на Восток. Перевод с чешского. 284 стр. Цена 88 к.
О. Писаржевский. В огне исканий. Штрихи творческого портрета Н. Н. Семенова. 132 стр. Цена 22 к.
А. Смирнов-Чернезов. Пока я жив... Рассказы. 64 стр. Цена 8 к.
Г. Соловьев, И. Игин. Шаржи, пародии. Это наши персонажи. 208 стр. Цена 58 к.
А. Старнов. Здравствуй! Документальные рассказы. 248 стр. Цена 41 к.

«ИРФОН» (ДУШАНБЕ)

Р. Хашим. Имя, прославленное в веках (550 лет со дня рождения Абдурахмана Джами). 74 стр. Цена 11 к.

ЛЕНИЗДАТ

В мире фантастики и приключений. Сборник. 712 стр. Цена 1 р. 70 к.
В. Шефнер. Стихотворения. 299 стр. Цена 41 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 12/III-65 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 12/IV-1965 г.
 А 02744. Формат бумаги 70 × 108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
 Зак. 595. Тираж 121.250 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5

Цена 70 коп.

70636